

# ДАНИИЛ ДАНИИ



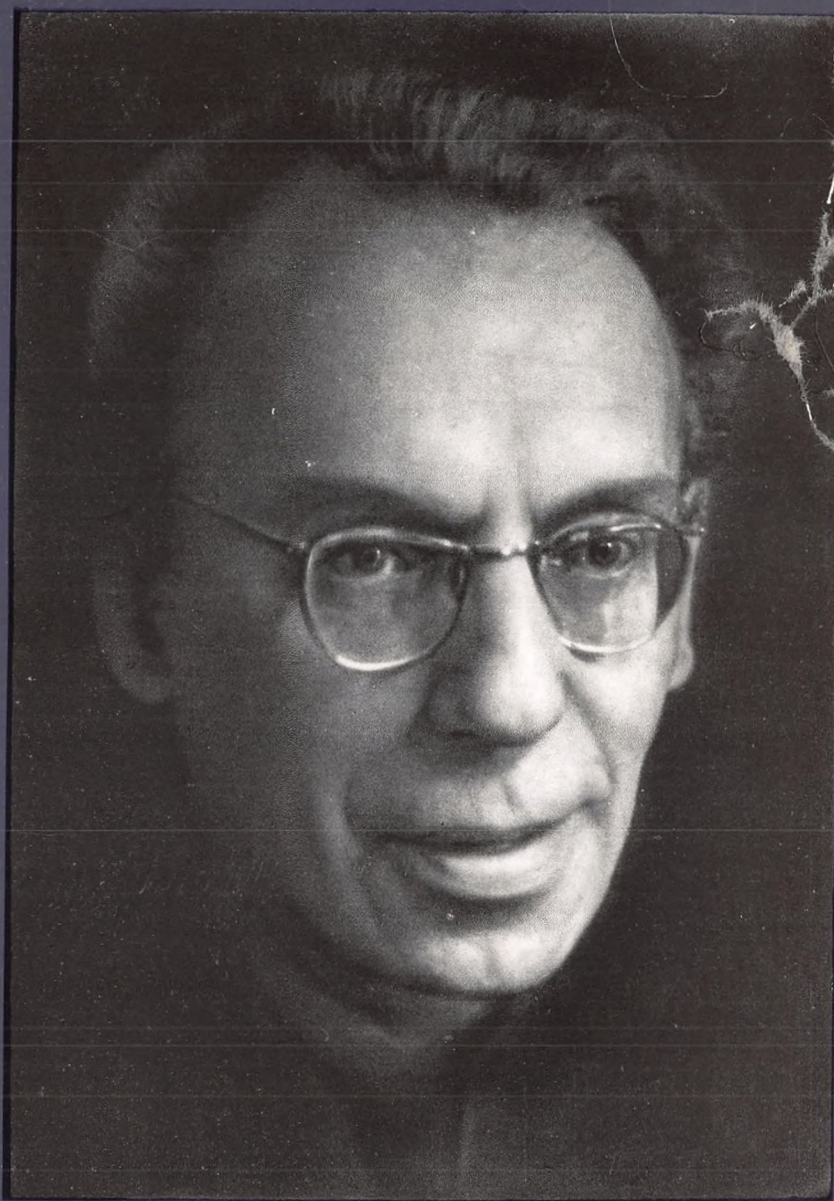
*Даниилу  
Даниилу Даниловичу  
Даниловичу - 10 лет*

*Даниилу Даниловичу  
Даниловичу - 10 лет*

Борис Пастернак  
*Колосом*  
**ЗЕМНОЙ  
ПРОСТОР**  
*Тав. Шурин*  
*на годовщину*  
*на Даниилу*  
*о Пастернаке*  
*Пастернак*

# ДАНИИЛ ДАНИИ БРЕНДСТВО КМЕР





# ДАНИИЛ ДАНИН

...Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?

*17-е стихотворение  
Юрия Живаго*

О стыд, ты в тягость мне!

*Борис Пастернак  
"Разрыв"*

# ВРЕМЯ СТЫДА

Anna des  
Happg.

Jacques  
M. M.



ДАНИИЛ  
ДАНИН

ВРЕМЯ  
СТЫДА



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ  
1996

ББК 84Р7  
Д18

*Художник Б. Жутовский*

Данин Д. С.  
Д18 **Время стыда: Книга без жанра.** – М.: Моск. рабочий, 1996. – 384 с.

Эта книга могла появиться только с приходом эпохи гласности, когда столько скрываемого начало становится явным. В документальном повествовании известного писателя Даниила Данина звучит голос поколения «ровесников революции», когда-то зачарованных ею, а потом сполна вкусивших горечи ее плодов. На страницах книги переплелись свидетельства живых и мертвых. Покаяния и сомнения. Воспоминания и догадки. Признания и обвинения. Новые факты и переосмысление старых. Эпохальные сюжеты и события частной жизни... В этой книге рядом с неведомыми лицами действуют знаменитые современники. Среди них – особая роль у Бориса Пастернака. С ним делило поколение автора исторические иллюзии и самообманы, обиды и беды... Его трагической строкой – «О стыд, ты в тягость мне!» – продиктовано само название книги.

Главное место действия – предвоенная и послевоенная Москва.

Д  $\frac{4702010204}{M172(03)-96}$  86-95

ББК 84Р7

ISBN 5 – 239 – 01567 – 8

© Д. С. Данин, 1996.

## ВОЗМОЖНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

**П**амятны строки Бориса Пастернака: «Это было при нас. Это с нами вошло в поговорку...» У младших его современников, еще здравствующих ныне, есть в свой черед право на такие строки – лишь с заменой прошедшего времени будущим:

ЭТО С НАМИ ВОЙДЕТ В ПОГОВОРКУ...

Всего только замена глагольного окончания. А в ней надежда, что и мы пройдем не бесследно: даже войдем в поговорку и еще заживем хоть в присказках. Кабы знать – в каких?

*Будут ли нами на ночь утихомиривать малышей?*

*Или – наставлять в грехе взрослеющих?*

*Или – клеймить восторженно рабствующих?*

...Это пишется летом 80-го года. Беспреданно дождит, точно природа репетирует осень. Усаживаешься за машинку с ощущением пустяковости всего, что просится на бумагу. Рука повисает в воздухе – пальцы сами не желают опускаться на клавиши. Недоумевают: «За чем?» Указательный и средний проворно обнимают большой и насмешливо складывают, как городошную фигуру, детскую фигуру...

Да разве есть на свете хоть что-нибудь человеческое, еще не высказанное хотя бы однажды? А если – есть, то неужели как раз твой язык захотело оно избрать глашатаем?

Иллюзии ушли. Так в предзимье вдруг замечаешь тишину – а где же птицы?.. Чем старше становишься, тем смешней самообольщения – в духе пастернаковского: «Как он даст звезде превысить досяганье?...» Но зато нам дан в обладание нестираемый след чужой содержательности – память о живых прикосновениях к ней.

Сегодня вдруг подумалось о Пастернаке его щемящей строфой:

Есть в пустыне родник, чтоб напиться,  
Дерево есть на лысом горбе.  
В одиночестве певчая птица  
Целый день мне поет о тебе.

Этими строками из его перевода байроновских «Стансов» уже думалось в жизни не раз, но – о других. А сегодня оттого подумалось о нем, что вокруг – зеленое Переделкино, где навсегда поселилось в окрестных зарослях его немолкнувшее эхо.

И еще оттого так подумалось, что навстречу птичьему щебету в неухоженном саду Дома творчества несется из окон прилежное щебетание пишущих машинок, нерасчленимо выбалтывающих чье-то «свое» – если достойное, то одинокое.

И еще потому так подумалось, что вчера дорога на станцию, автомобильным виражом огибая кладбищенский холм, все подсказывала и подсказывала могильный маршрут к трем соснам, где он лежит, да не достало сил туда завернуть...

Отчего же снова не прихватить свою горстку той родниковой воды – сколько-нибудь да уцелеет в ладони? Отчего не осениться сызнова ветвями того дерева на лысом горбе? Отчего не послушать еще раз ту птицу?

И вот едва подумалось об этом, как нерешительным пальцам захотелось опуститься на клавиши старенькой машинки. И наконец, проступил еще один довод: ведь все меньше и меньше остается современников Пастернака, знававших его на разных уровнях дружеской близости. А каков бы ни был тот уровень, каждый знававший вправе – и даже должен! – рассказать и высказать свое об этом человеке-явлении, приуроченном к нашему веку и нашей стране историей и природой.

Природой – замечу – больше, чем историей. Так всегда казалось, потому что он не искал себе благоустроенного места в нашей истории. Он и она редко сочувствовали друг другу. Он, разборчивый, ее сторонился. А она, неразборчивая, крутила другие романы. С природой все было иначе. Она одарила его редкостным генетическим кодом, и он не оставался в должниках:

Природа, мир, тайник вселенной,  
Я службу долгую твою,  
Объятый дрожью сокровенной,  
В слезах от счастья отстою!

Как исповедально открывается тут масштаб его дум и глубина его чувствований! И хорошо сознавать себя былым прохожим на его улице, влюбленно задирающим голову к освещенным окнам. И радоваться, как везенью, что был в этом качестве замечен, отмечен, привлечен...

Да-да. Мимоходом – короткой пристальностью на бегу остановлен-



ного взгляда и внезапно сочувственной улыбкой с палеонтологическим оскалом выступающих вперед зубов, точно угадываясь он из раскопок прародины человека. (Так, сочувственно, без обещания, улыбаются влюбленным юнцам взрослые женщины, которым нравится нравиться, но азбука поклонений уже в тягость.) А тот его смеющийся оскал – прежний, натуральный, не усмирённый ровной аккуратностью позднейшего протеза, – бывал как бы мгновенным обнажением искренности. Ее маленьким взрывом! И составлял одну из необычайностей его привораживающего лица.

До лета 39-го года оно было мне знакомо только издали. Рискуя судорогой в предплечьях, я вытягивал тощую юношескую шею, чтобы неотрывно следить за этим лицом на литературных вечерах в зале «дома Ростовых» на Поварской, или в переполненном Политехническом, или в еще более переполненном университетском клубе на углу Моховой. А бывало – в минуты консерваторских антрактов, то открываясь, то заслоняясь в толчее обыкновенных лиц, вдруг вдали проплывало это лицо, как диковинное существо в аквариуме. И тотчас концерт вырастал в своем значении до события. И на следующий день всем сообщалось: «Вчера видел Пастернака!» А так хотелось обрести право на крошечную поправку в глаголе: «Вчера виделся с Пастернаком!» Но, разумеется, и после первого знакомства с ним, когда я, смущенный до полной потери речи, был представлен ему как «студент-физик и начинающий критик» и смог, наконец, слышать его на расстоянии рукопожатия, ничего не изменилось: права на то, чтобы «видеться», то знакомство еще не давало. Встречи с ним бывали всякий раз полными новизны и волнения, разумеется, только для меня. И обмен письмами с ним во время войны тоже – только для меня...

Так есть ли оправдание у этих страниц?

Все-таки есть. Да притом – простейшее. Как ни кратки были соприкосновения с ним, душа успевала поглотить его излучения. Он однажды написал, притворившись доктором Живаго:

Жизнь ведь тоже только миг,  
Только растворенье  
Нас самих во всех других,  
Как бы им в даренье.

Я – из «всех других». И сознаю себя каплей оставленного им раствора. Одарив каждого из нас собою, он невольно поручил нам – разведать и выразить, что же приняли мы от него в дар... А каждый принял столько, сколько сумелось ему принять. А потому я редко позволю себе говорить от лица поколения. И однако же у этой «Книги без жанра» может быть поставлено в подзаголовке – «Пастернак и мы».

Со всей очевидностью, тут должна начаться –

«НАЧАЛО  
БЫЛО  
ТАК  
ДАЛЕКО,  
ТАК  
РОБОК  
ПЕРВЫЙ  
ИНТЕРЕС»

1

**Т**отчас приходят на помощь эти пастернаковские строки – строки из тех, что сразу же становятся хрестоматийными.

Для меня и многих моих сверстников Пастернак начался с Маяковского. Впрочем, были и другие, начавшиеся с Маяковского: Асеев, Каменский, Кирсанов... Да только все они с годами кончились – будто въяве и не существовали. Они принесли в копилку юности свои стихи, но не были голосами стихии. В них звучали лишь ее отголоски. А ею самой – ошеломляющим стихотрясением, как землетрясением! – первым явился шестнадцатилетнему юнцу Маяковский. И хотя тогда же приоткрылись взрослому мальчику еще и Хлебников, Цветаева, Мандельштам, Ходасевич, первопричиной их появления в полукруглом ящике старинного самоварного столика у изголовья тахты, равно как и первопричиной появления там же Бориса Пастернака, был Маяковский, только что покончивший с собой.

Шел год 1930-й.

Пока живешь, не ощущаешь историчности своего малого существования. И жизнь представляется тратой времени. Меж тем она – скопидомка. Исчезая, время накапливается. И предстоит уже бурить его толщу, если хочешь добраться до собственного кембрия или силлура.

(Катаеву следовало бы назвать завирально-обольстительный «Алмазный венец» трезвым «Алмазным буром», когда бы он работал бескорыстной памятью больше, чем корыстным воображением. Но тогда–

почти бесспорно – испарилась бы обольстительность. А такая потеря невозполнима точностью.)

В воспоминаниях прошлое не раскрывается, а конструируется. Конечно, сохраненные памятью детали принадлежат реально пережитому, но в единую картину их складывает сегодняшнее разумение былого, а не тогдашнее. Трудно улавливать эту подмену. Еще трудней – устранять. Разоблачительно было понято: история – политика, опрокинутая в прошлое. Так и у каждого из нас есть своя хлопотливая политика – тщеславия и самооправдания. Ее-то мы и опрокидываем в наше – только нам известное – пережитое.

Не стоит верить слишком стройным мемуарам.

Тут, на счастье, не мемуары, а лишь вынужденные обращения к памяти, дабы кое-что существенное понять о Времени и Поэте.

## 2

Сейчас уже не оценить всей силы живого впечатления от выстрела 14 апреля 1930 года. Раздавшийся в глубинах старомосковского дома, он услышан был всюду в мире.

О ту пору наша печать еще не притормаживала таких известий. Правде жизни еще разрешалось быть несанкционированной – непонятной. И юнец узнал о случившемся из газет – ранним утром следующего дня.

Это не было скромненькое, похожее на почтовую марку, извещение в прямоугольной рамочке, загнанное на газетные задворки. Это было грохочущее крупными кеглями заголовочных шрифтов трагическое оповещение человечества о внезапной беде. И черными провалами в глубины истории или жизни зияли на газетных полосах его большие портреты: волевое и мрачное лицо. Его лицом, как сказала Марина Цветаева, мировой пролетариат мог бы чеканить свои монеты. Но это узналось позже. И сложно осмыслилось позже... А тогда поразило спокойной обдуманностью напечатанное в «Правде» под портретом «Предсмертное письмо Маяковского». И в нем – всего более – дата: 12, а не 14 апреля! Можно ли было жить еще два дня, уже выработав в душе и начертав на бумаге тот трезво-бесповоротный текст?! Помнит ли кто нынче его последние строки?

*«ВСЕМ!*

*В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.*

*Мама, сестры и товарищи, простите, – это не способ (другим не советуя), но у меня выходов нет...*

...Я с жизнью в расчете,  
и не к чему перечень  
Взаимных болей,

бед  
и обид.  
Счастливо оставаться.

*Владимир Маяковский.*  
12.IV.-30 г.\*

Не коснусь его постскриптумов. Громоздко. А перепечатаваю я этот текст к себе в рукопись с пожелтевшей газетной вырезки, сохранившейся в школьном портфельчике Наташи Мостовенко среди ее дневниковых записей и писем подруг. Она мне подарила эту вырезку, достойную остаться талисманом, оберегающим память от эрозии временем. Но сама она сделать ту вырезку не могла: в 30-м ее почти еще не было на свете. Любящей рукой кривыми, маникюрными, торопящимися ножницами сотворила этот скорбный документ Наташина мать – известная переводчица с немецкого и английского, в 20-х годах знававшая Маяковского в Берлине и в Москве – Ревекка Менасьевна Гальперина. В душе моей с запозданием пробудился самоукор: отчего же мне не хватило тогда потрясенности случившимся для такого сердечного акта? Взрослости не достало?..

### 3

Помнится – или рисуется воображению – синяя теплень того апреля. Юнец прыжками отмахал лестничные марши, проскочил асфальтовый двор и бросился по переулкам от Земляного вала к Чистым прудам, чтобы на подножке всегда переполненного вагона «Аннушки» скорее добраться по Бульварному кольцу до Трубной, а оттуда бегом до Неглинной – к Рахмановскому...

Там, напротив пышно-розового особняка недавней Биржи труда, приземисто разлегся вдоль разбитого тротуара, не умея выситься, обесиленный временем двухэтажный дом. Было известно: он странно уцелел еще в пожаре наполеоновского нашествия, а потом под своею утлой крышей душил больного Белинского сочившимися с первого этажа мыльными испарениями нищенской прачечной. Там столетняя лестница одним выщербленным пролетом взнесла юнца на небо – на грешную площадку второго этажа, где он уже изведаль столько тайных отроческих поцелуев, заключая в неумело-торопливые объятия девочку-ровесницу Л. Там – за дверью коммуналки – она жила в не слишком счастливой семье, но еще детской порой превратила для него этот гиблый дом в птоломеевский центр мироздания... Впрочем, час Коперника-разрушителя уже приближался.

В громадной жизни мира и в чепухистике мальчишеской жизни всякий день происходило что-нибудь из ряда вон... Стихотворение



Багрицкого в журнале или происки реакции в Аргентине... Слух о посадке очередных вредителей или порча портрета Дориана Грея... Спор с отцом приятеля о правом уклоне или первооткрытие мудрости Лао-Цзе... И она, та девочка в Рахмановском переулке, – большие немигающие глаза, готовые к удивлению; белые незагорающие руки, готовые к театральному жесту; гибкий беспокоящий голос, готовый к запутанным психологизмам; детские влекущие коленки, готовые к прикосновениям, – она-то часто и бывала источником новейших новостей. И всегда – дуэльной стороной в их пылком переживании. Короче – это было любовью податливо взрослеющего мальчика. И весть о гибели Маяковского не могла не понести его на своей волне – туда – на грешную площадку второго этажа. Поскорей: чтобы дома застать, пока начавшийся день еще не завладел девочкой в красном берете...

Она встретила его в дверях широко распахнутыми глазами. Там уже все знали! И она, и ее старшая сестра с печальными очами, и старший брат с джеклондоновским лицом.

Но зачем эти подробности? А затем, что жизнь устроена подробно. И, как издавна известно, непредсказуемо.

За девять дней до выстрела в Лубянском проезде петля затянула горло другого человека – в Рахмановском переулке: там покончила самоубийством стареющая женщина. Это была мать той девочки.

Громкий выстрел в одинокой комнате поэта и тихая петля в уборной коммуналки. Два добровольных отказа от жизни – один за другим. Тут бы как в пастернаковском «Гамлете»: «Дальнейшее – молчание». А я разговорился. Но верно, что хочется помолчать. Минуту – как перед долгой дорогой. Тогда обозначился нечаянный ее поворот.

Молчу... Слушаю время... Да, так о чем я?..

Миллионной столице было без нужды то соседство двух независимых смертей – такой заметной и такой незаметной! Однако в душу шестнадцатилетнего они легли единой бороздой и двойным посевом чего-то несудимого. На время обесценилось все злободневное. У смерти по собственной воле – высокий рост. Он уходил за весенние облака – в незнаемое и непостижимое.

На погребение матери Л. мальчика не позвали. На похороны Маяковского он отправился сам.

В памяти перемешалось экранное и прочитанное с реально пережитым глазами и слухом. Для этого рассказа одно существенно: юнец послушно двигался с неоглядной толпой от Кудринской в Замоскворечье и все казнил да казнил недостаточностью своей любви к живому Маяковскому. Люди в толпе переговаривались его строками, а самообольщенный всезнайством юнец обнаруживал снова и снова, что слышит их впервые. Соседи по толпе обменивались догадками о поводах к выстрелу, а мальчику оставалось молчать: мелькавшие имена и события были ему незнакомы. Но на том прощальном пути – первом в

его жизни пути к крематорию у Донского монастыря – он необратимо превратился в преданного маяковиста.

#### 4

С самого раннего детства мальчик был в своем поколении из числа очарованных.

...Как обидно обделила его история: быть бы ему к началу революции хоть полувзрослым! А так – всего лишь трехлетний в заветном 17-м, он не смог пригодиться для митингов, баррикад и праведных кровопролитий. К счастью, мировая революция была еще впереди. Он жаждал раздуть ее пожар. И гордился правом на пионерский салют: «Будь готов!» – «Всегда готов!» И лет до четырнадцати лицедействовал, как заговорщик, когда при встрече с другими пионерами взбрасывал над головою безупречно прямую секиру-ладонь: пять сомкнутых пальцев знаменовали пять объединившихся континентов Земли, которым уже недолго оставалось ждать освобождения от оков! А дома снисходительно растолковывал родительским гостям – этим старорежимным интеллигентам – символику красного галстука на своей стебельковой шее.

О, Господи, или черт возьми, как он важничал в кинозале «Колизея», когда бестрепетно – от имени московской пионерии – велел всплакивающему Максиму Горькому и беспечно улыбающемуся Бухарину незамедлительно бросить курить! Кинохроника сберегла это зрелище...

Все служило раздуванию мирового пожара.

И культпоходы в опасные закоулки трущобного Зарядья... И кровавые драки со шпаной на железнодорожных откосах за Хомутовским тупиком... И военные игры в Александровском саду под Кремлевской стеной, когда длинноногий отрок переодевался гулящей девицей, дабы остаться неузнанным разведкой противника.... И ватманские полотнища стенных газет с проклятьями версальцам, задушившим Парижскую коммуну, а заодно и гильотинированием девчонок, намазавших губы нэпманской помадой...

И подвальные вечера самодеятельности в красном уголке отцовского учреждения с татарским названием ГОМЗЫ – Государственные Машиностроительные Заводы, где пожилые тети и дяди пели про пару гнедых, запряженных зарею, и страдальчески мелодекламировали про Сакья-Муни эмигранта Мережковского, а лохматый мальчик читал с выражением ныне уже всеми забытых Безыменского, Жарова, Уткина.

Много разных щепочек подкидывалось в мировой пожар, который все никак не разгорался...

Была среди этих щепочек потасовка с братом-близнецом, когда тот осмелился предложить: «Давай почистим сандали у армяшки!» – «У кого?!» – «У армяшки на Кривоколенном!» – «Ах, у армяшки?!» Бац, еще раз – бац, и пошло!.. Интернационализм стоял среди ценностей отроческого сознания едва ли не на первом месте. И уж во всяком случае – на самом бойком месте.

Он накидывался с кулачками на старую няню-польку, когда та в сердцах обзывала дворничиху Сашу «грязной кацапкой».

Он кричал одноклассникам «сами дураки», когда вслед удалявшемуся учителю немецкого они тихим хором заводили: «Немец-перец-колбаса-кислая капуста».

Он дерзил фарфорово-бледной соседке из бывших – «как вам не стыдно!», когда в минуту появления на нашем асфальтовом дворе старьевщиков с цепелинами полосатых мешков за спиной она сообщила маме: «Опять татарва за барахлом пришла...»

И для него навсегда становились духовным дерьмом ребята с ядовитым словарем – «жиды» и «абрашки». Он не раз страдал от этого словаря – от этой разобщающей неприязни. И совершенно не понимал, как можно вменить себе в заслугу или достоинство свою национальность или цвет кожи – то, что не было ни заслугой, ни достоинством и у тех, кто дал тебе жизнь?! Да еще чваниться этой мнимой доблестью перед другими двуногими, точно она прибавляла ума или красоты, способностей или человечности, рыцарства или революционности!..

Щепочкой в мировой костер, где сгорят все несправедливости мира, виделось ему это отстаивание, ибо государство и общество были с ним тогда заодно.

Когда его, делегата Первого слета пионеров, послали на Международную пионерскую конференцию в Кремле, ему представилось недопустимым промахом, что не все народы Земли будут явлены в Андреевском зале. И он записался в анкете полинезийцем, дабы восполнить собою хоть один пробел! (Он еще не знал, что человечество разговаривает на двух тысячах семистах девяноста шести языках и ни на каких всемирных форумах зияющих пробелов не заполнить!) Он тогда ликовал, убедившись, что безвестный полинезиец перечислительно угодил в газетный репортаж.

...Могло ли тому мальчику вообразиться, что ровно через двадцать лет – в 1949-м – другие, выросшие в той же вере мальчики и девочки, чуть постарше и чуть помоложе, будут с лжеединодушием вышвыривать его из партии, как зловредно затесавшегося в их непорочную среду простака-космополита?! И Борис Пастернак в минуту случайной встречи шумно, хоть и опрометчиво, посочувствует ему: «Да-да, я знаю, вам здорово попало из-за меня!» Но нет, то восклицание дорогого стоило, и я не хочу расставаться с ним прежде времени...

Чем ближе к детству в поисках начал, тем чаще довольствуешься той незамысловатой правдой, которую память мастерит простодушно, плохо подражая жизни, да еще не заботясь о масштабе поводов и дальности последствий.

...Три года подряд, то есть целую детскую вечность, булыжное и пыльное московское лето милостиво увозило мальчика дачным поездом в пионерский лагерь на зеленой речке Уче возле прибрежной деревушки Чапчиково. От станции Пушкино старинный проселок вел туда через Акулову гору. Год от году все подробней становилась любовь к тем местам. И фантастично было однажды узнать, что они точно поименованы в знаменитых стихах знаменитого поэта, жившего на даче где-то рядом:

Пригорок Пушкино горбил  
Акуловой горою,  
а низ горы –  
деревней был,  
кривился крыш корою.  
А за деревнею –  
дыра,  
и в ту дыру, наверно,  
спускалось солнце каждый раз,  
медленно и верно.

Да ведь это за нашей лагерной линейкой, где в закатный час медленно сползал с высоченной мачты багровеющий флаг, это за нашей Учой в пологую седловину меж зеленых холмов ежевечерне спускалось солнце! Подозреваю, что вместе с ним там-то впервые и спустился в мальчишеское сознание Маяковский... Спустился – явился. Необычайный – гигантски невежливый – на «ты» со вселенной!

Убедительно все выглядит: явился и покори́л. Однако я не зря помянул только сознание мальчика.

Маяковский действительно сразу и навсегда поразил кинообразующее воображение, но поначалу вовсе не соблазнил туманно-бесформенную мальчишескую душу. Ее соблазняли тогда другие поэты – те, что беседовали с луной, а не солнцем. Эта душа была вся в тревогах непрерывных влюбленностей. Часто – скрывааемых, еще чаще – неподвластных утайке. И настигали они непредвиденно. Казались всякий раз навсегдашними. А проистекали всякий раз из малости. Это было, как позднее открылось, у Пастернака:

...Душа не береглась,  
И память – в пятнах икр, и щек,  
И рук, и губ, и глаз.



Но Пастернак в тот раз не договорил: его связала скорострельная стремительность в задуманном перечне мгновенных обольщений. Поэтому все они односложные – икр, щек, рук, губ, глаз. А душа не береглась еще и многосложных: перехваченных улыбок, взрывчатых поступков, странной грусти, волнующей лести... Она не береглась всего, что он же, Пастернак, в другой раз назвал «нечаянностями впопыхах».

Мальчишечья жизнь раздувателя мирового пожара шла впопыхах, а нечаянности любви ее тормозили. Наваждения безотлагательных встреч, выяснения отношений, невнятных признаний – на катке, в кино, у лодочных причалов – окрашивали отроческие дни во все цвета, от радужных до чернейших. Сила впечатлительности притворялась силой чувств. Да только это ведь не осознавалось, как все фрейдистски невразумительное.

Даже теперь – из трезвой дали – не различить, где кончались школа, пионерский отряд, семья, а начинались взрослые недомогания души и плоти. И что главенствовало в глубинах отроческого существования – тоже не различить. Одно несомненно: не для щенячьих своих радостей, а для взрослых недомоганий отрочество искало возвышающей оснастки на стороне – в прославленных стихах и невеселой музыке... Почему-то важнее были не звуки лихих трубачей, а что все пройдет, как с белых яблонь дым... И многоточия означали больше, чем восклицательные знаки.

## 6

Золотое детство... Счастливое отрочество... Синяя птица юности... Право же, все это – литература: завещанные веками, запоздало мечтательные присказки к тяготам взрослого проживания на свете. А по совести, – да нет, при чем тут совесть, просто по внимательному рассмотрению, – нету более беспощадного времени жизни, чем ранняя ее пора.

Не оттого ли дети так часто завидуют кошке: с нее, ухоженной и ходящей самой по себе, спроса нет! Не оттого ли юнцы чаще взрослых молчаливо помышляют о самоубийстве: оно разом разрешит все неразрешимое!

И Осип Манделштам недаром заметил:

О, как мы любим лицемерить  
И забываем без труда  
То, что мы в детстве ближе к смерти,  
Чем в наши зрелые года.

И не умеющая довольствоваться расхожими присказками к жизни Марина Цветаева тоже недаром нашла щемящую метафору к своей молодости – «мой сапожок непарный». И призналась:

Ничего из всей твоей добычи  
Не взяла задумчивая Муза.  
Молодость моя! Назад не кличу.  
Ты была мне ношей и обузой.

Наверняка она думала о предмолодости – о той самой «синей птице». (Хотя в рабочей тетради записала, что распростилась с молодостью окончательно в 29 лет, пояснив, что это очень рано – «раньше всех»!)

...Преувеличенности любви и безвыходности нелюбви. Раздуватель мирового пожара негодующе фыркнул бы, скажи ему кто-нибудь, что это были казни его отрочества. Да притом – единственные без помилования. Ото всех прочих, – от школьной принудиловки, обвала пионерских выговоров, отцовского недовольства, отчаяния матери, страхов перед головорезами с Доброй Слободки, неоплатных проигрышей в расшибалочку и в очко, да и от многого другого, – можно было как-то отвертеться и спастись. А от нашествий любви-нелюбви укрыться было негде, кроме как в себе. А там – «в себе» – все непомерно разрасталось, точно тело и душа – одна увеличительная лупа.

И не потому ли весь школьный Лермонтов не стоил в мальчишечьих глазах восьмистишья, которое в классе не проходили:

За все, за все тебя благодарю я...

Ах, нет, тут нельзя прерываться! Такие стихи, что нельзя!

...За тайные мучения страстей,  
За горечь слез, отраву поцелуя,  
За месть врагов и клевету друзей,  
За жар души, растроченный в пустыне,  
За все, чем я обманут в жизни был –  
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне  
Недолго я еще благодарил.

И потому весь школьный Пушкин – с глубиной сибирских руд и дядей самых честных правил – не стоил для мальчика одной строфы, которой тоже не проходили:

Но если ты святую дружбы власть  
Употреблял на злобное гоненье...  
...И он прочел в немой душе твоей  
Все тайное своим печальным взором, –  
Тогда ступай, не трать пустых речей –  
Ты осужден последним приговором.

Не странно ли: жизнь, конечно, все прибавляла и прибавляла неумирающим стихам терпкой содержательности – действительно случившихся мучений, горечи и отравы, мести и обманов, тайных печалей и пустых речей, – но кое-что она, прожитая жизнь, и отняла у этих стихов. Выяснилось: пушкинский «последний приговор» – лишь красноречие оскорбленного сознания. Его некому приводить в исполнение, и зло от него не гибнет. А лермонтовская просьба «чтобы недолго» сменилась в наползающей старости прямо противоположной: «чтобы подольше я еще благодарил»... И стало быть, у отрочества были свои заслуги перед поэзией: полнота ее безоговорочного переживания!

Сколько теперь ни удивляйся мнимости тогдашних трагизмов, все ведь они были совершенно всерьез. (Да и для появления «Коварности» под пером двадцатипятилетнего Пушкина уверенно значителен лишь один повод: светская болтовня друга Раевского о чувствах А. С. к Воронцовой, о чем, разумеется, не знал юнец, пушкинистов еще не читавший.) Все, что дьявольски увеличивала лупа отрочества и юности, находило для себя оправдание в поэзии. А лучше – околдование. Чем? Да музыкой смысла! Еще не смыслом музыки, но уже музыкой смысла. Не пригодны были для этого Безыменский-Жаров-Уткин. Александра Блока бы о ту пору в руки! Но так сложилось произрастание мальчика, что Блок оказался заблокированным «Скифами» и «Двенадцатью»: взрослые набили оскомину восторженными уверениями, что все мы скифы, а впереди нас шествует Тот, бесплотный, в «белом венчике из роз». Этот Блок был не нужен отроческим трагизмам, а другой – внеисторический – еще не раскрылся.

Вернейшее околдование исходило от Сергея Есенина. Он был галечной россыпью обнаженной искренности. И в той россыпи любой страдальчески обкатанный камешек просился поднять его да засунуть за пазуху, как обогреваемого в ненастье щенка. Есенин был выражением круглосуточной честности желаний и сожалений. Даже все его грубости были нежны. Он воплощал понятнейшую – всем доступную! – человечность, какая бывает в глазах у собаки.

А сверх всего он первый приоткрыл отроческому сознанию не фанфарную, а другую – трагическую – сторону революции. И сделал это без ненависти и хитроумия:

...Не знали вы,  
Что я в сплошном дыму,  
В развороченном бурей быте  
С того и мучаюсь, что не пойму –  
Куда несет нас рок событий.

Господи, фанфарному подростку было совершенно ясно, куда несет нас история: в светлое будущее! А куда же еще?! И слово «рок» тут

звучало неуместно... В общем, самой судьбой своей Есенин взывал к сочувствию, а в мальчике, очевидно, была своя червоточинка: вопреки тогдашнему осуждению «есенинских настроений» и гонению на четыре знаменитых тома с березками, он не отказывал Есенину в сочувствии и счастлив был, что тот хотел «бежать за комсомолом». Это отменяло «рок» и звучало, как сильнейший довод в его защиту.

## 7

Отчего же для фанфарного мальчика – в разладе с логикой – до шестнадцати лет Маяковский оставался приобретением сознания, но не сердца? Не внутренней его сумятицы, темноты, тревоги. (Можно называть это как угодно, лишь бы без разумной точности.) Маяковский ведь так подходил для всего этого – знай мальчик его Первый том. Тот – прижизненный – в сером картоне без плакатного ошеломления. Впрочем, мальчик видел этот том и в руках держал. Даже не раз надкусывал... Но зубы у него были еще молочные.

А Маяковский, как и Есенин, тоже был осуждаем. Обсуждаем и гоним. Однако совсем по-другому... Я не о политике вспоминаю – не о мелкобуржуазной стихии, анархическом бунтарстве или загадочном фейербахианстве и прочих приписках. Беда была, что ему округлости недоставало: все об него ушибались. И свои ушибки превращали в его ошибки. Я не о критиках только говорю. Не о дальних – о ближних.

...Зимние сумерки. После служебного дня отец в плетеном кресле – бедном подобии вольтеровского. Он снимает дымчатые очки, чьи четырнадцать диоптрий властно уменьшают все сущее: по ту сторону – его глаза, по эту – окружающий мир. Он ползает по журнальной странице всем лицом – как ребенок по полу. И слышится досадливое: «Ну при чем тут поэзия? Одно острословие!» А мама, – бросившая ради детей физиологию и медицину, – за вечерним штопаньем или шитьем на «Зингере». И в несчетный раз просительно раздается: «Ленушка, послушай...» И он принимается тихо читать по-немецки Гомера, нерасчленимо долгострочного, как нянькины католические молитвы полушепотом, перед сном. А мальчик не понимает на слух немецкого, но в него проникает вера, что вот оно, где прячется все прекрасно-важное о мире и человеке, а не в строчках лесенкой на страницах отброшенного отцом журнала. И мама, напрасно бросившая ради нас то, в чем преуспевала, перестает строчить под Гомеровы строчки и молча задумывается о чем-то своем, но в полном единодушии с отцом. И с Гомером.

...Снова зимние сумерки. Репетиция школьного вечера в мраморном зале бывшего Орловского особняка, что в Яковлевском переулке. Уже заметно полнеющий учитель литературы Алексей Емельянович



выслушал только что старшекласника, проповившего «Левый марш». Теперь тиктаком носа скинул чеховское пенсне и кисло-устало производит: «Громко-то оно громко, да только что тут тебе нравится?» А мы не без злорадства глядим на старшекласника. И ждем. Сейчас услышим про что-нибудь пушкинское: «Уж лучше бы ты подготовил вот это...» Нам не интересен школьный Пушкин – интересен учитель-актер. Он плавно движется к поношенному роялю еще декабристских времен. И на ходу охватывает руками склоненную голову. И вот из-за его драматически поникшей пиджачной спины доносится подавленный рык: «...и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда, ужа-асно!» И восхищенный отрок не догадывается, что это же совершенно маяковские строки из Первого тома!

Он еще не догадывается об этом и потому, что просто не знает ни «Облака в штанах», ни «Флейты-позвоночника», и потому, что весь пока во власти поэтики отца и учителя словесности. А с ними – и всех некрасовско-надсоновских взрослых, безыменско-уткинских комсомольцев, влекуще-есенинских девочек и романтически-лермонтовских подростков.

Он весь в обжитой поэтике. И в этом-то все дело. Ибо поэтика – не способ сложения стихов, но грамматика духовной жизни. А Маяковский той обжитой поэтике не принадлежал. И потому еще не принадлежал мальчишечьему сердцу.

До Маяковского надо было дозреть!

И не воображением да революционной сознательностью – их Маяковский уже покори́л. Мускулами следовало дозреть – пульсом – нервными окончаниями, наконец! А прежде другого – ушными раковинами: им предстояло услышать отголоски океанской музыки – той, что принес, выползая на сушу, четвероног, когда начал превращаться в предчеловека:

Священнослужителя мира, отпустителя всех  
грехов – солнца ладонь на голове моей.  
Благочестивейшей из монашествующих – ночи  
облаченье на плечах моих.  
Дней любви моей тысячелистое евангелие  
целую.  
Звенящей болью любовь замоля,  
душой  
иное шествие чающий,  
слышу  
твое, земля:  
«Ныне отпускаеши!»

Выстрел 14 апреля 30-го года ускорил это созревание шестнадцатилетнего мгновенным скачком. Под родительские протесты из смежной комнаты – «погаси же свет!» – зашелестели страницы Первого

тома. И за одну ночь обнажилось то, что через год в «Охранной грамоте» Пастернака открылось за словами: «бездонная одухотворенность» Маяковского. И еще иначе: «та же безусловная даль, что на земле»...

Но это через год. А в апреле 30-го ни единой строчки из Пастернака не гнездились в голове у юнца. Гнездилась лишь симпатия к его имени. Ее источником был обожаемый «Юго-Запад» Багрицкого с Дюрером на переплете: «А в походной сумке – Спички и табак, Тихонов, Сельвинский, Пастернак».

Так он и располагался в мальчишечьей табели о рангах: на следующей ступени ниже Багрицкого – рядом с мимолетно читанными Тихоновым и Сельвинским. И тоже читанный еще мимолетно – на каких-то журнальных страницах. И вдруг..

## 8

Однако я еще не договорил о выстреле в Лубяном проезде. Чем он всего более поразил юнца? Полной противоположностью. Таким же неправдоподобным показалось бы землетрясение в Москве с извержением лавы на Воробьевых горах.

Разрешенный Есенину всей его неприлаженностью к революционной эпохе, да еще угарной горечью порицаемого существования, Маяковскому самовольный уход из жизни был запрещен Революцией, как вселенской церковью. Такой уход был ему запрещен трижды – зримой мощью его исторического оптимизма (раз), его плоти (два), его стиха (три). И вот осенила догадка: он был не тем, кем казался! Кем же он был?

Для тогдашних заведующих – кем был, тем и был! Однозначно – прозрачно. И хватило половины дня, чтобы объяснить необъяснимое, отделив трубадура эпохи от самой эпохи и превратив его в недолечившегося пациента. В том правдинском оповещении о случившемся, что начиналось так правдиво просто – «Вчера, 14 апреля, в 10 часов 15 минут утра в своем рабочем кабинете... покончил жизнь...», – поспешно разъясняющее продолжение возбуждало вопрос о какой-то скрываемой правде.

*«...Как сообщил нашему сотруднику следователь тов. Сырцов, предварительные данные следствия указывают, что самоубийство вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта. Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт еще не совсем поправился».*

Может, так оно и было. Но слишком решительное о причинах – «не имеющих ничего общего с...» – заставляло думать, что кроме любовной

лодки, разбившейся о быт, еще что-то иное разбилось о бытие. Что же именно? Это вариант вопроса – кем же он был, если не был тем, кем казался?

Для нынешних молодых тут нет проблемы.

Те из них, что не ставят наше прошлое ни в грош, усмехнутся: «Изоггался Владим Владимыч – вот и застрелился!» Для глухих к истории был он, стало быть, трагическим лжецом.

Те, что склонны к историческому прагматизму, скажут: «Решил, пронзительный, не ждать своей мейерхольдовской очереди-судьбы – вот и опередил события на семь лет!» Другими словами, для прагматиков был он трагическим фаталистом.

Те, что настроены историко-философски, молча подумают: «А не стрелял ли лучший-талантливейший в наше сталинское будущее?» Иначе: не ранняя ли он жертва собственного трагически спрогнозированного разочарования?

Для тогдашнего шестнадцатилетнего не был он ни тем, ни другим, ни третьим. Эпитет «трагический» зазвучал, конечно, во всю силу, но нечего было мальчику прибавить к этому эпитету, кроме слова «поэт». Только – разве этого мало, быть трагическим поэтом?! Все, связанное с Маяковским, обрело громадный смысл. Как в пастернаковском «Марбурге»:

...каждая малость  
Жила и...  
В прощальном значеньи своем подымалась.

Неспроста тут припомнился «Марбург» – он все время у меня на уме. Дело просто. В апреле – мае 30-го, еще до каникул, весь стихотворный Маяковский был прочитан и перечитан насквозь – новыми глазами! Но ранней осенью, в сентябре, появилась на столике у изголовья тахты еще и тонкая книжица в краснобуквенной обложке – «Как делать стихи?». А там объявлено было гениальным «четверостишие Пастернака»:

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,  
Как трагик в провинции драму Шекспинову,  
Носил я с собою и знал назубок,  
Шатался по городу и репетировал.

Гениальное!.. В представлении школьника только мертвые – ушедшие в историю – могли быть гениальными. Живым эта аттестация не полагалась, равно как и тому, что они успели свершить. Даже Горький этой чести еще не устаивался. (Даже – страшно сказать – до самого 1930 года – товарищ Сталин...)

Через минуту пастернаковская строфа навсегда прописалась в па-

мяти. Вместе с ошибками, сделанными Маяковским: в первой строке он пропустил «всю», а в третьей – взамен «носил» хорошо придумал «таскал за собою».

Нужно было немедленно узнать – откуда она, эта строфа, самим Маяковским признанная гениальной!

Сегодня это не составило бы труда. Набрал телефонный номер любого литературно-просвещенного приятеля и слушай ответ:

– «Шатался по городу и репетировал»? Да это же из «Марбурга»! Помнишь: «Я вздрагивал, я загорался и гас...»?

Но тогда еще ничто пастернаковское не было хрестоматийным. И позвонить было некому – разве что бежать на Рахмановский... Однако и оттуда скорая помощь прийти не смогла. Что же было делать, да еще в нетерпении?

## 9

За спиной Рахмановского тянулись в струнку Петровские линии – единственная в своем роде, совершенно Санкт-Петербургская улочка старой Москвы. На траверзе бывшего ресторана «Ампир» – нынешнего «Будапешта» – там шатались вечерами, репетируя нешекспировы драмы, неглинно-петровские Сонечки Мармеладовы. В юнце они вызывали смесь запретного любопытства с Достоевскими чувствами. К счастью, идеями революции удостоверилось, что все их драмы – живые анахронизмы: пережитки проклятого прошлого, которое вот-вот сгорит дотла в очистительном огне близко-будущего пожара. А за витринами недавнего «Ампир» толпились канцелярские столы Бумтреста. И раз в неделю, – по пятницам, а может, по пятым дням шестидневки, – красногалстучным мальчикам и девочкам трестовских служащих разрешалось сдвигать эти столы к роскошным стенам, освобождая паркетное пространство для синеглазых затей пионерского сбора. Мы с Л., пионеры другого отряда, иногда заходили туда. А наискосок от зеркальных витрин, вдоль противоположного тротуара, светились вечерами зеленые абажуры читального зала Герценовской библиотеки.

Туда-то юнец и поспешил, – мимо Сонечек и пионеров – мимо проклятого прошлого и замечательного будущего, – чтобы добыть на вечер книги Пастернака, какие найдутся. Нашлись «Девятьсот пятый год» и «Поверх барьеров» в синем супере.

Помнится ликование, что обе книги оказались с иголочки новенькими – никем не читанными: формуляры, извлеченные с испода переплетов, как из карманчиков девчачьих передников, были девственно чисты. Я первым ставил на них читательскую подпись. Первым! – оттого и было ликование: «Всех опередил!»

Маленький и поначалу безобидный синдромчик времени.

В том возрасте отрока и страны, – а ведь были они почти однолетками, – донельзя обольщали иллюзии первенства. В чем угодно и где угодно. Иллюзии радостно принимались за действительность. «Первость» даже младенческого шажка в переустройстве мира, – невзирая на синяк от падения, – выглядела залогом великолепного будущего. Ослепительно новаторская стояла на дворе эпоха. И надо было много прожить и многое пережить, чтобы в ослепительности открылась ослепленность!

Можно термин ввести – «успехомания». Этой манией оправдывались все грубости и нелепости. А там и преступления – вовсе не осознававшиеся как преступления очарованными всех возрастов. Тогда уже всю разворачивалось всеохватное социалистическое – по Сталину – самодовольство. Это оно десятилетиями превращало и без того художественные земли нашей разрешаемой и премируемой культуры в Сахаров сахара, где редкостью стали зеленые оазисы живой горечи человековедения. (Надо же было, чтобы именно Сахаров завелся в этой Сахаре, а сослан был за горечь в Горький! И не от слов ли «на соли жениться» произросла фамилия – Солженицын?)

Не тогда ли начиналось то, в чем каялся поздний Пастернак –

Я человека потерял,  
С тех пор как всеми он потерян.

Да ведь тогдашняя многомиллионная кровь принуждения к счастью коллективизма и смертное обнищание деревни поименованы были всего лишь головокружением от успехов! И уже тогда уловил Пастернак эту одуряющую ноту успехомании, заметив, что она знакома истории – мы не первые самообольстившиеся:

Когда я устаю от пустозвонства  
Во все века вертевшихся лыстецов,  
Мне хочется, как сон при свете солнца,  
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

Во все века! (Однако мы-то перепустозвонили всех, не так ли?)

Но вот что любопытно. Не доверяя памяти, решил я сверить эту строфу с книжным текстом. А тут, в Переделкине, у меня с собой только зеленый однотомничек 1976 года. Заглянул и увидел: там эти стихи пропущены! Требованиями объема такой пропуск не объяснить. Причина очевидна: в прежнем своем самообольщении 30-х годов мы к себе еще не относили унижающих «пустозвонство» и «лыстецы», а потом увидели-услышали – да это же о нас! И в 76-м те стихи стали клеветой, поскольку открылось, что в них – правда! А под ними дата «1931». Стало быть, вон каков возраст той правды-клеветы!

...К слову. Есть у Гоголя зацитированное наблюдение: стоит в России сказать что-нибудь эдакое об одном коллежском асессоре, как все коллежские асессоры от Петербурга до Камчатки принимают реченое на свой счет. Заносчивость и страхи пугливого рабства воспитывались в нас все те же. Рассказывали приятели-театроведы, как на исходе 70-х в одном из волжских городов поставили «Ревизора». Естественно, в финале городничий прорычал: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» Но не актерам прорычал он это, а залу. Однако номер не прошел. Секретарь обкома вознегодовал: зачем городничий поворачивается к залу?! И дал указание: повернуть Сквозника-Дмухановского на 180 градусов – спиной к народу, а то – не дай Бог – народ еще чего подумает...

Но, пожалуй, впервые услышал Пастернак претящие мелодии лести гораздо раньше рубежа 30-х. В «Высокой болезни», рисуя вздыбленное существование революционной поры, он противопоставил этим зарождающимся мелодиям самохвальства другую музыку – музыку отрешенности своей среды от эпохального громогласья:

Мы были музыкаю чашек,  
Ушедших кушать чай во тьму  
Глухих лесов, косых замашек  
И тайн, не льстящих никому.

...Этот сказочный образ чашек во тьме глухих лесов однажды совсем просто растолковал мне – со слов Пастернака – Николай Николаевич Вильям-Вильмонт: голодающие горожане из бывших обменивали свои наследственные сервизы на крестьянское съестное – по чашечке, по блюдечку, и разные там кузнецовско-гарднеровские фарфоры-фаянсы уходили кушать чай в глухомань, чтобы в лучинной мгле земляной Руси вызванивать свою тонкую музыку. (Просты подоплеки сложностей!)

Но главное: тут прослушивалось желание уйти со своею музыкой от скверны жизни. Он не обманывался мнимой духовной высотой обитателей глухомани: рыночный обмен-обман плодил косые замашки и тайны, но, по крайней мере, такие, что не льстили эпохе... Словом, с начальной революционной поры зажило в нем отвращение к эпохальной лесте, пока...

...Однако, кроме льстецов, во все века вертелись хулители. Их в свой черед не оберегала от пустозвонства – или густозвонства? – очевидная преднамеренность. У лести и хулы одинаковый механизм: демонстративное вынесение оценочного знака «+» или «-» за те фигурные скобки истории, где бьется в ловушках живая жизнь живых людей. Она на каждом шагу пренебрегает велениями Истории, исполненная собственных неразрешимых загадок. Но что там ни происходи, в этом вареве жизни, льстецы ставят перед скобками Времени свой всё обеляющий

плюс, а хулители – свой все обесценивающий минус. И те, и другие никогда не бывали правы и никогда не бывали праведны.

Остановился – перечитал. Все заносит в сторону. Одно оправдание: пишется это не для комиздата, не для самиздата, не для тамиздата, а для себя и ближних. Внимательно помнятся и тянут к себе четыре строки Пастернака, написанные, когда он еще не был всерьез религиозен:

Не знаю, решена ль  
Загадка зги загробной,  
Но жизнь, как тишина  
Осенняя, – подробна.

Они – как языческий талисман, оберегают от лести и от хулы. От риторики они возвращают к детальности существования. Это – как у него же, рядом: «За сим имелся сеновал... Имелась ночь. Имелось губ дрожание...» Да, важно, что все это имелось. И не вместо Истории, а в ней самой!

## 10

Итак, поставив первую читательскую подпись на нетронутых формулярах двух пастернаковских книг, юнец ощутил гордыню первооткрывателя. Этим надо было поделиться. Случай помог немедленно. Да так непредвиденно, что вон на сколько десятилетий сохранилось почти незамутненное воспоминание!

Еще под зеленой лампой на читальном столе отыскалась в «Поверх барьеров» строфа с репетированием Шекспировой драмы. Но за поздним часом нельзя было завернуть на Рахмановский со своей находкой. Библиотека закрывалась. И за витринами «Ампира» дотлевала гаснущая ярусами люстра. Петровские линии густо вечерели, когда я вышел на тротуар. Вышел и вздрогнул.

По той стороне медленно проплывал, удаляясь, знакомый силуэт моей одноклассницы. Осторожно проплывал, как призрак Достоевской Сонечки. В душе раздался взрыв невозможного подозрения. И сразу другой – отрезвляющий: «О, Господи, какой дурак! К ней же будут здесь приставать!» И я громко окликнул ее, вскинув руку. Она оглянулась, тоже вскинула руку и застыла на месте – вся ожидание.

Потом мы зашагали рука об руку – мимо грешных теней – к трамвайной остановке напротив Сандунов. А в трех шагах был угол Рахмановского, и запомнилась – или сейчас вообразилась? – тревога, что вдруг я буду застигнут «с другою девочкой» кем-нибудь из семьи или коммунальных соседей Л. И я торопился сесть с этой «другою девочкой» в любой трамвай, чтобы потом уж рыцарски проводить ее до дома



сквозь опасности сентябрьской московской темноты... Совсем скоро обнаружилось, однако, что провожать ее следовало бы сквозь иные опасности – такие, что тут о провожатых-то и речи быть не могло.

Двери трамваев тогда не задвигались автоматически. В теплынь – стояли настежь. И смелый ветер ранней осени кружил по пустой площадке, обнимая наши легкие до невещественности фигуры, то есть делал за нас то, чего не могли бы делать мы. С внезапной влюбленностью я начал наборматывать тоненькой девочке только что приобретенные строфы. И помнится среди них:

Я понял жизни цель и чу  
Ту цель, как цель, и эта цель –  
Признать, что мне неволю  
Мириться с тем, что есть апрель.

Дальше там звучал непонятный «в берковец церковный зык», а на странице поодаль – «я – мяч полногласья и яблоко лада», и где-то рядом «ледяной лимон обеден». И почему-то не отвращали, а гипнотизировали эти непонятности. И с ходу запомнились, приворожив удивленный слух.

Та склонность к невнятице – в противоречии с арифметической ясностью революционного мировоззрения – тоже была червоточинкой в душе юнца. И он покачивался на летящей площадке, спеша приобщить к этой невнятице свою молчаливую спутницу. И уверял, что ему все понятно и он может все объяснить, пока одна ее тихая фраза не понудила его мгновенно заткнуться... Едва слышно она сказала: «Арестован мой отец».

Разом все опустыжилось: ухищрения влюбленности и пастернаковские стихи. Это было, как если бы трамвай на полном ходу занесло и ударило всей застекленной площадкой о мачту.

Не буду реставрировать нашего разговора: не помню слов. Но вижу и сейчас, как диковато – в упор – смотрела она на меня, ставшего нечаянно и непоправимо обладателем ее опасной тайны. И помню – тотчас выдал ей в ответ свою, того же рода. Думаю, не для утешения, а из потребности не упускать первенствования ни в чем: быть на высоте и ее беды, и даже – чуть выше! Позднейшее благоразумие страха еще не было достаточно воспитано в нас... В общем, я рассказал, как двумя годами раньше – в 1928-м – та же судьба постигла брата моего отца, видного донбасского инженера, обвиненного по «шахтинскому делу». Только зря я, может быть, проговорился, что дядька мой в том же году погиб, покончив с собою в тюрьме... Но я не об этом сейчас.

Сейчас вспоминаются прозрачные глаза той девочки – редкостной, старинно-мадонной красоты. Не византийской, а западной. И вместе вспоминаются, – наверное, по велению поселившегося тут слова «бе-

да», – тоже редкостные по красоте и чуть старинные строки из «Поверх барьеров», не забывавшиеся с тех пор, приобретенные тоже в тот вечер, но понятые позднее:

Я рос. Меня, как Ганимеда,  
Несли ненастья, сны несли.  
Как крылья, отрастали беды  
И отделяли от земли.

...Поразительна эта замеченная крылатость бед. Их подъемная сила. Прозаически обычно выводится обратное: беды придавливают человека к земле, а не отделяют от земли. Однако устраиваешь в бессонницу ночной парад уродцам-ненастьям собственной жизни, – а успело их пройти предостаточно, – и озадаченно видишь: черт возьми, да они же и вправду бывали с крыльями! Душа обзаводилась вожделениями и надеждами. Наполненная ими, как ветром воздушный змей, она плыла над заболоченной обыденностью: отыскивала пастернаковские «воздушные пути», раз уж пути земные перегораживались недоброй волей. Это бывало похоже на заклинание Владислава Ходасевича:

Перешагни, перескочи,  
Перелети, пере- что хочешь –  
Но вырвись: камнем из пращи,  
Звездой, сорвавшейся в ночи...

...Счастье истинно поэтических строк в их непредугадываемой заранее емкости: они каким-то образом (а может, именно «образом»?!) вмещают все смыслы и все чувствования, как ими хочет одарить их покоренный читатель.

...Я рос, и вот уж жар предплечий  
Студит объятие орла.  
Дни далеко, когда предтечей,  
Любовь, ты надо мной плыла.

Та девочка – не только глаза ее, но вся она – была не московская, а западная, не пионерская, а старинная. Или сейчас вспоминается такой, оттого что давно-давно умерла, не успев стать взрослой. Она помнится в чем-то синем с белым – стройном и гладком. Она была из тех существ, рядом с которыми томишься своей угловатостью. На переменах я не решался к ней приближаться – ее особенность создавала дистанцию. А я был из числа громких ребят со всешкольной известностью...

Да нет же, поправляю я себя в небрежности, то была уже не школа, а техникум при нашей школе. И в мою маяковскую весну 30–го

года мы заканчивали первый курс, а в мою пастернаковскую осень 30-го начинали курс второй. Как и у меня, у нее был роман, завещанный отрочеством. Нравился ли я ей всерьез – не знаю...

## 11

Дань юношеской ностальгии. Это похоже на мандельштамовское:

...я еще не хочу умирать:  
У тебя телефонов моих номера.

Полторы счастливейшие строки в пластике несчастья! Только все хочется переставить местоимения: «У меня телефонов твоих номера». Но не стоит бороться со страдальческим текстом – обе версии для ностальгии годятся. Под стихотворением дата – 1930. Тот самый год, куда возвращает меня нынче приступ памяти. Чуть не написал – «печали».

И откуда он длится, этот приступ, я набираю поочередно два семизначных числа. И пока осыпаются цифры, как осыпается время в песочных часах, дробных мгновений хватает на промельк тревоги: не возникло бы по ту сторону провода подозрения, будто я принялся за мемуары. Почему-то неприятна такая догадка – точно застают тебя глядящимся в зеркало. Меж тем просто тянет зарыться в теплый песок осыпавшегося времени – в ту нижнюю половину бесшумных часов, что уже почти полна... Я звоню двум моим сокурсникам – бывлым красивейшинам (по слову Хлебникова). Они дружили с той девочкой в синем с белым. Звоню среди бела дня двум кандидатессам наук – стареющим дамам – в неизвестность их одиночества. Я не знаю даже, где стоят у них телефоны. Не знаю, как они выглядят в этот час. И того меньше – склонны ли и они зарываться в песок?

Номера не заняты. Так и должно быть: звонки все реже.

Долго не подходят. Правильно и это – по разным причинам.

Наконец – знакомые голоса!.. Мне бы начать строфой Пастернака из обращения к Паоло Яшвили:

За прошлого порог  
Не вносят произвола.  
Давайте с первых строк  
Обнимемся, Паоло!

А я не нашелся. Не предложил шуточных объятий. И выведывая забытое, принялся настаивать на своих вариантах. Внес за порог произвол. И это же получил в ответ. Мы забыли, что всем нам под семьдесят, и смешно горячились по телефону, перебивая друг друга. И меньше всего

говорили о девочке-мадонне, а все о себе, о себе, о себе.

...Первый звонок был и вовсе напрасным. Прежняя Екатерина-Катенька, видимо, решила противоборствовать времени самым опрометчивым способом: она убавляла себе годы. Но как же она, бедняжка, не сообразила, что со мною-то это бессмысленно?! Она лишила себя права на два-три года ранней юности. А когда почувствовала это, было уже поздно: наши дороги назад разошлись – она не могла оказаться однокашницей ни моей, ни своей подружки в синем с белым... И ей пришлось нести околесицу. Представляю, в каком смущении сидела она потом у замолчавшего телефона... Сверх всего, не могло же ей запомниться, что мы уже не раз – в минуты случайных встреч – грустно вспоминали с нею Люсю Рамзину?! На этот раз она почему-то называла ее Леной, а я почему-то не перечил. Она сумела на время замутить так ясно привидевшуюся мне даль того сентября.

И вот, после этого напрасного звонка, я возвращаюсь на площадку вечернего трамвая к моей спутнице, чье имя только что прозвучало. Да, ее звали Люсей-Леной Рамзиной!

Никто еще не знал, что ее отцу – знаменитому профессору теплотехники – предназначено было кресло премьер-министра в гипотетическом, а проще – придуманном, российском правительстве Промпартии. И в нашем техникуме, по-видимому, никто еще не ведал, что Люсин отец в тюрьме. И никто не должен был этого ведать: профессоров сажали не за уголовщину. Рядом со словом «арест» тут выросло безнадежное слово «вредитель». И наш поздний вагон мотало на пути от Неглинной по трамвайному кругу молчаливой Лубянки, а не веселых Сокольников...

Да-да, как у Пастернака: «Имелась ночь, имелось губ дрожание». Но и вправду – не вместо Истории, а в ней самой. И как увиделось позже – в ночной ее непроглядности. И девочке-мадонне в ту пору ни на черта не нужен был Пастернак. А мне – ее спутнику? Еще не знаю, как ответить...

Да нет же, конечно, знаю: нужен был! Весь вопрос – зачем?

Чувствую – ответ прорежется не скоро. Сначала беспорядочно полистаются жизнь и стихи...

Однако подождите: был еще второй звонок. Анаит не боролась со временем. Оно само ее щадило. Незыблемо честным голосом пятидесятилетней сохранности она сказала: «Позволь – какая Лена? Рамзину звали Люся!» – «И – Лена!» – упрямо и глупо сказал я. Но к ушам прихлынул жар, словно бы хватил я избыточную дозу витамина рибофлавина и почувствовал, как огненная пятнистость этой звучной итальянщины проступает на шее. Поделом – в наказание за пережиток отроческой жажды всегда быть правым. Хорошо, что цвет не передается по телефону – можно было хоть скрыть ту стыдобу... А голос –

некогда волновавший – легко продолжал: «Оставь ты, пожалуйста. Я не знала, что она тебе нравилась! Хочешь, я расскажу о ней одну неприятную вещь – как раз в истории с ее отцом...»

Это прозвучало точно по умыслу, чтобы разлучить мою память с иллюзиями. «Подожди, – сказал я, – не надо!» У Анаит был вспышкающий нрав, но медленное воображение. Она не умела говорить с умыслом. И я поспешил остановить ее, зная, что услышу правду. А в ту минуту не нужна мне была кривая правда...

## 12

Есть в пастернаковской «Охранной грамоте» место, запомнившееся не фразой, а изгибом смысла, обнимающего жизнь: все мы стали людьми лишь постольку, поскольку нас любили и мы сами имели случай любить. Возможно, «лишь» здесь лишнее. Но искажения мысли-наблюдения нет – даже с лишним лишь. А в «Поверх барьеров» есть колдовская строфа, в свой черед объемлющая жизнь лаокооновскими извилами послушного слова:

Я тоже любил, и она жива еще.  
Все так же, катясь в ту начальную рань,  
Стоят времена, исчезая за краешком  
Мгновенья. Все так же тонка эта грань.  
По-прежнему давнее кажется давешним.  
По-прежнему, схлынувши с губ очевидцев,  
Безумствует бьель, притворяясь незнающей,  
Что больше она уж у нас не жилица.  
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь  
Всю жизнь удаляется, а не длится  
Любовь, удивленья мгновенная дань?

...Вот только «схлынувши с губ» или «с лиц очевидцев»? Печатаюсь «с лиц». А у меня в ушах голос Пастернака, гудящий в коридоре под сценой университетского клуба на углу Моховой: после вечера, – было это поздней осенью 33-го или 34-го, – уступая нашим жадным просьбам, смеясь и сбиваясь, он читает стайке студентов «из старого» и звучат эти «губы очевидцев». А я, мысленно сверяя звучащие строки с печатными, ловлю это несоответствие. И долго спорю потом с приятелем, – будущим доктором химии, а на самом деле художником Борисом Клименком, – как лучше? И он уверяет, что «лица очевидцев» – лучше по музыке, а я – что «губы очевидцев» лучше по рисунку: просто видно, как бьель отжитого, «схлынувши с губ», затихает в молве и уходит в небыль... Сколько раз потом хотел я спросить Бориса Леонидовича про эти варианты, но таких вопросов было много, а встреч – мало, и никогда не доставало решимости на микролюбопытство.

Уходят годы, а душа все не может насытиться той строфой. Отодвигается начальная рань, а времена все катятся туда, и вместе – стоят у краешка мгновения. И нету здесь несовместимости – это как в физическом феномене стоячей волны: порождаемая движением, она все стоит и стоит в пространстве...

Схлынувшая быль, конечно, безумствует с годами все тише. Но не иссякает в притворстве, будто нам без нее – не жить. А любовь, удаляясь всю жизнь, всю жизнь и длится. Своя – единственная! – у каждого, она только меняет адреса проживания. И это они, ее пристанища, удаляются, пустея по очереди, а не она сама. И потому в любви так запросто давнее превращается в давешнее. И этой подменой морочит нас.

Осенью 30-го опустел для юнца Рахмановский – кончился вместе с отрочеством. Почему? Ей-богу, уже самому себе не ответить. Без внешних причин. Центр мироздания на время переместился в другой старомосковский дом-домишечко с почти поленовским двориком за деревянными воротами.

Собаки и белье на веревках. Шаткая лесенка на бельэтаж с многопримусной кухней. Пластику этого былого лучше пастернаковского «Спекторского» кратчайше выразил Мандельштам:

Мы с тобой на кухне посидим,  
Сладко пахнет белый керосин.

Такая бесприютная нежность к великому городу в этих строчках и такая тоска прозябания в нем, что хоть смаргивай слезу! Написанные в 31-м, жаль, они стали известны только три десятилетия спустя – в 60-х... – так пригодились бы тогда! А впрочем, у дома-домишечки в переулке у Курского тогда еще далеко впереди были непоправимые несчастья – аресты ближних и неурочные смерти. И те незримо язвящие, – русским москвичам незнакомые, – безответно оскорбительные испытания, чей источник лежал в армянском происхождении семьи Анаит.

Там все и всегда выглядело благополучно. Там не нуждались: дорбрак отец, опытный врач, слыл удачливым исцелителем, а властная мать, чуть не круглосуточная курильщица, деятельно правила домом. Незабвенные бастурма и долма, непроизносимые карси-хоровац и кюфта-бозбаш по праздничным поводам учили уважению к радостям застолья и ненавязчивым национальным традициям, поддерживая их оправданно-оборонительный дух. От этого гастрономического национализма никто не страдал. Напротив, напротив!

...Был там узколиций и безмускульный мальчик Грант – средоточие надмирной интеллектуальности. Будущий известный математик.

Знаток несуществующих бесконечномерных пространств. Тогдашний – четырнадцатилетний – он уже про это «все знал». Очевидный вундеркинд – домашнее растение.

Он чурался прелестей мальчишеской уличной жизни. Зато и ее невзгоды обходили его стороной. Шума времени он не слушал и не слышал – время шелестело для него страницами книг. Пионерско-комсомольские ценности он презирал (не имея, впрочем, ни малейшего о них представления). Дабы в подлинниках читать Лейбница, Ньютона, Декарта, он выучил латынь. И, как истинный друг, позднее учил латыни меня – студента-естественника. И скрипуче содрогался, когда вместо классически-римского «Кикеро», я произносил вульгарно-средневеково – «Цицерон».

Он был так худ, что взрослый пиджачок висел на нем, как на деревянной распялочке. А лацканы постоянно отсвечивали посторонней желтизной – от духов, которые он в них втирал лапчатыми движениями костистых пальцев. Казалось, окружающая действительность не смела досаждать ему даже своими запахами...

Но не избыточно ли я разговорился об этом мальчике, начав говорить об его сестре? Нет-нет, от любви, как от снароком вынырнувшего обитателя глубин, кругами расходятся волны по воде, унося нас к неизвестным заводям. Есть строки у Пастернака и об этом – там же, где о стоячей волне времен:

Так каждому сердцу кладется любовью  
Знобящая новость миров в изголовье.

В этом-то, думаю, и заключена грандиозная содержательность любви – долгой или краткой, счастливой или несчастливой: в природе, истории и культуре нам делается внятными что-то прежде для нас закрытое. Там – в заводях...

А сверх того – каждое сердце на свой лад подражает чеховской Душечке: мир неведомых прежде интересов становится и его собственностью. И вдобавок – с новым адресом любви поселяется в нашей жизни новый круг людей. Сначала – это не более, чем скопление малозначащих астероидов-спутников окрест притянувшей тебя планеты. Но потом – в согласии с Экзюпери – на одном из астероидов обнаруживается Маленький принц, полный знобящих новостей. А еще потом, когда сама планета уходит за горизонт и больше словно бы не притягивает, этот ее спутник надолго остается заместительным центром былого притяжения. Или – снова в согласии с чеховской Душечкой – когда ветеринар перестает для нее что-нибудь значить, остается гимназистик Сашенька. И помните: «За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь... Почему? А кто ж его знает – почему?»

У мальчика Грантика не было ямочек на щеках монастырского послушника, а картуз оскорбил бы его простонародностью. Принц на маленьком астероиде... Отчего же я, что был старше него, земней и стократно испорченной всеми соблазнами возраста, привязался к этому «чужому мальчику»? Да кто ж его знает – отчего?

## 13

Покоится в старинном дубовом шкафчике не улетевшая к букинисту даже в бедственные годы книжных распродаж «Белая стая» Ахматовой. Дарственная надпись астероидного принца. На латыни. Читаю эту надпись через полвека уже со словарем. И с чувством неловкости. Полудетский почерк. Экзальтация. Непомерные слова. Неужели тогда они воспринимались всерьез? Неужели мы, умники, были дурачками?

А тот подарок действительно отражал силу его чувства ко мне: не раритетностью «Белой стаи», а тем, что он оторвал ее от сердца. Он бредил Ахматовой! Такая вот неожиданность... И совсем не просто понять, чем она прельстила инока? Из мудреного тумана его ответов выплывало одно лишь ясное слово – «прозрачностью». Но это звучало тем непонятней, что в те же годы он обольщался всем непрозрачным: антропософскими затеями Андрея Белого с Рудольфом Штайнером, богоискательством Николая Бердяева, византизмом Константина Леонтьева, искусительными томиками Василия Розанова... Что-нибудь эдакое – родительской цензуре недоступное – постоянно дежурило на его детском ученическом столике. То были его знобящие новости – сверх математического вундеркинства.

Озноб передавался мне. Я тоже стал читать все это – из завистливого подражательства и соревновательной жадности. Но его озноб был ритмичным, а мой – лихорадящим. Ни за что на свете не признался бы вслух, что не понимаю духовных вожделий Белого-мистика или духовных притязаний Розанова-жизнеучителя. Но наступали ночи на тахте со стопками книг у изголовья и коротким самоотчетом в темноте – без притворства: «Что же ты за день узнал?» И странным оказывалось это знание: затемняющим мир. От него не убывало тайн в человеке, искусстве, истории. Напротив – тайн прибавлялось. Однако странное это знание-незнание внутреннему суду почему-то не подлежало. Наверное, потому, что безуспешность попыток проникнуть в ту словесную тьму вознаграждалась возвышающим ощущением сопричастности головоломным исканиям человеческого духа.

Но, бывало, взрываюсь негодованием революционное сознание. Вычитанные у Бердяева оправдания ни от чего не спасающего Бога и вычитанные у Леонтьева оправдания безудержного манархизма... – мало что на свете могло быть враждебней очарованному юнцу! Удиви-



тельно, однако: не помню споров с мальчиком без ямочек. В памяти только его усмешечки превосходства – тонкогубые. Отчего мы не ссорились? Ведь у меня были в ответ свои усмешки – толстогубые.

Думаю вот что... Он поглощал те книги – плюс Владимир Соловьев, о. Сергей Булгаков, Лев Шестов – в свой черед, ступая по чужому следу... В их дворе, в соседнем флигелечке, порою появлялся на считанные дни нестарый старик с холеной бородкой. Он наезжал к сестре из ссылки. Его польское имя не произносилось. Во дворе звучало насмешливое «пан». Он захаживал к отцу Анаит и Грантика за учебными наставлениями. А в очередной раз уезжая, как всегда – «навсегда», оставлял отцу «в залог неоплатного гонорариума» – книжные раритеты. Они попадали к мальчику. Он их проглатывал. И среди прочего – ту запретную русскую антиклассику... Мастерски умевший улыбкой отводить любые вопросы, нестарый старик иногда награждал нас телеграфными обозначениями того, с чем разлучила его вынужденная жизнь вне столицы. Возникали черные комнаты, занавешенные окна, горящие свечи. Что это было – мистические бдения, теософские таинства, оргиастические игры? Мы гадали, а прямо спрашивать было бессмысленно и неловко...

В Москве начала 30-х годов, как в Греции, «все было». А впрочем – всегда все было! Через сорок лет – на рубеже 70-х – другой удивительный мальчик, Генрих Соколик, скованный полиомиелитом, философствующий математик и физик, – тоже из разряда московских инопланетян, – как-то попросил прочитать его хитроумную работу об «Алисе в Зазеркалье», а потом – в разъяснение моих честных непониманий – сказал из далекого телефонного далека, как с другой планеты: «Д. С., дело в том, что я – глава московских неокантианцев!» Наверное, дабы показать, что и мы не лыком шиты, я сказал: «А в молодости Пастернак привез из Марбурга неокантианство Германа Когена...» В ответ я услышал знакомое, усмешливое, как с астероида: «Ах, это не то, Д. С., совсем не то!»

Уверен – астероидное чтение мальчика Гранта в начале 30-х диктовалось вовсе не поисками возможных решений «проклятых вопросов» истории: для нашего поколения, – а мы ведь были одного поколения, – эти вопросы к тому времени еще не успели сделаться проклятыми. Оттого мы и не ссорились. На своей одинокой планетке одаренный мальчик попросту насыщал, как нынче выразились бы, ментальную жажду так легко ему дававшейся образованности. А делал это по чужим, нечаянно его обольстившим критериям духовных ценностей.

Есть у геологов термин: «экзотический галечник».

Я узнал воочию, что это такое, почти два десятилетия спустя – в 49-м, когда, объявленный безродным космополитом и лишенный права печататься, смотался из Москвы от греха подальше в алмазную экспедицию на Ангару.

Русло ее маленького притока Карапчанки, – что ниже Братских порогов и Шаманских шивер, было выстлано разноцветной галькой (точно гомеровские киммерийцы тащили ее из вечного мрака в благословенный Коктебель, да по дороге рассыпали в заангарской тайге). Была эта галька неожиданной для тех мест: обкатанные камешки не принадлежали материнским породам, слагавшим берега Ангары и самой Карапчанки. Ее родниковая вода скатывала нездешние гальки с таежных верховьев. И оттуда же стягивала их вниз другая речка – Туба, илимский приток. Мы не раз ходили в те верховья и видели: там этот галечник всюду чужой – экзотический, Бог весть когда забытый в тех местах давно отступившим морем.

...Я привез тогда с Ангары суконный футляр от военной фляги, полный карапчанской гальки. На память. А лет через десять – на рубеже 60-х – как-то упомянул об этом в присутствии яростного камнелюба Всеволода Иванова. Он сам походил на любовно обкатанную природой глыбу, сгидившуюся бы в древние каменные боги. Мы возвращались с заседания приемной комиссии Союза писателей, где он председательствовал. Мне хотелось порасспрашивать Всеволода Вячеславовича об его переделкинских соседях – Пастернаках. Но высочили в разговоре камни. И с той минуты я стал ему на время интересен.

Существование экзотических галечников было для него совершеннейшей и захватывающей новостью. Он убежденно сказал, что поедет на Карапчанку и Тубу. Я возразил, что туда нет сухопутных дорог: сначала – самолет, потом – карбас. «Устрашили! – засмеялся он. – Стало быть, и я доберусь. А вы мне карту нарисуйте – где он там, этот галечник...» Я нарисовал по памяти наши маршруты и принес их В. В. на дачу. Он поверил в эту квазикарту и бестрепетно вооружился ею. Ему было за шестьдесят. Ни на минуту не допускал я мысли, что игра идет всерьез. А он поехал туда и добрался до тех верховьев!

А вскоре затем заболел. Безнадежно. Рак. Летом 63-го он, этот заколдованный природой человек, умер... Я не увидел карапчанско-тубинской гальки, им привезенной. А позднее был день, когда одна давняя знакомая ошеломила меня под мирным переделкинским небом:

– Вы сыграли дурную роль, – сказала она непререкаемо, – Всеволоду Вячеславовичу не надо было ехать по вашей карте, он там переоблучился!

Мифология XX века... Я мягчайше возразил: те галечники невин-

ны, как младенцы, да и ходил там Всеволод Вячеславович слишком недолго, чтобы даже в худшем случае «дозу схватить». Но мои жалкие слова разбивались о каменную стену ее убежденности.

А потом умер мой экспедиционный друг и начальник Эд Равский – красавец, умом и пригожестью не запрограммированный на раннюю смерть. Он умер, уничтоженный белокровием. И стоя у его гроба в зале геологического института, я тоже поддался мифологии века: на минуту подумал, что, может, и вправду надо было обходить стороной те экзотические галечники?

...Нынче же думаю вот о чем: может, надо было мне, толстогубому, обходить стороной Николая Бердяева, Василия Розанова, Льва Шестова? Они были экзотическим галечником в наших долинах. Их принесли и отложили отхлынувшие моря. И может быть, небеспоследственными были прикосновения к той дробно-многоцветной красоте гадательной мысли с ее зазывной темнотой да еще – историсофскими соблазнами, будто эти и другие – независимые – мыслившие по-своему и на свой лад писавшие – люди действительно знали:

а) как лучше *устроить* дурно устроенную историю;

б) каково таинственное *устройство* нравственности;

в) как *благоустроить* отношения человека с Богом...

Но нет – ловлю себя на опрокидывании дня нынешнего во вчерашний. Это сегодня многие разочарованные обольщаются теми религиозно-философскими соблазнами. Очень многие – начиная с юдофобствующих славянофилов и кончая православничающими иудеями. Равно – и у нас, и в третьей эмиграции. Там и здесь они ищут в этих россыпях слов то же, что искали геологи в экзотических галечниках: алмазы! Геологи не нашли: на первой поисковой линии поманил нас один алмазик желтой воды – и обманул. А разочарованные – нашли? Иные говорят, что находят. Надо верить, хоть и не верится. Потому надо, что их же никто не принуждает твердить неправду!

Нет, многих побуждает к этому конформизм интеллектуальной моды. Она – в демонстративном противостоянии всему, что третируется, как рационализм – научность – трезвость – позитивизм – рассудочность. Пропускаю зашельмованные «атеизм» и «материализм»... Но, черт возьми, у разочарованных в революционных верованиях громадный выбор инакомыслия! Что же заставляет выбирать самое бесплодное: богоискательские старания, мистические прозрения, даже федоровское воскрешение мертвых, даже возвращение в прошлое, уже бесспорно – экспериментально! – доказавшее свою непригодность для всечеловеческого счастья?!

Когда бы оно, прошлое, – в любом варианте! – было бы для этого пригодно, мы не ходили бы в несчастливчиках Истории. Мы были бы наследниками-обладателями завещанного нам всечеловеческого благоденствия. Да только никто нам его не завещал! Ни один «изм» не мог завещать того, чем не владел...

Замечательно, что Борис Пастернак своего инакомыслящего Юрия Живаго не заставил выбирать ни одну из тех бесплодных возможностей! Это потому, что он сам – в своем собственном всегдашнем инакомыслии – был такого выбора чужд. Он теми соблазнами не обольщался...

...В сущности, ради этой-то, наболевшей в душе тирады и завел я разговор о знобящих новостях астероидного мальчика. И зря прозвучало тут словно бы ему в укор через полвека, что образовывался он по чужим критериям ценностей. По-другому и не бывает: все приходит к нам от ближних. Это кому как повезет с генами и средой! И мне бы надо поблагодарить дружка-вундеркинда за тот ранний духовный опыт: хоть и отторгнутый душою, он был благодеем, как все взывающее к пониманию, спору, несогласию и отстранению.

## 15

У сегодняшних искателей уже давно не найденных алмазов тоже усмешки превосходства. Но не те, что истончали губы даровитого отрока-математика в начале 30-х. Нынешние усмешки – судейские. Выскомерные и безжалостные. Грязью и кровью нашей истории клеймится само человеческое существование современников. Давнее «виноватых нет» самые сердитые на ход истории замещают прокурорским «виноваты все».

...Попутное воспоминание. Середина 60-х годов. Переделкинский сад. Привязанный болезнью к раскладушке под тенью берез Аркадий Белинков, – блистательный литератор, не успевший до конца раскрыть свой талант, но успевший отбыть свой лагерный срок, – полулежа, с поднятым двуперстием боярыни Морозовой, обороняется от критики его рукописи против Юрия Олеши:

– Я листовочник! И лапидарнейшая моя листовка требовала бы без доказательств духовного уничтожения советской интеллигенции! Этой потаскухи, отдававшей власти с восторгом на глазах у всех! Как я уничтожил Олешу, так в следующих книгах уничтожу Шкловского и Каверина! И вообще – всех!

– Стало быть, и себя?

Вместо ответа он закатился в кашле, и его Наташа, всегда тревожноглазая, отозвав меня, тихо попросила пожалеть Аркадия – не спорить с ним. Не сразу остыв, я перечислил ей, кого только что не захотел пожалеть он, праведник и Нарцисс: Олешу, Шкловского, Каверина, себя, меня, ее и всех прочих в этом саду!.. Спор остался неоконченным и длится до сей поры – теперь уж с его тенью...

Ни к самой нашей эпохе, ни к человеческой жизни, волей случая с

нею совпадающей – ладящей или враждующей, не подобрать всеохватывающего эпитета. Тут нужны, одновременно записанные по кругу – чтобы не найти ни начала, ни конца! – все одухотворяющие эпитеты и все обесчеловечивающие эпитеты. Нужно сочетание несовместимостей. Таких, как жизнелюбие и уничтожение, преданность и предательство, человечность и скотство, счастливость и бедственность. Словом, тут нужен Принцип дополнительности Нильса Бора. Только в осуществлявшейся дополнительности – вся полнота правды о жизни человека в нашей истории.

Иначе мы бы не выжили. А мы – выжили. И живем дальше!

Есть неподкупно-правдивые книги о войне. Однако, читая их, не понимаешь, как ухитрился хоть кто-нибудь на войне уцелеть (без дезертирства!). Включая авторов этих книг

Пережив окружение в октябре 41-го и повидав ее всю, четырехлетнюю, до последней счастливейшей ночи в Саксонии с восьмого на девятое мая 45-го, могу удостоверить: в свободное от смерти время на войне жили, а умирали – в свободное от жизни время!

О лагерях и ссылках – молчу: не сподобился. Звучит заклинание в послевоенном «Гамлете» Пастернака:

На меня наставлен сумрак ночи  
Тысячью биноклей на оси.  
Если только можно, авва отче,  
Чашу эту мимо пронеси.

Пронес! Авва отче ли, случай ли, милость ли чья-то – все равно, как ни назови: пронес, пронесла, пронесло... Меж тем сумрак ночи бывал наставлен, казалось, неотвратимо, да вот то, что мы именуем судьбой, переворачивало бинокль в отдаляющую сторону! Это не стоило бы стольких слов, когда бы не открывался тут вернейший знак порядочности окружающей среды. Разумеется, была и порча. Была и есть. Но мне, и всему неотторжимо пастернаковскому в душе, неоченимо важно, что вокруг – на протяжении десятилетий! – главенствовали молчаливая порядочность и безгласная солидарность интеллигентной интеллигенции.

Иначе мы бы не выжили. А мы выжили. И живем дальше!

Были и есть среди нас разумники, вечно прикидывающие – кто в ближайшей окрестности наверняка стукач? «Пора бы тебе знать, что А...» И самым удручающим всегда бывало услышать в ответ на твое сомнение: «Да это же всем известно – его вычислили!» И, каюсь, не сразу я научился требовать от друзей-разумников категорически: «Факты!» Не выкладки и догадки, а сюжет – доказательный, без комментариев!.. Я видел отчаяние близкого мне человека, когда в середине 50-х вышедшая на свободу и, естественно, ни в чем не виноватая

Софья Виноградская «вычислила» этого человека, а тот просто физически знать не мог о вменявшейся ей вине. Человек жил на подступах к самоубийству – от одной только мысли, что он заподозрен... Этого не забыть!

...И снова – попутное. Глубокая осень в Копенгагене. Портовые чайки на зеленых полянах Фёллед-парка за институтом Нильса Бора. Эти никак не чайнные чайки отвлекают внимание и до меня не сразу доходит то, что рассказывает мой спутник – московский физик С., уже не первый год работающий в Дании:

– ...и он говорит, что каждый советский писатель, командированный на Запад, агент КГБ и шпион... Каждый! Вы понимаете, что это значит?

Тут бы отмахнуться... на зеленых полянах чайки новее старых клевет... но вдруг открывается во всей обнаженности: «Что это значит?» Мне месяц работать у датчан – в архиве Бора. С кем же они будут общаться – с заведомым шпионом?! С агентом – существом, не своею честью живущим, – заведомо недоброкачественным...

– Какая скотина это говорит? Где? И кому? – взрываюсь я.

– А это ваш коллега, писатель Анатолий Кузнецов... По радио говорит. То есть всем...

Мальчик военных лет, трагически писавший о Бабьем Яре и загнанный в манию преследования; он остался на Западе после нашего позорного чехословацкого лета 1968 года. И оглянувшись назад, с усмешкой нравственного превосходства, назвал всех своих соотечественников-коллег дерьмом. К счастью, столь же широковещательно он покаянно признался, что сам был доносчиком... Однако зачем ему понадобилось устраивать кучу малу? Затем, чтобы в ней затеряться?..

А я сейчас перебираю, как косточки на нескончаемых четках, имена завсегдааев нашего дома – десятки пожизненных друзей-приятелей и временных постояльцев души... И в подверстку к именам передумываю все наказуемое, звучавшее из их уст... И переполняюсь чувством благодарности к духовно стойкой среде, которой одарила меня жизнь... И поясняяще вписываю сюда пастернаковские строки из «Высокой болезни»:

Мы были музыкой во льду.  
Я говорю про всю среду,  
С которой я имел в виду  
Сойти со сцены и сойду...

И хочется сказать прокурорски усмехающимся над нашей жизнью в истории, что ими не понят глубинный и самый обнадеживающий закон сохранения человеческого достоинства – доверчивость плюс со-

лидарность! Закон статистический, но неотменимый. А доверчивость плюс солидарность – это же и есть порядочность...

Однако подумать только – что за повод для историко-психологической хвалы: не доносили – не предавали! А найду-ка я сейчас давным-давно отчеркнутую фразу на полях «Признаний» Генриха Гейне... это там, где Гегель «с почти до смешного серьезным лицом» выговаривает ему, двадцатидвухлетнему студенту, за романтическую восторженность после сытного ужина и крепкого кофе... да-да, вот она, эта – самая понятная из читанных мною гегелевских фраз:

*« – Вы хотите, стало быть, еще получить на чай за то, что ухаживали за больною матерью и не отравили родного брата?»*

Да, Егор Федорович, как назвал вас однажды рассерженный Белинский, в террористические времена подавайте-ка за это на чай! И не скупитесь!..

*...Человек – животное трагическое и веселое. Оттого он и не исчез с Земли вместе с мамонтами. И не исчезнет. Выше голову, милые соотечественники – милые сопостранственники – милые современники! В Испании был король. Он отыскался. Этот король... – да нет, не поверите! Струна звенит в тумане. Матушка, пожалейте. И все прочее!.. Хороши бы подробности, но лучше, как в старом анекдоте о забулдыге, проснушемся на улице. «Где я?» – «Вы на углу Лялина и Яковлевского!» – «К черту подробности – в каком я городе?»*

Опоминаюсь от красноречия: я в осенней Москве 30-го года. Мне шестнадцать с половиной. И адрес правильный: угол двух переулков – школьного детства и ранней юности.

## 16

Яковлевский, где была наша семилетка и техникум при ней, напрямик спускался к трамвайно-ломовой Садовой и выбегал на нее почти напротив Курского вокзала. А Лялин изгибом вливался в булыжно-торцовую Покровку.

Там славно бродилось перед условленным свиданием. Там по осени свещивались из-за особнячковых оград еще не опустошенные листопадом акации и сирени. И там шатался, отпугивая женщин, местный псих в угрюмо надвинутой кепке с дамским чулком на изможденной шее. Там девочки играли в классы, отколупливая кусочки ветхой штукатурки от домовых цоколей, и маниакально гоняли вприпрыжку эти урологические камешки по дошкольно исчерченным тротуарам. Там первые этажи дружелюбно протягивали навстречу свои форточки, как

ладони для рукопожатия. Переулки были обжитыми, точно коридоры коммунальных квартир...

И поныне жива в ощущении домашняя приветливость той бедно-старой Москвы.

Неподалеку от заветного дома-домишки в Большом Казенном был на углу Лялина и Яковлевского книжный магазин Госиздата. Натурально безденежный студент химического техникума, что ни день, заскакивал туда из любопытства и уходил ни с чем. Но иногда... Сохранились в дубовом шкафчике пастернаковские «Две книги». Первый Пастернак, приобретенный в собственность! На том углу... За полвека выцвел корешок. Остальное в порядке. Нет, владетельная подпись моя на форзаце – не в порядке: от манерно усеченного имени и завитушек разит самомением. И проставлен день приобретения: 17 октября 1930. Тоже знак не из лучших: самовлюбленная точность. Однако как бесценна она для меня сейчас! Придорожная вежа. Дата на кладбищенском камне. Тихий излучатель воспоминаний. Верных и обманных. Да только теперь уж не отличить одних от других. Правда, есть, по крайней мере, точка отсчета во времени.

А между прочим: как просто было купить того Пастернака. Без вымаливаний и без черного рынка: наскреблись студенческие два двадцать – и книга твоя. А тираж был всего три тысячи! Видимо, вопреки Маяковскому, понимание стихов о ту пору было все-таки не выше довойной нормы (символистско-футуро-акмеистской нормы десятых годов).

...Тогда-то юнец и повадился в дом-домишко со своими знобящими новостями за пазухой. Еще на пороге крошечной прихожей задавал своей новой любви или ее братику-вундеркинду какой-нибудь пастернаковский вопрос:

Чьи стихи настолько нашумели,  
Что и гром их болью изумлен?

И, не ожидая ответа, – то была игра с одним участником, как пасьянс, – зловеще продолжал:

Надо быть в бреду по меньшей мере,  
Чтобы дать согласие быть землей.

Это производило впечатление. «Как-как? Повтори!» И я повторял, уже не дурачась: «Надо быть в бреду по меньшей мере, чтобы дать согласие быть Землей». (И нарочно так произносил, чтобы речь однозначно шла о планете.)

Строки и строфы Пастернака повисали между нами воздушными мостиками. По ним переходили чувства. Но мостики бывали шатки: они надежно крепились лишь с одной стороны – с моей. А другая,



подержав переброшенный конец в минутном удивлении, выпускала его из рук, не слишком обольстившись. И мостик падал. Почему он падал из рук мбей простодушной соученицы, было ясно: из-за честности ее простодушия и падал.

– Оставь ты, пожалуйста, – говорила она. – Что́ еще за сардониче-ская сосна?!

Я и сам не знал, что это, но не тот был возраст и не та роль, чтобы повиниться. И я нес в ответ хитроумную муть, ссылаясь на то, что вся «Сестра моя – жизнь» посвящена Пастернаком Лермонтову, у которого на Севере диком растет одиноко как раз сосна! Но отчего и астероид-ный братик ее Грант не хаживал тогда по следу Пастернака, в отличие от ахматовского следа, – это объяснить совсем не просто.

...А к слову: почему «Сестра моя – жизнь» посвящена Лермонтову? Эта книга почти каждой строкой демонстративно антиклассическая, хотя полна ассоциаций, навязанных разновектовой классикой – от Апокалипсиса и Гомера до Мусоргского и Шопена. Суть в том, что не в бесспорностях классики – источник поэзии Пастернака.

Подробности культуры для него, как подробности природы: и те, и другие – материя жизни. Ее нотные значки. Мазки ее кисти. Удары ее резца. А то, что мастерится из этой материи, сама поэзия, классических наставлений не слушается и классическим традициям не следует. Так, в современной науке о глубинах материи словарь описаний – классический, а синтаксис – квантовый.

На одной из страниц «Сестры...» – книги, ошеломившей среди про-чих современников Маяковского и Цветаеву, Пастернак рассказывает любимой о своем открытии-догадке: кто же позволяет себе свободно распоряжаться подробностями сущего?

Ты спросишь, кто велит,  
Чтоб август был велик,  
Кому ничто не мелко,  
Кто погружен в отделку  
Кленового листа  
И с дней Экклезиаста  
Не покидал поста  
За теской алебаstra?

Ты спросишь, кто велит,  
Чтоб губы астр и дальий  
Сентябрьские страдали?  
Чтоб мелкий лист раки-т  
С седых карнатид  
Слетал на сырость плит  
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?

– Всесильный бог деталей,  
Всесильный бог любви...

Это было пастернаковское озарение: бог любви, как бог деталей! Озарение, освобождающее поэтическую мысль от всякой иерархии важностей в мире. Квантовая поэтика!

Все, что достойно изготовила классическая культура, – эта много-вековая мастерская влюбленного в мир человека, – служило для бога любви в поэзии одушевленными деталями – на равных правах с кленовым листом в осеннем саду. Короче: все сущее в духовном обиходе человека было для Пастернака живою жизнью – такую же живую, как сама живая жизнь!

Легкой поживой для нашей слепоглохой, но правоверной критики всегда была хрестоматийная строфа из «Сестры...»:

В кашне, ладонью заслонясь,  
Сквозь фортку кликну детворе:  
Какое, милые, у нас  
Тысячелетье на дворе?

Эта строфа, может, потому и стала едва ли не первой хрестоматийной строфой Пастернака, что уж очень соблазнительно истолковывалась против него, да притом масштабно. Уход от бегущей истории – безучастность к революции! Тем более в подзаголовке книги поставлено было: «Лето 1917 года».

Меж тем его улыбчивый вопрос к детворе означал не бегство из большого мира, а, напротив, расширение поэтической действительности до тысячелетий: все они толпились во дворе, и надо было лишь осведомиться у ребятни, тоже вечно толкушейся на улице, какое из тысячелетий нынче заглянуло во двор? «Кто тропку к двери проторил?.. Проторить мог кто угодно по поручению бога деталей и бога любви. Наше время – в том числе!

В общем, с окружающим его миром Пастернак обращался вольнодумно, не сверяясь ни с чем, уже узаконенным в поэзии. Это – как чуть позже в «Вариациях» 18-го года – сталкивались и соединялись:

Стихия свободной стихии  
С свободной стихией стиха.

Отчего же такую антиклассическую «Сестру – мою жизнь» – классику Лермонтову? Отчего посвящение именно ему? За два года до смерти Пастернак объяснил это:

*«...Вы спросите, чем Лермонтов был для меня летом*

1917 года? Олицетворением творческого поиска и откровения, двигателем повседневного творческого постижения жизни», – написал он английскому переводчику Кэйдену.

Может, я не прав, но какая-то решительно непастернаковская, а безлично-возвышенная литературоведческая манера обесцвечивает эти слова. И, признаюсь, нехотя выписал я сейчас эту эпистолярную цитату из комментариев Льва Озерова к зеленому однотомнику Малой серии. В синем однотомнике Большой серии текст письма Кэйдену пространней. Но и там, и тут в пастернаковской мотивировке посвящения Лермонтов без труда замещается Пушкиным. Даже с большим правом: это ведь как раз о Пушкине сказало у него: «Стихия свободной стихии...» Смыслово и Шекспир мог бы заменить Лермонтова. Это ведь Шекспир заявил о себе у молодого Пастернака: «Мастью весь в молнию я, то есть выше по касте, чем люди...» Сгодились бы и Байрон с Эдгаром По: это ведь с ними Пастернак в ту пору «курил и пил»...

Отчего же все-таки Лермонтову та книга, а не кому другому?

Недоказуемо, но похоже: просто-напросто летом 1917-го – в роковое и вздыбленное время меж двух революций – пребывал Пастернак в лермонтовском возрасте! Ему было 27 лет! Кто из поэтов, хотя бы однажды, не судил себя в молодости этим печальным сроком: Господи, вот и мне уже 27! Тот вон сколько успел к этому последнему сроку... и кончился... а я?! Так критиков мучил Добролюбов, кончившийся в двадцать четыре, а музыкантов – Джованни Перголези, кончившийся в двадцать шесть, а физиков – Гарри Мозли, кончившийся в двадцать восемь...

В то лето душа Пастернака словно бы услышала ободряющий голос Лермонтова. Это было, как в будущих стихах Живаго: «Я кончился, а ты жива...» И не только жива была тогда душа Пастернака – она лишь о ту пору начинала по-настоящему жить в поэзии. Так он сам написал в «Охранной грамоте» – в той главке, где рассказал, что Маяковский был первым, кому он читал «Сестру...», и первым, кто высказал ему такую меру признания, на какую он и не надеялся. И недаром свои однотомники 30-х годов Пастернак всегда открывал «Сестрой...», точно то была и в самом деле его первая книга. (А была она в действительности уже третьей.)

Словом, посвящение Лермонтову в год собственного двадцатисемилетия звучало заклинаяще: «жить-жить-жить!» Вопреки смерти, разгуливавшей тогда на дворе истории вольней, чем обычно.

## 17

Позвонил сейчас Льву Озерову. Это – через зеленый двор напротив. Старый писательский кооператив. Выкладываю ему, – одному из

родоначальников нашего пастернаковедения, – сию внезапную возрастную версию посвящения «Сестры моей – жизни».

Он немного опешил от ее простоты. Но потом сказал: «Интересно, интересно. Может быть, может быть. Ты ее запиши, ты ее запиши...» А затем мы принялись вспоминать, сколько разговаривали о БЛ в годы нашей предвоенной дружбы.

...Мы тогда были студентами. Он – в ИФЛИ, я – в университете. Нас познакомила в 36-м восемнадцатилетняя Таня Л. Он, бездомный киевлянин, нередко жил у меня. Спал на стареньком диване наискосок от моей тахты – по ту сторону обеденного стола – плоскогорного перевала, над которым ночами сгущался, вместе с папиросным дымом, туман наших горизонтальных споров во тьме, пока из соседней комнаты не раздавался голос моего брата-близнеца – женатого пролетария:

– Ребята, черт бы вас побрал! Заткнитесь! Мне в шесть вставать.

Ах, брат мой Вовка, мучительно умерший в январе 80-го года от тяжелых последствий травмы головы... Вот не думал, что он где-то возникнет в этом тексте: всю жизнь мы жили разными заботами. Догадываюсь, что его, названного при рождении Борисом, тайком окрестила в костеле угодным ей именем наша нянька-полька, а уж вслед за нею все стали называть его Вова. (А возможно, эта догадка – отражение пастернаковского, – по мнению Николая Николаевича Вильмонта, выдуманного, – рассказа о том, как был он нянькою тайно крещен в православной церкви.) На редкость хорошенький мальчик, Вовка был ленивым однолюбом, да еще совершенно беспорочным: на своей ранней свадьбе в 19 лет он глотал только детское ситро, а во всю последующую жизнь никогда не грешил. Я не знал второго такого лучезарного бездельника. И ему, веселому шалопаю, – ставшему после двадцати круглосуточным работягой, – ни в какие годы не было ни малейшего дела до Пастернака, и вообще – ни до чего такого-эдакого. Очень любя друг друга, мы лет с одиннадцати-двенадцати праздновали свой общий день рождения в разных компаниях.

Наш соединенный пример нагляднейше показывал, что семейное воспитание, а вместе с ним и школьное, не умело отстоять себя под набегавшими волнами отроческих влюбленностей и дружеских зависимостей непроследимого происхождения. Первое – направленное воспитание – было у нас общим. А второе – ненаправленные влияния – разным. И мы выросли разными! Жаль, не являли мы собою пару однойцевых близнецов: тогда наш опыт мог бы почитаться и генетически чистым. (Но, быть может, тогда и все в нашей жизни сложилось бы по-другому, и мы оба были бы сегодня покойниками, или, напротив, Вовка был бы еще и нынче живым, как я.)

...Вовкино «мне в шесть вставать!» приводило в действие глагол «заткнитесь!». Мы слевой Озеровым замолкали – по крайней мере, до

утра. Заодно туману давался срок рассеяться. Но он не рассеивался. Да и мог ли он рассеяться, если очередной спор метался между истолкованием темной метафоры у Пастернака и обсуждением чего-нибудь густо философического... Помню эпиграмму на Леву (и на себя, конечно):

Зачем ты так спешил в тумане?  
Кругом была еще зима.  
Как в темном зале на экране,  
Навстречу двигались дома.  
С февральских крыш сосульки висли.  
И лишь туман тебе прощал,  
Что приблизительные мысли  
Ты в тайны мира превращал!

Вижу издали: совсем неглупо... Но внимание цепляется за сосульки. Они виснут в мысленной картине, готовые растаять... Ухватил – зажал в ладони – холодит ускользящая прелесть... Это вспомнился рассказ Александра Gladкова о Пастернаке в Чистополе. Зимой 42-го, сбывая февральские сосульки с крыши, Пастернак говорил: «Вот уже седею, а сосульки все те же самые, что в детстве. Вон ту я, кажется, помню...» Еще два-три слова, и мы бы узнали, что и сами все те же, что в детстве. И кажется, помним себя. Думаю, Лева согласится.

Вскоре после войны нас развела ссора. Не литературная. Заковыристость жизни способна делать нас все-таки иными – хоть на время! – чем мы были задуманы в детстве. Сюжет случившегося не стоит пересказа. Но вот уже почти сорок лет мы только старые-старые знакомцы и доброжелательные коллеги.

Где сердце друга? – Хитрых глаз прищур.  
Знавали ль вы такого-то? – Наслышкой.  
Да, видно, жизнь проста... но чересчур.  
И даже убедительна... но слишком.

А в незабытые времена студенческого тумана он игрывал в моей – отцовской – комнате красивейший из скрипичных концертов недобросовестного аббата-минорита Вивальди, в те годы еще не числившегося у нас среди очевидных гениев музыки. А я пытался вторить скрипке на рыжем родительском пианино, но из этого ничего хорошего не получалось, потому что моего неумения хватало лишь на бренчанье по слуху.

А в августе 38-го мы каникулярничали в его родном Киеве. И в доказательство точности пастернаковской «Баллады» из заученного наизусть «Второго рождения» он показывал мне в натуре «парк на крутояре, недвижимый Днепр, ночной Подол». И все послушно сходилось: дрожали гаражи автобазы и в слепых зарницах взблескивал для рифмы белой костью костел.

А потом на стареньком колесном пароходе мы плыли вразвалку по обмелевшему за лето Днепру до Херсона. А там пересели палубными пассажирами на блистающий чистотой «Сиудад де Таррагона» – оставшийся верным республике испанский теплоход, где в кают-компании висел громадный портрет Ларго Кабальеро и одним из помощников капитана была экранной красоты испанка.

А под августовскими звездами на заваленной мешками корме незримо всхлипывала по-украински кем-то или чем-то обманутая дивчина. И мы искали ее в черноте черноморской ночи, чтобы хоть слово сказать, но она была неотличима от мешков или пряталась под брезентом. На верхних палубах «Сиудад» воображение ставило драму франкистского мятежа – дул ветер неизвестной Европы, истории, океана. А это всхлипывание внизу заставляло воображение бедствовать неутолимой человеческой жалостью и сжимало океан до слезы!

И уж ко всему этому Пастернак, казалось, не мог иметь никакого касательства. Но мы шли на революционном теплоходе в краях лейтенанта Шмидта и гибели другого мятежа, и пролитературенная наша память, как просмоленная лодка, все равно держала нас на пастернаковских волнах. Устроившись в безбилетных шезлонгах и накрывшись от ветра парусиной других шезлонгов, мы в полный голос перекидывались строфами из «Лейтенанта Шмидта», как дельвали это не раз у меня в Москве – без всякого зримого повода, да еще не вдвоем, а втроем – при соревновательном соучастии азартного и милого Павла Шубина, тоже знавшего на память «всего Пастернака». И ясно, что тогда – под черноморским ветром – настал черед строфы о слезах неизвестной дивчины на корабле погибшей республики:

Эти бабы, плачущие в плахтах!  
Пики, гики, крики: «осади!»

На корме не было ни гиков, ни криков, ни пик, а там – в истории – бабы плакали о другом. Но поэзия снова показывала свою власть соизмерять несоизмеримое – власть пластики и бесконтрольной музыки слова, связующей воедино то, что иначе вообще несвязуемо...

А потом была Одесса, еще хранившая колорит Юго-Запада – Бабеля, Багрицкого, Катаева, Олеси. На Ланжероне шалавый тренер в истеранно-белесых портках визгливо учил малышей нырять с деревянных мостков у скал: «Сема, иди головой! Не бойся ты – кусок дурака!» В потном трамвае весь вагон, ссорясь и ликуя, объяснял замороченному старичку, как лучше с нужного конца попасть на Пересыпь. И от всего зримого и слышимого возникало впечатление уже когда-то виденного и читанного. Власть наотражалась бессмертная Одесса в фольклоре, литературе, кино. И стала узнаваемой на всех широтах. А

уж дома у себя – в очаровании оригинала затверженных штампов.

Возле вокзала костлявый и давно не бритый еврей в раздутой рубахе, точно беременный, разыгрывал роль билетной кассы. Его теснила загорелая орава студентов, уже спешивших на север, а он, по-дирижерски манипулируя обеими руками, кидал за пазуху на глазок оцененные деньги и безошибочно доставал из живота затребованный билет, и при этом по-дамски оттопыривал мизинчик, а на крики – «сдачи!» небрежно отвечивал сразу всем: «Кто считает копейки – мой навар-гонорар!»

Эдаким, единственно верным путем, отправился на север и Лева Озеров, а я – снова палубным пассажиром – в Феодосию, чтобы оттуда пешком добраться до летней дачи художников в Козах, где доживала последние дни каникул моя счастливо-несчастливая любовь тех лет.

Однако – еще чуть-чуть об Одессе и Пастернаке...

## 18

Мы тогда знать не знали, что своей родословной уходил он в недра пореформенной Одессы прошлого века, где дед его держал «Заезжий двор с номерами» и где прошло все детство его отца – будущего академика живописи Леонида Осиповича Пастернака. Уж мы бы исходили молодыми ногами всю Южную Пальмиру в поисках хотя бы следов того Заезжего двора! «Если бы знать, если бы знать...» – снова и снова повторяю я, чувствуя себя четвертой чеховской сестрой после ухода дивных постояльцев, когда «один ушел совсем, совсем навсегда».

Эту Южную Пальмиру (в противовес Северной Пальмире – Ленинграду) подсказала мне сейчас великолепная мемориальная книга, еще не существовавшая в нашей молодости: «Записи разных лет» Л. О. Пастернака. Только в рукописных отрывках мог знать эти записи своего отца и сам БЛ: при его жизни они еще не были собраны воедино. Лишь к весне 1966-го эту работу закончила в Оксфорде его сестра Жозефина Леонидовна. И лишь весной 1975-го, подготовленные к печати его братом Александром Леонидовичем, эти «Записи» вышли объемистой книгой в Москве. А БЛ к тому времени уже пятнадцать лет как не было на свете. «Записи» же эти волнуют воображение, начиная с их первых строк, где отец Пастернака рассказывает о своем появлении на свет в столетней дали истории:

*«Одесса, или Южная Пальмира, так ее тогда называли, как город разделялась на Старый Базар и Новый Базар, точно Старый Свет – Европа – и Новый Свет – Америка. Но почему, собственно... сказать не могу. Знаю лишь, что я родился на Старом Базаре, в 1862 году, 22 марта, – и когда мальчиком бывал там, т. е. в центре города, то*

ничего такого старого не находил в нем, что отличало бы его от Нового Базара...

...Я словно вижу... как в маленький дворик дома, наполненного бедными жильцами... выбежала высокая худощавая, изможденная от работ и забот женщина – мать наша и... в отчаянии ломая руки, раздирающим душу голосом стала звать на помощь, чтобы спасти своего умиравшего новорожденного ребенка; как в маленькой комнатке квартиры... в колыбели, в предсмертных конвульсиях мучился двухнедельный младенец, видимо, недовольный этим миром и решивший покинуть его ...»

«...Как потом, когда я сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн, и лежал без движения в гипсе, горели за рекой... знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат...

Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска, облаком вставшего со второй версты над лесною дорогой и вселявшего убеждение, что это горит близкая ему женщина с тремя детьми и трехпудовой глыбой гипса, который не поднять, не боясь навсегда ее искалечить...»

«Среди обступивших изголовье моей колыбели и кричавших, каждый на свой лад, соседей один только маленький портной знал подходящее средство: «Скорее! Подавай сюда самый большой горшок, скорее! Расступитесь, народ!» И, подняв высоко над моей головой пустой горшок, с силой бросил его на пол. Раздался оглушительный треск... По-видимому, злые демоны, терзавшие меня и тащившие на тот свет, так испугались, что тут же вылетели из меня. Я вдруг ожил и порозовел».

«Наш двор, заполненный возами, волами и лошадьми, представлял интересный живописный материал для картин и этюдов, а контингент гостей номеров... мог бы послужить писателю как... источник новеллистического и психологического характера...»

«...Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было, что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе...»

Кажется, я позволил себе непозволительное: смешал не связанные между собой автобиографические тексты отца – из «Записей» – и сына – из «Охранной грамоты». Слышно, как они монтируются, хотя видени-



ем мира и ощущением слова принадлежат разным эпохам! Может, их соединяет врожденная и наследственная честность глаза?

В августе 38-го мы с Лево́й Озеровым, ничего, разумеется, не ведая о «Записях» отца, «Охранную грамоту» сына ведали вдоль и поперек. И сейчас выглядит странным, отчего мы оба, молекулярно его любившие, не рвались узнать о роде Пастернаков ничего, сверх рассказанного на скупых страницах «Охранной...»? Впрочем – странно ли?

Это в послевоенные десятилетия скверна настоящего стала толкать разочарованных ходом истории на переоценочные поиски следов былого. И это сегодня легко придается непомерная цена всякой вещественной мемуаристике. А тогда погода была другая: трагическая и беспощадная, но вместе и волнуяще грозовая. Молодые сердца притягивал пульсирующий барометр живой истории, а не ее архивы. Прекрасно сознававший, какое тысячелетие на ее заезжем дворе (с никогда не пустующими тюремными номерами), Пастернак еще в самом начале 30-х годов полутора строками выразил то антиархивное умонастроение эпохи:

Мы в будущем, твержу я им, как все, кто  
Жил в эти дни...

В будущем! Не в прошлом, как могло бы ожидаться слишком плоско понимающими и время, и Пастернака. Там дальше, за отточием, не очень пастернаковский словарь: «а если из калек, то ничего – телегою проекта нас переехал новый человек». Но, возможно, еще и потому небрежничали в ту пору с реликвиями прошлого, что в собственном настоящем никто не мог быть прочно уверен. Сегодняшнего словечка «ретро» не было и в помине!

Так или иначе, мы в своем незнании родословной Пастернака ничем не отличались от других его читателей. Он был еще слишком живой – повседневно и спорно явленный. Монографические книги тогда писали только о покойных классиках. И разведывание семейных корней ему покуда не полагалось. Словом, как все, мы были знакомы лишь с тем, что он сам к тому времени успел сообщить о себе в стихах и прозе. А в его автогеографии Одессы не значилось. И кажется, нигде ни словом о своем ветхозаветном и промысловом деде он не обмолвился.

Были в его книгах автогеографическая Москва и автогеографический Урал. Горно-морской Кавказ и пологостепная Русь. Университетская Германия и транзитная Италия. Киев без древностей и Тула без лица. Но не было на его страницах ничего от двух пальмирных крайностей нашей поэзии – от петербургской классичности и одесского флибурства.

Пастернак виделся, слышался, осязался коренным москвичом. Ну разве что – в разъездах. Да ведь он и родился в Москве. В Москве! С ее великой бесстыльностью – прибежищем всех стилей. С ее великой бесцветностью – обителью всех красок. С ее великой расхристанностью – пристанищем всех гармоний. С ее великой беспомысленностью – вместилищем всех преданий.

Может, потому он и оказался таким, каким оказался: выросшим не из какой-нибудь одной литературной традиции, а создавшим свою собственную. И выросшим не из земли, как Есенин, и не из города, как Маяковский, а из всего, что натворили на земле природа и культура.

...Словом, мы с моим другом не искали пастернаковских корней в Одессе по чистому невежеству уровня 1938 года, но, вероятно, уже тогда там не оставалось ничего сколько-нибудь существенного от «Заезжего двора с номерами» – иначе нашелся бы приятель-одессит, чтобы просветить нас.

## 19

А нынче на моем дворе год 1981-й, это – через сорок три года после той мимолетней Одессы и ночи на корабле поверженной республики за Пиренеями. Сорок три года – больше, чем полтора пастернаковских возраста времен «Сестры моей – жизни»! Ему самому – с лета 17-го до последнего лета 60-го – предстояло прожить сорок три года... Вот что такое сорок три года! Лучше не упражняться в этой сокрушающей арифметике.

Кому и когда позвоню я еще раз с мнимо-неотложным пастернаковским вопросом? И куда еще окунется память в минуту такого очередного звонка? К счастью, не знаю заранее ни того, ни другого. Говорю – «к счастью», потому что это оправдывает разбегание текста по сторонам: он сам, на свой страх и риск, ищет в прожитом Пастернака, как пролитая вода ищет и находит углубления, где она может уединиться. И часто вдруг накапливается там, где ее вовсе не ждали.

...Может, позвонить сейчас былому мальчику без ямочек – маленькому принцу на астероиде?

Давно простыл след его отчего дома-домишечки. Умерли родители. Своею семьей зажила сестра. У него была тяжеловесная квартира осиротевшего холостяка-домоседа, когда мы виделись в последний раз. Было это в начале 70-х. Работая над книгой о Нильсе Боре, я захотел приобщиться к трудам его брата Харальда – выдающегося математика. А Грантик когда-то восторженно о них говорил. К нему я и приехал. ...В его манере была ученая брезгливость – как двумя пальцами осторожно поднимают за крылышко дохлую муху и, чуть рассмотрев, отшвыривают в сторону, так скучными глазами поднимал он со страницы непо-

нятную мне формулу и, приглядевшись к ней, бросал в меня ее смысл. Впервые в жизни мы не говорили о стихах. С тех пор я его не видел. Но перезванивались мы не раз. И в простом – «ну, как ты там?» – с обеих сторон всегда звучала сочувственная сердечность.

Позвоню... Он решит: опять формулы. А я, после «ну, как ты там?», мягко и необязательно:

– Послушай, отчего в нашей юности тебя не знобило пастернаковскими новостями? В отличие от милой твоей Анаит, уж тебя-то не смущали сардонические сосны?.. Что ж это было?

Еще не раскрыв рта, замечаю прошедшее время – «было». А почему не «есть»? Стало быть, я не сомневаюсь, что в пяти десятилетиях сохранилось достаточно времени для наведения мостика на пастернаковский берег. Я забыл о февральской сосульке, которая все та же, что в детстве! Разве обязательно ей было растаять?

...Разговор наш только что кончился. Он длился полтора часа. Равно устали ухо, рука и в очередь с нею державшая трубку, как скрипку, набрякшая щека. Я не спорил. Голос доносил серость его впалых щек и сухость губ. На портретах всегда закрытые рты. Меж тем с полотен доносятся голоса. Тут было обратное: голос рисовал портрет. Ничто не изменилось. Сосулька не растаяла. Но все-таки я услышал прежде не всплывавший довод против Пастернака:

– От такой поэзии возрастает хаос в мире! Все в ней слишком бессистемно. Она – антиматематична. В отличие... да, ты прав... от Ахматовой! Ты еще помнишь мою страсть? Ничто не изменилось. Она – божественно алгебраична!.. Да еще классически геометрична – по Эвклиду!

Неожиданная это была похвала. И чтобы не остаться в долгу, я сказал о Пастернаке: «А он божественно топологичен!» И добавил: «Да еще дьявольски неэвклидов!»

И мы рассмеялись по телефону навстречу друг другу.

## 20

А едва положил я трубку и чуть отдышался от долгого разговора с постаревшим, но ничуть не изменившимся астероидным принцем, как в памяти возник другой приятель моего отрочества – тоже нечитатель Пастернака! Но и он являл собою незаурядную человеческую особь.

Спохватываюсь, предугадывая недоуменный вопрос: «Как, еще один нечитатель?! А зачем он, если это размышление о «Пастернаке в нас»? А затем, что дороги, которые выбирает наша душа, все время пересекаются с дорогами, которые не она выбирает. И в этом – жизнь! Ее содержательность, и драматизм, и прелесть. В точках пересечения дорог надо останавливаться: оттуда в разные стороны видно.

...Лен Рошев был в школе беспримерным мальчиком – фанатичным исполнителем одолевавших его замыслов. В шестом или седьмом классе он конспектировал «Войну и мир» – главу за главой, том за томом. Четко, мельчайшим почерком в толстых тетрадях. Зачем? Это знал он один. Остановить его было невозможно. Никакая насмешка или трезвые доводы отвлечь его от цели не могли.

Он жил на бедной дачке в Кускове – неподалеку от шереметевского пруда. И когда решил, что надо нам себя закалять, мне пришлось подчиниться его воле: в марте – в промозглую холодину – мы сматывались с уроков, благо до Курского вокзала было недалеко, приезжали в Кусково и бултыхались в талую прибрежную воду. До посинения! Нынче – при одном воспоминании о тех минутах – пробирает дрожь. Но он оказался прав: мы ни разу не простудились, а у меня прошли вечные детские ангины.

Ему, как и мне, все было интересно и важно, кроме школы. А она тогда, в конце 20-х годов, совсем не обременяла требовательностью ни учеников, ни учителей: для хороших отметок вполне хватало слушать на уроках вполуха и глядеть на доску вполглаза. Мы с Леном числились способными мальчиками, и это выручало, когда сгущались маленькие тучи. Вся страна училась вполуха и вполглаза, хвастаясь всеобщим образованием и засевая в начальственных кабинетах все места и все вакансии будущих носителей просвещения полуинтеллигентной полуинтеллигенцией. Наши папы-мамы вздыхали: «Из них (то есть из нас) ничего не выйдет...»

В сущности, я не годился в истинные сотоварищи Лену Рошеву: я был для него чересчур легковесен. Пока я надкусывал разные разности, торопясь узнать на вкус все на свете, он съедал что-нибудь одно сытной порцией. Я был шире, он – глубже. И мы спорили, как ныряли в талой воде: до посинения. У него была отвратительная манера думать, прежде чем говорить. Спор, как и шахматная партия с ним, мог надолго затормозиться в молчании, чтобы окончиться его победой. А когда победа не предвиделась, он с коренастой своей неумолимостью предлагал:

– Давай условимся об определениях!

И все! Условиться было немислимо: любое предлагаемое определение – любви, традиции, революции, рифмы, святого духа, сортира, истинь, правого уклона, левого уклона, греха, звезды, прибавочной стоимости, четного числа – оказывалось по его воле недостаточным. И победа над ним ускользала. Это происходило так...

Однажды поздним летом – в начале 30-х – мы отправились на два-три дня в Ленинград, где на Черной речке, возле комендантского аэродрома, каникулярно пустовала квартира его кузена. У нас были считанные рубли, и даже на трамвай нам тратиться не хотелось. Про-

хладным утром, голодные и легкие на ногу, мы шли к месту дуэли Пушкина. С тощими рюкзачками пересекали беспричинно казавшийся несказанно богатым императорский город – Ленинград-Петроград-Санкт-Петербург – радовались совпадению ожидаемого со зримым, и только изредка один из нас оспаривал историческую осведомленность другого. Но у Адмиралтейства, оглядываясь на пройденный Невский, Лен сказал:

– Ты заметил, мы не встретили ни одного пьяного! Это не то, что в Москве, и это не лишено значения...

– Какого значения?! Просто сейчас еще раннее утро.

– Нет, тут дело в революционных традициях питерского пролетариата, а ты этого не-до-понимаешь! – объяснил он.

Наш немедленно вспыхнувший спор еще продолжался, и я в нем выглядел скверно, когда уже за мостом на Петроградской стороне, завернув в зеленый скверик у Большого проспекта, мы увидели очередь перед керосиновой лавкой. Стояли разнообразные мужчины, и все – без бидонов! Матерно добродушичная, ждали открытия лавки. А рядом две бабы торговали с подводы арбузами.

Было пустынько и провинциально в том скверике. Мы разжились арбузом, уселись на скамейке, финкой разрезали наш зеленый шар по экватору. И в это время безбидонная очередь тронулась. А затем мы увидели входящую в скверик колонну питерского революционного пролетариата, вооруженную марганцовыми четвертинками примусного денатурата. Четвертинки откупоривались тут же – на соседних скамейках – под сладкий скрип арбузов.

Моя початая половинка скатилась на землю – так припадочно начал я хохотать. Но Лен пребывал в полном спокойствии.

– Надо условиться об определениях, – сказал он, – поскольку необходимо установить, что такое пролетариат и что такое люмпен-пролетариат.

И от моей наглядно-материализованной победы ничего не осталось. В несчетный раз. Я мог только твердить, что рифма хороша: пролетариат-денатурат. Даже Маяковскому сгодилась бы.

Недавно на меня произвела впечатление фраза Честертона: «Со спины он выглядел человеком, на которого может положиться империя». Я не выглядел так ни спереди, ни сзади. А Лен выглядел именно так со всех сторон. И он стал надежным доктором наук. Я лишь удивляюсь, отчего его имя до сих пор не стало звучным. Может быть, лучшие годы ушли у него не на идеи, а на уточнения? (На то, что Резерфорд называл поисками шестого знака за запятой?) Не смею судить. Но знаю, что много времени ушло у него на разоблачение одного «подонка технических наук», как говаривал он. Стоило ли дело того – кто скажет? Впрочем, если Лен занимался этим, значит, стоило. Такая уж натура!

...Оглядываясь в полувековую даль, я застаю нас обоих под сумеречно-дождливым небом на сочинском берегу в августе 31-го года. Только-только сойдя с поезда и оставив рюкзаки на турбазе, мы побежали обновлять море: для обоих оно было впервые!

– Я поплыву к тому вон мысу... – сказал Лен, показав на север бухты, и посоветовал: – Ты за мной не тянись.

Когда он что-нибудь умел, он умел хорошо. И я, исправно дышащий только ртом, по причине сломанного носа, тянуться за ним и впрямь побоялся... В ту пору сторожевые моторки не возвращали назад вольноплавающих. И вскоре голова Лена затерялась в сумерках тишей воды.

Легко плылось и мне напрямик вперед – в сторону лиловой красоты заоблачного заката. Так легко, что, когда я повернул назад, оказалось – полоски пляжа перед глазами нет, а есть у подножия темных гор далекие огни уже начавшего вечернюю жизнь городка. Обратное плылось труднее. И огни совсем не приближались. Тревога пробрала все мускулы, и начал я наглатываться горькой воды, потому что все норовил достать ногами дно, а его не было под ногами! И никого вокруг, и дождичек все дождее. Помню, как перевернулся на спину и принялся бешено работать всем телом со слепой надеждой: когда снова перевернущись на живот, увижу – вот она, придавленная камнями газета над кучкой наших вещей! И – жизнь! И помню, как я все оттягивал этот спасительный переворот со спины на грудь, чтобы не проиграть надежды – понимаете?

Легко догадаться, что я уцелел, раз уж прибавились к тем моим семнадцати еще полвека с гаком. Труднее представить то переживание безнадежности, когда, перевернувшись, наконец, я наткнулся ушедшими в глубину ногами на нечто податливо-скользкое, ужаснулся этому прикосновению к незримо-акульему чудовищу, и только тут ошеломленно понял: да ведь это же – дно! Потом долго-долго покачивался, стоя, раскинув распятием руки и слушая свое сердцебиение. Потом шарнирно брел мелководьем к безлюдному пляжу. Высматривал Лена на берегу – его еще долго не было. Потом распластался на гальке под теплым и темным дождем. (Поздно вечером на турбазе нам рассказали, что в тот день утонул бедолага-новичок из Москвы. Речь шла не обо мне ли?)

...Я еще не знал тогда, что о своей несостоявшейся смерти человек помнит всегда. Сколько бы ни приключилось в его жизни этих несостоявшихся погубелей, он помнит их все. Об единожды состоявшейся помнят другие. Странно, что покуда никто не написал антологии своих возвращений в жизнь – из рискованных глупостей отрочества, из безнадежных болезней, из машинных аварий, из фронтовых передраг, из

отмененных самоубийств... Словом – из тех незабывающихся злоключений, когда – по экономному выражению одного поэта – «дамоклился меч надо мной...».

Психологическая неистощимость таких минут-на-волоске не в них самих, а в неумолчном эхе, которое катится потом по всей подаренной обстоятельствами жизни. Среди прочего рождаются запреты по детскому образцу: «Честное слово, больше не буду!» Но эта детскость серьезна: такие самозапреты меняют поведение человека – ломают или проявляют что-то истинное в нем! Так возникают варианты трусости и варианты бесшабашности. У одних – вера в свою неистребимость. У других – обезволенность тростниковой тленностью. И как это может сказаться в ходе существования – предугадать невозможно.

Во мне уже год как сидела и не раз выскакивала по поводу примирений с ровесницами дурманящая душу строфа Пастернака – с одной из последних страниц «Сестры...»:

Так пел я, пел и умирал.  
И умирал и возвраща́лся  
К ее рукам, как бумеранг,  
И – сколько помнится – прощался.

Думаю, строфа эта вспомнится мне, вольнопишущему, еще не раз. А здесь как нельзя более кстати понять «ее руки» метафорически: это о возвращениях из умираний в руки жизни! Любимое занятие жизни – запускать нас, как бумеранги...

Друг мой вышел из воды свеженький, хоть и синеватый. Густо сказал, как Бурлюк у Маяковского: «Хорош-шо!». Драматизм случившегося со мной не произвел на него впечатления. Он резонно разъяснил, что я «не учел явления морского отлива – хоть и слабенького в закрытых морях, но реального»:

– Отлив помогал тебе плыть туда и мешал плыть обратно.

Это истощало проблему. Остальное он перечеркнул строкой Маяковского: «Кто над морем не философствовал – вода!» И точно так же перечеркнул бумеранговую строфу Пастернака.

...Он любил Маяковского. Мы вместе его любили! А Пастернаком его, как и астероидного друга моего, не знобило. Но совсем по-иному. Он жаждал ясной причинности и революционной целесообразности.

Он был почти на два года старше меня и являл собою полную противоположность мальчику без ямочек, каковой был почти на два года меня моложе. Это срединное положение моего возраста нечаянно отражало мою полупривязанность к обоим. Нет, словечко «полу» плохо описывает то, что было. Оба моих приятеля порою вызвали во мне приступы ревнивой зависти к их непересекающимся достоинствам. Тут к успехианской мании эпохи прибавлялся соревновательный дух

самой юности. И фраза Лена «ты за мной не тянись» годилась лишь в воде и лишь на один вечер. Но должен признаться, вовсе не редко я ощущал себя с каждым из них порознь «недотянувшимся». Однако же видел, что и они кое в чем не дотягивали до меня. Моим постоянным выигрышем были стихи. Я знал и принимал в поэзии все, что и они, но сверх того у меня были Хлебников и Пастернак! Правда, лишь с годами стало проясняться, – не им, а мне, – как это было много...

Не могу вообразить даже минутного разговора между ними... «Твой Г. – старомодненький архимистик!» – в ленинском стиле пробасил бы Лен о младшем. «Твой Л. – носитель задопьятства!» – в андреевском духе процедил бы Грантик о старшем... Словом, мне бы в голову не пришло одновременное общение с ними. Знакомы они были только шапочно, а знали друг с другом во мне. И теперь снова ненадолго сошлись в моей душе, сами того не подозревая!

Нынче наши возрастные различия ни малейшей роли уже не играют. Но как непредвиденно сошлись начинающие старики в начинающем старике! И теперь я вижу: осторожней надо возвращаться в свое прошлое. Ты уверен, что возвращаешься в знакомое. А там замок с шифром. И, оказывается, через это парадное в собственную юность тебе не войти. А справиться о шифре не у кого.

И еще одна есть напасть. Ее выразил библейский Иезекииль в бессмертной формуле: отцы ели кислый виноград, а у детей зубы отёрпли! Нашим отцам такого винограда досталось вдоволь. Но и мы – поколение ровесников революции – в свой черед наелись его сверх меры. И отёрпность возведена у нас в квадрат. К тому же она варьируется, эта историческая оскомина, от души к душе. Зубы соревнуются в отёрпlosti – у кого погорше... Смешно. Но до слез.

## 22

Для симметрии я, конечно, позвонил Лёну. Оказалось: он только-только вышел из больничного ремонта после автомобильного происшествия. Голос его был все тот же – нестигаемый, попутно-думающий, коренастый. Он сдержанно-нежно подивился моему звонку: и впрямь – с чего бы? Ничто сегодняшнее или когда-то затеянное нас не связывало. Заговаривать ни с того ни с сего о Пастернаке – было бы до крайности несуразно. Однако нечаянно нашелся повод.

– Послушай, – объяснил я, – мне позвонили с приглашением на юбилейную встречу однокашников, а ты придешь?

– Не выйдет, друг мой, – сказал он, подумав, – я буду еще не в форме.

– И я не в форме.

Господи, в былые годы спор поднялся бы, что значит «быть не в форме». А теперь все мирно исчерпалось за полминуты. Разговор легко



покатился дальше и докатился до Пастернака самым естественным образом, когда я осведомился о его сыновьях.

Он вздохнул (чего прежде не бывало) и усмехнулся (что бывало всегда). И не очень охотно признался, что общение с сыновьями дается ему нелегко. Особенно – с младшим.

– Я, видишь ли, должен расплачиваться за то, что это мы создавали мир, в котором они живут!.. А мой младший не далее как вчера заявил: «Твой Маяковский – дурак!»

Я присвистнул. И тотчас сообразил, что это отличный повод повернуть разговор, как мне нужно:

– Послушай, а что у него с Пастернаком?

– Нравится! А как же?! – и в голосе моего приятеля была горьковатая усмешка. И со старой своей потребностью ставить точки над всеми «и», он договорил: – Но мое божество по-прежнему ранний Маяковский!

Однако слово «божество» показалось мне новым в его словаре. Оно явно отражало накал противостояния отца сыну. Он не спросил, как обстоит дело со мной: верил в солидарность поколения – в нетающую сосульку детства-отрочества-юности. И я мысленно поблагодарил его за уверенность, что – как и прежде! – моя любовь к Пастернаку не могла нанести урона моей привязанности к тому же раннему Маяковскому.

Потом он сказал, что я ведь знаком с его младшим. Не успев довозразить «откуда ты это взял?», я вдруг все вспомнил. И главное – что то знакомство замешено было именно на Пастернаке! Как же меня сразу не осенило?

...В середине 70-х годов мне случилось выступить в библиотеке научного городка Протвино. Иначе – на Серпуховском ускорителе. Аудитория слушала жадно. И в рассказе о копенгагенском архиве Нильса Бора я с подчеркнутым доверием к точности пастернаковской метафоры помянул его строку – «мы были музыкою мысли». Это откликнулось поздним вечером в столовой Дома культуры. К моему столику подошли двое молоденьких физиков во всеуравнивающих джинсах завидной потертости.

– Вы цитировали «Высокую болезнь», – с не понравившейся мне улыбочкой сказал один из них. – Почему теперь выкидывают последнюю строфу поэмы?

– Теперь выкидывают? – переспросил я. – А почему «теперь»? Ее стали выкидывать, когда вас еще на свете не было... – И напомнил: – «Я думал о происхождении века связующих тягот. Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход...» Ну, что – непонятно, почему эти строки издавна выкидывают?

– Да, непонятно!.. – неожиданно сказал тот, что начал. – Пастернак

этой строфой признал, что при Ленине все было еще о'кей: без гнета! Зачем же выкидывать?

– Ах, такая вот логика! – сказал я, признаться, обезоруженный.

Затем меня позвали в машину до Москвы. Высокий тощий юноша пошел со мною через темный холл в качестве провожатого. И по дороге представился: «Я сын вашего старого друга». И назвал Лена. Я подосадовал, что поздно он это сделал, чудак: машина уходила, и не оставалось времени на расспросы. И присмотреться к нему в темноте было трудно. Мне он показался вторым – молчаливым – в той паре, что завела разговор о финале «Высокой болезни».

На освещенном тротуаре я увидел, что он походил на Лена четкостью черт волевого лица, но был заметно выше ростом. Полагаю, он принадлежал к лучшей – думающей – части поколения синих джинсов, как его отец принадлежал к лучшей – думающей – части поколения зеленых юнгштурмовок.

## 23

Все поколения – белки в колесе исторических предвзятостей и догм: религиозных, сословных, эстетических... Свобода допускаемого самопроявления человека измеряется диаметром выпавшего ему для кружения колеса. А на лесную волю выскакивают единицы. Они-то перекачаются через поколения. Пастернак был из числа выскочивших. (Или как-бы-выскачивших!) Еще и потому он у детей справлялся – какое на дворе тысячелетие?

Белочье кружение поэта в колесе истории мнилось заслугой. Оно и называлось не кружением, а служением. Обществу и будущему. И еще внушалось, что кружиться художнику надо бы по часовой стрелке истории, а не как попало. И уж тем более – не против ее движения. А для истинного величия поэту следовало время обгонять!

Маяковский обгон был гулливеровским. Сначала – в 15-м году: «Вижу идущего через горы времени, которого не видит никто». Потом – в 30-м: «Я к вам приду через хребты веков и через головы поэтов и правительств!»

Но был обгон истории и в уходе от ее скверны – мандельштамовский уход-обгон: «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе!»

Это написано было в марте 31-го, когда немногими осознавалось, как еще запросто будет бросаться на белку век-волкодав. Жаль, хоть это и несущественно, что те стихи до 73-го года ходили только в списках, а напечатаны были лишь однажды в алма-атинском «Просторе» середины 60-х годов. Почему «жаль» – объяснять не надо. А «несущее»

ственно» потому, что значащие стихи все равно живут не в книгах, а в молве.

Поэтически мандельштамовские стихи родились в судьбоносной преемственности: «кровавые кости в колесе», вероятней всего, шли от горько-есенинской строки Маяковского – «собственных костей качаете мешок». А психологически – тоже от беличьего кружения. Но не добротного, а подневольного.

Маяковский все думал о громаде исторического колеса. Мандельштам – все о человеческой малости белки. Но потому Маяковский, не дожидаясь беспощадного поворота колеса, сам и уничтожил белку-себя. А Мандельштам тайне надеялся, что выпрыгнет, а уж в вольном лесу его «только равный убьет»! Неужто он не видел, что поэтов никогда не убивали «равные». Даже на дуэлях! А всегда оно – колесо! Всегда это было, как у Цветаевой: «Отцеловал? Колесовать!»

И еще другое цветаевское, где тоже крутится в неволе человек-поэт, тут совершенно в лад:

Так в ткань вработываясь, ткач  
Ткет свой последний пропад.  
Так дети, вплакиваясь в плач,  
Вшептываются в шепот.

Так вплясываются... (Велик  
Бог – посему крутитесь!)  
Так дети, вкрикиваясь в крик,  
Вмалчиваются в тишь.

Поэты – чем масштабней, тем наглядней – ткачи и дети.

Бог истории – велик. И посему – крутились. И ткали свой последний пропад. Но только, вопреки ожиданию, Мандельштам долго вкрикивался в крик, а Маяковский взял да и разом в молчался в тишь. Кажется, историчней было бы им поменяться местами. Только как бы выскочила из колеса и Цветаева. А Пастернак?

Конечно, и он был не более чем как-бы-высочившим. Пусть не обманывает то, что ему удалось. А удалось ему втащить в колесо истории вольную лесную волю. И с владетельным ощущением этой свободы в колесе тгал он свой последний пропад. Задолго до доктора Живаго его голосом говорил лейтенант Шмидт. Еще в 20-х годах было вычеканено:

Я тридцать лет вынашивал  
Любовь к родному краю.  
И снисхожденья вашего  
Не жду и не теряю.

Скульптурная пластика человеческого достоинства высвечивалась в этом статном: «Не жду и не теряю»!

...Все подобное понимается нынче. Но не понималось в юности. По крайней мере – очарованными. А могло бы, могло бы, черт возьми, пониматься уже на той площадке летящего сквозь раннюю ночь трамвая, когда осенью 30-го девочка-мадонна вдруг сказала: «Арестован мой отец!»

Хотя бы отчасти могло пониматься, хотя бы отчасти! Тем более могло, что я ведь поспешил рассказать ей в ответ историю моего собственного... нет, не отца, а пока только брата отца (отцовская очередь тогда еще не подошла)!

## 24

Дядя технически консультировал в Берлине закупку германского оборудования для Донбасса. По этим инженерным делам он наезжал в Москву. Останавливался в Гранд-отеле на площади Революции, а вечера проводил у нас. Полнотелый, всегда прекрасно одетый, мягко-разговорчивый добряк. Он постоянно улыбался, и была у него странность в одном глазу – то ли косина, то ли преувеличенность зрачка. Станным было то, что это украшало лицо. От дяди Гриши веяло нездешним комфортом. Не нэпманским богатством – оно было знакомо мальчику-пионеру по другим московским домам, – а веяло чем-то читанным про дипкурьеров. Все чудилось, что есть у него плоский браунинг в заднем кармане – на всякий революционно-романтический случай.

Однажды – году в 26-м или 27-м. – он доверил мне поручение: передать редактору «Комсомольской правды» известному бородачу Тарасу Кострову посылочку с немецким инсулином. Надо было примчаться за посылочкой в гостиницу. И жадными глазами я впервые увидел в своей Москве другую Москву: горничных в белых наколках, великанские марки иностранных отелей на желтокожих чемоданах, праздничные этикетки на всякой чужеземной всячине. И среди прочего – немисливо прекрасный рулон туалетной бумаги с индейским названием «пипифакс». Чудовищным показалось: такой рулон такой бумаги для таких целей! Не помню, что я воскликнул, но помню, как дядя рассмеялся:

– А может быть, ты и прав, маленький дикарь!

После очередного своего возвращения из Берлина в Донбасс он до Москвы не доехал: не то в Горловке, не то в Харькове был арестован. Мама бросилась к нему на свиданье. Но поздно: он удушил себя в камере прочным немецким галстуком... Это случилось в преддверье печально знаменитого «шахтинского процесса». Он решил избавить себя от скамьи подсудимых...

А дома говорилось: самоубийство в тюрьме – знак невинности подсудимого. Ссылались на юридический авторитет дяди Феде – маминного кузена: он был шишкой в Наркомюсте или Верховном суде. Огромный рост и телесная могучесть дяди Феде служили для мальчика залогом непререкаемости всего, что от него исходило. Но главенствовало другое: он был братом героя революции, похороненного в Ленинграде на Марсовом поле, Семена Нахимсона, чьим именем назывался тогда целый питерский проспект – кажется, Загородный. И если «дядя Федя сказал», значит, так оно и было! Но с другой-то стороны...

Словом, ранним летом 28-го, еще до отъезда нашего пионеротряда в лагерь за Акуловой горой, я, красногалстучный, пошел тайком от родителей в Дом союзов на «шахтинский процесс». По нынешним временам почудится совершенно невероятным, что четырнадцатилетний подросток без всякого пропуска мог спокойно пройти на открытое заседание Верховного суда! Я слушал, как вели допрос Березовского и Матова непоколебимые стражи правосудия Вышинский и Крыленко. (И не думайте, что я сейчас выуживаю эти имена из каких-то «источников»: вот уже больше полувека сидят они, правые и виноватые, равно окаменевшие и нетленные в мальчишечьем уголке потрясенной памяти!) Я слушал и все ждал, ждал, ждал со сжатым сердцем – мелькнет ли имя инженера Плотке Григория Давыдовича, как преступника, заблаговременно свершившего казнь над самим собой?!

Этого не случилось ни в те два-три дня, что я там сидел, ни в другие дни долгого процесса. Дяди Федеина правота подтвердилась. Да и мыслимо ли было, чтобы оказался контрой брат моего отца! И для маленького дикаря это служило свидетельством праведности всего, что делалось именем революции. И один лишь крошечный вопросик оставался без ответа: зачем же надо было доводить до самоубийства всегда улыбающегося дядьку моего – столь очевидно хорошего человека?!

Ах, эти крошечные вопросики растущих мальчиков и девочек! С готовностью превращаются они в роковые вопросики исторического житья-бытья. Въехав на том вечернем трамвае в начало нашего сталинского Средневековья, я прикинул сейчас, что справедливой была бы и круто переименованная строка Пастернака: «Как крылья отрастали беды, не отделяя от земли».

Там дальше – совсем не пастернаковские, а символистско-блоковские строки из совсем другой эпохи:

Я рос. И повечерий тканых  
Меня фата обволокла.  
Напутствуем вином в стаканах,  
Игрой печального стекла,  
Я рос...

Да, только настойчивое «я рос» притягивает эти стихи сюда, где речь зашла уже не о любви, а о ненависти! Ею – ненавистью – заботливо и самоуверенно нянчила нас на каждом шагу прозреваемая классовая борьба. Конечно, и у ненависти есть крылья. Но крылья ненависти от земли не отделяют!

...Мне не возстановить, какими словами, после рассказа о моем погибшем дяде, говорил я девочке-мадонне о беде с ее отцом. Зная себя, совершенно уверен, что твердил ей утешающее:

– Вот увидишь, и с твоим отцом все кончится справедливо, лишь бы до суда он выдержал!

Профессор Рамзин выдержал. Не выдержала девочка. Об этом и напомнила мне ныне старая моя любовь из дома-домишечки в Большом Казенном: «Хочешь, я расскажу тебе о Люсе неприятную вещь в истории с ее отцом...» Поздней осенью 30-го Люся Рамзина однажды пришла в тот дом, дабы предупредить подругу: «Я вынуждена буду отказаться от своего отца». Удивительно, что я не сумел этого вспомнить сам. А меж тем меня тогда уже исключали из комсомола «за защиту дочери вредителя...». Это довольно долго тянулось, а сводилось к одному: я упрямо горячился на техникумовских собраниях – настаивал, что мы (искренняя была вера, что это «мы» все решаем!) не имеем права изгонять из техникума ни в чем не повинную девочку – не она же мегила в премьеры государства Российского!

*Та горячность мнилась юнцу принципиальностью, а называлась беспринципностью. Она мнилась ему твердостью, а называлась бесхребетностью. Она мнилась товарищеской верностью, а называлась классовым предательством.*

Смешно вспоминать, но для шестнадцатилетнего мальчика в том исключении уже не было новизны и непоправимой драмы. Оно стало третьим в его «общественной биографии»: ему предшествовали два исключения из пионеров по вздорным поводам. Сперва – за вызывающий отказ чему-то подчиниться. Потом – за лагерную затею с ночными привидениями в комнатах девчонок-клязниц. Все неизменно кончалось «восстановлением в рядах» по милости вышестоящего руководства. И не «воспитывало в ленинском духе», а только прибавляло гордыни непослушания. И соблазняло игрой в духовную независимость.

Сразу скажу, – для ясности, что ли? – кроме тех отроческих трех историй случились до моих сорока лет еще четыре исключения – два из комсомола и два из партии. Как-то в веселый час я даже пообещал моей маме написать мемуар «Семь исключений»... Именно ей пообещал, потому что в каждой из тех историй больше всего бывало жалко ее: непоправимым крушением виделось ей всякий раз то, что происходило. Я-то в некотором роде по привычке, а она, черт возьми моих исключателей, плакала!..

В пастернаковском «Возвращении» трижды повторяется строфа:

Я с ними не знаком.  
Я послан Богом мучить  
Себя, родных и тех,  
Которых мучить грех.

Все не могу уловить – шутливая она или драматическая? И с кем же это он не знаком? Но нечаянно стала она, эта строфа, навязчивым рефреном-иносказанием к неприятностям общественного существования. И всегда приходила на ум, когда после очередного собрания с сокрушительными оргвыводами надобно было на мамин распропащий вопрос – «ну, что?» – отвечать с беспечальной беспечностью: «Как, что? Исключили!»

... Я послан Богом мучить  
Себя, родных и тех...

А ведь на самом-то деле Пастернак ни к чему такому ни малейшего касательства не имел – ни одной своею строкой! Маяковский – имел, а Пастернак – нет. Отчего же и он нужен был очарованному юнцу, вместе с Маяковским? Не вместо, а вместе!

Чувствую: в подтексте этого вопроса может послышаться бахвальство вместимостью отроческой души – два полюсных поэта эпохи, не тесня друг друга, сосуществовали в ней. Верно: сосуществовали. И верно, что не тесня... Но совершенно неверно, будто были они полюсно противостоящими друг другу. Так это стало выглядеть со временем. Но на рубеже 30-х это выглядело совсем не так. Действовало правило почти без исключений: кто говорил про Маяковского – «не понимаю!», тот и про Пастернака говорил – «не понимаю!». И даже любовь-нелюбовь к обоим проступали в душах, как правило, параллельно... Это я не мнение высказываю, а просто докладываю, «как дело было».

Однако как же это растолковать? Ведь звучало у одного:

Мой крик в граните времени выбит,  
и будет гремять, и гремит,  
оттого, что  
в сердце, выжженном, как Египет,  
есть тысяча тысяч пирамид!

И почти одновременно звучало у другого:

Давай ронять слова,  
Как сад – янтарь и щедру,  
Рассеянно и щедро,  
Едва, едва, едва.

Могли ли совмещаться такие несовместимости? Да ведь соседствовали и полные совместимости: один, как известно, показал на блюде студня «косые скулы океана», а другой, как известно, показал, что дорогу нельзя перейти, «не топча мироздания». И эти сходства открывали то, что скрывали расхождения между ними: их рождение во чреве одной поэтической эпохи. Глубинное братство и мирное их сосуществование в отроческой душе казалось таким естественным, что в объяснении не нуждалось. Нуждаться в нем оно стало потом. Скверна всеразъединяющего времени! Оно действительно развело их по полюсам.

Так отчего же, по нынешнему разумению, понадобился тогдашнему очарованному юнцу вместе с Маяковским Пастернак?

Не зрела ли в отроческом подсознании вместе с жаждой вращения в колесе истории тайная тяга на вольный простор? Или иначе – тяга к поэзии вне социальных догм? К поэту без исторической запрограммированности? Или еще иначе: не прорастала ли сквозь бешеную сутолоку буден завязь иных вождений – немаяковских? И тут уж надобен был поэт, не имеющий касательства к несправедным вакханалиям нашей общественной жизни.

Если верны такие предположения, то, право же, не напрасно рассказывалось тут все, что рассказывалось.

...Сознаю: давно пора отлипнуть от своего затянувшегося отрочества. Сколько слов уже истратилось, а сказка – вся впереди. И на шестнадцатилетие понадобятся еще новые слова, потому что осенью 30-го года у мальчика из далекой от искусства семьи завелись первые литературные (и художественные) приятельства. А то и дружбы!

Вот-вот мог появиться на перепутьях сам Пастернак. И тут бы должна начаться –



«ТЫ  
ВСЯ –  
КАК  
ГОРЛА  
ПЕРЕХВАТ...»

**Э**та глава не может начаться, потому что в доме сем нынешней ранней осенью 81-го года поселилась смерть. Умирает Туся – жена – долгий друг всей жизни. Сорок с лишним лет.

Пока в минуты сонной тишины за проемом ее двери – теперь уже навсегда распахнутой – я посиживаю у себя за столом, прислушиваясь к возможному призыву и тихо настукивая эти страницы, медленно опрокидывается время: ночь за ночью близится ко мне опустошающее жизнь событие. Когда мы вдвоем – без медсестер и друзей – и я все глажу и глажу легко наполняющий ладонь, совсем уж безмускульный шарик ее плечевого сустава, и осязаю, как исчезает ее беззащитная плоть, от подушки вдруг отделяется тающий голос:

– Ты единственный, кто не понимает, что я умираю...

А я – единственный, кто давно понимает это, но понимать не хочет. Доктора – приятели и сторонние – все про всё это знают, а мне достается – понимать. Разные вещи: неукоснительность расписания и неотменимость судьбы.

Как прошлой осенью в больнице, так нынешней осенью дома она снова и снова вспоминает сказанное Пастернаком Ливанову. Тот жаловался, что Художественный стал ему невыносим – так неужто уходить из театра?! А Пастернак отвечал: «Куда ты уйдешь? Уходить надо с этой планеты!» Туся повторяет это тихо – с попыткой обманывающей улыбки: она сознает, что теперь уходит сама. С планеты.

Иногда отделяется от подушки другое тающее:

– Слушай, как это у Цветаевой?.. Да нет, помолчи...

И – молчание. Потом – открытые глаза. В них – последняя усталость и непроливающаяся влага. Разрывается душа от этих глаз. И свидетельствует: когда говорят – «у меня душа разрывается!», это бы-

вает правдой. Что же цветаевское она припоминает? Моя мать перед смертью – двенадцать лет назад – тоже вспоминала цветаевское, однажды ее поразившее: «Чем прогневили тебя эти серые хаты, – Господи! – и для чего стольким простреливать грудь?» Но других строк Цветаевой она и не знала на память. А о чем думает Туся? Я-то безошибочно знаю: о «Поэме конца». Но этого нельзя подсказывать. Потому что искусство тут кончается. Пришлось бы подсказывать: беду – пустоту – несуществование. Пастернак не написал простейшего, что Цветаева написала: «Расставаться – ведь это врозь. Мы же – сросшиеся!» Оттого и Туся – еле слышно: «Да нет, помолчи...» Она помнит-помнит, о чем те слова, столько раз читанные мною по ее повелению. И понимает, что они перестали быть произносимы. Они перестали быть только стихами. И уже не могут становиться молитвой... – поздно!

Туся – Ту – Т – Софья Дмитриевна Разумовская – умерла в середине сентября 81-го – дома – у себя на Аэропортовской. При открытых шторах – в утреннем свете синего дня.

Последний глоточек земного воздуха, жадно схваченный пересохшим ртом. Вдох без выдоха. И струйка притихшей крови из левого уголка остановившихся губ. «Это – все...» – проговорила ночная сестра Валентина Ивановна. И наклонилась над изголовьем с пеленкой в руках – отереть бегущую струйку. И – уверен – отгородить от изголовья меня. Через ее плечо я увидел, как бледно просветлело в успокоении лицо и как на чистых губах едва означилась улыбка освобождения. Душе захотелось прочесть в ней: «Спасибо – я умираю в любви...» И тогда неудержимым спазмом вдруг промокли мои очки. То была фраза самой Ту – еще больничная, одиннадцатимесячной давности... Сестра Валентина Ивановна обернулась: «Сядьте, ДС!» Я сел. И ничего не случилось в мире, кроме открытия: «Ее уже нет на свете!»

Внезапная трезвость – или свобода – или чувство обрыва за крайней чертой – толкнули руку дернуть мокрые очки и упереться невидящим глазом в часы. Зачем? Впервые за одиннадцать с половиной месяцев мне не нужно было знать точного времени. «Девять двадцать...» – сказала Валентина Ивановна. И я повторил: «Девять двадцать...» И она поняла, почему повторил: «Да, пять часов!» – сказала она. И еще раз: «Господи, пять часов!»

Пять часов – с 4.10 той глухой сентябрьской ночи – длился сотрясающий всего человека напрасный приступ его последней мощи: судорожное, сначала – тридцать два раза в минуту, а в конце – не более восьми раз в минуту, тщетно догоняющее уходящую жизнь, то самое – историческое – дыханье Чейн-Стокса... Двадцать восемь лет назад, когда в 53-м умирал Сталин и мы впервые услышали об этом дыхании смерти, Туся спросила: «А что это такое?» Не умея объяснить, что это такое, я говорил о последнем испытании, которое природа посылает

человеку. Мама, старый врач, сказала, что справиться с этим человеку трудно. Дома никогда не забывалось, как Туся с надеждой переспросила:

– Трудно или невозможно? И почему вы оба говорите – «человеку»? Он – не человек!

Я шумно согласился, а мама молча поднялась и ушла к себе – подальше от нашего кощунства. Это от двадцатого века уходил со своей порядочностью девятнадцатый век. Странно подумать – мама была однолеткой Сталина: всего на два месяца моложе. В одном поколении, как во всех поколениях, соседствовали великодушные и низость! И многое другое – соседствовало...

Но все равно – и маму ожидало дыханье Чейн-Стокса. Через шестнадцать лет. Вижу ту глухую январскую ночь 69-го. Слышу ту напрасную погоню за ускользящей жизнью. И теперь – еще через двенадцать лет – снова: оно – то дыханье, она – та погоня. Пятичасовая погоня, оборвавшаяся в 9.20 утра.

«Пошли бы на кухню, ДС, – сказала медсестра, – я сделаю все, что нужно». Но пойти я не смог – повис на плече у двери. Потом пошел. Повис на плече у холодильника. Пересчитывал в кювете – четыре или шесть? – опустевшие ампулы с оторванными шеями: последние наркотики той ночи. Это было смертной материализацией пастернаковской строфы, которую обожала Туся:

И, наколовшись об шитье  
С невынутой иглой,  
Внезапно видит всю ее  
И плачет втихомолку.

Но это было во сто крат безвыходней, чем у Живаго. Чем вообще бывает в литературе. Снизу – из грудной клетки – приступами накатывали неостановимые пустоты безысходности, а горло не успевало ни пропустить их, ни заполнить. Горла не хватало для этой тоски – расширяющейся, полной, бессловесной, на подробности не членимой: «Ее больше нигде не будет на свете!»

...Однако я остался на свете. И остаюсь. И остается все, что с нами войдет в поговорку. И потому – вслед за этой краткой неурочной главой, далеко от нее не отрываясь, все-таки должна начаться очередная, теперь уж –

«ЧТО  
В ТОМ,  
ЧТО  
НА  
ВСЕЛЕННОЙ –  
МАСКА?»

1

**Г**лава эта пишется через полгода – на Рижском взморье, где переменчивый март зовет весну. Два водных пространства – реки и залива – сближаются плавными изгибами, вырезая по-птичьему обозримый с восьмого этажа дюнно-сосновый перешеек суши. Он густо обитаем разноцветными фигурками безгласных в отдаленье людей, белесыми кулисами туманов и устало зелеными волнами неумирающей хвои, нерусскими шпильями докатившейся сюда Европы и русскими крышами докатившейся сюда Евразии. Он что-то значит, этот перешеек. А что – не уловить трезвомыслием и не высказать логически. Тут нужна бы музыка с ностальгией по земле и небу, соизмеримая с шубертовской «Аве Мария» или, как самая малость, с тем пастернаковским Шопеном, что «опять не ищет выгод». А уж если понадеяться на слова, то разве что на хлебниковскую призрачную прозрачность с неотделимым от музыки смыслом:

Всюду тени те  
меня тянете,  
только помните –  
здесь потонете...

Тут есть где тонуть воображению и памяти. Она не без умысла подсказывает, что это ведь здесь, в водах Лиелупе, – тогда она называлась Аа, – зачем-то утонул двадцативосьмилетний Писарев. Память хочет напитать воображение великодушием случая – смертью без умирания! До такой милости природа снисходит редко.

Природа заставляет жизнь исчерпывать себя до нуля – до доньшка. А отрада существования кончается задолго до этого. Есть промежуточ-

ный финиш. С него начинается самое скверное – пытка исчезновением. Да раз уж все равно – исчезновение, зачем же еще и пытка?! В перечень дисгармоний природы Мечников мог бы, рядом с муками рождения, вписать и эту неоправданную муку. Выключатели жизни срабатывают с опозданием. Небрежность природы порою исправляет только Случай. Но и он – безрассудный – часто ошибается: избавляет от умирания преждевременно... И об этом напоминает Аа-Лиелупе, не позволившая Писареву дотянуть до тридцати и совсем уж мальчиком погубившая сына незабвенного Вани Халтурина – старинного друга. Всегда это омрачает Дубулты.

...Справа в огромной раме современного окна – заснеженная до далекого леса луговая пойма властной реки. И там угадывается Россия. А в той же раме налево – уже свободная ото льда сине-серая Балтика. И там за горизонтом угадываются страны Запада. Мы же – на узкой полосе земли, разделяющей две дали. Не в этом ли и заключена бессловесная тайна нашего перешейка?

Да и в самом деле: где бы на время ни приземлились мы, бедствующие воспоминаниями и спасающиеся надеждами, где бы ни застали нас осень или весна, дела или праздность, наша душа обитает на перешейке между Евразией и Европой – между далями двух разных историй и разных культур. А принадлежит обеим! Ну, не равно обеим. И не всегда. Да только точные измерения не осуществимы. И суть не в них.

Мы – люди перешейка. И в нас пересекаются дали. И этим далям не дано по отдельности увести нас навсега за собой. Наши корни – в земле перешейка. Это не в похвалу и не в осужденье, а чтобы уяснить себе, – по слову доктора Живаго, – «кто мы и откуда». И еще прикинуть – отчего нам бывает так неуютно в нашем пространстве-времени...

Уяснение таких вещей трезвой логике не поддается. И обе половинки странного вопроса – «кто мы?» и «откуда?» – произносятся душой не в ожидании разумного ответа. Сам вопрос серьезней его возможного решения, а вернее – невозможного решения! Драматично, когда этот двоящийся вопрос вообще заводится у человека. Да еще в эпоху догматической всеобъясненности, когда десятилетиями мнилось понятным все прошлое человечества и расчисленным все его будущее! Это ведь пренебрежение прописями классового обществоведения – спрашивать: кто мы? И пренебрежение прописями надклассового национализма – любопытствовать: откуда мы? Что за категория – «люди перешейка»? И что за притча – «пересечение далей»?!

В этих метафорах – вместо определений – есть что-то старомодное, как бы дважды довоенное – такое, будто не было двух мировых войн и не распалась связь времен. Будто не чадили гитлеризм и сталинизм с их беспощадно четкими догмами должного поведения человека в

истории. Будто отошло и забылось, как они перерезали глотку человечеству, полагая, что перерезают глотки друг другу, и не сознавая, – или, напротив, отлично сознавая, – что они суть исторические побратимы. Будто... – но, право же, довольно красноречия. В случайно не перерезанной глотке колом сегодня стоит приказная философия. И я не буду выискивать железных определений вместо туманных метафор.

Люди перешейка на пересечении далей! – вот и достаточно.

Тянет дышать предрассветной влажностью и утренней отрадой одиночества. А делать прозрачнее эти туманности – все равно, что опреснять живую воду: выпадает соль существования души.

В общем, надо, очевидно, условиться: кто чует под ногами перешеек и слышит в себе притчу о далях, тот и самоопределится, как «человек перешейка». Замечая, что таких людей становится все больше с годами. Отчего бы?

...Наташа М. услышала рассказ таксиста о воспитательном инструкторе в шоферской школе: «Мы проиграли молодое поколение!»

Проигранное одним партнером – выигрывают другие. Сильные партнеры-противники нашего опостылевшего догматизма и одуряющего вранья хорошо известны. Инструктор – для предметной понятности – настаивал на «западных джинсах» и на «всем всё до лампочки». Посерьезнее – все национализмы и все цинизмы, водка и анаша. Но немало начинающих душ выигрывает ко благу и наш перешеек! Они поселяются на скрещении далей, где человека удерживает от близлежащих соблазнов изолгавшейся жизни прикосновенность к неумирающим ценностям сущего.

Жалею, что начал с названия далей – Евразии и Европы. (Хорошо, что хоть удержался от «Востока и Запада» или «Европы и России».) Это мнимая содержательность... Дали излучают таланты, природа, история, музыка, книги, картины, аудитории, сцены, ночи, застолья, дороги-дороги-дороги... И несть этим далям числа. А название только их укорачивает и высветляет в трюизм. И невольно разъединяет дали. Меж тем перешеек – не разъединение, а единение! Он – полоса отчуждения от вражды...

У жизни самой-себе-врущей хоть и завидные, но непрочные радости власти, карьеры, тщеславия. А у перешейка – совестные ценности человеческого достоинства и сохранения личности: ее единственности и вольной приобщенности к необъятному миру. Понятно ли это? – но самые дорогие ценности добываются не корысти ради и без борьбы: рыночно они ничего не стоят и за ними в очереди не стоят. На перешейке, как за щедрым прилавком, горизонты отпускают каждому нечто невещественное, да зато сколько кому захочется: они отпускают дали!

Софья Дмитриевна Разумовская была человеком перешейка. И далее горизонты отпустили ей вдосталь.

...У нее было любимое выражение, возможно – цитата из литературной классики (она ее знала вдоль и поперек): «Нас связывает преступление тайных дум». И тотчас – чуть асимметричная улыбка, полная ума, доверительности и соблазна. Я впервые услышал эту фразу еще до войны – однажды вечером – в ее комнатке-пенале на Дмитровском. Нас освещал только нездешний свет зеленого глазка приемника-супергетеродина – третьего лишнего – мирового свидетеля, подосланного в ту тесную темноту самой планетой. «Нас связывает преступление тайных дум» – это касалось тогда лишь нашего грешного проживания на земле, а нашего трудного проживания в истории не касалось. И голоса планеты за зеленым глазком только заглушали наши тихие голоса.

Позднее, после войны, когда я стал ее мужем и когда трагически определилось, что за годы войны с фашизмом сталинизм ничего не забыл, но еще и сам научился всем вариантам националистического одичания, слова о преступных думках зазвучали в нашей жизни совсем по-иному. В тревожные ночи и дни общественной скверны и вечно дурных предчувствий первых послевоенных лет («меж тем никогда мы так весело не пили и не радовались друг другу!» – говаривала Т. о тех днях и ночах) сколько раз она повторяла не мне одному, а и близким друзьям:

– Нас связывает преступление тайных дум!

И всякий раз – чуть несимметричная улыбка, полная ума, и уж если не молодого соблазна, то нестареющей прелести, без стараний покорявшей каждого.

Случился день, когда я увидел покоренного Пастернака. И поразился бестрепетности, с какой адресовала она и ему, впрочем старому и доброму своему знакомцу, ту парольную фразу: она ни на мгновение не сомневалась в праве на это.

...Тверской бульвар был зеленый. Дом Герцена – желтый. Тоненькая Т. вся в голубом. Стройный Пастернак – весь светло-коричневый. Встреча была такой праздничной по краскам и такой легкой была теплынь, что хотелось стоять и стоять на воле. Мы и стояли – с ним, только что вышедшим из Литфонда.

Катилось раннее лето 47-го года. Точнее не скажу. Но тут лишь то и важно, что Пастернаку тогда было вовсе не весело. Не затихали дурные слухи о запретах на издания БЛ после сурковской статьи против него. А та статья была завуалированным ответом английскому критику Симону Шиманскому, скрытому в недрах множественного числа – «реакционные зарубежные критики». А Шиманский, в свой

черед, как бы отвечал Жданову на его литературный погром 46-го года. И восхищенно противопоставлял Пастернака всей официозной советской поэзии. Алексей Сурков так хищно набросился на противопоставляемого, что даже забыл о своих привычных повадках «гиены в сиропе» (как давно окрестили его в литературной среде): доносительно клеймя Пастернака, сиропа он на этот раз не тратил, и его статья в «Культуре и жизни» звучала угрожающе.

...Не чувствую меры подробности, с какою стоит здесь отвлекаться на рассказ о недолгом, но надолго памятном существовании той палаческой газеты. Уже вымирают ее авторы и жертвы. Так те, что живы покуда, должны же хоть немного о ней рассказать!

Я удостоился на ее страницах разгромной статьи Семена Кирсанова, хотя он-то отлично знал, что «Культура и жизнь» выносит приговора, нигде обжалованию не подлежащие. Он мог бы удержаться, вовремя оглянувшись на свою трибунно-дискуссионную маяковскую молодость. Мог бы молча подумать: «Стукну-ка я его в открытой драке, а так... стыдно». Не удержался и не подумал. Не мог: защищая от меня одного своего эпигона, он в действительности просто «прекращал» меня, как критика, за другую мою статью – против него самого. Она обидно называлась «Несостоявшееся чудо». Какого числа Семен Кирсанов мстительно прекратил меня – лень доискиваться. Зато помню дату сурковского доноса на Пастернака: 21 марта 47-го.

То был орган Управления агитации и пропаганды ЦК. И шутя – опасно шутя! – писатели называли «Культуру и жизнь» Александровским централом, ибо начальствовал в Управлении Георгий Федорович Александров. Позднее он был уличен в протезировании тайному дому свиданий с актрисами, то есть в забавах, никому не вредивших, хоть и свинских, конечно. На страницах его централа забавлялись людскими судьбами.

И уж не могу не насладиться воспоминанием, как я знал Георгия Федоровича в студенческие годы. Мы с Леном Рощевым, неумолимо-логическим моим другом школьных и университетских лет, напрасно пытались получить у профессора Александрова консультацию по «Малой логике» Гегеля, когда зачем-то принялись добровольно ее изучать. Мы не услышали ни одного ответа ни на один вопрос! Выяснилось: руководитель всеуниверситетской кафедры философии никаких гегелевских сочинений в натуре не проходил, хотя эти сочинения были, как он доверительно сообщил нам с Леном, одним из трех источников марксизма.

Думаю, он и Пастернака не проходил. Иначе, на правах редактора, все-таки попросил бы интеллектуального богача Суркова убрать из его статьи, по меньшей мере, две не очень точные фразы: о «скудных духовных ресурсах Пастернака» и о «нищете духовного мира Пастер-



нака». Но нет, ни о чем таком Георгий Федорович не попросил Алексея Александровича: «Культуре и жизни» культура была без нужды, а жизнь – тем более. (Я же называю тут обоих по именам-отчествам не слога ради, а потому что имел честь так обращаться к ним в деловых обстоятельствах.)

...Тогдашние беды БЛ естественно вторглись в его разговор с Тусей у Дома Герцена. Себя исключаю: я, как всегда немевший при нем, тотчас оказался сбоку припека. Зримо ощущалось: ему по сердцу было радостно жаловаться этой красивой женщине – милой приятельнице – на словно бы комическое обилие своих невзгод. Меж ними не чувствовалось никаких несовместимостей, точно она была памятным событием его влюбчивой юности, когда сама еще не вышла из отрочества. Они выглядели издавна принадлежащими одному кругу... Он отвечал с порывистой словоохотливостью, валя в одну кучу Шиманского, Суркова, болезни детей, неприятности с переводами, досадное малоденежье, редакторские претензии, дачно-огородные неурядицы и какие-то свои оплошности с Литфондом. Туся сочувственно смеялась, а я блаженно-глупо улыбался.

Борис Леонидович выговаривался так, будто рассказывал, какой он везучий и как славно-снисходительна к нему жизнь.

...Ни Ту, ни я дневников не вели. Она этого вообще не любила, а я полагал, что все достойное и так буду помнить всегда. Записи делались редко. Была еще фундаментальная причина, по которой от двадцатилетия – с середины 30-х до середины 50-х – дневников осталось наверняка маловато: вдруг выпадет ночной визит к тебе – будет обыск, и, без вины виноватый, ты станешь доносчиком на себя самого и ближних!

В ту послевоенную пору вольнодумствующий генерал-партизан Петр Петрович Вершигора, – Софья Дмитриевна выводила в литературные люди его «Людей с чистой совестью», и мы тесно дружили домами, – просто приказал мне избавиться от двух трофеев. Во-первых, выбросить к чертовой матери австрийский штык-кинжал: «Не память о войне, – говорил ПП, – а хранение холодного оружия с террористической целью, статья такая-то, ДС, и не отбрешетесь!» Во-вторых, уничтожить все топографические карты, сбереженные на фронте, и среди них – простить себе не могу! – авиационную миллионку Европы, саксонский трофей 45-го: «Не память о войне, а сбор и хранение секретной документации, статья такая-то, ДС, и будь здоров!»

Тяжко и стыдно сказать, сколько еще неоценимого и до поры хранимого провалилось в фановую трубу на Дмитровском... Однажды я напрочь забил бумагами ее черное горло, а потом напаявал старика водопроводчика из Полиграфического техникума, дабы он, вытаскивая белые тромбы, не слишком любопытствовал – какие бумаги спу-

скал хозяин в сортир?.. Надежней было не обременяться бумагами. Потому и канули незаписанными неправдоподобно-безрассудные и драматически-прекрасные разговоры тех лет. Вместе с ними – почти все пастернаковское.

Благоразумие страха. За него надо расплачиваться. Хотя бы запоздалым сожалением.

...В тот час на Тверском бульваре хотелось, чтобы голос БЛ звучал потише. В Доме Герцена кончился литинститутский день. Мимо проходили, с интересом оглядываясь, разномастные студенты. А Пастернак не соразмерял своего возбужденного голоса с расстоянием до чужих ушей. Что это было? Игра против правил или беззаботная детскость? А может, самоупоенность?

Запомнилось о Суркове:

– Да-да-да, я его не читал... мне рассказывали... свинство неподсудности! Слепота безнаказанности!

И о Шиманском:

– Да-да-да, я и его не читал... мне передавали... слепота неуместности!

И тут случилось то, что точит меня до сих пор. И за что на обратном пути домой я хлебал презрение Т.: «Уж промолчал бы ты до конца!» А случилось, что во мне проснулся еще не отстраненный от должности руководитель Комиссии по теории литературы и критике Союза писателей. И я решил произнести:

– Борис Леонидович... а если бы вы сказали вслух об этой слепоте неуместности... что вы не во всем согласны с Шиманским... все кончилось бы... все было бы в порядке!

Он подхватил немедленно и все с тем же радушием, точно давно только и ожидал такого предложения:

– Да-да-да, вы правы! Но это прочиталось бы так, будто я со всем согласен у нас! А я согласен не со всем. И даже со всем не согласен! – и он радостно рассмеялся словесной игре.

Это – не реставрация его слов. Униженное ими сознание хранит их, поверьте, достаточно точно. Настолько, что это можно считать «цитатой из Пастернака». А за той словесной игрой – без паузы – последовала парольная фраза СД: «Нас связывает преступление тайных дум!» Он потянулся к ее руке, и снова – как бы не давая выроненным словам упасть – заговорил стремительно и благодарно. В памяти только обрывок: «...идите-идите-идите, вы сказали мне незаслуженно много!» Относилось ли это ко всей их беседе или к последней фразе Ту – не знаю.

А знаю вот что: я жил в те минуты на скрещенье их далей. И пока молчал, чувствовал себя счастливым.

Пишу это переменчивой легкой весной. А по настроению – глухою порой листопада. На обжитом перешейке. А по ощущению – на затерянном островке. Через полгода после ее смерти. А по чувству – через годы.

Кроме всего прочего, виною тому Пастернак.

В моей пустыне поэзии, – пустыня моя, а не поэзии, ибо она-то, напротив, как песком, набита новенькими стихами и, как барханами, новыми одаренностями, – в моей нынешней пустыне поэзии Пастернак видится так далеко ушедшим, что уводит за собою в историю и всех, кто бывал с ним рядом. А СД бывала. Об этом-то здесь и рассказ. Но она сама об этом уже не расскажет. Для меня же этот нерассказанный ею рассказ – как маленький реквием, пунктиром слышимый издали.

...Ее последним часам – погоне Чейн-Стокса – предшествовали последние дни. Медленная безнадежность.

За девять дней до конца – ночью – приоткрытые глаза и голос из темной глубины: «Я знаю, ты втайне прощасься со мной навеки...» И потом – в дозволенное приходом ночной сестры получасье прогулки по облетающей листве нашего аэропортовского двора – внезапные строки:

*...Испытующий взгляд из-под век: – Ты со мною прощасься втайне навек? – И на белом лице одинокие веки, и замедленный взгляд из-под век, и сидит у постели ночной человек, одинокий навеки!*

А за четыре дня до конца в минуты напрасной попытки хоть чайным глотком удержать исчезающее ее плоти – еле слышное снова из темной глубины: «Наклонись...» И нежданный порыв безмускульного объятья, и снова – глаза, которые нельзя пересказывать. И потом – в очередное получасье ночной прогулки вдоль спящего дома – снова внезапные строки:

*...Она последними руками мне слабо шею обвила и горькими без слез слезами всю вечность смерти излила. Мне эти слезы не избыть. Мне эти руки не забыть!*

И это – правда. Сколько бы счастливостей-несчастливостей еще ни припасла мне жизнь, отошедшего не избыть. Единственное, от чего нам никакой ценою не откупиться, это мы сами: нельзя попросить даже временного убежища в другом. Древнее «все свое ношу с собою» было сказано не о нажитом. Это о прожитом. Язык беднее жизни: у слова «убежище» нет близнеца – «неизбежище». А такое место на свете есть. Я в нем живу. И знаю его адрес по координате времени.

В молодости порою думалось о жизни чужими стихами – прекрасными. Но собственными – ненадежными – нет. Откуда они появляются в часы потрясений, да к тому же без спроса? Это не об их хорошесть или плохость, а о загадке самого их рождения.

Откуда эта, говоря по-цветаевски, надобя измученного сознания в пульсации речи – в повторениях – в ритме? Может, это детская люлька души – младенец в беде на качалке материнских коленей поэзии или на качалке ее милосердных рук? Или, напротив, эти пульсации – расходящиеся волны от тяжелого камня, падающего в глубины души?

Убеждаешься в одном: поэзия – не литература в школьном смысле словесного отображения сущего, но волновое начало в самом естестве жизни. Начинает чудиться: она – из разряда неразгаданных биоритмов человеческой натуры. И словно бы есть для поэзии в нашей плоти свои часы-бригет со звоном. Они заводятся на всю жизнь генетическим кодом. Но патологоанатому их не найти, потому что они исчезают в нас вместе с жизнью – с последним волновым всплеском энцефалограммы перед ее плоским выравниванием навсегда. Но есть же в иммунной защите нашей биологической единственности до сих пор не открытый орган – тот, что у птиц открыт (и называется красиво бурсой Фабрициуса). У человека его заменяет, очевидно, нечто более совершенное...

Пусть это стодится как громоздкая метафора для пульсирующего в нас начала поэзии. Или – неслышной музыки. Оно, это начало, то рассылет вокруг знаки нашей единственности, то костенеет безгласно в смирительной рубашке мира. У иных, – они-то и называются талантливыми художниками, – эта пульсация достаточно могуча, чтобы вызывать ответные резонансы в людях. И тогда чужое по происхождению становится нашим по обладанию! Способность к ответному резонированию – в свой черед – талант.

СД ничего не писала. Она резонировала. И талант отзывчивости был у нее редкостным. Пастернаковские волны не замирали в ней до конца.

#### 4

Был день на исходе лета, когда я впервые понял, как беспощадна щадящая мощь наркотиков. Одурманенная Ту спала, как бы не участвуя в собственном сне. И кухня моя С., сторожившая ее сон, тихонько сказала: «Смотри, она совсем отсутствует...» Мы подавленно молчали. Потом наступила странная минута: с подушки уставилась на нас серая голубизна совершенно незнакомого взгляда, и незнакомый голос изда-лека спросил:

– А кто вы такие?

Вопрос был немислим – как удар по лицу! И вместе – захолонуло в груди: не предсмертный ли это бред?! «А кто вы такие?» А правда, кто мы такие? И вдруг осенило: с освобождающей веселостью я продолжил Тусин вопрос голосом Пастернака, как мне это всегда удавалось:

– ...Мы племя пастушье и неба послы...

Наградой за ту мгновенную догадливость были закрывшиеся веки

и помедлившее подобие улыбки. Послышалось непроизнесенное: «Ты верно понял...» А я объяснил немножко обескураженной моей С. (она могла не знать стихов доктора Живаго):

– Это из «Рождественской звезды» Пастернака. Послушай...

У камня толпилась орава народу.  
Светало. Означились кедров стволы.  
– А кто вы такие? – спросила Мария.  
– Мы племя пастушье и неба послы,  
Пришли вознести вам обоим хвалы.

У меня прервался голос. Тогда это постоянно случалось со мной – по причине сна без сна и круглящегося в горле кома. Но совсем прерваться и замолчать тут было нельзя, как нельзя было бы взять да и отхватить кусок холста от какого-нибудь старинного «Поклонения волхвов»:

...Средь серой, как пепел, предутренней мглы  
Топтались погонщики и овцеводы,  
Ругались со всадниками пешеходы,  
У выдолбленной водопойной колоды  
Ревели верблюды, лягались ослы...

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,  
Как месяца луч в углубленье дупла.  
Ему заменяли овчинную шубу  
Ослиные губы и ноздри вола...

Сравнение со старинным холстом пришло тут на ум тоже из воспоминанья, но отодвинутого назад еще на четверть века.

Году в 57-м, когда готовился третий – так и не вышедший – сборник либеральной «Литературной Москвы», Эммануил Казакевич мечтал напечатать там «Рождественскую звезду». По тем временам это было цензурно неосуществимо. Следовало придумать спасительную уловку. И он ее придумал.

– Эмик, вы – гениальный редактор! – с безрадостным знанием дела сказала ему тогда СД. – А что Борис Леонидович?

– Не согласился! – с досадой, но весело ответил Казакевич.

– Кажется, вы не очень огорчены? – спросила СД.

– Да! Не очень! Мы все уступаем. А он – нет! Нет – и всё!

Уловка же была замечательно проста: дать стихотворению заглавие (или подзаголовок – точно не помню) – «Старые мастера». Стихи мгновенно становились проходимыми – без жертв: вся вещь, как целое, сразу перемещалась из сферы религиозного сознания в сферу изобразительного искусства!

Однако этого-то и не захотел принять Пастернак. «Ему привиде-

лось предательство веры», – пересказывал Казакевич. Был ли прав Пастернак? Я с горячностью говорил: «Нет!» И Эмик – тоже. И сначала Ту соглашалась с нами. Она, как и мы, жалела, что Пастернак не пошел на «вероотступничество». Оно выглядело столь несущественно-крошечным, а стихотворение – столь существенно-громадным, что ради неврежденного его опубликования... Но нет, лучше остановиться! С Ту что-то происходило. Однажды она напала на меня:

– Мы не можем быть судьями БЛ! Особенно ты – старый юный пионер с красным галстуком. Ты не понимаешь: для него вся та история с Эмиком была как в Евангелии – не успеет прокричать петух, как трижды Петр отречется... Не возражай! Вы сами это говорили. Но не понимали. Понимали слова, а не Пастернака. Слова, а не его самого!

Естественно, я оскорбился. Всегда убежден был в обратном: мог не понимать иные его «слова», но всегда ощущал его по нескромной формуле Маугли – «мы одной крови, ты и я!».

Однако Ту была, по-видимому, права. В своем полном – исчерпывающем! – безверии я не мог совершить подвиг воображения: реально представить, что для Пастернака действительно существовал Бог – с большой, бытие утверждающей, буквы. Не пантеистический – растворенный в природе. Не метафорический – растворенный в душе. А такой Бог, что можно обратиться к нему с надеждой быть услышанным, а напоследок благодарно оповестить его: «Ты держишь меня... и прячешь...» Ничего поделать с собою не мог – не представлял пастернаковского Бога. И все-таки продолжал чувствовать – «мы одной крови, ты и я!».

Мне всегда казалось, что христианство Пастернака – эстетического происхождения. Конечно, еще и этического, но не более чем, как у многих. А мне не хотелось прозревать в Пастернаке хоть что-нибудь важное «как у многих». И нравилось думать, что он пленился идеей Бога и верой в доподлинное явление Сына Божьего только как духовными реалиями евангельских преданий с их поражающей красотой. Он превращал их в реальные реалии – в сущее. Это было сохранением прекрасного в мире. Кому же и сохранять его, как не художнику с головы до пят!

Мне всегда казалось, что он обольстился прежде всего фантастической нетривиальностью фигуры Христа. Не знающей ни предварительных репетиций, ни последующих повторов трагичностью его проповеди, несовместимой с человеческим здравомыслием. И трагичностью его гибели на кресте во искупление не собственной, а чужой – всеобщей – греховности.

Словом, мне нравилось – и нравится! – думать, что Пастернака покорила в христианстве однажды сбывшаяся и явленная красота человеческой свободы в распоряжении своими запасами человечности. Иначе –

запасами любвеобилия. И, может быть, еще больше пленила его в Евангелиях грандиозная одаренность человеческого воображения.

Я заметил: в «Докторе Живаго» слово одаренность со своими производными, включая отрицательные, едва ли не самое значимое. Оно там особое слово! Недаром сдвоенными голосами Христа и Живаго там осуждается бесплодная смоковница за бесталанность: «О, как ты обидна и недаровита!» Что за довод в устах Спасителя, да еще для испепеления обделенной бедняжки?! Потрясающей одаренности Христа позволено даже своеобразие, оправданное уже одним тем, что он «алчет и жаждет» во всем даровитости, а тут на пути – «пустоцвет». Это прочитывалось в стихотворении «Чудо». Но и всюду в стихах гениального поэта Живаго христианство росло, как сама поэзия, на просторах одаренной души и обыкновеннейшей жизни. Христианство являло себя доктору-поэту подробно-земным и одухотворенно-вещественным. Оно являло себя как непрерывное чудо существования человека на свете. И никак не ощущалась причастность к этому Бога (и потому тут неважно – с маленькой буквы или с большой).

Я приводил Тусе строки из «Рождественской звезды»:

А рядом, неведомая перед тем,  
Застенчивей плошки  
В конце сторожки  
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне  
От неба и Бога...

– Ты слышишь, – твердил я, – в стороне, в стороне от неба и Бога!  
Как объяснить это?

*(Признаюсь, изо всех вопросов, не заданных мною Борису Леонидовичу по робости или по самолюбивому нежеланию показаться ему простаком, этот вопрос томит всего неотвязней: если в стороне от неба и Бога, то где же пламенела, по мысли Живаго, рождественская звезда?..)*

*Люди, сведущие в предмете, отсылали меня к бого-словам. Однажды я услышал от Вяч. Вс. Иванова: «Поговорите с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым». И это было просто: мы сидели на одном пастернаковском заседании. Но не захотелось услышать толкование, которое, наверное, прозвучало бы убедительно, однако могло бы и не совпадать с тем, что думалось Пастернаку. А проверить это, увы, было бы невозможно.)*

А Ты не вступала в спор. С обескураживающей своей непоследовательностью вдруг просила:

– Знаешь, почитай-ка лучше дальше, про осликов, и детство, и елку...

Просить меня дважды не надо было: ни она, ни я, никто другой прсытиться этими стихами не могли бы.

...И ослики в сбруе, один малорослей  
Другого, шажками спускались с горы.  
И странным виденьем грядущей поры  
Вставало вдали все пришедшее после.  
Все мысли веков, все мечты, все миры,  
Все будущее галерей и музеев,  
Все шалости фей, все дела чародеев,  
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,  
Все великолепье цветной мишуры...

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...  
...Все яблоки, все золотые шары...

Потешу с тоской свое тщеславие: Ты уверяла вполне искренне, – дожидаться от нее лести не могла бы ни единая душа, – что никто не читает стихов так, как я. Хотите верьте, хотите нет, но мне отводилось второе место – за Яхонтовым. Ей-богу! А всем нам в чтении другого милее всего узнавать свое желанное. И мне просто посчастливилось быть желанным такому надежному слуху!.. Всего чаще бывал я хвалим, когда с чуть-пьяну заводился ранним Маяковским или Хлебниковым, Цветаевой или Ходасевичем, но сначала – всегда Пастернаком. Однако все с той же непоследовательностью – посреди прекраснейших стихов – внезапно раздавалось:

– Остановись... ты слова никому не даешь сказать!

Ах ты черт, вся печаль, что больше мне уж этого не услышать... Но к чему я веду? Да просто хочу сказать: тем содержательней бывали наши расхождения, что случались не часто.

## 5

Решаюсь реставрировать отзвучавшие слова, собирая их воедино, как это делает сама прицельная память:

– Потерпи и не спорь... когда БЛ отказался переименовать «Рождественскую звезду», я в первый раз подумала, что его христианство – всерьез... Да нет, понять этого мы, к сожаленью, не сможем. Ты на Арагаце пропадал у своих физиков, когда Пастернак умирал, и ты не знаешь, что он просил отпевать его... Бог для него существовал... И я ему завидую. Чем дальше, тем больше завидую. И нашей тете Фросе



завидую. Если бы я могла верить в Бога и обращаться к нему, мне было бы легче жить... Потерпи – не спорь... Человек очень одинок. Весь Кафка – об этом. Вспомни, как по дороге в Комарово я пересказывала тебе с французского «Процесс» и таксист все переспрашивал – о чем это?.. Ты сам тогда говорил, что это вовсе не о фашизме в будущем, а о вечном одиночестве человека. А потом говорил, что я права, когда сам начитался Кафки по-английски... Слушай, а почему мы не выучили в детстве немецкого? Нас же учили в школе!.. Ах, я бы выучила, если б знала, что мне предстоят Томас Манн и Кафка... А его «Метаморфозы» ты не принимаешь оттого, что не дорос до нее – ты слишком жизнерадостный щенок... Когда человеку плохо, он одинок безысходно. И ему нужен Бог...

Она говорила это – об одиночестве и Боге – не мне одному. И чуть тоньше. Я же возражал, что она говорит совсем не о пастернаковской религиозности. У него ее источник в захлебывающемся удивлении перед феноменом жизни. Это – главное. При вариантах полуфразы «когда человеку плохо...» я, однако, спохватывался:

– Тебе плохо?

– Ах, нет, но еще будет плохо... Отвратительна наступающая старость. Ты этого долго не будешь понимать. У тебя такая натура, что тебе-то Бог никогда не будет нужен.

– Но позволь, – сердился я, – между «нужен» и «существует» гигантская разница!

– Не такая уж большая, – говорила Ту, – вот Жене Шварцу не в его сказках, а в жизни понадобился Бог и стал существовать!.. Или наша Светлана – почти доктор исторических наук – почувствовала нужду в Боге, и он тоже стал существовать...

Я возражал, что Пастернаку он понадобился не как Спаситель и не как Утешитель – не в беде! Помню насмешливое:

– Откуда ты знаешь?

В самом деле: откуда я это знал? Однако, не сдаваясь, бросился в пылу одного такого спора за помощью к стихотворению об испеленной смоковнице. И только уже дочитывая вслух заключительные строки, открыл, что оно работает против меня:

...Чудо есть чудо, и чудо есть Бог.

Когда мы в смятенье, тогда средь разброда  
Оно настигает мгновенно, врасплох.

– Прекрасно! – несимметрично улыбнулась Ту. – Чудо Бога настигло его в беде. Разве смятенье и разброд – не беда? Он с красным флагом не ходил... – это была ее и Юрия Германа излюбленная издевочка над моей когдатой пионерской очарованностью. – В революции было много беды. Он об этом роман написал. И, наверное, уже

тогда духовно принял христианство. И я ему – сто раз повторю – завидую.

...Все это – из разговоров последних лет. В ней что-то менялось. И не без участия Пастернака, которого давно уже не было в живых. Слова – «с верой мне было бы легче жить» – проистекали из смятения наступающей старости.

Какая же странная происходила драма: она боролась с безверием в себе и не могла этого безверия одолеть!

А может, я ошибаюсь? Что скрывалось в ее предсмертном сознании, когда она вынырнула из наркотического забытья с вопросом пастернаковской Марии: «А кто вы такие?»

Еще раз: а и вправду – кто мы такие?

...Позади балтийский перешеек между Рижским заливом и Лиелупе. Снова вокруг Москва. Снова Аэропортовская – шитье с невынутой иглой. После отдаленного грома несмелой грозы – нежданной и неуместной в апреле – еще более нежданный и неуместный снегопад, точно северный ветер перешвырнул листки календаря назад. Но умо-настроение согласно на снегопад:

Деревья и ограды  
Уходят вдаль, во мглу.  
Одна средь снегопада  
Стоишь ты на углу.

.....

Снег на ресницах влажен,  
В твоих глазах тоска,  
И весь твой облик слажен  
Из одного куска.

Как будто бы железом,  
Обмокнутым в сурьму,  
Тебя вели нарезом  
По сердцу моему.

.....

И оттого двоится  
Вся эта ночь в снегу,  
И провести границы  
Меж нас я не могу.  
Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?

Это звучит как точка в конце нелегкого рассказа: за нею – немота. Однако разве я дорассказал мой маленький реквием?

...Открываю ореховый книжный шкафчик из ее елизаветградского детства. На трех рискованно хрупких полках теснятся лучшие русские стихи нашего века. Легко отыскиваются «Избранные переводы» Бориса Пастернака – предвоенное издание, сохранившееся тут неизвестно почему и как! На титульном листе – дарственная Пастернака. Хочется услышать, как звучит она через сорок с лишним лет...

Лиловые чернила и перо рондо. Стремительно рвущиеся со страницы, хвостатые завершения верхних надчеркиваний. Кажется, они призваны превращать глухие «п» и «т» в звонкие. И кажется, это им удастся. Надпись в десять строчек покрывает весь титульный лист. И выглядит это так:

*Софье Дмитриевне  
Разумовской  
терпеливому и  
снисходительно-  
му другу  
в знак глубо-  
кой признательности  
Б. Пастернак.*  
26.XII. 40

Производит отрадное впечатление эта неозабоченность размерами титула, длиной строк и произвольностью переносов. В летящем почерке – свобода самовыявления и самолюбующаяся уверенность руки. Сколько ему было тогда? Пятьдесят. А сколько было ей? Тридцать шесть. Смежные поколения. Я – из следующего: на десять лет моложе. Господи, как счастливо я был влюблен в нее тем последним предвоенным декабрем!

В прежних влюбленностях – сколько их ни было – к взбудораженности, нетерпению, ожиданиям, тоскованиям, неуверенности, опьяненности и прочему никогда не примешивались тщеславные чувства. Вероятно, потому, что то бывали романы с ровесниками. («Мне в сумерки ты будто все с экзамена, всё – с выпуска. Чиж, мигрень, учебник»). А тут я обескураженно виделся себе праздничной витриной – весь в украшениях ее взрослой опережающей судьбы – внутрилитературной светящейся молвы о ней. А молва-то шла от недосыгаемых для начинающего имен. Помяну только трех – Паустовского, Гайдара, Катаева – для понимания чувств прозелита.

Дуэтами, квартетами, квинтетами сживали они на просторном диване возле ее редакционного стола в «Литгазете». От изнуряющих споров и язвительных стычек этот многогорбый и терпеливый диван

совсем сникал и готов был вот-вот развалиться на части, но она, хозяйка маленького диванного клуба, умела вовремя укрощать его завсегдатаев – даже рычащего Виктора Шкловского, даже порывистого Александра Мацкина, даже взрывчатого Михаила Левидова, даже рапирного Иосифа Юзовского, даже жалящего Корнея Чуковского и перепиливающего Василия Гроссмана... А я устраивался на стуле и впечатывался в левый угол ее стола – в позиции «семь лет не замужем» – и немотствовал перед мастерами из боязни опростоволоситься на ее глазах. Это было так просто...

– Кто же из критиков начала века нравится вам больше других? – мимолетно спросила она меня, студента-физика, перед первой моей статьей о поэзии для «Литгазеты».

А я уже весь был в ее власти, и она прекрасно чувствовала это. Дабы блеснуть эрудицией плюс разносторонность, я начал перечисление с Юлия Айхенвальда.

– Что-что?! – переспросила она с изумлением в широко раскрытых ясных глазах. – Вы что же – мальчик, который любит корзиночки с розами из крема?

Меня выручил сияюще вошедший в комнату Квазимодо.

– Иосиф Ильич! – воскликнула она. – Этот мальчик, этот физик-математик только что сказал мне, что его любимейший критик всех времен и народов – Айхенвальд!

Юзовский орлино пронзил меня своим непомерным носом, и я услышал: «Милая Туся, неужели вы не видите, что это от влюбленности он спутал Айхенвальда с Эйхенбаумом! Не так ли?» Мне давалась возможность нечестно пробормотать – «да, да!». И я был спасен... Могло ли мне примерещиться, что через полвека случай сведет меня в час вечеринки с внуком Айхенвальда – Юрием – красивым, хоть уже и не молодым человеком – поэтом, педагогом, хлебнувшим горя диссидентом – и я не осмелюсь рассказать ему, как некогда «из-за женщины» безропотно открестился от его выдающегося деда...

Жизнь изобретательна, но не болтлива! А мог ли Юзовский подозревать в ту минуту, что «милая Туся» знакомит его со своим будущим мужем на все четыре оставшихся ей десятилетия! И еще: мог ли кто подсказать мне, что ровно через десять лет космополитическая судьба «разоблаченных врагов», подстергавшая нас обоих, возвысит меня в бесправни до уровня этого блистательного литератора!

Все они были блистательными, седины того продавленного дивана. Пристрастно ревнивый глаз не преувеличивал их чар, но преувеличивал их чувства: мне виделась влюбленными в Софью Дмитриевну Разумовскую все подряд. Я терзался невыгодными для себя сравнениями с другими. И всего более невыгодным – с нею самой.

Когда в сумерках, избегая встреч со знакомыми на людных улицах,

мы шатались, часто по-детски – рука в руке, переулками Сретенки, где она работала, переулками Петровки, где она жила, переулками Воздвиженки, где жила ее мать, переулками Арбата, где жила ее портниха, я видел, как вместе с прохожими – в подражание пастернаковской прозе – не могут на нее наглядеться подворотни, подъезды, вечеряющие окна, а на меня любопытства у них не хватало. Тротуары преданно ложились под ее легкую походку, а мне нарочно подставляли для спотыкания все свои выщербины и еще не исчезнувшие в переулках старомосковские каменные тумбы для коновязи, где попутные собаки воздерживались от задиранья ноги, когда мы шли мимо. Утренние столики в задрипанных кафе или на седьмом этаже «Москвы», где вероятность наткнуться на ее литературных львов была меньше любой, наперед заданной величины, – как эpsilon в моей студенческой математике, – эти пустующие по раннему часу столики наперебой предлагали ей себя, а мне подставляли кособокие стулья или нечистые края скатертей... Так играло в наше очевидное неравенство мое счастливое и бедствующее воображение. А всего счастливей оно бедствовало в запретной полутьме ее узенькой комнаты на Дмитровском-Салтыковском.

Там на расстоянии вытянутой руки от тахты высилась у противоположной стены открытая полка с книжными дарами авторов – ее друзей и временных подопечных. Туда-то – прежде чем после войны перекочевать в ореховый заповедный шкафчик, – туда-то и поместился на исходе 40-го года впервые изданный отдельной книгой Пастернак-переводчик. И там я в первый раз имел случай удивиться вызывающей ясности его крылато-щегольского почерка. Книга не стояла особняком, а без всякого пиетета или алфавитной дисциплины вклинилась в череду других дарений.

...Да ведь многие из тех книг еще живы: уцелели в годы военной эвакуации, когда в пустующей квартирке живали служащие Полиграфического техникума, коему принадлежал дом.

Книги – живы, авторы – мертвы. Она ушла – я пребываю.

Так надо взять стремянку и на верхней горизонтали стеллажа отыскать среди послевоенных авторских даров те книги ее молодости. И, взбираясь по лесенке, услышать отруководивший голос: «Достань их... это интересно... ах, не надо – подымеешь пылицу... ну, где же они?..»

Пылица? Естественно: разрушается вселенная – это ее бесцветные остатки. А может, это время превращается в пыль? Тогда стало бы хоть понятно, почему она всюду в мире одна и та же. Гудит пылесос, собирая воедино вселенную и время. А потом я в одиночестве рассматриваю издавна знакомые форзацы и титулы, пытаюсь снова пережить пере-

житое и вновь увидеть исчезнувшие лица. Не все удастся. Но ее голос прав: это интересно...

7

Самая ранняя из сохранившихся – дарственная Льва Кассиля на «Кондуите» – 1931 года (ей было тогда двадцать семь):

*Моей попечительнице в литературно-учебном округе «Молодой гвардии» С. Д. Разумовской! – от трудновоспитуемого автора Л. К.*

А наиболее ранняя из гайдаровских на «Дальних странах» – 1933 года:

*Самой любимой Соне самую любимую книгу от самого любимого Гайдара.*

Труднее отыскать первую в длинной довоенной серии Константина Паустовского – «Костры», как называла его СД. Пожалуй, вот эта – без ясной даты: «...Моему тайному соавтору...» Но полна значения другая надпись – на «Кипренском» – 1938 года:

*Единственный невыносимый недостаток этой книги в том, что на ней вместо подлинного ее редактора – С. Разумовской – стоит фамилия фальшивого редактора за нуды Машинского.*

Так на многих тропях в былое: движешься сквозь веселую сутолоку счастливой работы и забываешь хайямовское – «а если бездна ляжет поперек?». Негодование Константина Георгиевича по поводу «фальшивого редактора», датированное зимой 1938-го, сразу делает понятным случившееся: бездна 37-го краешком разверзлась и на пути СД. Ее не посадили, как директора Детгиза, но выгнали на улицу. И с этого момента все, сделанное ею, становилось уже сделанным не ею! Так дарственная на книге превращается в исторический документик эпохи принудительного фальсифицирования всего на свете.

В других довоенных дарственных – просто отголоски еще молодой приветливости одаренных людей, забывавших на время о хайямовском «а если?...».

Илья Ильф на «Двенадцати стульях» – 1933-го:

*Софье Дмитриевне Разумовской от И. Ильфа – друга и клиента!*

Валентин Катаев на «Белеет парус одинокий» – 1936-го:

*Дорогой Соф. Дм. Р., крестной матери многих детей, как-то: Пети, Гаврика, Моти, Женечки, Павлика и проч. персонажей этого чудного, талантливое произведения.*

Виктор Шкловский на «Жизни художника Федотова» – 1936-го:

*Дорогой Тусе – инициатору (инвентору) этой книги от благодарного автора. Простите нас (меня и Федотова) за неприятности...*

И пространная надпись Михаила Зошенко на «Рассказах 1937 – 1938» – пожалуй, единственная без улыбки:

*Эта книга – случайный сборник. Эту книгу я собрал без особой любви. Я включил сюда все, что осталось от сборника «1935 – 1937». По этой причине посылаю Вам эту книгу без особой радости. Желаю Вам, милая София Дмитриевна, побольше здоровья и побольше радости.*

*Мих. Зошенко. 2.III.39*

И еще раз – без улыбки: лапидарная строка на «Разгроме 1932-го: Милой Софье Дмитриевне – Ал. Фадеев.

Ну и хватит... Имя Фадеева заставило подумать: в конце-то концов все эти беззаботности сочатся из мартиролога. «Левинсон перестал плакать: нужно было жить и исполнять свои обязанности» – Ту любила эту последнюю фразу фадеевского «Разгрома». И, как все ценимое ею, часто повторяла. Повторила она эту фразу и в тот майский день 56-го года, когда Фадеев решил, что больше не нужно жить и не нужно исполнять свои обязанности, а нужно заплатить собственным мученичеством за прикосновенность к мученичествам других.

Ладно. Оно и вправду – хватит. Тем более, что рассказ тут не о самой коллекции знаменательных дарственных, а лишь об одной из них – пастернаковской 40-го года. Накануне войны ей случилось последней, словно бы намеренно замыкающей, войти в ту череду благодарностей, дружеских излияний и шуточных притворств. Чудится в этом нечто символическое, а что – еще не догадываюсь. Догадаюсь внезапно. У символов нет своей содержательности – ею награждаем их мы.

В дарственных зашифрована жизнь. В них закодированы отношения дарящего и одаряемого. И они зовут к раскопкам былого. Через сорок с лишним лет – почти археологическим.

...Перечитываю: «Терпеливому и снисходительному другу в знак глубокой признательности». И теряюсь в неведении.

Так чем же он был обязан Ту?

Подразумевалось: он отдавал ей должное – она вела его литгазетские публикации 37-го, 38-го, 39-го годов. Прозу: «Из нового романа о 1905 г.» и «Уезд в тылу». Заметки: о Сулеймане Стальском и Николае Асееве. Переводы: из Альберти, Бехера, Китса, Петефи. Восемь публикаций! Но хоть раз приключилась бы между ними размолвка или разразился бы конфликт с редакцией! Случись такое, я бы знал все досконально. Но память молчит. И потому почти достоверно, что в

«Литгазете» тех жестоких лет, противу ожидаемого, Пастернак проходил безболезненно.

Но мыслимо ли представить СД как терпеливого и снисходительного редактора! Если такой открылась она Борису Леонидовичу, значит, была она с ним решительно иной, чем со всеми другими. И это уж не почти, а вполне достоверно...

## 8

Память нельзя напрягать: она либо раскошеливается сразу, либо помалкивает. Заставить ее говорить – все равно что заставить честно выдумывать. А выдумки ее особого свойства: она выдает за действительное то, что действительно случилось, да только не с тобою, не в том месте, не в те времена.

Напрягая ее сейчас, податливую, я верю, что именно там, в предвоенной «Литгазете», впервые увидел Пастернака рядом с Ту. В обеих ладонях держал он ее протянутую руку и говорил гудяще: «Я ухожу... я ухожу...» И не уходил. И смешливо – с оскалом своей безусловной искренности – продолжал: «Скажите, что я ушел... я ему не нужен... все сделалось само собой... да-да-да, я ухожу...» И не уходил.

Конечно, речь шла о внезапно назначенном новом редакторе «Литгазеты» – вполне симпатичном и беспомощном Анатолии Ивановиче Кулагине: он был из деятелей Спорткомитета. Когда в конце 39-го я стал внештатно вести в газете придуманный мною разделчик в рамочке «Новые стихи», у Анатолия Ивановича приключилась анекдотическая история с Ярославом Смеляковым, начавшим печататься после возвращения с первой своей каторги. Старые приятели, мы с Ярославом сразу договорились об его вкладе в новый разделчик. Но Анатолий Иванович из ритуальной бдительности захотел сначала с ним побеседовать. Мы пришли к Кулагину вместе. Помолчали. Беседе не из чего было родиться. И Яра, как бы между прочим, проговорил, что поэты почему-то перестали писать белые стихи, а у него они есть, и он может предложить их «Литгазете». Я не успел протекционистски добавить, что они очень хороши. Потрясенно откинувшись в кресле, девственный Анатолий Иванович жестко сказал:

– Белых стихов, Ярослав Васильевич, «Литературная газета» печатать не будет! – И вслед за тем в мою сторону: – А вы зайдите ко мне попозже...

Мы потом власть отхохотались на продавленном диване у СД. Она, однако, уверяла, что Кулагин просто нас разыграл. Пошла проводить меня к нему на взбучку. И тут выяснилось, что разыгранным счел себя он, за что мне слегка и попало. А публикация Ярослава отодвинулась на несколько недель... СД говорила, что повеселит Пастернака этой историей – на следующий день она ждала его в редакции. Помню,



я просил ее раздобыть у Пастернака стихи для моего разделчика «Новые», потому что сам на это тогда не отважился бы. Его хороший ответ СД был тот, что «все новое у него – переводы», а для поэзии «все переводы – не новое». Повеселила ли она БЛ «белыми стихами»? Возможно.

А может быть, БЛ все не выпускал ее ладонь из своих ладоней и все не уходил, уходя, совсем в других обстоятельствах? Даже не до, а после войны? Нет, черт возьми, до войны, до войны... – чувствую это по температуре ревнивого воспоминания – ее ладони в его ладонях. Да и от тех его легких реплик о ненужности редактору веет относительной патриархальностью отношений писателя и литературного заведующего... Тут подсказка не одной лишь пастернаковской независимости – тут голос подает чуть иные нравы.

По нынешним меркам, в той литературной жизни стояли еще времена наивной предгосударственности. У начальственных кабинетов не было звуконепроницаемых тамбуров – сторожевых будок антигласности. И секретарши секретарствовали, а не охраняли шефов. И в полузакрытые, если не распахнутые, двери легко проходили на любые заседания (почти любые) все любопытствующие (почти все). Редакции напоминали коммунальные квартиры – и теснотой, и доступностью. А «Литгазета» и в самом деле занимала квартиру на полуторном этаже старого доходного дома в Последнем переулке на Сретенке («Последний» – это название, а не определение). Всей своей полудомашней атмосферой редакция казалась принадлежащей стародавней Москве.

К этой атмосфере очень подходила комнатная манера общения СД с ее авторами. И очень подходила она сама.

Ее зимний облик с милой пушистостью (как однажды выразилась еще совсем молоденькая Таня Вирта). Знаете – такой, точно она была создана для меховых шапочек, пелеринок, вечерних московских катков, бархатных театральных лож, извозчичьих санок с медвежьей полстью... И ее летний облик подмосковной дачницы из хорошей семьи (как не раз говаривал уже стареющий Ваня Халтурин). Знаете – такой, точно для нее были придуманы застекленные террасы, дымок самовара, позвякивание чайных ложечек, взрывы восклицаний, перестук крокетных шаров, тихие расставанья у вечерней калитки... «я тебя провожу до платформы... тебе не надо возвращаться одной в темноте...»

Растворение в легкости и чистоте. Была в ней розово-сиреневая ренуарность. И вся она обольщала негромкостью чеховской интеллигентности – не уровнем образованности, а сочувственным пониманием человека. И неожиданным выглядело в ее деловой повадке сочетание неотразимой женственности с непреклонной деспотичностью.

Не выносившая литературных собраний с трибуной и речами, она обожала писательские исповеди и тихое долгоговоренье о литературе.

Ненавидевшая указания сверху, сама она диктаторствовала в редакционной обители и полагала это совершенно правомерным.

...Однажды долгим ялтинским вечером под колоннадой старого писательского дома Виктор Шкловский в многолюдной компании вспоминал, как Туся «изобрела» для него детскую книгу о художнике Федотове:

– Н-н-ну, вот, история такая. Ваш редакторский абсолютизм был просвещенным. А мы, зайцы, не должны были бегать с фонарями!

СД едва ли справедливо истолковала «зайцев» и «фонари»: иносказание имело тот смысл, что подстреливать грешащих писателей труда не составляло – их прегрешения сами светились на поверхности рукописей. По ее лицу было видно, что она оскорбилась, но воли чувству не даст: на людях она никогда «не заводилась». Через полчаса в парке жертвой стал я:

– Ты не понимаешь укусов Шкловского. Не тебе ли он сказал, что выдумал когда-то Каверина, а тот не может ему этого простить? Так вот – сам Виктор Борисыч не может мне простить, что я для него «выдумала Федотова»! Эти фонари у зайцев он блестяще придумал еще до войны, когда один проворовавшийся завхоз построил себе дачу не по средствам и был арестован. А теперь повторяет свое то с недобрым намерением. Иди – ступай в его объятия! Ты – заяц без самолюбия...

И многое еще в этом ключе. И наконец – побивающее камнями:

– Пастернак недаром мне говорил, что он его любил, но побаивался. Тебе бы хорошо это помнить!

– Черт возьми, Ту, ну будь немножко терпимей! Он же восхищенно похвалил твое редакторство за просвещенный абсолютизм! Это не каждому придет в голову.

И тут в ответ внезапная улыбка:

– Похвалил? Но это же всего только правда...

Думаю, еще вернее было бы назвать ее абсолютизм уютно-беспощадным. Своему редакторству она отдавалась, как другие женщины круглосуточному материнству. Она не служила редактором. Она служила литературным судьбам. И в состав этих судеб для нее входило все жизнеустройство подданных. И те, чьи рукописи она привечала, стремительно становились ее домашними друзьями.

К застольному или диванному обсуждению поступков героев и сюжетных ходов то и дело примешивались доверительные – вполголоса – исповеди о семейных злоключениях, влюбленностях, изменах, ссорах, примирениях, безденежье, надеждах, рождениях и смертях. И тогда к ее редакторскому деспотизму примешивался деспотизм этический – тоже совершенно домашний. Она, грешница, не судила грешных, но неумолимо заставляла искать достойные выходы из без-

выходностей. С ней хотелось разговаривать без притворства: она – понимала!

И, право, не знаю, о чем словоохотливей и чаще говорили с нею ее любимцы послевоенных лет – Вера Панова, Виктор Некрасов, Галя Корнилова, Юра Трифонов, Петр Вершигора, Эмик Казакевич, Ира Велембовская, Вася Аксенов, Юля Крелин, Андрей Битов, Родион Ребан, – о придуманной жизни своих героев или о своей непридуманной жизни?

Так было всегда. Так было и во второй половине 30-х, когда совсем другие «любимцы довоенных лет» исповедовались у нее в Последнем переулке и дома. И я неловко выразился, сказав, что она «подошла» к полудомашней атмосфере довоенной «Литгазеты». Она-то и оказалась самым щедрым источником той атмосферы – ее озоном.

## 9

Она появилась в «Литгазете» осенью 1937 года, изгнанная из Детгиза летом того варфоломеевского года. Чуть раньше нее – весной – оттуда вынужден был уйти Лев Разгон, чья семья уже подверглась опустошению. Вскорости и его самого – близкого Тусиногу друга – ждали тюрьмы, этапы, лагеря и ссылки. Ту помиловал выборочный случай. Но она жила, прислушиваясь ночами к движенью машин под окнами: не дай Бог вот эта, вкрадчивая, остановится у их подъезда!..

Тревога питалась не чувством неизвестной вины, а чувством сужающейся облаты.

Когда я признался Ту, что у меня посажены отец, брат и двое приятелей-студентов, она стала звонить мне ранними утрами, ради одной телефонной фразы – «ну, слава Богу...», а если к телефону подходила мама, вешала трубку. И я знал, что должен сразу ей отзвонить, чтобы произнести ту же заклинающую фразу или в свой конспиративный черед повесить трубку, если там, на Дмитровском, к телефону подойдет... Ну, ладно.

Понять невозможно из нынешнего далека – отчего же мы так сладостно жили на свете?! И на что нам были нужны в предчувствии апокалипсиса стихи? Любые! И пастернаковские! Но вот где-нибудь на вечернем бульваре или за столиком в утреннем кафе она внезапно спрашивала, отменяя дурашливый разговор:

– Как там дальше у Пастернака: стихи мои, бегом, бегом, мне в вас нужда, как никогда?..

Она верила в мою память – и я подхватывал с наслаждением:

...С бульвара за угол есть дом,  
Где дней порвалась череда,  
Где пуст уют и брошен труд,  
И плачут, думают и ждут...

– Только бы не это... – тихо говорила она.

Я пускался в школярский спор – с соотношением дат и смыслов: «Но это не о том!»

– И о том! Разве не похоже – где плачут, думают и ждут? – она несимметрично и словно бы беспечально улыбалась.

И не проходил мнимо-опровергающий довод, что эти стихи из «Второго рождения» написаны чуть не десять лет назад – на рубеже 30-х. Она говорила, что ее поколение, а уж пастернаковское еще острее, всегда ощущало, как зыбко у нас даже безгрешное существование – как в любую ночь твоя дверь может быть помечена белым крестом и долгий звонок просверлит твое сердце... И она принималась рассказывать о судьбе профессора Г., в чьей квартире жила на Пятницкой в середине 20-х. А потом – о судьбах приятелей своего отца-врача и своего дяди А., известного московского коллекционера картин, дружившего со стариком Остроуховым. А потом – о судьбах литераторов... Судьбы были однообразны, как кладбищенские тропинки, и прорезали годы, как просеки. И 37-й был мазан в ее восприятии тем же цветом, что другие, только погуще.

– Ты что же думаешь, – говорила она, – строчка «все в крестиках двери, как в варфоломеевскую ночь» пришла к БЛ от Мериме? Почему-то Пушкину, как ни плохо ему бывало, эти крестики в голову не приходили, и он мог даже позволить себе сказать Николаю, что был бы на Сенатской площади...

Ее несколько не смущало возражение, что этот образ варфоломеевской метели у Пастернака еще дореволюционного происхождения – он из «Поверх барьеров».

– А терновый венец революций у Маяковского? Какого года?

– Пятнадцатого: в этом венце грядет шестнадцатый год.

– Ну, вот видишь! Дело не в датах, а в предчувствиях.

Не помню уж, кто из нас прибавлял к пастернаковским крестикам ахматовскую строфу из послереволюционного «Подорожника»:

Еще на западе земное солнце светит  
И кровли городов в его лучах горят,  
А тут уж белая дома крестами метит  
И кличет воронов, и вороны летят.

Расклад получался не в мою пользу. Но я все спорил.

Да, я все спорил – и тогда и позднее – все настаивал на исключительности 37-го: так хотелось защитить революцию и ее благое первородство! Так хотелось отстоять от разрушения свое пионерское детство и свою маяковскую юность! И так хотелось оборонить оснащенную безупречными идеями веру в будущее!

Защита проваливалась. Но врожденный оптимизм не иссякал.

В ответ на ее ранящее – «совершенно не понимаю, за что я тебя люблю!» – мне оставалось обороняться не историсофскими построениями чужого и собственного изготовления, а живыми прецедентами доверия к ходу нашей истории. Но такими, чтобы доверяющий был вне подозрений. Демонстративно политический Маяковский не годился. Годился Пастернак. Он выглядел сторонней силой и воплощением неподкупности. В нем было целомудрие непричастности к суетам нашей успехомании. Ни одной из наших бед он не оправдывал в своих стихах и ни в одной не бывал повинен ее рифмованным восхвалением. Кроме... Но об этом дальше.

Он воспринимался посланцем природы, удачно сварганившей вид хомо сапиенс. И посланцем культуры, счастливо созданной этим видом. И человечность его была не долговым обязательством перед воспитанием и традицией, а свойством ума и чувства. Она была дохристианской, доязыческой, видовой – как вертикальность или пятипалость... «И уж если он?» – говорил я Ту. «А что – он?» – с интересом, точно ожидая услышать нечто, чему все равно поверить нельзя, спрашивала она.

– Изволь, я тебе сейчас нацитирую! – входил я в раж. – И заметь, только то, что ты сама прекрасно знаешь... – И я читал, похоже воспроизводя его голос и загибая пальцы для счета неопровержимых свидетельств его исторической доверчивости:

...Весна моя, не сетуй.  
Печали час твоей совпал  
С преображеньем света.

...Прощальных слез не осуша  
И плавав вечер целый,  
Уходит с Запада душа,  
Ей нечего там делать.

Она уходит, как весной  
Лимонной желтизною  
Закатной заводи лесной  
Пускаются в ночное...

Пред нею край, где в поясной  
Поклон не вгонят стона,  
Из сердца девушки сенной  
Не вырежут фестона.

Пред ней заря, пред ней и мной  
Зарей желто-лимонной –  
Простор, затопленный весной,  
Весной, весной бездонной.

Я читал, любя эти звучания, но всем внутренним слухом ощущал, как недоказательно такое свидетельство его доверчивости – как оно

опровергается музыкой стиха. В желто-лимонной акварели весеннего заката просвечивало осеннее умонастроение, точно это было о поре затопляющих дождей, а не о привольном разливе поры ледохода. Цветаева назвала бы эти стихи – «Попытка прощания». С чем? Со всем, что тут оплакивалось, – со своей весной, для которой настал час печали. И таким слабеньким был довод в пользу революционной воли: невырезанный фестон из сердца обездоленной крепостной (!). Это напоминало другое его рыцарское уверенье в «Охранной грамоте»: он стал невольником форм, оттого что еще десятилетним мальчиком увидел в зоопарке на дагомейских амазонках форму невольниц.

Бог с ним, однако. Я читал те стихи, чувствуя, как сам становлюсь невольником формы, их завораживающей музыкальности. Ах, нет, музыка в поэзии – не из категории форм. Она – первейшее оправдание самой нелепости стихосложения: она зазывает нас в стихотворение и заставляет чувствовать невысказанное в сказанном. А уж тут музыкальность стиха была так содержательна, что просто отменяла логическое содержание строк: вместо доверия к ходу нашей истории они выражали сожаление об утратах, сопутствующих проживанию в истории... Но, не выдавая вслух этого чувства, я упрямо загибал палец:

– Р-раз! Вот первое свидетельство.

– Допустим... – с усмешкой говорила Ту. – Но какие прекрасные стихи! Я люблю их слушать.

– Почему «но»? – сердился я.

– Потому что они не очень доказывают то, что ты доказываешь.

Продолжай...

И я продолжал, поспешно выискивая в памяти что-нибудь более доказательное из того же «Второго рождения». Это удавалось. И даже легко. Жажда доверия к нашей истории все-таки действительно одолевала Пастернака. Будь в его стихах хоть чуть-чуть публицистики, это прослеживалось бы без труда. Но публицистики не было даже в «Высокой болезни», когда он писал о Ленине. Зато была такая пластика, какая никогда не дается притворству и декламации. И уже в «Высокой болезни» жажда доверия к человечности революции была драматическим началом бессюжетно взъерошенного повествования.

– Вот, пожалуйста! – говорил я. – Рубеж тридцатых. Всюду искренность – всюду его неподдельный голос...

...Прервусь. Чувствую, что рассказываю слишком конструктивно. Точно был единый долгий разговор с загибанием пальцев. А была жизнь. Бегство от дождя в подворотню на Маросейке, и там: «Ты вчера не досказал про Пастернака...» Дневной сеанс в замшелом кино на Русаковской – и в темноте: «Во имя жизни, где сошлись мы...» И шепот: «А это откуда?» И ответный шепот: «Откуда хочешь – из истории, из Пастернака, из нашей жизни... – не все ли равно?»

Так это шло – невпопад. А сегодня – выстраивается, чтобы стать обозримым.

## 10

– Вот, пожалуйста! – говорилось мною тогдашним:

Ты рядом, даль социализма.  
Ты скажешь – близь? – Средь тесноты,  
Во имя жизни, где сошлись мы, –  
Переправляй, но только ты...

Ты – край, где женщины в Путивле  
Зегзицами не глачут впредь,  
И я всей правдой их счастливлю,  
И ей не надо прочь смотреть...

...Где голос, посланный вдогонку  
Необоримой новизне,  
Весельем моего ребенка  
Из будущего вторит мне.

Прелюбопытнейшая подробность (или – наблюдение): тут тоже появились, как повод к прославлению нашей исторической действительности, освобожденные невольницы – на сей раз под водительством Игоревой Ярославны в Путивле! Но звучало в пользу хода истории и нечто большее. Допускался даже встречный вопрос: может, правильнее не «даль», а уж прямо «близь социализма»? И трезвая музыка стиха здесь аккомпанировала логике.

Но все в этой главке из «Вола» обернулось со временем ошибкой души: всего более – истовость веры и надежность надежд. Необоримая новизна обзавелась старым, как сама история человечества, предательством человека. Еще более непростительным, чем все прежние предательства, потому что продолжала громко настаивать на своей доброй социалистической небывалости, а тем временем счет человеческих гибелей повела на миллионы.

Пастернак не поостерегся послать свой искренний голос вдогонку этой необоримой новизне, глубоко веря, что ему будет вторить из будущего веселье его собственного сына. Поэтические пророчества не должны быть слишком предметны. А тут ведь без обиняков говорилось о Жене – будущем Евгении Борисовиче Пастернаке, тогда шести-семи-летнем. Ему предстояло вырасти. И он вырос. Годы отдал научно-техническому прогрессу, где был совершенно необязателен. А теперь, уже седой, всем обликом своим и речью хранящий портретное и голосовое сходство с отцом, отдает жизнь тому, в чем совершенно обязателен. Его усилиями и любовью, равно как и его жены Алены – Елены Владими-

ровны Шпет, Пастернак становится расширяющейся вселенной, после многолетних стараний сужателей. Может быть, и вправду веселая жизнь бывшего мальчика Жени, однако совсем не тем весельем, какое в 31-м году посулили «Волны» из «Второго рождения».

...Сколько десятилетий прошло с тех довоенных сердечных споров на утренних московских бульварах, на просеках дневных Сокольников, на дорожках вечернего Девичьего поля, когда я загибал пальцы, перечисляя свидетельства пастернаковского доверия к ходу нашей истории, ради оправдания собственной доверчивости:

– Д-два! – говорил я после «женщин в Путивле». – А вот, пожалуйста, т-три!

И не важно, в каком порядке начитывал я стихи, – все это не раз повторялось. Тут хорошо ложится уже вспоминавшееся с «телегою проекта»:

...И вот года строительного плана  
И вновь зима, и вот четвертый год.  
Две женщины, как отблеск ламп Светлана,  
Горят и светят средь его тягот.

Мы в будущем, твержу я им, как все, кто  
Жил в эти дни. А если из калек,  
То все равно: телегою проекта  
Нас переехал новый человек.

Когда ж от смерти не спасет таблетка,  
То тем свободней время поспешит  
В ту даль, куда вторая пятилетка  
Протягивает тезисы души.

Тогда не убивайтесь, не тужите,  
Всей слабостью клянусь остаться в вас.  
А сильными обещано изжитье  
Последних язв, одолевавших нас.

Снова были женщины, но уже не образно-условные. Вполне биографические. И потому их судьба не рисовалась счастливо оправдывающей беды времени. Эти зегзицы «плакали вперед». И было отречение от себя: если мы выйдем, – «от смерти не спасет таблетка», – то освободим летящее время от таких, как мы, и легче ему будет поспешать в грядущее, куда протягиваются «тезисы души». Было еще осознание своей неуместности, как «последних язв»... Вот как далеко зашло доверие к благодати нашей эпохи! Удивительнейшее было стихотворение – как радостная эпитафия.

Это повторилось в еще одном, всех поразившем коротком стихотворении 31-го года, напечатанном тогда, но во «Второе рождение» не



вошедшем. По архиву стало известно, что, названное «Другу», оно посвящалось Борису Пильняку (тогда еще социально благополучному):

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,  
Вовек не вышла б к свету темнота,  
И я – урод, и счастье сотен тысяч  
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,  
Не падаю, не поднимаюсь с ней?  
Но как мне быть с моей грудною клеткой  
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,  
Где высшей страсти отданы места,  
Оставлена вакансия поэта:  
Она опасна, если не пуста.

– Ч-четыре! – загибал я очередной палец.

А Ту говорила:

– Зачем ты притворяешься толстокожим? Разве ты не слышишь, что все это – трагические стихи?! ...Напрасна... опасна... пуста... Какой год? Ах, тридцать первый! Но ты же сам вчера говорил, что у него еще звучал в ушах выстрел Маяковского. И не притворяйся, будто и это подтверждение его доверчивости...

Однако, видит Бог, я не притворялся: зримый трагизм был в пастернаковском доверии к ходу истории. А трагизм искренности – тонкая материя! И старательно загибая пятый палец, я сокрушительно и сокрушенно читал неправдоподобные строфы уже не из «Второго рождения», а по той поре совсем недавние – из новогоднего номера «Известий» 36-го года. И Туся удивлялась, как это я их запомнил.

Пастернак в официозе 1 января! – то была такая неподвижность и радующая редкость, что все перезванивались к вечеру: «Ты читал?» Но еще большей неподвижностью и ошеломляющей редкостью, однако, вовсе не радующей, были сами стихи: Пастернак о Сталине и о себе!.. А Сталин, наверное, пережил чувство странноватого удовлетворения – вынул трубку изо рта и поднял брови, ужав свой лоб, и без того похожий на околыш комендантской фуражки.

...А в те же дни на расстоянии,  
За древней каменной стеной,  
Живет не человек – деянье,  
Подступок ростом в шар земной.

...И этим гением поступка  
Так поглощен другой поэт,  
Что тяжелеет, словно губка,  
Любою из его примет.

Как в этой двухголосой фуге  
Он сам ни бесконечно мал,  
Он верит в знание друг о друге  
Предельно крайних двух начал.

Однажды через тридцать с лишним лет, в 70-х, зашел разговор об этом злополучном стихотворении под сенью другого разговора – о Михаиле Булгакове, вынужденном – или полувынужденном! – в тех же тридцатых годах написать для МХАТа пьесу о революционно-романтическом семинаристе Иосифе Джугашвили. Эту пьесу – «Батум» или «Пастырь» – никто из нас, разговаривавших, не читал. Никто, кроме Сергея Ермолинского, кому в свое время выпала на долю тюрьма со ссылкой за близкую дружбу с Булгаковым. Раздался голос: «А Михаил Афанасьевич, в отличие от Пастернака, все-таки не тяжелеет, словно губка, приметами сталинского гения!» Сережа возразил:

– Представьте, тоже тяжелеет: у него была тетрадь заметок к биографии Сталина. Он раздумывал о «демонической силе» сталинской власти. Это его слова, каковые снял Главлит в моих воспоминаниях...

(Подумалось попутно: если взрослеющие нынче поколения даже начнут снисходительно понимать хитроумную трагичность нашего существования, доверяя к Сталину они никому никогда по-настоящему не простят!)

На той же полосе первоянварских «Известий» 36-го года, тем же светлым курсивом, шли еще такие пастернаковские строфы:

...Я понял: все в силе,  
В цвету и соку,  
И в новые были  
Я каплей теку.

...И смех у завалин,  
И мысль от сохи,  
И Ленин, и Сталин,  
И эти стихи.

Тут уж я мог бы загнуть не палец, а всю пятерню разом! Это намного превышало мою собственную – щенячью – веру в ход истории! Пастернак, привлеченный для защиты этой веры («уж если и он!»), навывражал гораздо больше, чем нужно было мне, оборонявшему лишь свой исторический оптимизм и детскую привязанность к революции. Ведь не мнилось же, а было истинной правдой, что она, революция, –

...внесла, во-первых,  
Во все, что случилось, вкус больших начал.

Ах, черт, не писать бы ему тех стихов для «Известий»! Как безот-  
радно изменил ему тот вкус больших начал, обернувшись непрости-  
тельным участием в повальной безвкусице разгоравшегося Культа.  
Теперь против него самого обращались строки из его фольклорно-из-  
вестной тогда дарственной надписи Маяковскому на экземпляре «Сес-  
тры...»:

Я знаю – ваш путь неподделен.  
Но как вас могло занести  
Под своды таких богаделен  
На искреннем вашем пути!

Действительно – как? Отчего это с ним случилось?

Но в ту пору я не годился бы в объяснители по причине живших  
почти во всем моем поколении симптомов той же доверчивости к исто-  
рии. Хотя скажу, что для многих моих сверстников, как и для меня,  
«История» и «Сталин» никогда – ни на день, ни на час! – не были  
синонимами. Я был из тех, кто всей натурой своей не верил ни в ум, ни  
в образованность, ни в моральность Хозяина. Не по душе были ни его  
лицо, ни его стиль, ни его повадки. Он был весь Чужой (не могу сказать  
спокойней, короче и лучше). И отвратительна была эта его всенарод-  
ная кличка – «Хозяин»... И, поверьте, те новогодние стихи Бориса  
Пастернака легли поперек души – поперек преданной любви к нему.  
Поперек! Хотя тогда они были мне психологически даже нá руку:  
прочнее становилось мое самооправдание перед неумолимой и ника-  
ких исторических иллюзий не питавшей Ту. Я наслаждался, загибая  
пятерню!

## 11

Наслаждался? Да. А, в сущности, чем? Собираанием свидетельств  
слабости сильного? Очень не хочется быть понятым так дурно. Но в  
наступающей старости осознается то, что не осознавалось в молодос-  
ти: при загибании пятерни получается кулак!

Кулак получается, понимаете? А в духовной жизни человечества  
на это ни у кого нет права. Решительно: ни у кого!

Да ведь стоит только кому-нибудь присвоить право кулачного суда,  
а нам в это право поверить, и мировая культура опустеет. Нет, не она  
сама, но ее Пантеон – осужденный по алфавиту.

...Весь Ветхий Завет стоит на оправдываемой пророками крови

мщения и возмездия. Так что же – занести кулак? И Христос, объявивший, по Матфею, что не мир он принес, но меч, а по Луке – не мир, но разделение, недостоин себя, даже если эти меч и разделение – метафорические. Так что же – замахнуться?

Между прочим, как-то в конце 60-х совсем не святая троица неразлучных и талантливых друзей, младших моих приятелей, – хирург, физик, историк, – развивали за вседозволяющей водочкой невозможную тему: «Христос – фашист, не терпящий вольномыслия». И потому, утверждали они, Пазолини правильно сделал, изобразив его в «Евангелии от Матфея» на диктаторский лад... Почти девяностолетняя моя мама увещевала всех троих самым смешным аргументом: «Мальчики, побойтесь Бога!» Звоню сейчас Борису Рунину, как киноману, и спрашиваю: кто играл у Пазолини Иисуса? И слышу ответ: «Один испанский коммунист». Занятно пишется история человеческого духа, не правда ли?

...Все поверили: гений и злодейство – две вещи не совместные. Но Владимир Николаевич Яхонтов с замечательной остолбенелостью вскрикивал: «А Бонаротти?» И совершенно несущественно, был ли убийцею создатель Ватикана. Существенно, что такое подозрение не противоречило чему-то броскому в его образе.

А как неловко читать льстивое посвящение Коперником своего астрономического труда Великому Понтифику Павлу III!

А еще раболопней на заглавных страницах «Строения человеческого тела» посвящение Везалия – Божественному Карлу Пятому – «непобедимейшему императору». Какова превосходная степень – быть больше чем непобедимым, а?! Почти равновелико «поступку ростом в шар земной».

А Пьер Лаплас не устыдился посвятить «Небесную механику» Наполеону – как «героическому умиротворителю Европы»!

Между прочим, сдавшийся Галилей вовсе не произнес: «А все-таки она вертится!» А жаждавший терпимости и духовной свободы Джордано Бруно восторгался Мартином Лютером, зная, как тот в свое время возглашал, что не хватит Рейна, дабы утопить врагов всепрощающего Христа!

А христианнейший теолог Исаак Ньютон требовал смертной казни поддельвателям монет и без тени милосердия травил своих ученых коллег – Флемстида и Гука. А как этот несчастный Гук пресмыкательски восхвалял мнимую ученость Карла Второго!

И тэ-дэ и тэ-пэ вдоль всей истории блистательной науки нового времени... Так что же – опустим кулак?

...И на Пушкина опустим? За постыдное «Клеветникам России». Ну, хорошо-хорошо – не постыдное, а всего лишь исторически слепое и «льющее воду на мельницу». Но кстати – на ту самую мельницу, что и через полтора века пускала в помол все ту же самостоятельность

целого славянского государства под знаком все тех же, восславленных Пушкиным, «семейных» славянских дел, не терпящих вмешательства зловредных европейцев.

А что позволял себе писать против поляков, турок, евреев искреннейший страдалец за род людской, не желавший даже в мыслях преступить ни единой детской слезинки, каторги хлебнувший великий Федор Михайлович! Уму непостижимо!

Не забывается, как после войны на одном зверином заседании в Союзе писателей, похожий со своей бородкой на постаревшего козлика в окружении упитанных волков, Абрам Борисович Дерман, вопреки своей влюбленности в Чехова, казнил его за уступки юдофобству и не понимал, наивная душа, что радуется этими литературоведческими открытиями алчущих волков во главе с секретарствующим Анатолием Софроновым...

Господи, до Чехова довело это утомительное красноречие!

Может, только еще вслед за Солженицыным – тоже отнюдь не праведником! – помянуть неподкупную слепоту Бернарда Шоу, Романа Роллана, Леона Фейхтвангера? Как уверенно и гуманно славили они эпоху сталинских предвоенных соблазнов!

...А мой незабвенный Нильс Бор... – как не помянуть его, хоть и краткую, но чудовищную доверчивость?! Февраль 33-го. Паром от берегов уже гитлеровской Германии к берегам еще королевской Дании. Бор на борту говорит ассистенту-бельгийцу: «Возможно, эти события в Германии принесут успокоение и мир Европе!» Это о приходе нацистов к власти! Недаром потом – долго не проходящий стыд и недовольство собой.

Разожму кулак – раскину загнутые пальцы.

Мертвые сраму не имут. Да ведь вся наша отрада, что они были живыми и творящими, когда имели срам. И ложились костями, одни – прямо по Святославу, другие – фигурально.

А что делать нам, живым и покуда не костенеющим, с нашими срамами? Отжитое не переиначить – истории не улучшить. Только не забывать о срамах! И разве что попробовать остаться отрадой хоть кому-нибудь в будущем...

## 12

Чувствую: в этих тирадах не доставало рядом с Пастернаком его соперника-соратника в наших душах – Осипа Манделъштама. Думаю, тут все не очень понятно: и в чем было их соперничество, и как это они соратничали в нашем восприятии? Все прояснится непреднамеренно, само собой...

Осип Манделъштам родился на год позже Пастернака, а умер на двадцать два года раньше. Эпоха отпустила им, погодкам, такие разные сроки: сорок семь и семьдесят. И младший кончился не в дачной

постели, а на государственных нарах. Могло быть наоборот. Совершенно запросто могло быть наоборот!

Заблудившийся на земле этапов и ссылок, Мандельштам за год до гибели оставил в двух вариантах мечтательный монолог отчаяния. Оказалось, отчаяние может быть мечтательным:

Заблудился я в небе – что делать?  
Тот, кому оно близко, ответь!  
Легче было вам, Дантовых девять  
Атлетических дисков, звенеть,  
Задышаться, чернеть, голубеть...

Вычтем невычитаемое из настоящих стихов – их невыразимость на другом языке. Оголится простое: мне тяжче досталось, чем в кругах того – знаменитого – ада.

...Стоит на полке польская книга – «Ады и Орфеи». Мой недолгий друг уже Бог знает какой давности, – мы подружились в Ялте 58-го года, – талантливый Збигнев Беньковский прислал эту книгу своих эссе просто на память, как я ему – свою тогдашнюю («Неизбежность странного мира»). На титуле – русскими словами мило-неловкое: «с нежной мыслью». Эссе рассказывают о Кафке, Джойсе, Фолкнере, Сартре, Рембо... Не умея читать по-польски, я мог оценить только удивительность заглавия книги: Орфеи и Ады – во множественном числе! Конечно, русская грамматика разрешает быть множеству «адов», но русская стилистика – против. Однако, какая верная – нежная! – мысль, что у каждого Орфея – свой ад, куда он не может не спуститься за своей Эвридикой...

Наверное, это самое содержательное в метафоре Збышка: у каждого Орфея – своя Эвридика, и вернуть ее к жизни на прежней воле так и не удается... «Заблудился я в небе – что делать? Тот, кому оно близко, ответь!»

Ответа не бывало и не будет. Совет «что делать.», если кто и осмелится на него, все равно придет поздно – когда Орфей уже оглянулся.

Это достаточно туманно, чтобы всякий сумел вложить сюда, – как в скрещение далее на перешейке, – собственное понимание. Или – враждебное непонимание. (Выразить не могу, как освобождающе хорошо после многотрудных книг о ясных современниках – Резерфорде и Боре – разрешить самому себе побыть, наконец, туманным!)

Промолчу об Эвридиках Мандельштама и Пастернака – об их не вызволенных из неволи надеждах и замыслах. Это – для литературоведа-историка. Мне же видно, как всем, что ад у них был общий. Во всяком случае, в 30-х, на исходе которых одного из них не стало. И вот, оттого что одного из них так рано и так безгласно не стало, сегодня

неявный суд многих интеллектуалов у нас и на Западе отдает ему духовное предпочтение.

Впрочем, это произносится и открыто. Кажется, в «Континенте» я прочел, что ОМ был величайшим русским поэтом нашего века. Превосходная степень сопряжена с единственностью явления. Стало быть, ниже Блок, Хлебников, Маяковский, Цветаева, Ахматова, Есенин, Ходасевич... (отточие позволяет перечню расширяться). И, естественно, – Пастернак. Но что за бессмыслица – устраивать посмертное соревнование сверходаренностей: «сверх» и «сверхее»? Тут не больше разумности, чем в споре окружностей – какая круглее?.. Есть различие только в диаметрах – в размахе раскрытия дарований.

А в жизни было так...

#### ПАСТЕРНАК – МАНДЕЛЬШТАМУ (1924)

*Милый мой, я ничего не понимаю! Что хорошего нашли Вы во мне?.. На что Вы польстились? Да ведь мне в жизни не написать книжки, подобной «Камню»! И как давно это сделано, и сколько там в тиши и без шума понаоткрыто америк... Я не знаю отчего... – но я ни разу в жизни не сделал ничего из того, что хотел или считал должным... Вся она составила из кусочков... Ее целостность – явочного порядка... Конфузы, неожиданно, несчастные и счастливые случайности стали элементами какой-то одной судьбы или деятельности только оттого, что легли рядом и слезались.*

#### МАНДЕЛЬШТАМ – ПАСТЕРНАКУ (1937 год)

*Дорогой... Я хочу, чтобы Ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены – рвалась дальше, к миру, к народу, к детям... Хоть раз в жизни позвольте сказать Вам: спасибо за все и за то, что это «всё» – еще не всё»... Просто Вы нянчите жизнь и в ней меня, не достойного Вас, бесконечно Вас любящего.*

Это был «спор живых достоинств», – в согласии с пастернаковской строкой из «Волн». И оттого, что – живых, оба временами так явственно отдавали предпочтение один другому, как это и померещиться не могло бы ни нынешним пропастернаковцам, ни нынешним промандельштамовцам. Совершенно уверен: оба при этом не убавляли себе роста, но вдруг – в полосе неудовлетворенности собой – открывали для себя масштаб другого. И по врожденному свойству истинного артистиз-

ма опьянялись в такие моменты артистизмом не собственным, а чужим.

Разумеется, Пастернак никогда не мог бы написать «Камня», или «Тристия», или воронежских стихов. Но Мандельштам никогда не мог бы написать «Сестры...», или «Второго рождения», или стихов из романа. А когда бы один мог делать то, что делал другой, оба были бы нам, современникам, без нужды!

Горы кланяются друг дружке туманами и облаками, но не склоняются вершинами. Горы знают свою высоту: они судят о ней по простиранию пустоты вокруг – по ощущению одиночества.

«Я один, все тонет в фарисействе...» – Пастернак.

«Заблудился я в небе – что делать?..» – Мандельштам.

А сливаются горы у подножий, где живем-поживаем вместе с ними и мы. Если никогда не задирать головы, можно даже не заметить, что ты соседствовал с вершинами.

Здесь, в долинах повседневно-исторического существования, где мы живем вместе с ними, они по необходимости живут вместе с нами. Разница лишь в том, что мы о них хотя бы извещены, они же о нас – нет. Правда, потом проясняется, что все было как раз наоборот: мы о них знали слишком верхоглядно, они же о нас – самое судьбинное.

Вот почему Евгений из «Медного всадника», так несчастливо все теряющий в волнах стихии, – метафоры самой Истории, – неожиданно выбалтывает свое сокровеннейшее понимание происходящего, когда грозит Петру на вздыбленном коне: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!» И в безумии своем, потрясенный больше, чем мостовая, по которой преследовал его державец полумира, он, Евгений, – за что-то сочтенный Ахматовой глупым, – очень умно обходит потом те опасные места, где бросил истории сохраняющий душу вызов. Очень умно – потому что не дает державцу раздавить его и умирает в свой час без содействия власти. Умирает вдали от тех государевых мест – безвестный, бедствующий, безумный, но до конца человеческий. Умирает по собственному выбору – там, где он любил, где сердце он похоронил, – на пороге обезлюдившего домика своей Параше...

И проясняется: Пушкин знал нечто главное о нас, – обо всех живавших во времена неодолимой тирании, – хотя мы никак не могли известить его о нашем жалком героизме.

Жалкий героизм? Оксюморон? Конечно. Дело обыкновенное. В дурные времена Истории даже героизм может быть жалким, не переставая быть героизмом, то есть поведением из ряда вон! Ряд-то – зауряд, да только немало надо душевных сил, чтобы хоть нарушить выровненный страхом строй...



Социологически страх – то же, что физиологически – боль: предупреждение об опасности.

Если бы двуногие, появившись в жестоком мире природы, не ведали боли, они просто не выжили бы. И если бы с появлением даже самой ранней государственности они не узнали социального страха, не выжили бы ни подданные, ни правители. Разгневанный державец полумира мстительно скачет всю ночь за минутно осмелевшим Евгением не только в больном воображении дерзнувшего бедняги – он скачет в Истории. И потому скачет, что его гонит в преследование тоже страх. И недаром же «Медный всадник» не увидел света при жизни Пушкина! На тогдашнем «верху» чуяли то же, что чуют всюду на всегдашнем «верху»...

Известно: Николай сделал на рукописи постыдно-многочисленные пометки – ему хотелось улучшить текст. Одно из улучшений устраняло угрозу Евгения самодержцу. Пушкин не согласился. А меж тем Николай вполне мог думать, что согласится. Почему бы нет? Император помнил написанные шестью-семью годами раньше пушкинские «Стансы» – наверняка помнил: в декабре 1826-го Пушкин отметил теми стихами годовщину не жалкого, но истинного героизма Сенатской площади. А там означена была такая лестная для Николая параллель с его великим пращуром Петром. Так что мог бы, право, мог бы Пушкин снять угрозу Евгения, если бы жизнь и поэзия были устроены проще, чем они устроены.

## 13

Мы околдованы прозрачностью Пушкина, как геометры прозрачностью Эвклида. Нам внушено: надо верить каждой его строке. Однако не с него началась «тактическая поэзия», и едва ли она когда-нибудь кончится, потому что едва ли когда-нибудь существование человека в истории станет безопасным.

В природе – станет, а в обществе – нет. Однажды возникнув с неизбежностью, государственность только и сможет, что принимать привлекательные псевдонимы, но не исчезнет. Это еще менее представимо, чем зоосад без клеток и огражденных вольеров. Даже идеальное самоуправление не сможет устранить лидерства, а потому и власти с каким-нибудь механизмом неравенства. Это понято давным-давно. И придется великим поэтам оставаться, сверх всего прочего, великими тактиками – в помощь ближним и для самосохранения.

«Стансы» 1826 года – классический эталон тактической поэзии. («Милый Тоник! – это я другу-пушкинисту Эйдельману. – Предлагается к послужному списку гения Пушкина прибавить пункт: «несравненный мастер тактической поэзии». Но коли Вам покажется, что это умаляет его достоинство, не прибавляйте!...»)

В надежде славы и добра  
Гляжу вперед я без боязни:  
Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,  
Но нравы укротил наукой...

Неужто Пушкин и впрямь в надежде славы и добра глядел вперед без боязни? Разве не слышит наше – воспитанное другим державцем – ухо, что только боязнью будущего продиктованы были «Стансы» через полгода после июльских виселиц в граде Петровом? Поэт заклинал Николая искренне звучащей лестью:

Семейным сходством будь же горд;  
Во всем будь пращуру подобен:  
Как он, неутомим и тверд,  
И памятью, как он, незлобен.

Но что за призыв «будь тверд»?! Что за странная надежда на славу и добро, если впереди, как в начале, сможет понадобиться знакомая твердость императорской руки?! Ах, хорошо бы нашлась другая рифма к безобидному «горд»...

Но найтись она не могла: Пушкин говорил не то, что ему хотелось сказать, а то, что хотелось услышать Николаю. Это была тактика умиловствования!

Искренняя лесть – еще один оксюморон – сочетание несовместимого, как «живой труп» или «пышное увяданье». Однако в тактической поэзии это обычный гость. Вернейший признак тактики – истовость, глядящаяся искренностью. И чем больше схожа истовость с искренностью, тем дальше она от правды истинного переживания. Но правда переживания для тактики – только помеха. Она жива правдой намерения. Стремление к милосердию – достаточное оправдание для неправды лести.

Однако, может быть, и «тактическая поэзия» – оксюморон? Не думаю. Совместимость поэзии с тактикой зависит от целей тактики. Нильс Бор любил повторять, что истины тогда глубоки, когда прямо противоположные им – тоже истинны. Вот хрестоматийная пастернаковская строфа:

Когда строку диктует чувство,  
Оно на сцену шлет раба.  
И тут кончается искусство,  
И дышат почва и судьба.

Но разве не столь же верно вывернутое наизнанку: «Там начинает-

ся искусство, где дышат почва и судьба»?.. В тактике пушкинских «Стансов» дышали почва русской истории и судьба ее лучших детей, включая его самого.

И потому – возникла поэзия. От чистоты намерений!

Через сто с лишним лет откликнулось:

Столетье с лишним – не вчера,  
А сила прежняя в соблазне  
В надежде славы и добра  
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличие от хлыща  
В его существовании кратком,  
Труда со всеми сообща  
И заодно с правопорядком.

.....

Итак, вперед, не трепеща  
И утешаясь параллелью...

Не помню уж, загибал ли я очередной палец на второй руке, читая вслух и эти стихи из «Второго рождения». Наверное, загибал: нигде не выразилось так хорошо и мое хотенье «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком»! То был случай, когда «мое» могло быть произнесено от лица самого поколения очарованных – разумеется, за вычетом «хлыщей». Но сверх труда «сообща и заодно» было, к несчастью, и вранье «сообща и заодно». И демонстрируется это тут же – на пастернаковских «Стансах».

Вот полез я сейчас в комментарии к американскому трехтомнику Пастернака – нет, на самом деле это четырехтомник, но когда осенью 1963-го дарили мне его на перроне в Варшаве знающие мою страсть Збышек и Вера Беньковские, я от четвертого тома с тоской отказался, ибо то был запретный «Доктор Живаго», грозивший опорочить в глазах таможенников остальные тома, – так вот полез я сейчас в комментарии к «Стансам» БЛ и увидел то, что забылось: при первой публикации этих стихов в майском «Новом мире» 32-го года была выброшена строфа:

Но лишь сейчас сказать пора,  
Величьем дня сравнение разня:  
Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни.

Не сам же Хозяин выкидывал эти разоблачительные и потому опасные строки?! Выкидывали, которые «сообща и заодно». Но почему в том же 32-м эта строфа сохранилась в книжном издании «Второго рождения», понять трудно. Может, потому, что редактором книги был

Эдуард Багрицкий и он отстоял? Возможно. Пастернаковеды при нужде разберутся. Интереснее другое.

В синем однотомнике 1965 года эти стихи впервые вновь появились у нас после тридцатилетнего изгнания, а еще через одиннадцать лет – в зеленом однотомнике 1976-го – снова подверглись изъятию. Меж тем у синего и зеленого составитель один – Лев Озеров. Суть в идеологическом климате разных десятилетий... Какая честь для поэта быть барометром политической погоды! И какая сверхнеожиданная честь для Пастернака!

А может, вовсе и не честь, но посмертный укор за следование суетным соблазнам? А может, еще вернее третье – и честь, и укор одновременно? Честь... – потому что задел самообольщенную эпоху за живое – за больное – за омраченность казнями и сумел заставить думать об этом других. Укор... – потому что сам обольстился надеждой славы и добра не по живому, а по миллионно-мертвому следу «великого перелома».

...Пишу это, а сам терзаюсь: но откуда у меня-то право суда?.. Мандельштам в 25-м году почему-то написал:

Изогвавшись на корню,  
Никого я не виню.

Без причин такие строки на бумагу не выкладываются. И не вспоминаются другими без причин. Хорошо бы даже не худшим из поколения очарованных, – изогвавшимся не столько на корню, сколько досыта, – тоже никого не винить.

А уж если винить, то со всею печалью начинать с себя.

## 14

И вот я забегаю... назад из нынешнего моего рантьеобразного существования (с тающей сберкнижкой) в студенческую жизнь (с безгрешным вакуумом в кармане). А по колеблющейся хронологии молодости и пастернаковских отражений в ней – никуда не забегаю. Скорее, вращаюсь по круговой орбите. Год 1938-й. Мне двадцать четыре.

...На Челябинском тракторном арестован отец. На московском «Шарикоподшипнике» – старший брат. Мама возвращается с Урала в нашу московскую квартиру на Фурманном. Отныне ее житейское благополучие зависит от меня. У брата-близнеца своя семья – четырехлетний сын и неработающая жена.

Не спеша спросил, сколько получал отец. Помню в наступившем молчании неурочный бой стенных часов. Сумма для студента прозвучала непомерной: отец по командировке Орджоникидзе руководил на ЧТЗ, кажется, проектным отделом. С детства произвольно бьющие

часы начинают бить снова. И пока они бьют, можно не говорить. Я смотрю на них с младенческой надеждой, будто они чеканят монеты. Потом долго протираю очки. Потом произношу убежденно и небрежно:

– Тебе понадобится больше: возможные передачи и прочее...

А за окном – четырехугольный кусок запыленного лета в колодце асфальтового двора, вполне бы сгодившегося для прогулок ван-гоговских заключенных. А я – умо-заключенный в поисках выхода из колодца своей беды. На свободе – на непрерывной прогулке: у меня четырехмесячные каникулы впереди – два месяца, как у всех студентов, и два – как у белобилетника, освобожденного от воинских лагерей: Надо эти четыре месяца превратить в четырехугольные купюры – заработать хоть и ненадолго впрок.

Умозакключаю: репетиторство – вот выход! У меня четыре ипостаси: химия, математика, физика, литература. Сразу устроилась только математика – ничего не решающие уроки-гроши.

И вдруг срабатывают праздные литературные приятельства юности: в четырех редакциях одновременно соглашаются испытать меня на ответах начинающим поэтам – беднякам-графоманам. («Литгазета», «Знамя», «Комсомольская правда» и радиоредакция с уже забывшимся названием.) Сколько помнится, от рубля до трешки за ответ с коротким критическим разбором стихов. Мои ответы нравятся заказчикам. Еще больше нравится темп: я умерщвляю за сутки десять – пятнадцать надежд на поэтическую славу. А в редакциях расчищаются завалы неотвеченных писем. А я четыре раза в месяц получаю в четырех местах палаческие гонорары. И у мамы теперь больше денег, чем принесил отец-инженер. Храмик сыновней верности на чернильной крови.

Сколько я приговоров подписал... Сколько воздушных замков разрушил... Скольких юнцов и девочек наогорчал... А возможно, кого-то и спас от будущих разочарований, ложной судьбы, мнимой жизни! Втайне до сих пор горжусь тем четырехмесячным поступком, когда на зеленом поле ломберного столика, заменявшего мне письменный, по двенадцать – шестнадцать часов ежедневно тренировал за государственный счет свое самонадеянное критическое чутье.

Впрочем, приостановлюсь... Внезапно замечаю, как тут отовсюду вылезает четверка – из углов асфальтового двора, из длительности каникул, из ипостасей репетиторства, из числа редакций и получек... Проглядывает нарочитость. Однако же все тут правда. И не проступает ли в этой назойливой четырехугольности карусель четырехстрочных строф моей разветвленной клиентуры? Господи, как они, эти строфы-коробочки, мне тогда осточертели, спасительницы мои!

Я все ссылался в своих ответах на обожаемую технику Маяковского. А на обольстительную технику Пастернака ссылался редко. Не

решался: не понимал ее анатомически. А иногда побаивался жалоб в редакцию – вон чему нас учит ваш консультант! Правда, в «Литгазете», где моим работодателем был малописучий добряк, отлично знавший, однако, правила игры, Михаил Миллер, и в «Знамени», где мне покровительствовал лихописучий добряк, еще лучше знавший те же правила, Анатолий Тарасенков, я жалоб мог не бояться: им просто не дали бы хода. Были прецеденты.

Одного многократного жалобщика забыть трудновато. Он прищипывал к стихам свои фотопортреты и подписывался «Я. Пушкин». Стихи рассылал по всем редакциям. А тревожной нашей тогдашней жизни, как ни странно, весело сопутствовали изобретательные розыгрыши. И на всякий случай, дабы не оказаться разыгранным кем-нибудь из литературных остряков, я стихов его не разбирал, а только с улыбочкой прохаживался по орфографии, вроде: «Маяковский обычно писал молоко, а не малако». Или – по рифмовке, вроде: «...даже Пастернак рифмовать молоко и облако, пожалуй, не стал бы»... От Я. Пушкина приходили угрозы разоблачить меня, как врага народа, что в ту пору звучало вовсе не смешно. В конце концов приятели мои Анатолий Тарасенков и Михаил Миллер, созвонившись, послали ему официальное уведомление, что такой-сякой от консультаций отстранен. В ликующих письмах, кажется, последних, бедняга признался, что стал писать стихи год назад, в 1937-м, в честь столетия гибели его однофамильца, дабы появился, наконец, и советский Пушкин.

Но не анекдоты ради рассказываю я о том четырехмесячном приступе зарабатывания четырёхугольных купюр. Четыре вещи воспедали из того приступа.

Для матери моей сохранился прежний уровень внешнего благополучия. Это раз. Миша Миллер познакомил меня в редакции с «графиней Софьей Дмитриевной Разумовской». Это два. Сам я тем временем почти перестал быть прежним – витающим, бескорыстным, неосмотрительным. Это три. Толя Тарасенков уверил меня, что я вполне созрел для поэтической критики, и он готов меня печатать. Это четыре... О четвертом-то следствии тут и речь.

Началось вовсе не с поэзии. Тогда публиковался в «Правде», глава за главою, Краткий курс истории партии. Громкое было дело: устанавливался нерушимый канон! Даже не четыре Евангелия, а одно – без разночтений и вариантов. Даже вся философия диамата утрамбовывалась в одну главу. Почему-то – четвертуго. И превращалась в дважды два – четыре.

(Черт возьми, опять отовсюду вылезает эта четверка!)

И вот однажды Анатолий Тарасенков вывел меня из многолюдья редакции «Знамени» в пропыленный садик Дома Герцена – для секретного разговора... Мы были приятелями с 30-го года – с моих шестнадц

цати. Он, двадцатиднолетний, слыл тогда многообещающим критиком. А к 38-му успел уже всего нахлебаться, и был крученный-верченый хитроумием нашей литературной жизни. В самой его гибкой фигуре, тонкошейей и длиннорукой, способной послушно вызмеиваться, нечаянно выразилась эта крученость-верченость. И когда он уселся на скамейке, легко закрутил спиралью ноги, огляделся по сторонам и уставился на меня, я приготовился услышать, что больше письмами графоманов мне не промышлять. Он знал об аресте моего отца. Оттого по-приятельски – и очень смело по тем временам – предложил мне внештатную работу без заполнения анкеты. Но я струсил сказать ему, что посажены еще мой брат и двое приятелей-студентов. А теперь, подумал я, все открылось...

– Открылось... – громко начал он и перебил себя словно между прочим: – Да, а что нового с твоим отцом?

– Ничего.

*(Тогда, летом, я не мог рассказать того, чего сам не знал до глубокой осени 38-го: отец очень скоро умер в тюремной больнице. Ему не успели предъявить никакого обвинения. И следовательно, не став заводить на него дела, передал маминой сестре в Челябинске документы, деньги и какие-то вещи отца. И я, не поторопившийся нигде анкетно солгать, что отец мой «враг народа», решил никогда этого и не делать. Иначе – скрывать неправду. Это был необманый обман кому-то нужного обмана... Однако во второй половине 50-х мать не смогла потребовать реабилитации мужа, а я – отца: поскольку не было «дела», не было репрессированного! Человек просто растворился во тьме истории... Бывало и такое в ней, в нашей расхристанной Истории!)*

– Открылось... – продолжал Толя примерно в таком духе, – открылось, что у тебя есть перо. Хочешь получить сразу тыщу?

Легко представить, как я неудержимо развеселился – пронесло!.. Сказал, что заранее согласен на все, и был пойман на слове. Оказалось: журналу остро и срочно нужна публицистическая статья-тост о Кратком курсе. Из именитых писателей срочно ее не выжмешь. А требуется печатный лист патетики. И у Толи был довод не для постороннего слуха:

– В случае чего, понимаешь, такая статья послужит тебе индульгенцией! Надо только красиво написать. Тема достойнейшая!

И я написал. Достаточно красиво – на всю тыщу. И на всю тыщу – притворно, потому что не любил и не принимал той книги – самого ее стиля. Конечно, я еще не часто умел отличить в ней правду от намеренного вранья. Просто по невежеству. Но все равно: она отвращала.

Грубостью логики. Упрощением истории. Газетностью текста. И тягостно ныне признание в притворстве по трусости.

Была ли в тарасенковском «тема достойнейшая» искренняя убежденность – сказать не берусь. В ту отчаянную пору, может быть, и была. Но через пятнадцать лет – в 53-м – ее не было бы наверняка. Смерть Сталина он принял как освобождение. Только думал сначала: «Будет хуже!» (Так многие думали.) Не дожил он, к сожалению, до хрущевских разоблачений на XX съезде. Совсем чуть-чуть не дожил – инфаркт сразил его в день открытия съезда, 14 февраля 56-го. Уверен: он не оказался бы в любительском концлагере тоскующих сталинистов. Напротив. И между прочим, потому – напротив, что в нашей литературе пожизненной его любовью, – которую он столько раз предавал и столько раз защищал! – был Борис Пастернак.

...Статья моя «на достойнейшую тему» – та постыдная индульгенция – была напечатана в ноябре 38-го. Называлась «История и жизнь». В верстке к ней прикладывали руку все знаменцы, кому было не лень, добавляя к авторскому красноречию редакторские восторги. Но это не имело значения, как лишняя карта в очко, когда на руках у тебя и без того перебор. В статье не содержалось ни истории, ни жизни. Я настоял на псевдониме. Предложил «Д. Танин» – по имени моей тогдашней влюбленности, уже отмененной СД. Тарасенков сказал, что «Таниных до черта». И заменил «Т» на «Д».

Однако, наверное, я сам сболтнул в университете про ту статью или похвастался грандиозным для студента гонораром. Авторство мое раскрылось. И был зимний денек, когда две студентки, хорошо меня знавшие, – Лена Великовская и Валя Рыбакова, загородили мне дорогу на факультетской лестнице. Я услышал негодующее: «Лицемер и подпевала!» Почему – подпевала? Потому, что обе они, мои университетские приятельницы, были честнейшие правдолюбки, а я позволил себе подпеть неправде. А лицемер – потому что одновременно был редактором выдающейся физфактовской стенной газеты «Страница искусства», где на пятиметровой ватманской длине мы позволяли себе крамолу: восхваляли то, что официально осуждалось, и осуждали то, что официально восхвалялось. Говорили Шостаковичу – да, а Дунаевскому – нет... Александру Герасимову – нет, а Сергею Герасимову – да... Обе они, Лена и Валя, энтузиастки той газеты, заклеивив меня правдой, убежали. А я остался стоять у перил, примороженный налетевшим порывом ледяного презренья.

И, знаете, наедине с собою до сих пор там стою в ожидании совсем другой индульгенции – ни одной из тех, что бывали: ни папской, ни писаной, ни покупаемой, а совсем другой... – может быть, той, что придет вразвалочку из-за горизонта этих признаний и переоценок.



Так откуда же у меня право винить кого бы то ни было в меньших, равных или больших грехах?!

Отчего же все-таки тянет винить? Не от безотчетной ли надежды растворить свою вину во всеобщей? Чудится, будто от этого она, своя, сделается незаметней. Хотя бы незаметней! А раз уж эти страницы – из повествования «Пастернак и мы», чувствую, как инстинктивно хочу сделать поменьше и его вольные или невольные вины.

Какие? Это материя исторически и психологически драматическая... В «Спекторском» есть восклицание: «Я вам не шут! Я жил, как вы...» Что делать? – были стихи о Сталине. Преданные. Была непостижимая доверчивость... Но время, мученичество и отвага выдали ему столько заслуженных индальгенций, что ничьи запоздалые хлопоты тут не нужны.

Зато тут снова – и доподлинно трагически – вступает в рассказ Осип Мандельштам.

## 15

В 1934-м, «как обуянный силой черной... зубы стиснув», прошептал он свое: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!»

Мы живем, под собою не зная страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны,  
А где хватит на полразговорца, –  
Там помнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
А слова, как пудовые гири, верны.  
Тараканы смеются усища,  
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд толстокожих вождей,  
Он играет услугами полулюдей.  
Как подковы кует за указом указ –  
Кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз.

Что ни казнь у него, – то малина  
И широкая грудь осетина.

К несчастью Мандельштама, он был услышан, в отличие от пушкинского Евгения, не за десять, а за десять тысяч шагов. И не кумиром на бронзовом коне, а слугами самого кремлевского горца. И потому, однажды был достигнут в ночи. И уже непоправимо.

Нынче эпоха информационного взрыва. По мудреному устройству социальной психологии, ее же, эту эпоху, называют эпохой человеческой некоммуникабельности. В 30-х годах была коммуникабельность, но не было информационного взрыва. Решительно не могу припом-

нить, чтобы в трепливой студенческой среде, равно как и в среде молодых литераторов, хоть кто-нибудь когда-нибудь кому-нибудь читал те мандельштамовские четырнадцать строк – некий псевдосонет, пахнувший смертью.

Десятки анекдотов вползали в наши уши и сползали с наших языков. Чем это грозило, хорошо известно. Но то был фольклор. Правда, сочинение зловредных анекдотов молва приписывала, как правило, Карлу Радеку, и фольклорность вроде бы исчезала. Однако исчез Карл Радек, а творчество анекдотов осталось. Стало быть, все-таки – фольклор. Оно и утешительней: пострадать можно было за болтовню – не за авторство.

Псевдосонет Мандельштама не вползал в уши и не сползал с языка, вероятно, по причине авторства, затаившегося в малом кругу избранных слушателей. Да в ком-то он все-таки доверчиво ошибся! (Когда-нибудь эта ошибка обретет паспортное имя. К счастью, это уже не будет иметь предохранительного значения: доносители вымирают вместе со своим поколением.)

Когда раздумываешь о том трагическом эпизоде, одно представляется совершенно невероятным: как могло мандельштамовское стихотворение дойти до самого Сталина?! Раньше чем дойти до его столасула-кресла-койки-алькова, оно должно было побывать в других руках. И сколько бы ни было таких рук, – две, четыре, шесть, восемь... – ибо вряд ли на гибельном пути от автора доноса до главного читателя могли попасться однорукие службисты, – каждая пара рук должна была испытать парализующий трепет:

– ...Мы стали соучастниками его унижения – мы будем заподозрены, что кому-нибудь порассказали про его тараканьи усища и услуги полулюдей, и тогда – мы пропали... лучше бы сжечь это к чертовой матери и доложить без текста – по слухам... мол, известный вырождок-поэт, недавно по рылу залепивший самому графу Алексею Толстому, чего-то непотребное накалякал, говорят, про самого Хозяина... а что – не читали и не видели, – только дело верное, троцкистско-эсеровско-эмигрантское – тянет на вышку!

Стоит вообразить себе крутовосходящего Сталина тех решающих месяцев после XVII съезда, читающего чудовищные строки в присутствии кого угодно, тоже их читавшего, и «тоже их читавшего» – уже нет! Будь то даже Менжинский – тогдашний Держинский... Кстати («информация к размышлению»), по энциклопедической справке – Менжинский умер 10 мая 34-го. Мандельштам был арестован, по свидетельству Анны Ахматовой, 19 мая, уже Ягодой. Но ясно, что Ягода лишь завершил начатое раньше при его внезапно скончавшемся предшественнике... Однако такая борджиевская мыслишка о своевременной смерти шефа тайного сыска, хоть и вполне в стиле нынешних

исторических ретроразоблачений, наверняка напрасна. И Менжинский умер вовсе не внезапно: он был тяжело больным человеком. Главное же, эдакая дворцовая версия противоречит моей (прошу прощения за нескромность) глубокой убежденности, что Сталин тех стихов вообще не читал!

Конечно, услышав что-то, он мог коротко скомандовать: «Давайте текст!» И дали, разумеется. Но что при этом «дали», мы не знаем. Легко представить, что всю образно-физиологическую оскорбительность подлинника, – с пальцами жирными, яко черви, и прочими невкусами, – постарались смягчить или удалить. Портретный яд заменили идейным, дабы получить право самим быть бдительными судьями политического противника. Противника, а не злобного пасквилянта. Во дворцах у сатрапов умело совершались такие подделки. Возможно, и тут был подобный прецедент, почему бы нет? И это-то смягчило участь самого Мандельштама: он не был пущен в расход. А через месяц после его ареста – вон как повернулось дело! – даже захотел поговорить о провинившемся с Пастернаком лично товарищ Сталин!

Во второй половине июня 34-го случилось это событие: Иосиф Виссарионович соединился по телефону с Борисом Леонидовичем. (Ах, неуместно тут острословие – сознаю, сознаю! Но веселит предположение, что о том их разговоре по поводу и думал Пастернак, когда через полтора года писал о «двухголосой фуге» поэта и вождя – «предельно крайних двух начал». Может, и не надо искать для этой «фуги» других подоплек?) Тот звонок из Кремля представляется вернейшим – хоть и всего только психологическим! – свидетельством, что мандельштамовского псевдосонета Сталин не знал. Когда бы знал, должен был предполагать, что и Пастернак знает про «указы в пах», «казни-малины» и прочее. А тогда – как и о чем разговаривать?

Повторю: что-то другое ему показали. Весьма возможно, «Мне на плечи кидается век-волкодав...» (тоже ведь «антисоветчина!»).

Оглушающий псевдосонет моя среда услышала только после войны – в середине 60-х. Мы с Т. пытались реконструировать довоенные «полразговорцы» о странном звонке Хозяина. Реконструировались две черты: говорили, что Пастернак выглядел в той телефонной беседе не очень хорошо – «за друга не заступился, как следовало», а Сталин выглядел очень хорошо – «сказал, что за друга всегда пошел бы в огонь и воду». Слышу голос Ту:

– Какая гадость! И, подумай, все повторяли это...

Мы плохо знаем словесную ткань состоявшегося разговора. Если телефонное творчество Хозяина стенографировалось, где-то, возможно, сохраняется запись «двухголосой фуги». Пока же, очевидно, нет лучшего источника, чем запись Зинаиды Николаевны Пастернак. Я

прочел ее изложение в безымянной статье о Пастернаке и Мандельштаме, украсившей четвертый сборник «Память».

Зинаида Николаевна пишет, как спокойно, без капли волнения Пастернак вел диалог.

*«...Сталин заговорил о судьбе Мандельштама и сразу же сказал, что дело пересматривается и с ним будет все хорошо. Затем он спросил, почему Пастернак не хлопотал о Мандельштаме... «Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг-поэт арестован».*

Пастернак ответил: «...Если бы я не хлопотал, вы бы ничего не узнали». Он знал, что Бухарин в своем письме к Сталину... упомянул об его хлопотах.

«Но ведь он ваш друг?» – спросил прямо Сталин.

Пастернак постарался уточнить характер отношений, сказав, что поэты, как женщины, ревнуют друг к другу.

«Но ведь он же мастер, мастер», – продолжал Сталин.

«Да не в этом дело, – ответил Пастернак. – Да что мы всё о Мандельштаме да о Мандельштаме, я давно хотел с вами встретиться и поговорить серьезно». – «О чем же?» – «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку.

Неожиданный обрыв разговора взволновал и испугал Пастернака. Пастернак был недоволен разговором и стал звонить в Кремль, не понимая, почему Сталин так резко бросил трубку... На слова о том, что он не может держать разговор в тайне и все соседи слышали его, Поскребышев сказал, что это его дело – рассказывать или нет.

...По воспоминаниям Надежды Яковлевны, Мандельштам был доволен ответами Пастернака, его взволновал только сам факт такого разговора: «Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться – он здесь ни при чем...»

Надо верить, что слова «Зинаида Николаевна пишет» равнозначны словам – «Борис Леонидович рассказал»...

Хоть и совестно, но признаюсь, меня донельзя смутила в этом рассказе самая никчемная подробность: как это он, БЛ, испуганный случившимся, взял да и «стал звонить в Кремль»?! Я отродясь не знал никого, кроме Фадеева, кто бы умел «звонить в Кремль», да еще Самому! Где мог пройти эту науку Пастернак?

– Николай Николаевич, вразумите недостойного... – звоню я Вильям-Вильмунту, и тотчас слышу в ответ:

– Ах, это простей простого... БЛ ведь решил сначала, что его разыгрывают, и в ответ на фразу – «с вами будет говорить товарищ Сталин» – отшутился: «Полно дурачиться, я не верю!» Тогда Поскребышев назвал и сказал, чтобы Пастернак позвонил по такому-то телефону. БЛ записал номер – вот и все...

Не знаю уж, право, к сожалению ли, но с содержательной стороной рассказа о том разговоре так просто не разминуться.

## 16

В начале 1981 года покойная моя приятельница Верочка Острогорская, дружившая с последней любовью Пастернака Ольгой Ивинской, подарила мне сорок седьмой том Русской библиотеки Института славистики в Париже. Это были материалы коллоквиума в Серизи-ля-Салль, где осенью 75-го обсуждались проблемы пастернаковедения. Там шел разговор и об истории со сталинским звонком. Дискуссию на эту тему я читал Тусе вслух – досадливо – «с выражением». Даже реплики французов, – благо живы еще были крохи моего жалкого французского после нашей поездки в Париж весной 79-го.

– С чего это ты сердиться? – спросила она. – А, понимаю, они там раскладывали пасьянс из слухов и надеялись, что он выйдет, а он не вышел...

Но не на это я досадовал. Раздражился вдруг на нерасторопную нашу жизнь. В отчетном томе о коллоквиуме в Серизи-ля-Салль было пятьсот пятьдесят семь страниц! Уже реально существовало пастернаковедение, а мы в Москве еще сидели в тыловой дыре собственной истории. Содержательным осталось от той минуты раздражения лишь замечание Туси о «пасьянсе из слухов».

...Во всяком «имяведении» есть долгая пора «слуховедения». Она длится, пока живы современники – первоисточники слухов. Главным образом их устами жизнь напускает тумана. Потом из него оседают или не оседают капельки правды.

До сих пор с непрекаемой надежностью не осело – какова же была истинная мера вины Натальи Николаевны в дуэли Пушкина? Или – как был убит Кеннеди?

Для понимания времени и нас во времени слухи часто содержательней фактов. Они – явления социальной психологии. И потому пора слуховедения, может быть, самая жизнеобъемлющая: в ней всякая неправда о чем-нибудь – правда о ком-нибудь. Или – разом о многих... Так, уже сорок с лишним лет бродит ничтожно-вероятная, но красиво-желанная версия, будто молодой теоретик Этторе Майорана – гений среди римских «мальчиков Ферми» – нелюдимый пессимист – странная душа – не погиб перед войной во время морского рейса, а скрылся под чужим именем в горном монастыре, предчувствуя бесчеловечные возможности применения ядерной физики и отказываясь ей служить... Это рассказ не о нем, а о нас. Целый историко-психологический трактат!

И бродившая в 30-х годах версия о добропорядочности Сталина в телефонном разговоре с ошеломленным Пастернаком – тоже историко-

психологический трактат. Не о нем, а об его подданных – их обманутости и еще не до конца утраченных иллюзиях.

Даже через сорок лет «отверженный» Андрей Синявский уверял в дискуссии, что Сталин потому допытывался у Пастернака – мастер ли Мандельштам, что знал: «мастеров надо уважать и ценить». Он, Сталин, по-хозяйски взвешивал – «ценный кадр или не ценный кадр?». И по этой версии, – а она, непроверяемая по природе своей, тотчас становится одним из слухов! – получается, будто и вправду имело место отступничество Пастернака от друга-поэта, когда сталинское настойчивое «но ведь он же мастер, мастер» БЛ встретил уклончивым «да не в этом дело...»!

А другой «отверженный» – Ефим Эткинд – задался, казалось бы, неожиданным, но глубоко оправданным и уже знакомым нам вопросом: действительно ли знал Пастернак роковой псевдосонет Мандельштама? И в дискуссии справедливо заметил, что если «знал, то его разговор носил почти героический характер», ибо самоубийственным было бы «выступить в защиту автора» такого стихотворения. Но сослагательное наклоние равносильно признанию, что он в защиту не выступил. Однако сказанное – сказано, и в коллекции версий остается слух о почти героизме Пастернака в беседе с Хозяином... Пусть остается: это еще один историко-психологический трактат. И снова – не на тему Поэт и Царь, а на тему «шкалы героизма» в представлениях нашего навсегда изуродованного поколения.

Всего же интересней другое: Ефим Эткинд поддержал весьма пространенную версию, по которой сталинский звонок был провокационным. Тайно подстерегающая мыслишка Сталина выглядела так: «Ты скажешь, что он (Мандельштам) великий поэт, ну и вот тебе!» (Я только цитирую Ефима Э.)

Эта удивительная идея может соревноваться с синявской удивительной идеей: там – определяющая судьбу поэта искренняя заинтересованность товарища Сталина в творческой ценности арестованного кадра, тут – хитроумный поиск товарищем Сталиным достаточного повода, дабы сделать поэту бо-бо по заслугам! Право, замечательно: у отверженных не истратилась вера в сохранность человекоподобия даже ничем не ограниченной власти! Может, оттого они и стали отверженными, что не до конца допускали возможность несправедливой расправы с ними самими! Старомодно полагали, что для наказания нужно пропорциональное преступление?..

...Любопытно, что версию почти героизма Пастернака Ефим Э. мог высказать и не в сослагательном наклонении. В 75-м году в Серизи-ля-Салль попросту еще неизвестно было, что существует рассказ Пастернака о том, как Мандельштам читал ему те крамольные четырнадцать строк. Этот рассказ опубликован в изложении на тех же страницах

«Памяти», где и запись Зинаиды Николаевны о звонке из Кремля. Но тут достоверность не бесспорна.

БЛ шел с Мандельштамом где-то в районе Тверских-Ямских, и «звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых телег». (Деталь, достойная «Доктора Живаго», где столько событий происходит в том же районе старой Москвы.) Пастернак сказал:

*– То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, к поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому.*

Это записано по чьим-то устным припоминаниям. Но смущают слух подробности, идущие явно от романа: и то, что Тверские-Ямские 34-го года названы окраиной, и то, что скрип ломовых телег мог тогда служить звуковым – преобладающим – фоном, и то, что прочитанное сразу воспринялось как не имеющее никакого отношения к литературе... Навязчиво ощущение, что вся эта сцена «на остриях и безднах» реконструирована на рубеже 40 – 50-х годов под влиянием атмосферы тогда писавшегося или уже законченного «Живаго». Кем реконструирована? Можно допустить, что и самим Пастернаком. Но...

...Были Тверские-Ямские начала 30-х, было трагическое впечатление от впервые услышанного текста, была фраза – «Вы мне ничего не читали...», однако спутником Пастернака был не Мандельштам, уже арестованный. Шел с БЛ и читал ему псевдосонет кто-то из их общих знакомых. Воображение ставит такую – довольно правдоподобную – сценку:

*Некто: – Наконец, я услышу подлинную историю со звонком Хозяина! Ходит столько небывлиц...*

*Пастернак: – Да-да-да, меня никто не просил молчать... (словоохотливо рассказывает – под скрип телег).*

*Некто: – А вы знаете истинную подоплеку ареста М.?*

*Пастернак: – Мне Анна Андреевна говорила... У него всю ночь искали неосторожные стихи. Взяли «Волка». И поминают еще ту пощечину Толстому. Но ведь не Лев – и хоть Алексей, да тоже не тот... Ничего рокового. Иначе Бухарин не заступился бы! Да и приговор не гумилевский: три года ссылки в Чердынь. Возможно, еще и смягчат...*

*Некто: – Нет, БЛ, искали не «Волка». Я вам прочту, что искали... (оглянувшись, читает – под скрип телег).*

*Пастернак: – То, что вы мне прочли... Это акт самоубийства! Вы мне ничего не читали... И прошу вас не читать их никому другому!*

*Некто: – Поздно, БЛ... Кто-то уже прочел их кому-то*

*другому. Потому-то все и случилось... А вам я прочитал их оттого, что вы теперь со Сталиным на короткой ноге (две невеселые улыбки под скрип все тех же телег).*

В оправдание этого сочинительства, – чтобы сценка была не совсем уж лишней, – тут приведены факты из воспоминаний Ахматовой. Но для сути гипотезы они не существенны. Она проста: потрясенный открывшимся, Пастернак пересказал этот разговор дома, намеренно не назвав своего спутника и процитировав только три-четыре запомнившихся и ужаснувших его строки. А со временем, после войны, неназванный спутник заменился в домашних пересказах самим Мандельштамом. И возникло мнимое свидетельство Пастернака о том, чего на самом деле, к счастью, не было.

Между прочим, мемуары Надежды Яковлевны Мандельштам подтверждают, что заступившийся Бухарин в свой черед тех стихов не знал: позднее, когда он доподлинно узнал их текст, последовал его решительный отказ от всякой дальнейшей помощи. Тут есть (была!) одна тонкость, очень понятная моему поколению и, вероятно, совсем непонятная послесталинским поколениям.

К тому времени – к началу 30-х годов – мы уже свыклись с беспричинными репрессиями. Честнее – вроде бы свыклись. Еще честнее – их-то всего больше и страшились: беспричинность превращала каждого в возможную жертву. О собственной вине посаженного, как правило, и речи не заходило. Довольно было причастности к неблагополучному корню: внук бывшего помещика... пасынок покойного фабриканта... невестка отцветшего нэпмана... зять раскаявшегося оппозиционера... племянница пособника, по слухам, раскулаченного... квартирный сосед второй жены кого-то не того... Заступничество за такую седьмую воду на шестом киселе требовало, конечно, доброй воли и незаурядного мужества, но при социальной защищенности заступника ничем особенным в данный момент ему не грозило. Ранним летом 34-го дело Мандельштама стремительно развилось до трехлетней ссылки, думаю, в духе такой именно схемы.

*Бухарин проявил вполне дозволенную меру порядочности. Пастернак – вполне дозволенную меру дружеской верности. Сталин – вполне дозволенную меру либерализма (гнилого). И все трое – от равной неосведомленности в главном!*

А ведь редкость истинного «дела Мандельштама», – когда бы судили его за псевдосонет, – заключалась в том, что у него была реальная вина. Не седьмая вода на шестом киселе, а собственный, караемый законом проступок: клевета! Да-да, вполне всерьез... Он при свидетелях обвинил кремлевского горца Бог знает в чем, формально недоказу-



емо приписав его единовластия государственные указы – кому в лоб, кому в пах, кому куда-то еще. В своем безудержном клеветизме он, поэт, публично (были свидетели!) охарактеризовал карательные акты правосудия как противозаконные действия уголовной кодлы: «казни-малины». И он огульно оскорбил руководителей высшего ранга, как «сброд толстокожих вождей», а в другом варианте – «тонкошеих», что, впрочем, не противоречило толстокожести. Вообще другой вариант того криминального стихотворения не уступал по зловредности основному. Скорее, превывшал его, ибо содержал шестнадцать строк, а не четырнадцать, то есть уже не мог сойти даже за псевдосонет. И две добавочные строки не ослабляли, а усугубляли вину автора: после сентенции «Он играет услугами полулюдей» следовало –

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет –  
Он один лишь бабачит и тычет.

Кроме того, «он», хоть и не конституционный, но всенародно признанный глава государства, без малейших юридических доказательств очернялся, как «душегуб и мужикоборец»...

(Да ведь даже в современной Англии за оскорбление королевы любой высокородный лорд Мэндлстэм заплатил бы опалой и ссылкой в какое ни на есть родовое поместье.)

Счастье Осипа Эмильевича Мандельштама, что при двойном обыске преступный текст обнаружен у него не был! И счастье, что его заступники, – среди них Сталин, возможно, не солгавший, что дело пересматривается, – в отличие от перепуганного следствия, сути дела не знали! Это дало ему четыре года жизни. Хоть и бедственной, но живой жизни. А нам дало его воронежские стихи и кое-что сверх того.

## 17

Загадочно, однако, отчего же все-таки Сталин позвонил Пастернаку? Не «зачем», а почему? Широко известен один прецедент: звонок Михаилу Булгакову в апреле 30-го года. Там поводом было письмо писателя в правительство – отчаянно безнадежное и отчаянно смелое. В обоих случаях Сталину пожелалось быть добрым вестником! – это я в угоду милым реалистам, открывающим его «сложный характер»... В пастернаковском случае: «Дело пересматривается, и с ним будет все хорошо». В булгаковском случае: «Вы будете благоприятный ответ иметь».

А была у этого доброго вестника повадка кота, поигрывающего с мышью: обнадеживающий садизм чутких вопросов. К Булгакову: «А, может быть, правда, пустить вас за границу? Чтоб, мы вам очень надоели?» К Пастернаку: «Но ведь он ваш друг?»

Нет-нет, то не были ловушки, рассчитанные на доверчивость и неосторожность: уклончивость ответов была предвидена заранее. Вов-

се не ожидалось от Булгакова: «Да, вы мне до смерти надоели!» или: «Ну, что вы, как это надоели, совсем наоборот!». И от Пастернака не ожидалось: «Да, он мой ближайший друг!» или: «Нет, что вы, никогда мы не были друзьями, напротив!».

Всё вместе – от первого слова до последнего – было сладострастьем актерства на телефонизированном троне. (Возможность, которой лишены были тираны доэнтеевских времен: соединяйся с мышью в любой желанный момент и лицедействуй хоть в подштанниках!) Разве не актерством было посоветовать Булгакову, – после его реплики, что он хотел бы работать в Художественном, но ему отказали: «А вы подайте заявление туда. Мне *кажется*, что они согласятся»?! И разве не актерством было бросить Пастернаку, – после вопроса, почему тот не обратился за помощью в мандельштамовском деле прямо к нему: «Я бы на стену лез, если бы узнал, что *мой друг*–поэт арестован»?!

Ах, стенолаз, друг своих друзей! В 30-м при звонке Булгакову он актерствовал еще и перед соратниками: «Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами». В 34-м при звонке Пастернаку услаждался актерством самолично (не считать же за товарища слугу Поскребышева!) и не говорил – «почему не обратились к нам?», достаточно было – «ко мне»... Оно, конечно, – и в 30-м этого было бы вполне достаточно, но все же, все же... Очевидно, еще не лишне было поиграть в коллегиальность.

Надо признать: он пронизательно, точно «на вырост», выбрал для своих тогдашних звонков два этих имени. Словно предчувствовал, какими акселератами предстояло стать в нашей духовной истории обоим – Булгакову и Пастернаку!

...В мемуарных записках о Михаиле Булгакове, где вся мускулатура памяти напряжена и неутолимо болит, Сергей Ермолинский не мог не задаться вопросом – отчего последовал тот сталинский звонок автору «Дней Турбиных»? И ответил: «Объяснить не могу». Однако добавил: «Может быть, ошеломила прямота, с которой писатель выражал свои взгляды и писал о своем положении». Может, и впрямь – одичавшее властолюбие могло ошеломиться? Но не та была личность, чтобы в ошеломлении импульсивно звонить ошеломителю. Чувствуется обдуманность шага.

Сейчас позвоню Сергею Александровичу – спрошу, в котором часу раздался государственный звонок? Уверен: поздним вечером, когда такое событие должно было особенно впечатляюще подействовать своей мнимой безотлагательностью и подчеркнутой чуткостью... Так и есть! Сережа ответил: «Вечером, после десяти или даже одиннадцати». И смешно пояснил: «Он же всегда звонил в такое время!..» Я рассмеялся: «Не устаивался!» И Сережа засмеялся – тоже не устаивался.

А в том-то и штука, что Булгаков удостоился! Как символ целого

поколения строптивых интеллектуалов, каковых надо было расположить демонстративной отзывчивостью. Пожалуй, всего многозначительней было то, что сталинский звонок последовал в апреле 30-го, через несколько дней после выстрела Маяковского! Звонок означал: «Это псари у вас плохие, а царь – хороший!» Предположение простейшее и очевидное. Но отчего Булгаков был выбран символом?

Мне представляется, что он действительно чуял силу Булгакова-художника, хотя, по-видимому, ничего, кроме «Дней Турбиных», не знал. Зато смотрел он их чуть ли не тринадцать раз! И вот – оттого что Булгаков его подкупил, возник личный интерес к своему равному таланту. Надо было своего превратить в своего.

И Пастернаку он звонил поздно вечером. В однотипной исторической пьесе та же тактическая игра. И недаром Поскребышев без объяснений сказал, что можно не держать в секрете состоявшийся разговор. Но неужто и тут игра была замешана на личном интересе к Пастернаку-художнику? Не верится! Воображению (моему) не под силу представить Сталина с книгой пастернаковских стихов в руках. С чужого голоса, – возможно, бухаринского, – узнал он о масштабе этого явления в поэзии. Меж тем нечто личное чувствуется и тут. Приходит в голову вот что...

Полтора годами раньше, в ноябре 32-го, после гибели Аллилуевой, большая группа писателей – двадцать девять имен! – опубликовала в «Литгазете» соболезнающее письмо «дорогому т. Сталину!». Соседей подписи коммунистов и беспартийных, старых и молодых, без лестии преданных и преданных с лестью, еще не развенчанных и еще не увенчанных, дорогого стоящих и не стоящих ничего. Сегодня странным выглядит тот список подписантов: есть Пильняк и нету Бабеля, есть Олеша и нет Булгакова, есть Шагинян и нет Луговского, есть Шкловский и нет Тынянова, есть Фадеев и нет Либединского, есть Леонов и нету Федина, и многих еще непонятно «нет» и понятно «есть».

В послевоенные времена эдакая выборочность стала бы верхней знаком тайных дискриминаций и ожидаемых возвышений. Тогда все было попроще. Никто бы, разумеется, не отказался подписать соболезнающее письмо овдовевшему вождю. И строгой иерархии репутаций еще не наблюдалось в культуре. Союзу писателей было на исходе 32-го минус два года от роду! И тот список выразивших сочувствие раскрывал своей неполнотой и случайностью лишь незрелую поспешность в самой организации письма – не нашли, не дозвонились, не вспомнили, ну и ладно... Плоховато работал аппарат на Поварской в «доме Ростовых». Достаточное объяснение казуса. Но то, что было воистину удивительным, это единоличное дополнение к письму после всех подписей:

*«Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глу-*

*боко и упорно думал о Сталине; как художник – впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом, жил, видел».*

И полная подпись: «Борис Пастернак».

Не странно ли было, однако, адресоваться к самому Сталину с фразой: «Накануне глубоко и упорно думал о Сталине»?.. Надо в очередной раз позвонить Николаю Николаевичу Вильмонту – может, он еще помнит, как дело было больше полувека назад.

– Конечно, помню! – раздается далекий голос с примесью пастернаковского гуденья. – Он тогда сказал, что не хочет подписывать общего письма, а напишет сам, потому что глубоко тронут случившимся. Ему не поверили. А он написал...

Теперь ясно, что произошло. БЛ адресовался ко всем, кто уже подписал письмо. Это им объяснял он свою потрясенность тем совпадением, что как раз накануне впервые мысленно оглядывал Сталина глазами художника. И очевидно, БЛ вовсе не предполагал, что его приписка будет опубликована отдельно. Так это рисуется сегодня. Верно ли рисуется? А как проверить?..

Индивидуальная приписка правилами тех дней еще не воспрещалась. Ничего существенного ни в чем не изменив, она все-таки кое-что определила...

Сталину не могла не запомниться та отдельность – та выделенность – взволнованного голоса Пастернака. И в этом-то угадывается тот личный элемент, что примешался через полтора года, в июне 34-го, к тактической телефонной игре Хозяина с защитником Мандельштама. Именно так легче всего, на мой взгляд, объяснить неожиданный финал разговора, когда Сталин бросил трубку. Почему – бросил? А потому, что Пастернак, непостижимо утратив чувство дистанции, сказал: «Я давно хотел встретиться с вами и поговорить серьезно... О жизни и смерти!» Для Сталина это могло прозвучать, как напоминание об аллилуевской трагедии. Как желание пообсуждать с ним – «безутешным вдовцом» – его «беду». Короче: он воспринял вечную тему биографически. А тема аллилуевской смерти была опасно-запретной.

Не буду спорить, услышав возражение, что дело было поглубже и пострашнее: Пастернак непредумышленно прикоснулся к пусковой пружине сталинского механизма борьбы за неограниченную власть. Кирову оставалось жить считанные месяцы – до 1 декабря того самого 34-го! А другим претендентам – вроде Бухарина – считанные годы!.. Это держал в уме Хозяин. И как ему было не бросить трубки, когда он услышал пастернаковское приглашение всерьез поговорить о жизни и смерти?! Но такое возражение – вовсе и не возражение: оно просто расширяет аллилуевскую тему.

А потому – как драматически чисто, нелепо-человечно, слепо-доверчиво было в том разговоре умонастроение Пастернака!

Каким неуместным масштабом всечеловечности надо было мерить повседневность истории и какими иллюзиями надо было жить, чтобы предложить беседу о смерти и жизни Сталину! Уж не чудился ли ему Марк Аврелий на том конце телефонного провода?! В таких порывах неуместности покоряюще заявляет о себе независимость художника – вечно детский ванька-встанька в его душе... Какое неподдавленное ощущение своих неписанных и никем не узаконенных прав – «Я давно хотел с вами встретиться...»!

*...Вечерний коридор в московской коммунальной квартире. Смятенно-любопытствующие соседи. И эта обескураживающая фраза о «жизни и смерти», посланная по проводу в сумрак Кремля. Ничто так сценично не открывает духовный рост Пастернака.*

*...Брошенная в ответ и подхваченная на лету рабски-услужливой рукой денщика телефонная трубка над пустым столом в безлюдье сумрачного кабинета. Ничто столь же сценично не открывает духовную низкорослость Сталина.*

Едва ли мыслимо сомневаться, что Пастернак ее прекрасно и мучительно сознавал, эту низкорослость. Почему – мучительно? Да потому, что ему хотелось-хотелось-хотелось доверять движению нашей истории, а все наглядней направляла это движение сталинская воля. И оттого не хотелось-не хотелось-не хотелось смиряться с мыслью о духовном ничтожестве носителя этой воли. И это-то «нехотение» мириться с тем, что то явно, то скрыто осознавалось, продиктовало возвышенные слова в его приписке к соболезнующему письму и многие постыдные строки в стихах 30-х годов. И среди них – строку-заклинание о человеке-поступке «ростом в шар земной». А гнетущее понимание его истинного роста все-таки прорывалось наружу! Однажды – так... Я спросил Вильмонта, как позднее отнесся БЛ к слухам о злодейской роли Сталина в гибели Надежды Аллилуевой, и услышал:

– БЛ говорил: «Впоследствии я так и представлял себе его роль. У нас – всё сказка, а он – медведь в сказке!»

Бог ты мой, как это детски-пугливо произнеслось... Втайне тревожно – вьяве снисходительно. А в ту же пору – наотмашь: казни-малины!

В прозаических фразах Пастернака – смягчающая иносказательность поэзии. В поэтических строках Мандельштама – беспощадная прямота прозы. Но не о том тут забота памяти и души. А о том, что и Мандельштам превращен был в «рыцаря с упреком».

В начале 37-го, в Воронеже, ссыльный, он написал, – как бы по следу пастернаковской «необоримой новизны», – строку о «необоримых кремлевских словах», И в те же дни покаянно вообразил, что входит в Кремль. «как в сердцевицу века» – без пропуска – «головой повинной тяжел».

Написал он все это не для печати. Может быть, на свой лад тактически: придут с обыском – найдут – сразу увидят, что он – Свой!

Но тогда же и там же – в зафевраленном Воронеже 37-го года – написал он еще и другие стихи, содержавшие явно больше тактического наигрыша, чем могло потребоваться для самоспасения. Так, может, вовсе и не оправданно подозрение в тактическом наигрыше?

Если б меня враги наши взяли  
И перестали со мной говорить люди;  
Если б меня лишили всего в мире –  
Права дышать и открывать двери...  
Если б меня смели держать зверем...  
Я не смолчу, не заглушу боли,  
Но начерчу то, что чертить волен...  
Я запягу десять волов в голос  
И поведу руку во тьме плугом,  
И, в океан братских очей сжатый,  
Я упаду тяжестью всей жатвы,  
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы...  
И промелькнет пламенных лет стая,  
Прошелестит спелой грозой – Ленин,  
И по земле, что избежит тленья,  
Будет будить разум и жизнь – Сталин.

Стихи донельзя отягченные истовостью. Раскачка ритма такая, точно слабогрудый выжимает пудовые гири. Право же, если б ему надо было убедительно соврать в стихах, он – мастер! – мог бы сделать это искусней. Понятней. Особенно – для семинарского уха, до которого должна была дойти спасающая ложь.

Нет, есть что-то загадочное в происхождении этих стихов. Мученическое самосознание. Буквально, отчаяние: отказ-от-чаяний! А может быть, волевая попытка взять и сменить самовнушением все чаяния? Перевернуть все надежды? Довериться правоте отвергаемого?

Не помню, есть ли где-нибудь у Достоевского изображение такого душевного переворота. (Если у него нет, то ни у кого нет: в допущении психологических почти невероятностей не было никого отважней.) Тут должен был действовать самогипноз: все прежнее – «казни-малины» – от лукавого, а исповедовать следует, как истинное – «жизнь-малина»! Разве такой самогипноз запрещен нашей психике? И разве он обязан быть продолжительным? Напротив, подобному душевному пе-

ревороту довольно быть приступом, длящимся ровно столько, сколько нужно, чтобы спастись от порыва покончить с собой. Не дольше!

Может, вот так и спасся Осип Мандельштам в несчастные дни Воронежа. А нам остался непритворный след случившегося – это тягостное стихотворение, где он «чертит то, что чертит волён»: воображаемую картину своего мучничества во враждем застенке, откуда подает он голос, запряженный «десятью волами», дабы восславить «стаю пламенных лет» и предсказать, как «будет будить разум и жизнь – Сталин»...

Была еще гнетуще-возвышенная «Ода». Строку из нее привела Ахматова в своих воспоминаниях: «Мне хочется сказать не Сталин – Джугашвили...» Ахматова поставила в скобках дату со знаком вопроса – 1935(?). И процитировала чуть более поздние слова мандельштамовской самооценки: «Теперь я понимаю, что это была болезнь».

Какая болезнь? Ахматова дала ей простейшее определение в разговоре с Лидией Корнеевной Чуковской осенью 62-го, когда в «Новом мире» уже печатался «Иван Денисович». Лидия Корнеевна вспомнила, как рассказывала Маршаку печально-известный эпизод из жизни Чаадаева... Узнав о выходе за границей брошюры Герцена «Развитие революционных идей в России» и прослышав, будто он там причислен к революционерам, Чаадаев тотчас написал самооправдательное письмо шефу жандармерии графу Орлову. Он выражал верноподданническое благоговение перед Николаем, а Герцена называл «наглым беглецом, искажающим истину». В заключение Чаадаев высказывал надежду, что граф Орлов не поверит клевете эмигранта-изменника... А потом Петр Яковлевич секретно переправил Герцену другое – благодарственное – письмо по поводу той же брошюры! Выслушав этот рассказ, Маршак понуро заметил: «Очень русская история». Ахматова, однако, не согласилась.

– Нет, – сказала она. – Тут не то. Это история общечеловеческая... Страх. В крови остается страх. Чаадаев испугался повторения. Осип после первой ссылки восстал Сталина. Потом он говорил мне: «Это была болезнь». Сохранились допросы Жанны д'Арк. На третьем ей показали в окно приготовленный костер. И она отреклась. На четвертом снова стала утверждать свое. Ее спросили: почему же вы вчера были согласны? «Я испугалась огня».

Этим именем – страх! – Анна Андреевна и назвала ту воронежскую болезнь Мандельштама. Как у Чаадаева. Как у Жанны д'Арк. Однако не упрощает ли это до трюизма Достоевски-трагический смысл мандельштамовского признания – «это была болезнь»? Ведь не фигурально, а буквально: болезнь!

Ни Жанна, ни Чаадаев, ни когорты других достойных, хоть и временно сдавшихся или наружно сдавшихся, не ощутили бы в своих приступах боязни симптомы болезни. Напротив – только симптомы здоровья: несоделимой жажды жизни без боли, страданий, унижений и раннего конца. Повторюсь – не могу этого избежать: страх – не болезнь

психики, а нормальная реакция здоровой души, вдруг осознавшей-ощутившей критическую ненадежность своего пребывания в мире.

Иначе: страх – это страж! И неспроста же – в отличие от настоящей болезни! – его можно волевым усилием устранить. Обезоружить. И обрести бесстрашие: пренебрежение опасностью.

Да ведь у каждого в детстве была хотя бы однажды шаткая доска над пропастью. И кошачий перелаз-переход по ней с остановившимся, а потом – на том берегу! – под горлом скачущим сердцем. Стрессовое ликование тела и души, преодолевших страх. Спросить себя нынче – во имя чего? Восхищенного взгляда девчонки? Торжества над приятелем? Выигранного пари? Казалось бы – что за ценности, врозь и вместе?! А все сводимы к одной: за любым вариантом – скрытое самоутверждение в мире... Подумать только, какая чушь – отказ от самосохранения ради самоутверждения! Логически – конечно, чушь: коли не сохранишься, то и утверждаться будет нечему. Но – к счастью или к несчастью – логика жизни это вовсе не логика правильных умозаключений. Плоды таких умозаключений всегда съедобны, да не всегда питательны. Вот ведь пустынного уводит в пустыню логика самоспасения: раз проживание с людьми полно греха – уйди от них и спасешься. И он, спасаясь, умирает не от скудости рациона, а от рациональной скудости его фанатизма: от слишком простой логики.

Логически и со страхом все просто: раз он стережет жизнь, значит, бесстрашие во имя иных ценностей, чем сама жизнь, это отступление от природной нормы. Нечто болезненное. Однако род человеческий стоит на волевым преодолении страха – с тех пор стоит, как сумел сойти с жесточайшей дороги естественного отбора. Оказалось, есть для двуногого ценности, без которых жизни незачем сохраняться! Это его Высокая Болезнь, говоря голосом Пастернака.

И заболевшая этой болезнью Жанна позволила сжечь себя на костре. А не заболевший Чаадаев умер в своей постели. Винават – в кресле, днем, скоропостижно, с неиспользованным рецептом на мышьяк в кармане...

Об этом не рассказала Лидия Корнеевна Маршаку. Интересно, отозвался бы он тем же понуром: «Это очень русская история»? М. Гершензон в своем «Чаадаеве» упомянул о мышьяке лишь мельком. Меж тем замечательно, что «Басманный философ» носил с собою тот освобождающий от жизни рецепт довольно долго и даже демонстрировал его при случае то ближним, то дальним. Современный биограф Чаадаева Александр Лебедев назвал ту роковую бумаженцию рецептом на лекарство ото всех иллюзий. Ну, разумеется, ото всех! Однако же письма Орлову и Герцену – свидетельства еще не вполне отошедших иллюзий. Коли так, рецепт на мышьяк должен был появиться позже той переписки – позже 1852-го, когда до внезапной кончины



Чаадаеву оставалось еще четыре года. Но надо молекулярно знать человеческую жизнь, чтобы гадать о таких сокровенных датах.

...Мандельштам, насколько известно, не держал про запас рецепта ото всех иллюзий. В дни первой ссылки он просто выбросился однажды из окна. Уцелел. Отделался сломанной рукой. Впрочем, возможно, то вовсе и не была попытка расстаться с жизнью, а только попытка четвероногого бегства при внезапно открывшейся опасности: ему почудилось, что «за ним пришли!». Безрассудная и не спасающая, но природно-здоровая реакция устрешенной души. Той самой звериной души, о которой в свои восемнадцать написал он хрестоматийно-повторяемые строки – красивые, программно-акмеистические, но по мне – не для взрослого употребления:

И печальна так и хороша  
Темная звериная душа:  
Ничему не хочет научить,  
Не умеет вовсе говорить...

В трагическую минуту заговорила: «Угроза – беги!» И научила вполне городской программе гибели: «Бросайся со своего этажа вниз!» Там дальше так у него было в той беспечальной юности про ту хорошую душу:

И плывет дельфином молодым  
По седым пучинам мировым.

Только вот ничего такого звучного не приключилось, когда вылезла наружу эта звериная душа. И сверх руки сломалась еще, по-видимому, и воля.

...Замечаю: отчего-то я всем нутром своим не принимаю возвышения звериной души. Не верю в доброносное содержание этого старого и вечно повторяемого мифа интеллектуалов. Не потому ли издавна говорится – «душа ушла в пятки», что страх приводит тотчас в движение именно лапы доразумного зверя, сидящего в нас? Бежать со всех ног, дабы стать недосягаемым. Или – сдаться и «протянуть ноги». Это ведь тот же бег – только на месте. А надо ли говорить, что в долгой жизни изведано было и то, и другое, тягостное в равных долях для человеческой моей, а вовсе не звериной души. Уверен, что всем возвышателям это унижение тоже бывало знакомо...

Возвращение к жизни из бегств – через низкоэтажное окно или с неиспользованным рецептом на мышьяк – это возвращение к ее иллюзиям. Но не безнаказанное. Если кроме руки сломалась воля, может возникнуть жадное стремление теперь-то уж прочно жить дальше, а для этого – вписаться в прежде отвергаемую жизнь вокруг. И потому – найти оправдание существующему! Истовое – изощренное. Вот это – болезнь души! И уже не Высокая (скорее – эпидемическая).

Не о приступе ли такой – разрушающей личностью – болезни, а вовсе не о предвещающем ее зверино-здоровом страхе, сказал Осип Эмильевич Анне Андреевне в час их воронежского свидания? Тогда он и прочел ей стихи со строкою о Джугашвили... Но хронологически тут не все ясно.

## 19

Может быть, я возьму грех на душу, однако скажу, что в мемориальном рассказе Ахматовой есть неблагополучие. Она посетила Воронеж в начале 36-го, а стихи о Сталине были написаны в начале 37-го. Тем не менее у Мандельштама уже в пору приезда Анны Андреевны мог быть повод заговорить о начале своей болезни. Действительно в апреле 36-го он написал Пастернаку из Воронежа:

*...Я хотел бы сохранить сознание. Должен Вам сказать, что временами оно тускнеет, и меня это пугает.*

Ахматовой тогда в Воронеже уже не было – она уехала после короткого гостевания, но, естественно, и она могла слышать от друга те же жалобы. И если так, – если представить себе его состояние, – психологически до крайности странным покажется рассказ Ахматовой, что именно в ответ на его просталинские стихи она прочитала ему стихотворение из будущего «Реквиема» – «Уводили тебя на рассвете». Это – об аресте ее тогдашнего мужа Ник. Ник. Пунина. Оно кончалось рвущими душу строками:

Буду я, как стрелецкие жёнки,  
Под кремлевскими башнями выть.

Мандельштам, как она написала, поблагодарил ее. За что же? За сбереженную независимость поэтического слова? Но каково ему было слушать такие стихи в минуту его собственного – до болезни доведенного – самоунижения?! Можно ли было ставить его перед таким испытанием? Мог ли старый друг быть таким немилосердным? Не хочется допускать, будто Анна Андреевна Ахматова могла не подумать об этом. Тем более что самый-то ее приезд к сосланному другу был по тем временам поступком с большой буквы.

В мандельштамовском письме Пастернаку, где так прямо говорилось о тускнеющем временами сознании, были слова, наверняка навеянные свиданием с Ахматовой:

*...Одной из наиболее тягостных для меня мыслей является то, что я не увижу Вас никогда. Не приходит ли Вам в голову, что Вы могли бы ко мне приехать? Мне*

*кажется, это самое большое и единственно важное, что Вы могли бы для меня сделать.*

Пастернак этого самого большого и единственно важного не сделал. Нигде не объяснено – почему. Одна догадка напрашивается тотчас: тогда в 36-м, он был слишком на виду – после январских стихов в «Известиях» (с двухголосой фугой) и после его февральской речи на писательском пленуме в Минске (с эйфорическим выражением преданности новизне времен). И в противоположность ахматовскому, его визит в Воронеж не смог бы пройти незамеченным. А это выглядело бы как двойная игра. Он не поехал.

Такая стандартная расшифровка всем хороша, кроме своей стандартности: он был вне психологических стандартов. Правда, тогда – в минской речи – заверял он коллег, будто гений не только сродни обыкновенному человеку, но просто редкостное в своей полноте воплощение обыкновенности:

*...– Нет, товарищи, такого обыкновенного человека, который не был бы в зачатке гениален... это-то нас и объединяет, на этом-то правильном наблюдении и воздвигла религия свою ложную надстройку о бессмертии души, и только посредственность, выдумавшая длинные волосы, скрипки и бархатные куртки, нас разъединяет.*

Каково! Даже во славу обыкновенности говорил он, минуя стандарты обыкновенных суждений. И потому для той его непоездки по призыву Мандельштама надо бы поискать объяснение потоньше стандартно-логичного. Или, напротив, поглубже: ну, вроде бытовых обстоятельств, непреодолимых...

Так или иначе, БЛ не повторил поступка Ахматовой, сделавшей «самое большое и единственно важное». Но стихи об аресте невинного – «Уводили тебя на рассвете» – она прочитала загнанному другу вовсе не в ответ на его престаалинские со строкой о Джугашвили. Просто – прочитала. Его «Оды», где та строка появилась, еще не существовало! И в начале 36-го оставался еще целый год до решающего приступа его болезни. Тот приступ ни с чем нельзя было бы в памяти спутать. По рассказу Надежды Яковлевны Мандельштам, он был в жизни Осипа Эмильевича беспрецедентным:

*...12 января 1937-го – переломный момент – и конец щеглиных стихов, и начало нового цикла, выросшего вокруг «Оды» (Сталину)... У окна в портнихиной комнате стоял квадратный стол... Он завладел столом и разложил на*

*нем карандаши и бумагу... Ничего подобного он никогда не делал... Начало 37-го года прошло у ОМ в диком эксперименте над самим собой. Взвинчивая и настраивая себя для «Оды», он сам разрушил свою психику.*

Анна Ахматова свидетельницей того эксперимента не была. Но в конце 37-го и в начале 38-го, между отъездом ОМ из Воронежа и его последней посадкой, когда Мандельштамы бесквартирно скитались по Москве и по Ленинграду, Анна Андреевна, несомненно, слышала из первых уст если не всю «Оду», то отрывок из нее с запомнившейся строкой. И слышала признание: «Это была болезнь».

Затем случилось то, что каждому пожилому человеку хорошо знакомо: разновременные сценки с участием одного и того же близкого человека сливаются памятью в одну – интерферируют, как сказали бы физики. И это происходит не бескорыстно: такое слияние надобно нашей самооценке. Слияние чаще всего улучшает нас в былом.

А зачем понадобилось это в той истории всегда лаконичной памяти Анны Ахматовой? А затем, что ей, Анне Андреевне, несчастной и неподкупной, захотелось быть в глазах истории еще неподкупней – нравственно совершенней: показать, как она противопоставила слабости бедствующего коллеги-поэта свою негибкость стрелецкой жёнки, хоть и воюющей от беды, но не сдающейся! Для этого память свела воедино разделенные временем эпизоды. И Ахматова не заметила, как это ухудшило ее человеческий образ, осложнив его безжалостностью к раздавленному другу...

Ни она, ни он не подозревали тогда, как через полтора десятилетия, в 1950-м, когда его давно уже не будет на свете, придет и ее черед вынужденно оскоромиться: она опубликует в трех номерах «Огонька» свои стихи о Джугашвили:

И благодарного народа  
Он слышит голос: «Мы пришли  
Сказать: где Сталин, там свобода,  
Мир и величие земли!»

И еще:

Когда б вы знали, как спокойно  
Здесь трудовая жизнь течет,  
Как вдохновенно, как достойно  
Страна великая живет...

Ах, бедняга разбедняжистая! (Не знаю, что сказать, ей-богу! Такая охватывает жалость к самоуничтожающейся гордой независимости!) А были там, – во имя надежды на спасение репрессированного

сына, – еще и обращение к Западу и недвусмысленное приобщение Пушкина к собственной низости: .

И вы постыдной клеветой  
Не смеете тревожить нас!

Можно предложить простейший алгоритм сочинения таких одических стрóf. Поэт выхватывает своим воображением милую его сердцу эпоху из прошлого и честно адресует к ней. Допустим: «Сказать: где сказки, там свобода, мир и величие земли!» Возникает непритворная искренность. А потом заменой одного лишь слова «сказки» на «Сталин» – замечательно фальсифицируется адрес. И ода-подделка готова! Варианты такого алгоритма бесчисленны, ибо поэзия, кроме всего прочего, рукомесло.

Но какую милую сердцу эпоху могла мысленно выбрать Ахматова из прошлого России. Так, чтобы ода была от лица «благодарного народа»? Весь XIX век с его тремя Александрями и двумя Николаями явно не годился. Весь XVIII с тремя Петрами, двумя Екатеринами, двумя Аннами и Елизаветой да Павлом – еще менее. А от еще более ранних времен Ахматова и вовсе отреклась как от злого наваждения (1940 год):

В Кремле не надо жить. Преображенец прав.  
Здесь зверства древнего еще кишат микробы:  
Бориса дикий страх и всех Иванов злобы  
И самозванца спесь – взамен народных прав.

Стало быть, будет у нее в 50-м году другой алгоритм для постыдных стрóf. Наверное, небрежное подражание безличному одическому опыту наших поэтов-льстецов. И чем безличней, тем вернее для ее цели: стать неотличимой от восторженной серости.

И тут стоит понять, что Осипу Мандельштаму такой алгоритм подражания общепринятому как раз ни на йоту не мог быть полезен для его «Оды» 37-го года. А потому не мог быть полезен, что было у нее, у этой сверх-Оды, совершенно непритворное, – поскольку клиническое! – происхождение. («Клиническое» – это не насмешка, а трагическое указание на болезнь души.)

## 20

...Он вообразил себя художником, рисующим портрет кремлевского горца. Все выглядело так, точно ему душевно надо было стереть пасквильянтский портрет трехлетней давности: «тараканьи усища» и прочее. Он словно бы внимал призыву Блока: «Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен!»

Когда б я уголь взял для высшей похвалы –  
Для радости рисунка непреложной, –  
Я б воздух расчертил на хитрые углы  
И осторожно и тревожно.  
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,  
В искусстве с дерзостью граница,  
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,  
Ста сорока народов чтя обычай.  
Я б поднял брови малый уголок,  
И поднял вновь и разрешил иначе:  
Знать, Прометей раздул свой уголек, –  
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Это загадочное «плачу» в первой же строфе – что оно означало? Ощущение безысходности собственного бытия, соизмеримой с беспощадностью Эсхилова рока? Или слезное раскаяние в содеянном прежде? А может, горло ему перехватили слезы восхищения перед внезапно осознанным величием того, в ком сам Прометей раздул свой уголек? Это, вместе со «сдвинутой осью мира», пожалуй, даже превышало пастернаковское – прошлогоднее – «ростом с шар земной»!

А следующая строфа позволяла еще и по-другому понять, почему он плачет, рисуя горца. Это могли быть слезы умиления при невероятном – только в безумии возможном – открытии чуть ли не близнецового сходства в выражении глаз – своих, отцовых и Его, мудро-родных (отчего и захотелось называть Его не псевдонимом, а семейным именем):

Я б несколько гремучих линий взял,  
Все моложавое его тысячелетье,  
И мужество улыбкою связал  
И развязал в ненапряженном свете,  
И в дружбе мудрых глаз найду ли близнеца,  
Какого не скажу, то выраженье, близясь  
К которому, к нему, – вдруг узнаешь отца  
И задыхаешься, почуяв мира близость.  
И я хочу благодарить холмы,  
Что эту кость и эту кисть развили:  
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.  
Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили!

И не расхожую поэзию льстецов вспоминал несчастливцев за квадратным портнихиным столом, а «Высокую болезнь» не приехавшего навестить его друга. Вспоминал ту строку, где Ленин «вырос на трибуне, и вырос раньше, чем вошел». Только Пастернак писал четырнадцать лет назад по следу своего живого лицезрения вождя, а он, воронежский поселенец, – по следу канонизированных фотографий в казенных рамках. Да и вождь был совсем другой. И болезнь совсем другая. Лишь трибуна – та же.

Он свесился с трибуны как с горы  
В бугры голов. Должник сильнее века.  
Могучие глаза решительно добры,  
Густая бровь кому-то светит близко,  
И я хотел бы стрелкой указать  
На твердость рта – отца речей упрямых.  
Лепное, сложное, крутое веко, знать,  
Работает из миллиона рамок.  
Весь – откровенность, весь – признанья медь.  
И зоркий слух, не терпящий сурдинки,  
На всех готовых жить и умереть  
Бегут играя хмурые морщинки.

Какой микропристальностью рисующего художника снабдил его психический слом! И какую искренней искренностью самозакланья на новом для него, прежде презираемом, жертвеннике!

Он дважды не пожалел на ту «Оду» одно из любимых своих слов – «ось». Может, оттого из числа любимых, что звался он Осей. А тут еще всплыло, что ведь и Джугашвили – «Ося»! Не пожалел он на «Оду» и уже найденный раньше в яростно-горьких стихах про смерть Андрея Белого образ «набросившихся карандашей» (дабы сохранить живым его облик). И еще раз не пожалел слезы:

Сжимая уголек, в котором все сошлось,  
Рукою жадною одно лишь сходство клича,  
Рукою хищною – ловить лишь сходства ось –  
Я уголь искрошу, ища его обличья.  
Я у него учусь не для себя учась.  
Я у него учусь – к себе не зная пощады,  
Несчастья скроют лишь большого плана часть,  
Я разыщу его в случайностях их чада...  
Пусть недостоин я еще иметь друзей,  
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,  
Он все мне чудится в шинели, в картузе,  
На чудной площади с счастливыми глазами.

Да, черт возьми, слезы снова омочили ту «Оду», но уже без загадочности: решил он именно у Сталина поучиться смиренному самоосуждению за грехи, и просто признался, что еще не заплакался вдоволь – за содеянное, сделавшее его недостойным даже иметь друзей.

Измученность психики вогнала его не только в приступ переоценки всего вокруг, но и в приступ пророчества, сулившего ему, поэту, будущую жизнь глашатая правды и одописца:

И шестикратно я в сознание берегу,  
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,  
Его огромный путь – через тайгу.  
И ленинский октябрь – до выполненной клятвы.

Уходят вдаль людских голов бугры:  
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,  
Но в книгах ласковых и в играх дстворы  
Воскресну я сказать, что солнце светит.  
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:  
Для чести и любви, и доблести и стали.  
Есть имя славное для сжатых губ чтеца –  
Его мы слышали и мы его застали.

Так кончалась та «Ода». Для него – высказанным сполна признанием сталинской правоты на веки вечные. Для читателя – привычным ожиданием безошибочной рифмы к «доблести и стали». Но он обманул читателя. И это полно значения! Ему в том душевном перевороте невозможно было – совершенно невозможно было! – оказаться хоть чьим-нибудь подражателем, то есть заимодавцем правды чувства. И потому он не мог позволить себе этой всеми истасканной рифмы: «стали» – «Сталин». Не пристало ему быть в той «Оде» банальным. Лучше – недопонимаемым! Таким, каким пребывал он всю прежнюю жизнь!.. (Вот кабы и в псевдосонете 34-го года поубавил он ясности!)

После «Оды» ничего не случилось: ничего не изменилось в судьбе ОМ, как написала Надежда Яковлевна. Она говорила, что его «расчет не оправдался». Но действительно ли был расчет? Может, как самгинского мальчика, расчета-то и не было? Зачем при расчете на понятливость «любителей «белозубых стихков» писать так изощренно? Присматривается странный, как сама «Ода», нерасчетливый расчет...

Перед разрешенным Мандельштаму отъездом из Воронежа в том же 1937 году, – приступ его необычайного состояния к тому времени, по-видимому, давно окончился, – он попросил преданную Наталью Ш. уничтожить рукопись «Оды». Она этого не сделала. Обычное предательство преданных современников. Однако для психологической истории нашего времени это оказалось важным: мазохистски-трагический сохранился документ!

...А у Анны Ахматовой 50-го года одические стихи не были приступом мандельштамовской болезни. И ни одной строкой не являли они спазматической жажды вписаться в существующее своею загнанной душой. У нее, всегосударственно ошельмованной четыремя годами раньше, в августе 46-го, сохранялось право на самозащиту только посредством самоунижения, да притом – публично. Таковы уж были нормы нашей общественной жизни: не имело значения, что ты думаешь, имело значение, что ты произносишь вслух!.. Ахматова этим правом не воспользовалась по гордо-трезвому нраву своему. Вместо этого она произнесла вслух одические стихи Сталину... И эти стихи действительно были примером здоровой тактики страха – за арестованного сына (Льва Гумилева) и за себя.

На сей раз она, оскоромившаяся, ждала благодарности не от равно-



го и опального поэта-друга, а сначала от руководящего поэта-недруга Суркова, а потом и от кого повожее! Совсем как Жанна после третьего допроса. Совсем как Чаадаев после письма графу Орлову. Она правильно вспомнила те исторические прецеденты в разговоре с Лидией Корнеевной Чуковской.

Тактика нормального страха продиктовала и поэтику тех одических стихов... У Тынянова есть фраза о декабристе Луние: он писал письма из Сибири Николаю «издевательски ясным почерком»... Так вот и Ахматова 50-го года, в отличие от Мандельштама 37-го, нуждалась в издевательской ясности прочтения любой строки в тех стихах. Чтоб никаких кривотолков! Чтобы всем – от секретарши редакции до секретаря ЦК – было видно: «Смотрите, я – как все!» Вместо поэтики самовыражения надобна была поэтика саморастворения...

И благодарного народа  
Он слышит голос: «Мы пришли  
Сказать: где Сталин, там свобода,  
Мир и величие земли!»

А спустя десятилетие с лишним – в начале 60-х – она оскорбленно разгневалась на своих поклонников за океаном, потому как они отыскали эти стихи в подшивке «Огонька» и с академической добросовестностью нашли им место в Собрании ее сочинений. Право, смешной это был гнев – не берущий во внимание тренированную догадливость современников. И недостойный ее закаленной невзгодами гордыни.

Всего же занятней и неожиданней, что по прошествии нового десятилетия с лишним – в 1976-м, когда ее давно уже не было на свете, академический Жирмунский и политический Сурков не смогли – не осмелились! – дать этим стихам хотя бы петитную жизнь в «Примечаниях» и «Вариантах» к ее синему однотомнику. А издание было поражающей полноты, между прочим! Да только запретным к тому времени оказалось не восхваление Горенко-Ахматовой, а восхваление Джугашвили-Сталина...

Вот как всё сложно с ложью.

Каламбур тут простителен: надо же чем-то скрасить удрученность. Не сознания – оно выносливо. Удрученность чувства истории – живого беспомощного нашего шестого чувства!.. Сейчас оно велит начать тут новую главу, не загадывая наперед, куда метнется рассказ. Знаю только, что хорошо бы этой короткой главе называться «Серебрянборской»...

«Я  
НА  
ЗЕМЛЕ,  
ГДЕ  
ВЫ  
ЖИВЕТЕ...»

1

**Н**е выходят из головы его знаменитые строки:

Я не рожден, чтоб три раза  
Смотреть по-разному в глаза.

Искусством нельзя обманывать! Искусностью – можно, а искусством – нельзя: оно исчезает вместе со скрытым обманом так же, как с обманом явным. Такова уж его глубинная природа, расчетливости не поддающаяся.

Под темами, фабулами, сюжетами, героями, ритмами, рифмами, метафорами, стилистиками... словом, подо всем, для чего в эстетиках и поэтиках найдено подобающее название... лежит нечто неназываемое и кажущееся тайным, а на самом деле – единственное никакому сокрытию недоступное.

Оно, это нечто, логически бесформульно, как сама внутренняя жизнь поэта (и равно – читателя), художника (и равно – зрителя), музыканта (и равно – слушателя). И по причине своей логической неформулируемости (ибо не логикой порождено), оно, это нечто, не может быть переврано. А дабы позволить ему выразиться – обрести язык – наверное, и существует искусство. Оно ищет в нас понимания не через свою общепонятность, а через нашу понятливость. Она же – мудреной закваски у каждого. Понимать что-нибудь в искусстве и любить его, думаю, одно и то же, потому что единого для всех словаря искусства нет. И поэт, вероятно, нисколько не содержательней своего любящего читателя, но у содержательности поэта есть язык, чтобы выболтаться, а у читательской – нет.

Нет, это не горы!  
Думаю: ежели к небу камень теснится,  
А пропасти пеной зеленою моются,  
Это твои в день Троицы  
Шелковые взоры,  
Где тропинкой шелковою,  
Помните, я шел к вам,  
Шелковые ресницы.  
Это – тонок и звонок,  
Играет в свирель пастушонок,  
Чтоб кашу сварить – пламя горит.  
А в омуте синем – листья кувшинок.

Память здесь неспроста подсказала Хлебникова. Он тут даже убедительней Пастернака, оттого что логически беззащитней. Он – самый безоружный поэт против происков здравого смысла. Так зато ведь именно он сумел заключить в прозрачные четыре строки маленькое чудо всеохватности, объемлющей странными словами целые поэтические миры трех его великих коллег из прошлого века – Достоевского, Пушкина, Тютчева. Но объять необъятное, если можно, то лишь изнутри. И он закинул сеть в бесформульное Нечто каждого из троих. Блестки улова поднялись из немотствующих глубин на поверхность звучащей речи. Отцедилась-отжурчала влага подробностей. И мы услышали-увидели-ощутили:

О Достоевский-мо бегущей тучи!  
О Пушкиноты млеющего полдня!  
Ночь смотрится как Тютчев,  
Безмерное замирным полня!

Для трезвого литературоведения – бесСмыслица. Но кто посмел бы сказать, что еще и безМыслица?.. Это – открытия, не исчерпывающие глубин, но их обнажающие.

Таково и цветаевское о раннем Пастернаке: «световой ливень».

Марина Цветаева услышала-увидела-ощутила этот световой ливень в «Сестре моей – жизни». И тотчас вымокла под ним насквозь. И на всю собственную жизнь, которая, к несчастью, не стала для нее Сестрой. И потому насильственно оборвана была ею самой до срока. Она не дожила до пастернаковских излучений 40-50-х годов. Если изгонять печаль красивым перечислением, то вот: ей не досталось ловить эти излучения «На ранних поездках», бродить под ними на «Земном просторе» и в ожидании «Когда разгуляется»... И наконец, не дожила она до «Стихов из романа».

А если бы и это все ей досталось, возможно, нам осталась бы еще одна ее алогичная, но безошибочная формула пастернаковской единственности – сверх светового ливня. Потому сверх, что световой-то ливень шел всегда, и до, и после «Сестры...». Он был сохраняющейся

чертой его единственности во взаимодействии с миром. Так, в глубинах материи есть взаимодействия, в которых сохраняются у частиц квантовые черты «странность» и «очарование» («стрэйнджинесс» и «чарм»). Физикам-теоретикам страсть как нравятся поэтизмы, и это очень мило с их стороны... Что еще сохраняющееся нашла бы у Пастернака Цветаева? Без нее не угадать.

Световой ливень безостановочно шумел во «Втором рождении» начала 30-х годов. Там и буквально шумели волны, лились дожди, катилось половодье. Как во «Второй балладе», на многих страницах струилась не метафорическая, а живая вода, пронизанная полуденным или предзакатным солнцем, ночным или утренним светом. И всякий раз сверх своей текущей реальности она означала еще и метафорически что-то вневременное – идущее из заводей существования.

Льет дождь, он хлынул с час назад.  
Кипит деревьев парусина.  
Льет дождь. На даче спят два сына,  
Как только в раннем детстве спят.

...Льет дождь. Мне снится: из ребят  
Я взял в науку к исполину,  
И сплю под шум, месящий глину,  
Как только в раннем детстве спят.

Одна эта несообразность засыпания только что проснувшегося и одно это колдовское повторение счастливо осенившей фразы о детском сне под неумолчную фугу очищающего дождя выдавали бескорыстие звучавшей в его душе баллады.

Так и все «Второе рождение» было потоком бескорыстной искренности. Оно доказывало очевидное: световой ливень нельзя излучить по приказу и пролить понарошку.

Тогда, на рубеже 30-х, он заклинал себя: «О, если б я прямой возник!» И так хотел выпрямиться...

А ведь сознавал, что дорог был своей кривизной – непараллельностью нашей партийно-лелеемой поэзии. Но в том и заключалась драма его доверчивости, что искал он параллельности вовсе не с этой поэзией, а с самой эпохой!

Из всех стихов «Второго рождения» видно и слышно, как замысловато непрямо давалось ему, – когда давалось! – то самовыпрямление. Иначе: тот незнакомый ни Ахматовой, ни Мандельштаму историософский самообман. И не сегодня это стало уловимо, а уловимо было всегда. Полвека назад еще безошибочней, чем нынче: слух наш был синхронней!.. Только это надо верно оценивать – без преувеличения нашей понятливости.

В световом ливне «Второго рождения» всюду пробегала волнами музыка единой тревожной темы:

*...стихи мои, бегом, бегом, мне в вас нужда, как никогда... и рифма не вторенье строк, а гардеробный номерок, талон на место у колонн в загробный гул корней и лон... я брошен в жизнь, в потоке дней катящую потоки рода, и мне кроить свою трудней, чем резать ножницами воду... но столько в лужах позади затопленных мелодий, что вставил вал – и заводи машину половодья... опять трубить, и гнать, и звякать ...рождать рыданье, но не плакать, не умирать, не умирать?..*

И она-то, эта бегущая музыка, сверх прямо выраженных смыслов, понималась нашей отзывчивостью, как пульсирующее отражение того, что мучительно происходило в душе Пастернака. А происходило оно – чаемое самовыпрямление. Но, конечно, ни этого слова, ни осуждающего определения «историсофский самообман» не было и быть не могло на языке очарованных юнцов тех лет, в свой черед не слишком параллельных эпохе.

Свидетельству – как несомненно принадлежавший к той разновидности очарованных.

...Однако я ведь пообещал себе главу «Серебряноборскую». И оговорил – краткую. Но нельзя мне двумя словами коснуться Серебряного бора, право, нельзя. Это будто про него написалась у Пастернака в «Спекторском» строка о зимнем обозе, что «влетает в лес, как к рыбаку в сачок». Вся штука в том, что нынче я пойман этим единственным в своем роде сачком на карте старой Москвы. Залучен его свободой! Его островной отделенностью от большой московской земли.

## 2

Серебряный бор – всамделишный остров: часть суши, а вокруг – по контуру почти квадрата – широкая лента воды. С трех сторон – это Москва-река, а с четвертой – замыкающий ее петлю канал. Через него – единственный мост для троллейбусного и автовторжения по асфальтовому фарватеру Хорошевки. Будь этот мост разводным, серебряноборцы коротали бы ночи в ловушке.

Существовал ли канал в далекой дали моего допионерского детства – зрительно не помню. Но и не нужно ни у кого осведомляться: когда плывешь на речном трамвайчике, мост встречает мемориальной надписью посреди мощного пролета – «1937». И вспоминается, как в двадцатых годах громады желто-рыжих автобусов английской марки «Лейланд» вползали на тогдашний зеленый полуостров прямо по перешейку меж южной и северной сторонами москворецкой петли. И назы-

вался тот полуостров Хорошевским, а не просто Серебряным бором. Но ничем особым не был отмечен.

Однако всю жизнь мне виделся и видится Серебряный бор зеленой заводью за молом времен в каменном море столицы. И он – другой, чем зеленые нечаянности Сокольников или Измайлова, Покровского-Стрешнева или Черкизова, даже Петровского парка и Нескучного сада. Те незамкнуты и не строго очерчены, и время прорезает их каменными течениями новых улиц. А он – всё сам по себе, как завороченный замок за рвами.

Еще он напоминает при взгляде на карту вовсе не сачок, а зеленого бумажного змея, запущенного издалека – из детства – на нитке Хорошевского шоссе и приземлившегося на крайнем западе стародавней Москвы. Теперь-то она простерлась дальше на запад невесты куда, но Серебряный бор, точно заповедник, не участвует в ее разрастании ни вширь, ни ввысь, потому что нет через него транзита: он и вправду – заводь, тупик. Обрыв всех дорог и дорожек в вековом сосняке – в прибрежных ивах – в березовых рощах – в камышовых пустошах у песчаных карьеров...

...Для меня он все такой же, как в те ранние двадцатые годы, когда мама привозила сюда нас, малышей, «на воздух», и несказанно хорошенького, похожего на девочку из книжки, брата-близнеца моего Вовку начинало выворачивать еще в «Лейланде» от булыжно-морской болезни, и мы спешили к покою зеленой поляны возле серебряноборского круга, и мне поручалось скорее добыть воды у колонки, а я, дурашливо смешливый, расплескивал ее по дороге, и мама давала зарок, что все это в последний раз, но мы с Вовкой недоверчивым хором подхватывали: «Ну да-а?!», и в майские теплыни, когда почему-то задерживался выезд на дачу в Сокольники или в Красково, межсосенные тропинки Серебряного бора снова и снова уводили нас к раннелетней воде...

...Для меня он все такой же, как во времена другой – студенческой, уже последней в жизни, беззаботности, когда басурманская любовь моя прекрасноокая Зарэ предлагала отправиться сюда, в дачный рай ее подруги-красавицы Салимы – жены дородно барственный перса-коминтерновца Султана-заде, и мы тряслись по Хорошевке уже в других автобусах – отечественных АМО, а потом до одури наигрывались в теннис на личном корте иранского революционера и до такой же одури наедались под сенью березового подлеска татарским пловом или фарсийскими шашлыками, одурманиваясь костровыми ароматами жертвенного барашка, оснащенного нездешними специями, и еще танцевали польско-французские танго и блюзы, и я, к напрасному неудовольствию обреченного перса, дурачась, начитывал то Салиме, то Зарэ или Ахматову, или Блока, поскольку Маяковского они не ценили, а Пас-

тернака не принимали, и никто из нас ни сном ни духом не чуял, что во второй половине 30-х примчится день, когда в одночасье не станет ни хозяина той серебряноборской дачи, ни корта, ни барашка, ни азийских ароматов. Но останется Серебряный бор...

...Для меня он все такой же, как и двадцать с лишним лет спустя, когда на рубеже 60-х совсем еще молодой Юрий Трифонов привозил нас на такси к своей маме – к ее весело-усталой приветливости, и пока Евгения Абрамовна с Ту вели молекулярные – совершенно юро-трифоновские – разговоры о несправедностях жизни, а мы с ним соучаствовали в этих невоспроизводимых беседах лишь краткими репликами сквозь вязкие шахматы, летнее солнце и кладбищенски-яркая зелень вокруг играли в пятнашки с высокой застекленной террасой – памятливым оплотом семейно-социального благополучия, давно ушедшего отсюда вместе с Юриным убиенным отцом – заслуженным пайщиком кооператива «Ястреб», в котором с середины 20-х годов строили себе дачи не нувориши нэпа, а умеренно привилегированные властители, и среди них – бесспорно достойные большевики, еще достаточно молодые, чтобы не называться в ту пору старыми, но достаточно самобытные, чтобы называться позднее реабилитированными, и тема исторических печалей источалась углами вдовьей террасы и семейной фотографией на простенке и тяжело оседала в наших подготовленных жизнью душах до того взрывного мгновенья, когда появлялась из города бесцеремонно-лучающаяся Юрина Нина и шлепок ее ладони по столу возвещал – «довольно об этом!», и мы принимались за водку с обильной закуской из овощей и сплетен, и начинали дружно насадать на медлительного Юру за его писательскую лень, не подозревая, что в той его мнимой лени уже вынашивалась наша будущая классика 70-х годов – его московские повести и «Старик», на чьих страницах предстояло так жизнелюбиво и так драматически аукнуться-откликнуться Серебряному бору...

Я говорю ностальгически: «Для меня он все такой же» – но чувствую, что завираюсь, создавая впечатление, будто есть у меня права здешнего старожила. Нет, это только теперь, когда непредсказуемое течение жизни счастливо привело меня сюда не в гости и не на тайное свидание, а, говоря чуть выпеннено, одарило вместе с новой любовью новым пристанищем на московской земле, память и воображение стали населять Серебряный бор приметам нашей истории, как старинное поместье – привидениями.

Ах, кабы выплыло здесь из прошлого и видение Пастернака!

Знаю: этого не случится. В его московской топографии Серебряного бора, к сожалению, нет. Лесной сачок в «Спекторском» – не о здешних местах. Однако как поверить, что тут никогда не ступала нога и не стучало сердце завязатого москвича? К тому же городские истоки Хоро-

шевки прослеживаются у Пастернака без труда: они ведь теряются в каменной и деревянной нищете старой Пресни, на рельсовых раскатах подъездных путей Белорусск-Балтийского – еще раньше Александровского – вокзала, в соседствующей неприглядности Грузин и Тверских-Ямских, а это все памятная география целых строф «905-го года», и целых глав «Доктора Живаго». Отчего же ни он сам, ни хотя бы один из его героев не забредали сюда, где погруженность города в природу по музыке своей насквозь пастернаковская:

Пространство спит, влюбленное в пространство,  
И город грезит по уши в воде...

Звоню Евгению Борисовичу Пастернаку – он исследовательски знает тексты отца. Спрашиваю с надеждой:

– Вы не помните, есть ли где-нибудь у БЛ Серебряный бор?

И слышу – после паузы раздумья и припоминанья:

– Кажется, нет. Во всяком случае, в стихах и прозе – нет.

Ну, если это «кажется» добывается с усилием, то, право же, все равно – есть или нет: упоминание могло быть только несущественным. Но как же это Серебряный бор ничем не отметился в душе Пастернака? Как мог БЛ не отведать этой филиейной вырезки в четырехмерном мире нашего пространства-времени? Неужто не приводили его сюда ни случай, ни история, ни любовь? Если так, в этом проглядывает кое-что неожиданно содержательное...

У каждого укорененного москвича своя география Москвы. И в этой географии – его биография. В адресной вязи – наши связи. Так, наверное, некому было позвать сюда Пастернака. И не было тут для его духа и плоти привлекательных адресов.

До революции не посылала за малоизвестным поэтом меценатского экипажа богатая дама Карзинкина, чью барскую дачу удачно сожгли в 17-м троице-лыковские заречные мужички: они обнажили пугачевским огнем каменные фундаменты дома, кухни, конюшен, словно затем, чтобы в 20-х годах обеспечить бесплатным «нулевым циклом» более скромные дачи кооперированных революционером. Трифоновская и сегодня хорошо стоит на куске того карзинкинского оплота. «Так могучи эти фундаменты, что на них, ей-богу, высотное здание можно было бы возвести!» – рассказывал давний-давний приятель Наташиного дачного детства и здешний Юрин друг-сосед Петя Р. «А вон там, – показал он во тьму вечернего бора, – роскошный домина не то Щелокова, не то Чурбанова... Доживают...» Впрочем, может быть, в ту минуту не он, а я произнес «доживают»: это совершенно подходило к тому, что вертелось в моей голове.

А вертелись в ней колеса... Сначала – колобродящих пролетов на



лесном российском проселке. Потом – каретно-высоких автомобилях на щебеночном макадаме. А затем уж – стелющихся лимузинов на асфальтовом полотне. Сколько их отвертелось, отпрыгалось, отшуршалось, вторя главному и неостановимому колесу истории! Оно-то здесь навертелось всласть. Но глубокой колеи или громкого эха тут не оставило. Исторические события обходили нашу заводь стороной. Зато оно, это колесо истории, истирающе прошло и тут по жизням многих своих вращателей. Да только мало знался с вращателями Пастернак. Это я к тому, что в неведении Серебряного бора можно открыть отраженной его непричастность к нашей партийно-государственной элите всех поколений и рангов. Тут ведь одна из московских зон элитарного обитания.

Как незачем было доставлять его сюда колесам купеческой пролетки мадам Карзинкиной (чей предок купил в XIX веке нарышкинское Троице-Лыково), так незачем было вертеться ради него колесам правдинской машины Марии Ильиничны (чей великий брат в XX веке недолго в Троице-Лыкове жил)... Еще труднее представить Пастернака в дачном гостевании у Мехлиса или Подвойского, Ярославского или Уханова, или у других партийных временщиков...

Преступно-министерские имена Щелокова и Чурбанова – уже не из пастернаковских времен. Они – зловещие звуки на пустыре истории, где даже эху не от чего было бы родиться... А как вообразить БЛ в застольно-долгом общении с героями-летчиками – Водопьяновым, Чкаловым, Мазуруком? А зачем он очутился бы на дачах академиков Варги или Минца?..

Последняя надежда хоть мысленно привязать его, как визитера, к Серебряному бору – вспомнить еще раз о попытке Маяковского сделаться в 30-м году здешним дачником. Но к тому времени уже ничего не осталось от их давнишнего непрочного сора́тничества, и едва ли истории понадобилось бы устраивать Маяковскому напоследок дачную встречу с Борисом Пастернаком. Просто хочется воображению чем-нибудь потешиться. Это простительно, потому что бескорыстно.

### 3

И есть еще один повод для этого. За ним воображению никуда не надо шастать. Это просторный, удобный своей неколебимой тяжестью письменный стол на нашей даче. Моя беленькая мини-портативка утло выглядывает на краю его черной глади, как забытая по осени пристанька на опустевшем берегу.

А бывало, по этой поблескивающей глади серьезного стола проплывали, как груженные баржи, солидные рукописи, гранки, верстки. Моя Наташа – одержимая энциклопедическая деятельница – автор и редак-

тор – отправляла отсюда в плавание свои научные караваны. И неутомимая ее мама – покойная Ревекка Менасьевна Гальперина-Мостовенко, выдающаяся переводчица немецкой и английской прозы, заслужившая у коллег прозвища Хозяйки и Неистойвой Пассионарии, – тоже годами жаловала этот стол за поместительность, как жалуют бывалые капитаны широкие гавани. И ее караваны отплывали отсюда. В их черед трижды отчаливал пастернаковский Шекспир: Гамлет, Ромео и Джульетта, Отелло...

Потому-то появление здесь самого БЛ, право же, было вполне вероятным. Ну, скажем, в октябре 40-го, когда готовился к изданию «Гамлет», а погоды стояли нарядные и долго жилось на даче, потому что все длилось и длилось бабье лето. Последнее предвоенное. Лежит передо мною на черном столе одна из Наташиных пастернаковских реликвий: его почтовая открытка с московским штемпелем «8.10.40. 19 час.». Почерк, как всегда, летящий. Лиловые чернила. Перо рондо?

*Глубокоуважаемая Ревекка Менасьевна!*

*Получил рукопись 1-го акта и Ваши замечания, благодарю Вас за исполнение просьбы. С частью замечаний я готов согласиться, а остальными нет, и поэтому должен буду отнестись у Вас минут 20–30 утром или в первом часу (точнее предупреджу по телефону) в пятницу 11-го. Во всяком случае, мы увидимся и переговорим, а пока спасибо за сделанное. Всего лучшего.*

*Ваш Б.Пастернак.*

Сейчас проверил по «Вечному календарю» – оно и вправду 11 октября 40-го была пятница. Но большего-то уж ни проверить, ни восстановить. Меж тем «во всяком случае, мы увидимся» могло означать: «Я заеду к Вам в Серебряный бор переговорить о моих несогласиях...»

И действительно заехал в Серебряный бор! Почему бы нет?..

Честный голос Наташи разрушает иллюзию:

– Ты знаешь, в октябре я уже с утра пропадала в школе, а брат – в ИФЛИ. Но если бы Пастернак объявился в Серебряном бору, дома полно было бы разговоров об этом: брат Шура и мама были завзятыми пастернаковистами... Могу припомнить стихи, ходившие в ИФЛИ: «На нашем курсе драка – ругают Пастернака... На нашем курсе сценка – ругают Мостовенко...» А помнишь, я тебе показывала... сейчас найду... записку профессора Еголина с просьбой пропустить на вечер Пастернака четырех студентов, в том числе Шуру и Эмиля Кардина...

(Мне нельзя не добавить, что был девятнадцатилетний Александр Мостовенко начинающим поэтом, младшим приятелем позднее прославившихся ифлийцев Павла Когана, Сергея Наровчатова, Давида Самойлова. И вместе с ними был шумным участником бурного литера-

турного вечера в юридическом институте на улице Герцена, когда впервые громко прозвучал голос тамошнего студента Бориса Слуцкого, а я, университетский студент и начинающий критик, впервые извдал прелести публичного поношения. У меня сохранилась стенограмма того вечера. Сейчас невозможно понять, чего мы все тогда, в 40-м, не поделили. А чего-то ведь не поделили! Но не оттого ли, что наши разноречья были совершеннейшей пустяковиной, у меня во все годы, сменявшиеся с той поры, оставались наидобрейшими отношения с Борей Слуцким, Дзэиком Самойловым, Сережей Наровчатовым. Думаю, так было бы и с Павлом Коганом – главным моим хулителем в тот вечер. Но он вскоре погиб на войне, и потому нечем заменить сослагательное наклонение. Думаю, что дружеская близость возникла бы у меня и с Шурой Мостовенко, хотя он был ощутимо моложе. Однако он разделил фронтовую судьбу Павла Когана: его тоже очень рано – в феврале 42-го – не стало... А мир, оказывается, тесен не только в пространстве, но и во времени.)

– Нет, Пастернак тогда не заезжал в Серебряный бор! – решительно договорила Наташа.

Тем не менее не тускнеет моя серебряноборская эйфория...

А у Наташи есть еще две пастернаковские реликвии.

«Земной простор». На той первой послевоенной книжечке БЛ, изданной – в противоречье со щедростью названия – так щемяще бедно, дарственная размашистым карандашом:

*Наташе  
Гальпериной  
на добрую  
память  
о Переделкино  
Б.Пастернак  
15.VI.1945*

(Он не знал, что она по отцу – Мостовенко.) А привело ее к нему на дачу в разгар победного лета поручение матери: она стала курьером между Серебряным бором и домом № 3 в переделкинском городке писателей. В тот день Наташа доставила БЛ срочный пакет с «ужасной версткой», как предупредила мама и как выразился вслед за нею он сам. Ему надлежало незамедлительно вычитать авторский экземпляр наперегонки с оплошавшим корректором. Он повел Наташу в сад, к возделанным грядкам, спросил: не будет ли ей скучно одной, пока он займется правкой... Она же в ответ прочитала, чуть сконфузясь и подражая любимому Яхонтову, про Татьяну и дикий сад. Он рассмеялся и оставил ее «пасться на ранней клубнике». (Впрочем, думает она, клубника вошла в это воспоминание, возможно, из другого раза.)

Борис Леонидович появился не скоро, но совладать со срочной правкой все равно не успел.

Вместо верстки Наташа увозила в Серебряный бор его посланьице маме, написанное тем же притупившимся карандашом, что и дарственная на «Земном просторе». Эта записка в книжке и сохранилась, как осенний лист, засушенный на память:

*Дорогая Ревекка Менасьевна!*

*Ужасная верстка, все мои исправления из прошлой корректуры перенесены перевранными. Из предосторожности прошу задержать сдачу основной верстки для сравнения с дубликатом, кот. я выверю. Придется подождать только один день 16-е, субботу. В понедельник 18 или 19 утром я доставлю эту ужасную корректуру.*

*Благодарю Вас за внимание, но эти повторения не пугают меня.*

*У Вас очаровательная дочь, как и надо было думать. Спасибо, что прислали мне Отелло.*

*Всего лучшего.*

*Ваш Б. Пастернак.*

Наташа любит говорить:

– А у меня есть справка, что я очаровательная! Выдал Пастернак!

Пастернак не ошибся. Но версткой какого гослитовского издания была та «ужасная»? Где и какие повторения его «не пугали»? Что могло требовать столь срочной правки в июне 45-го? За присылку какого Отелло он благодарил?

Когда пастернаковедение дорастет до высот (или низин) молекулярного классиковедения, ответы будут отыскиваться сразу. А пока даже такой знаток, как Елена Владимировна Пастернак, смогла сначала дать справку, возбуждавшую новые вопросы. Но потом с полной четкостью:

– Конечно, это была верстка перевода Отелло...

А меня, признаться, занимает сейчас еще и другое: как доставил БЛ ту ужасную верстку «в понедельник 18 или 19 утром» Наташиной маме? Последняя надежда моей беспечной приподнятости: он привез ее сам – и не в издательство на Черкасском, а в Серебряный бор! И, стало быть, все-таки тут побывал!

#### 4

Однако Наташино «не помню» разрушает и эту надежду...

– Зато я могу тебе в утешенье напомнить, что два десятилетия

спустя после несостоявшегося приезда Пастернака, в шестидесятых, здесь целое лето ютился Володя Высоцкий с первой женой своей, красавицей Люсей Абрамовой, и двумя их малышами – Аркашей и Никитой. Вон на той даче, видишь?.. – и Наташа показывает на дом, не отделенный от нашего даже забором.

«В утешенье»? Да я ведь не огорчился, а тешился игрой в Серебряный бор. Но возникший тут в утешенье Владимир Высоцкий прибавляет к этой игре новое завихреньце. Он был тогда беден и не знаменит. Снимался в кино. Играл у Любимова на Таганке. Выступал с гитарой на клубных сценах. Но во всем этом только еще начинался. И его летние серебряноборские соседи едва ли могли прозревать в нем будущую звезду: они жалели его, совсем молоденького, трудно живущего, всегда немножечко мрачноватого. И у меня, – но отнюдь не по следу Серебряного бора, – осталось от него, тогдашнего, похожее впечатление...

...Дело было году в 63-м или 64-м, весной, в дождливый день. Автобусик из города Жуковского колесил по Москве, собирая тех, кто неделю раньше дал согласие выступить в тамошнем Доме культуры на «вечере интересных встреч». Когда заехали за мной, в автобусике уже сидели невропатолог Орел, актеры Высоковский и Мишулин, Герой Советского Союза с забывшейся фамилией и еще кто-то, крайне недовольный, что нам придется делать крюк, дабы подобрать по дороге молодого исполнителя собственных песенок. Потом мы улавливались, кто за кем будет выступать. Помню, мой черед пришелся после невероятного смешного рассказа Зиновия Высоковского, и я успел, – уже за сценой, – дабы избежать полного провала, переместиться по шкале выступающих поближе к концу. А Высоцкий не убоился только что отхохотавшей аудитории. Жуковцы, видимо, ждали его, потому что встретили довольно дружными аплодисментами. Меня он тогда не покори́л, и, каюсь, я тоже не прозрел в нем будущую звезду. Сочувственно запомнилось, однако, странное сочетание наружной хмурости, веселости текстов и мускулистого артистизма в нарочитой антимузыкальности блатяжного хрипа...

И теперь я, действительно – в утешение, радуюсь, что когда-то Серебряный бор освятился тут Владимиром Высоцким и рядом подомашнему звучал его не сразу оцененный и не сразу защищенный голос.

...А жил здесь рядышком, по ту сторону Таманской, еще и другой знаменитый голос, защищенный всюю мощью государства. Самый громкий радиоголос худших из пережитых нами эпох! Каким обнадеживающим в безнадежные дни войны бывал тот бронированный голос Юрия Левитана! И каким давящим бывал он в железные дни сокрушающих волеизъявлений вождя!

Он был историоносным, этот бестрепетный голос: в нем никогда не

звучали ни вопросительность, ни совещательность, ни раздумчивость. Не осложняли его ни жалость, ни смятение, ни великодушие, ни улыбка. Воистину – антивысоцкий голос эпохи.

И уж, разумеется, антипастернаковский голос эпохи. Не помню, он ли, этот голос, оповестил однажды в 58-м году всю Россию, что Пастернаку нет места в России и лучше бы ему выйти вон?! Может, и этот: ему по должности никогда не надо было заботиться о правдивости звучания, а только о непрерываемости.

Бесшумный носитель этого голоса, – по иронии истории не Витязь в тигровой шкуре и не Муромец Илья, а нормально-интеллигентный очкарик, – окончил свой радиовек внезапно и преждевременно. Соседи говорят, что скромным своим демократизмом и вежливой нетребовательностью он оставил по себе добрую память в летнем магазинчике дома отдыха МГК «Серебряный бор». И вообще – в нашей праздной округе...

Умер он на посту – в дни юбилея Курской битвы. Возбуродраженный возвращением в молодость, праведно отговорил из орловской студии государственные тексты сорокалетней давности, – незабвенные для таких, как я, уцелевших тогда под Орлом, и даже вдвойне для меня незабвенные, потому что туда, под Орел, в Чернь и на Зушу, выезжал в единственную свою поездку по фронту Борис Пастернак, и потому что о тех местах и в те времена написал я ему письмо, а потом – вместе с замечательным ответом – получил от него в неожиданный подарок «На ранних поездах», о чем еще речь впереди, – так вот отговорил Юрий Левитан свое вечное Не Свое и на обратном пути в Москву, в Серебряный бор, кончился от инфаркта... Мир праху его! Представляю, сколько тайного стыда и невысказанных мучений пережил он в иные минуты и часы своей микрофонной жизни!..

А за пять дней до того мне случилось увидеть его в автоматной будке у серебряноборского круга. Была знойная июльская суббота, наполненная жажущими реки москвичами, и полуголая толпа у автоматов излучала временное бессмертие. И он его излучал бы, тоже полуголый, в неспортивных трусах, когда бы не городские ноги, такие неубедительные...

Вот это-то и есть Серебряный бор – смесь эпох, а не связь времен. Белиберда несообразностей и мешанина несовместимостей. Тут на свой лад слепилась модель отдыхающей жизни – той, что ничего не воспроизводит, кроме самой себя. Конечно, она всюду возрастает на мешанине и белиберде, но свой лад у нашей зеленой заводи все-таки есть.

В ней водится пьяная нечисть на въездном кругу и не только порченная, но и окрыленная молодость на обрамляющем берегу, бронзовеющие купальщики-пенсионеры и бледненькие санаторные дети, оди-

нокие женщины почти без надежд и одинокие мужчины почти без одежд, праздные слуги народа и работающая обслуга слуг, известные артисты и неизвестные правдисты, наследники реабилитантов и военные отставники, разноцветные спортсмены и одноцветные милиционеры, неразличимые службисты и незримые дипломаты... И все это просыпается здесь не с первыми петухами, а с первыми троллейбусами, когда по-сельски прозрачные утренние небеса начинают свой долгий путь с востока Москвы к совершенно городским малиново-дымчатым закатам за мнимо-окраинными Троице-Лыковым и Строгином.

...Не сказать, как жаль, что во всех наваждениях Серебряного бора, ностальгических и сиюминутных, нет для воображения никаких пастернаковских опор – правда, за вычетом музыки здешней природы. Тут она – пастернаковская, как и всюду, в кольце Москвы. И когда вечерами выходишь на озеро Бездонку, налитое однажды заблудившейся в лесу рекой, а потом, говорят, от нее отделившееся, а потом уже нами сызнова с нею соединенное, эту музыку здешней природы память отыскивает в стихах Пастернака:

Большое озеро как блюдо.  
За ним – скопление облаков,  
Нагроможденных белой грудой  
Суровых горных ледников.

Когда в исходе дней дождливых  
Меж туч проглянет синева,  
Как небо празднично в прорывах,  
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив.  
Разлито солнце по земле.  
Просвечивает зелень листьев,  
Как живопись в цветном стекле.

Как будто внутренность собора –  
Простор земли, и чрез окно  
Далекий отголосок хора  
Мне слышать иногда дано.

И вместе с Пастернаком городская моя, стареющая, неверующая душа готова поклясться уже вспоминаясь раньше заключительной строфою этого стихотворения:

Природа, мир, тайник вселенной,  
Я службу долготу твою,

Объятый дрожью сокровенной,  
В слезах от счастья отстою!

Решительно ни с чем не соизмеримое, это космическое чувство выметает из души все протори и убытки от иных серебряноборских впечатлений. Даже от самого белибердистского и самого драматического: на некогда белой стене троице-льковской церкви, ветшающей в запустенье (хоть и поблескивающей на всю округу вызолоченной для показухи главой), негодующая рука вывела губной помадой по-английски: «Факд олд нэйшен!» Не буду переводить: это нас по матери посылают. Губной помадой! Беда, что злой упрек заслужен. Он обращен к народу: «Что же ты, такой-разэтакий, ценностей своих не хранишь?!»

...На обратном пароходике-пароме вполне уместно подумалось: да ведь об одной из таких дурно хранимых наших ценностей всё это произвольное сочинение без жанра. И потому получается, что кроме музыки природы есть сейчас в Серебряном бору кое-что еще пастернаковское: это я, серебряноборец, «пасущийся на Пастернаке», как выразился кто-то из друзей... Оно и впрямь похоже: так и ощущаешь себя наедине с прожитым да недожитым – теленком на неоглядном выпасе, где все мечтается о сладенькой травке, а лезет в губу горьковатая.

## 5

Я еще не дожевал горьковатую «года великого перелома», 1929-го, когда без предупреждения оболстил меня своими соблазнами Серебряный бор. Но, собственно, что оставалось дожевывать? Я начал было рассказывать об отроческих впечатлениях от «Спекторского» – странного романа в стихах, а на самом деле потянуло поделиться радостью нечаянного открытия в одном письме БЛ того времени: мы, очарованные, – «дети революции», – оказывается, не были тогда *помехою* для поэта, работавшего за распахнутым в историю окном.

...Злоключения со «Спекторским» пришлось на канун «Второго рождения» и уже не могли притормозить возникшую в Пастернаке тягу к самовыпрямлению перед эпохой. Правда, был в поэме

...отчуждением обращенный в дуб,  
Чужой, как мельник пушкинский, художник.

И были саркастические строки о Москве 19-го года:

История не в том, что мы носили,  
А в том, как нас пускали нагишом...

И строкам этим предшествовал крик: «Я вам не шут! Насилье! Я



жил, как вы». И многое другое – такое же мученическое – было в той, пересказу не поддающейся, трудной поэме. Однако было и нечто иное, начиная с исходного уверенья:

Я б за героя не дал ничего  
И рассуждать о нем не скоро б начал,  
Но я писал про короб лучевой,  
В котором он передо мной маячил.

А этим коробом лучевым означена была живая человеческая жизнь, доброхотно включившая в себя революцию. И себя – в революцию.

В эпистолярном комментарии к «Спекторскому» – в письмах к Павлу Медведеву – Пастернак объяснял на исходе 29-го:

*«...Начинал я в состоянии некоторой надежды на то, что взорванная однородность жизни и ее пластическая очевидность восстановятся в течение лет, а не десятилетий, при жизни, а не в историческом гаданье... Даже о гибели можно в полную краску писать только, когда она обществом уже преодолена и оно вновь находится в состоянии роста».*

Так он оправдывал мрачность своего романа в стихах: раз уж там о гибели в полную силу, значит, гибель позади, а впереди – вот оно! – состояние роста. История не обманула – ей можно довериться. И потому – зачем запреты на искренность: оскорбительно недоверие к художнику, когда он всей душой «за».

Жаль, это осталось надолго скороненным в частном письме:

*«...В моих словах нет ничего противозаконного, и если здоровейшей пятилетке служит человек со сломанной ногой, нельзя во имя ее здоровья требовать от него, чтобы он скрывал, что нога его укорочена и что ему бывает больно в ненастье».*

Знал ли Медведев, что та боль в ноябрьское ненастье, когда писалось письмо, была документальной? Мог не знать: еще не вышла книгой «Охранная грамота», где Пастернак рассказал, как отроком сломал и укоротил себе ногу, «в один вечер выбыв из двух будущих войн» (мировой и гражданской). А как образ, та искалеченная нога почти цитатно предвосхищала драматический мотив, озвучивший вскорости «Второе рождение»:

Мы в будущем, твержу я им, как все, кто  
Жил в эти дни. А если из калек,  
То ничего...

И в другом месте – совсем просто – с физиологической буквальностью – вспоминаясье недавно:

О, если б я прямой возник!

Да-да, его волевая жажда самовыпрямления имела еще и плотскую – несудимую – подоплеку. И в этом – лишнее ручательство за подлинность той жажды. Исторически он самообманывался, но нас-то не обманывал! Он ни на минуту не относил к себе то, в чем видел тогда «трагедию Асеева». В письме Познёру, написанном в майские дни 1929 года, он объяснял парижанину, что Асеев – «природный поэт, перслегкомысленничавший» с эпохой. Она, эпоха, поставила его, как и многих, перед выбором:

*«...страдать ли без иллюзий или преуспевать, обманываясь и обманывая других».*

Асеев выбрал преуспеяние. И трагизм его решения, по мысли Пастернака, состоял в измене серьезному отношению к миру. Такая серьезность – врожденное свойство природного поэта. И легкомысленные сделки с эпохой трагичны для его пера. Пастернак преуспеяния не выбрал. Серьезности отношения к миру не изменил. Не стал писать нужное на нужные темы в нужные сроки для нужных изданий. Весь «Спекторский» был страданием без иллюзий. А иллюзии, взрастившие на рубеже 30-х «Второе рождение», явились, говоря возвышенно, – по-марбургски! – этапом саморазвития его духа и потому предметом альтернативного выбора быть не могли. Они не делали его преуспевающим, а читателей – обманутыми.

Как-то в Пицунде начала 80-х я записал на пленку с голоса Арсения Тарковского:

Наилучшие люди на свете  
С царской щедростью глали в глаза.

«Кто ж это?» – спросил я. Зная про мое сочинение, Арсений тотчас отозвался: «Нет, к БЛ это никогда не относилось!»

(Вдруг сейчас сообразилось, отчего тут вклинился в разговор Тарковский-старший: это тема укороченной и ноющей в ненастье ноги. Он ведь тоже, – но не мирным отроком, а боевым офицером, и не переломом, а ампутацией, – выбыл на последней войне из всех будущих войн. И тоже когда-то самообманывался доверием к благому ходу нашей истории. Не забыть одного голицынского разговора у него на даче с участием Туси Разумовской, когда они, земляки, упоенно высвечивали свое общее елизаветградское детство, и он под настроением минуты просил ее веселее смотреть в наше завтра, а она говорила, что весело можно только оглядываться на уже отжитое.)

...Есть еще один эпистолярный комментарий к пастернаковскому самовыпрямлению перед эпохой. Это его письма к Ольге Фрейденберг. Их переписка – замечательно интересная книга: там кухня порою

побеждает кузена пронизательностью, но всегда остается побежденной мощью его одаренности. Изданная за границей, а потому запретная, эта переписка однажды досталась мне на два дня, и я догадался кое-что выписать впрок. Там поднялась, между прочим, лесенка последовательных признаний Пастернака, ведущая из тьмы удрученности историей к сиянию искренней примиренности с нею. И прислонена та лесенка к стене тридцатых годов, когда чем далее, тем чаще Сталин ставил к стенке «милых людей» революции. Ставил с той стороны стены, украшенной с этой всеми обетами социального счастья. Взирая по лесенке с разукрашенной стороны, можно было и не видеть, что прочтется за стеною – застенком.

Три ступеньки помечены годами: 1930, 1933, 1935...

В 30-м, когда уже писалось «Второе рождение», он, в противоречье с недавним увереньем, будто революция была ему другом и жизненным спутником, – признавался милой его сердцу кузине:

*«...Чувство конца все чаще меня преследует, ибо исходит от самого решающего в моем случае – от наблюдений над моей работой... Я не участвовал в создании настоящего, и живой любви у меня к нему нет».*

В 33-м – объяснял ей исповедальную оправданность уже вышедшего «Второго рождения», принятого (по некоторым свидетельствам) без одобрения и Ахматовой, и Мандельштамом:

*«...Уже складывается какая-то еще неназванная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны.*

*Какой-то ночной разговор девяностых годов затянулся и стал жизнью. Очаровательный своим полубезумьем у первоисточника, в клубах табачного дыма, может ли не показаться безумьем этот бред русского революционного дворянства теперь, когда дым окаменел, а разговор стал частью географической карты, и такую солидной! Но ничего аристократичней и свободней свет не видел, чем эта голая и хамская и пока еще проклинаемая и стонов достойная наша действительность...»*

В 35-м – почти ликовал в совершенно весеннем умонастроении:

*«...А знаешь, чем дальше, тем больше, несмотря на все, полон я веры во все, что у нас делается. Много поражает дикостью, а нет-нет и удивишься. Все-таки при расейских ресурсах, в первооснове оставшихся без перемен, никогда не смотрели так далеко и достойно, и из таких живых, некосных оснований. Временами, и притом труднейшими, очень все выглядит тонко и умно».*

Вот так-то! Доцитировался...

«Никогда не смотрели так далеко и достойно...» Это за два года до 37-го! И еще: «Очень все выглядит тонко и умно!»

Кажется, тут уж исчезает сам Пастернак. Растворяется в конформизме порабощенной мысли. Как отыскать тут его, кто в наших глазах сам должен был бы выглядеть тонко и умно, а смотреть далеко и достойно?! Что ж это получается: своим эпистолярным комментарием он разоблачает миф о себе тогдашнем, не так ли?!

Ах нет – не так, не так! По цепи логических выкладок, может, и так. А по череде вчувствований-всматриваний-вдумываний во все, что связывалось с его именем, – не так, навсегда не так!

...Я твержу себе это, как бабы заговаривают зубную боль. Ощущаю, как во мне разбаливается тревога. Она томит, как ноющий зуб. Эта нынешняя – в зубе мудрости: как бы ухитриться примирить непримиримое – нынешнюю праведную переоценку Былого с самим этим несправедливым Былым, которое ведь было нашей вовсе не напрасно прожитой жизнью?! Как бы суметь защитить Пастернака от Пастернака?! Как бы за детской арифметикой переосеночного осуждения и вправду не потерять его тогдашнего, столь нужного очистительно поюншей сегодня душе?! Да неужто он жил и продолжает жить в ней не по праву?!

Когда-то, в 1910-м, двадцатилетний, он написал своей кухне-повеснице: «Прошлое вибрирует сильнее всего на свете...» Откуда знал это он, еще не имевший прошлого? А Бог его знает, откуда поэты знают, в любом своем возрасте, то, что они знают... Сегодня во мне, накопившем порочности вдоволь, сильнее всего на свете вибрирует то прошлое, когда двадцатилетним и непорочным было мое поколение. Или – не столь размахисто: когда двадцатилетним был я сам. Возможно, еще непорочным.

Конечно, были несоизмеримы зачарованность революцией и зачарованность Пастернаком. Но они, эти разномасштабные зачарованности, казались еще и несовместимыми. Да ведь вот совмещались же, черт возьми! И онс, то далекое прошлое, оттого так вибрирует нынче, что не хочет совсем уходить. Неужели вся наша взрослая жизнь проходила в очереди за разочарованиями? Не верю (очевидно, я еще недостаточно взрослый)!

...Все тот же юный Пастернак все в том же 1910-м написал все той же юной кухне: «Ведь есть же у меня слух, какое-то глубокое, первично взволнованное внимание...» И, нарасказав о себе кучу мудреностей, смешно повелел ей: «Но ты понимай это просто, в сантиметрах!» И тут же, с пристальностью не по возрасту, представил ей феномен своего взволнованного внимания в совершенно Достоевском наблюдении:

*«...Я говорил тебе о таком существовании, когда живешь через улицу даже от собственной жизни и смотришь: вот там зажгли огонь, вот там хотят писать прелюдию, потому*

*что пришли домой в таком-то состоянии... и тогда перебегаешь улицу, кидаешься в этого, так или иначе настроенного, и пишешь ему его прелюдию».*

И тотчас вслед за тем: «Знаешь, я терпеть не могу оставаться непонятым... я боюсь подозрения в претензии на оригинальность, несходство с другими...» Каково, а? Меж тем она была искренней и обоснованной, его боязнь быть заподозренным «в претензии»: он ведь постоянно искал выражения для того, для чего другие выражения не искали. И только в этом была его непонятность. Иначе: была она в его истинном несходстве с другими. И нет причин удивляться, что он уже в юности знал узнаваемое другими только под старость.

Думаю, мне бы сейчас не найти даже в самых зрелых его писаниях ничего более точно выражающего состояние и озабоченность стареющего человека, вдруг мемуарно плененного своей юностью... Вот я и существую сейчас за машинкой, будто живу через улицу от собственной жизни, и вижу:

– вон там зажгли огонь, там кто-то, полузабытый, хочет сочинять ну если не прелюдию, то прозу, и надо кинуться к нему, дабы попробовать за него писать ему его желанное...

Только нет во мне ни иллюзии, ни надежды, будто та более чем полувековая даль может быть понята просто – в сантиметрах. Долгий это разговор! И естественно, тут должна начаться Глава, каковой предстает по смыслу быть «Ретроспективной»...

«МОЖНО ЛЬ  
ВЕРНУТЬ  
ЭТУ  
ЖИЗНЬ,  
ЭТУ  
БЫЛЬ?»

1

**Е**сть у раннего Пастернака слово о душе, никем до него не произнесенное: «О, внедренная!» Во что? Вместо ответа там дальше так:

...Хлопоча об амнистии,  
Кляня времена, как клянут сторожей,  
Стучатся опавшие годы, как листья,  
В садовую изгородь календарей.

Хлопоты нагрешившего об амнистии приводят душу, внедренную в опавшие годы, на старую Мясницкую – одну из многотрамвайных и, стало быть, главных улиц безасфальтного центра Москвы тех лет. А к возвышающему рангу трамвайности на Мясницкой прибавлялась еще торцовая выкладка уличного русла – от тротуара до тротуара. И это уж был знак особой избранности во всебулыжном плебействе московских мостовых. Там глуше, чем на завистливо соседствующих переулках во главе с Кривоколенным или на покорно отступающих к Покровке Чистых прудах, цокали извозчичьи пролетки. И вежливей катились, а не скакали синие броневички первых московско-французских таксомоторов «рено».

Лишь демократический трамвай и там, на Мясницкой, не ведал пристойного удержу: до поздней ночи он забрасывал в окна тамошних старожиллов пригоршни железного громаханья, а на ранней заре все начинал сначала. Как раз тогда начинал, когда заболтавшимся юнцам-приятелям в пору было бы хоть на часок улечься поспать за фанерной перегородкою. И когда так хотелось утреннего покоя матери одного из них – пятидесятилетней старинной даме, сначала месяцами, а потом и годами не спускавшейся вниз со второго этажа того бывшего доходного

дома, где в двух с половиной комнатах запущенной коммуналки она безусловно главенствовала, как истинная королева в изгнании...

Ставлю многоточие: не дается выбор бесспорного продолжения.

А может, пока он не дается, слегка уточнить свои координаты в пространстве-времени? Отметим, для этого нужные, на виду. Общеизвестные. Трагические.

Трижды помянулась Мясницкая. Стало быть, душа сейчас внедряется в ранние тридцатые, когда эта улица еще не окрестилась именем Кирова, погибшего 1 декабря 34-го. Это – конечная граница интервала. А начальную – тоже можно извлечь из городского пространства. От новой дружеской обители рукой было подать до устья Мясницкой, впадавшей в трамвайный омут Лубянской площади. А в том устье высился наискосок от Политехнического обыкновеннейший дом, ставший, однако, таинственным с того часа, как в его дворовых глубинах 14 апреля 30-го покончил с собой Маяковский. И была попытка только что подружившихся юнцов заглянуть осенним вечером в тот таинственный двор с одним из взрослых, пообещавшим показать роковое окно. Значит, вот начальная граница – осень 30-го года. Та самая, когда в герценовской читалке впервые открылся шестнадцатилетнему Пастернак.

Поглазели ли мы на историческое окно – не помню. Но все помнится, как вдали, на противоположной стороне Лубянской, по-над зубчатым верхом приземисто-толстенной и казавшейся навсегда несокрушимой Китайгородской стены наши жадные глаза чуть не ежевечерне отыскивали череду зазывно светившихся окон редакции детской газеты... Ах нет, конечно, юнцы из литгруппы «Пионерской правды» ту газету детской не называли. И, конечно, не называла их самих детьми руководительница литгруппы – Анна А. Афанасьева, обиженная от природы горбатостью, да зато наделенная природой добрейшим пониманием того, как тянутся во взрослость отроческие души.

Невесть как слетевшихся той осенью в пеструю стаю за белой стеной Китай-города, она старалась загружать нас, празднословных мальчиков, редакционной работой. И с ее благословения шестнадцатилетний московский грамотей посылал иногороднему шестнадцатилетнему грамотею письменные наставления, как писать хорошие стихи. И не без ее участия пятнадцатилетний стихотворец командировался со взрослым заданием Бог весть куда, к ужасу его бедной мамы. А впрочем, зачем я тут темню без имен... Это отрок Леша Кара-Мурза с Мясницкой наставлял среди других ровесников киевлянина Яшу Хелемского, будущего известного поэта и мастера перевода. Это отрок Женя Долматовский с Гоголевского бульвара колесил по только что образованной Хакасии со столицей в будущем пресловутом Абакане... Что-то дельное делал и я на третьем этаже заветного китайгородского

дома. Но главное – первую бороду отпускал... Она даже воодушевила Женю Д. на шуточные стихи, которые до сих пор не забылись:

Отпустили бороды,  
Как большие вроде.  
Наша в Китай-городе  
Молодость проходит.

... Не скрипи, мое перо.  
Слышишь писк мышиный?  
Бьют в машинном бюро  
Мыши по машине.

Под такую музыку  
Все мы и заснули  
На столе на узком  
И на венском стуле.

Недурно, право слово! А для ностальгической минуты – совсем хорошо! И все-таки в ту пору – китайгородская обитель оказалась для души несравненно менее значащей, чем мясницкая, хотя поначалу вторая была как бы домашним филиалом первой. «Пошли ко мне!» – говорил Кара-Мурза. И мы шли к нему.

...Память соблазняется отступлениями в сторону, как дерево на воле – разбеганием ветвей в небеса. Но листве не заполнить пространства, отступлениям не покрыть времена. Однако напрасно выговаривать дереву: держись-ка ствола. И тщетно приструнивать память: не отходи-ка от главного! Да и где оно, главное, в прожитом? Если голова все хранит и хранит пустяки, наверное, мнима их пустяковость. Поступки без зримых последствий. Фразы без ясной связи. Картины без видимых очертаний. Все это ведет в нашей памяти молчаливую борьбу за выживание. И надо только догадаться, отчего покуда выжило то, что выжило!

Почему за полвека не справилось забвение с бахромой квартирной пыли на подшивке «Солнца России» за 1911 год?

О чем скрипит балконная дверь за породисто-кривоногим круглым столиком для минутных чаепитий и бессрочного преферанса?

Чем выслужился перед душою обойный простенок с гуашью выцветающей латыни – Нулла Диес Синэ Линеа (ни дня без линии)?

Много такого. И простенько-причинные ответы хоть и найдутся, да только едва ли что-нибудь объяснят...

## 2

Там однажды выкрутилась из домашних раскопок старенькая чаша с карусельным диском игрушечной рулетки. Еще не стерлись ре-



брыстые секторы остановок для запущенного в скольжение за удачей серебристого шарика. Еще не потускнели красно-черные цифры четанчета и зеленая отметина всеобесценивающего зеро. Словом, можно было играть! Но не сохранилась фирменная карта рулеточного стола, без каковой неизвестным оставалось правило ставок. А московские казино отошедшего нэпа уже исчезли. Перерисовать чаемую карту было негде. И тут-то на выручку нашей огорченности пришел все досконально помнящий отец моего нового друга – Сергей Георгиевич Кара-Мурза – не властвующий, но тихо-надежный хозяин двух с половиной комнат, юрист и театровед, смиренный супруг... нет-нет, не королевы в изгнании, а скорее грибоедовской княгини Марьи Алексевны или пушкинской Веню Московит времен Сен-Жермена... Несмело одарив нас Архимедовой улыбкой («эврика!») над клинышком мушкетерской бородки, он посоветовал перелистать подшивку «Солнца России» за 1911 год («наверху – в коридоре!»).

Тотчас – стремянка к архивному стеллажу в коммунальной прихожей. И свисающая бахрома нетленной пыли над Лешиной головой. И повеленье Марии Алексеевны в глубину коридора: «Марфуша, влажную тряпку!» И затем – вожденный чертеж рулеточного табло на желтеющей странице дореволюционного журнала.

Без промедлений перечерчено было табло на рыжий лист миллиметровки. Мы дружно помогали сделать это побыстрее двадцатисемилетнему художнику Андрею Гончарову, старшему единоутробному брату Лешу. И за фанерной звукопрозрачностью Лешиной комнаты-каюты завелась бессонная достоевщина нищего азарта до первых мясницких трамваев.

Приступы азарта с детства помнятся непомерными выигрышами или непомерными проигрышами.

...Немудрено, что не забывается отчаяние утраты в одиннадцать лет всех голубоватых томов капитана Мариетта и четырех коричневых Луи Буссенаров: ненастным днем, на лестничной площадке нашего дома в Фурманном я разом проиграл эти драгоценности соседскому мальчику в расшибалочку. Он, разумник, – будущий известный картограф А. Ш., – раздобылся для разбивания горки монет тяжелым екатерининским пятаком осьмнадцатого века, а я пошлепывал пустыньким современным. И потом еще должен был весело скрывать ту утрату от отца. «Где «Мичман Иззи?»» – «Пап, а я его дал почитать...» – «А дружья твои что – книг не возвращают? Надеюсь, ты им не подражаешь?»

...Немудрено, что не забывается унижение в купе пассажирского Сочи – Москва, когда, семнадцатилетний, я возвращался со школьным другом Леном с Черного моря, где, – может, еще помните? – едва не утонул. Мы истратились до последних гривенников, хранимых на трамвай от Курского до дома, а я, в самообольщении только-только

научившегося преферансиста, уселся за пульку с тульскими студентами, схватил на арапском мизере кучу взяток, и уже не мог отыгратся, и за Ясной Поляной, когда они готовились сходить, сумел расплатиться лишь колодой отцовских карт да поставленным под удары этой колоды пылающим лбом, а потом еще обязан был смиренно выслушивать толстовские наставления моих издевающихся попутчиков.

...Немудрено, что не забывается и другое довоенное: как летней ночью в многолюдной компании на Новинском, у всехнего приятеля Юры Смирнова, мы с Ярославом Смеляковым выиграли в разнузданное очко шестьсот рублей на двоих – живыми деньгами! И решив прогулять их за день до последней копейки, ошалело невыспавшиеся, отправились для начала на Арбатский рынок, и ранними покупателями завладели корзиной ташкентского винограда, авоськой абхазских гранатов плюс два неподъемных арбуза, и той же сентябрьской ранью поочередно всполошили этими неурочными дарами двух наших милых приятельниц – Н. на Сивцевом Вражке и С. на Гоголевском, которые очень нравились нам одновременно, а были непорочными женами наших близких друзей.

...Немудрено, что не забывается, как осенью 45-го, когда 3-ю артиллерию победителей какой-то начальствующий олух царя небесного догадался разместить по баракам недавнего концлагеря в унылых горах австрийского Алленштайга, и оскорбленные офицеры стали круглосуточно растворять свою досаду в трофейном бренди, я спяну выиграл в преферанс сорок тысяч оккупационных марок. И утром, отбывая в командировку на север, походил на костляво-грудастого дурака-гермафродита, потому что шарообразно распахивал эти сорок тысяч по карманам гимнастерки, а потом не знал, как от них получше избавиться на тогдашних безмагазинных дорогах Саксонии и Тюрингии.

Мудрено ли, что все эдакое, из ряда вон, зачем-то сохраняет память? Но юношеская рулетка на Мясницкой – отчего не забывается она? Ее грошовый азарт. Ее непонятное счастье... Мы уже не были школьниками, но не стали еще студентами-стипендиатами. Деньги у нас бывали или отколовшиеся от старших братьев, или нечаянно заработанные – то черчением, то газетной заметкой, то мускульной работой. Сменяясь в доходной роли банкодержателя-крупье, мы согнутыми в совочек ладонями сдвигали к себе медяки и серебро с редкими бумажками. А когда заполночь неудержимо зарывались, писали друг другу долговые листочки – на 100 рублей или на 20 000, что не имело значения. Однако похохатывали над этой инфляцией не без бледной нервности!

Но существенно, что уже не грозило перейти в другие руки ни моему Первому тому Маяковского, ни «Двум книгам» Пастернака, ни цветаевским «Верстам», ни томам пятитомного Хлебникова (выменян-

ным в библиотеке на сохранившихся с детства Джек-Лондонов)... На книги вдруг легло табу!

Нет, не дивидендами или банкротствами навсегда поместилась в душе та юношеская рулетка. А с нею – и первые в жизни пульки за круглым столом у балконной двери. И, кажется, я догадываюсь, о чем все скрипит и скрипит та чуть приоткрытая по осени дверь с ненакинутым крючком. Что-то в ней было от уэллсовской зеленой калитки в неизвестное инобытие.

...Она рассказывает теперь стареющему беспородному псу, как в щенячьи свои времена он внезапно и преданно привязался к чужому дому, где милы ему были углы и хозяйева, и в новинку – все отстоявшиеся запахи и все разноцветные голоса. Это равносильно было для щенка удвоению его мира: забежал на соседнюю улицу, а там – вся повадка жизни другая, чем в отчих пенатах.

Опоминаюсь в бормотании: откуда выскочили эти классические «пенаты»? Римские домашние боги – хранители очага. Не вздорно ли давать им пристанище в колодце нашего московского двора?! Еще не выветрилось из памяти начало домодельных стихов той поры о том колодце:

За окном моим дом,  
розоватый и сонный сангвиник,  
всем известные песни  
скучающим басом поет.  
На холодной заре  
по две шторы на каждом раздвинув,  
он бормочет спросонок  
о чем-то, как нежность, своем.  
Нет, за окнами спят.  
Но в отдушниках водятся птицы.  
И чуть свет – начинают,  
как дети взрослея, свистеть.  
Правда, есть и окно,  
за которым сегодня не спится.  
А возможно, как птицам,  
там будет не спать и впредь...

Ностальгически слышится подражание Пастернаку: «Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться...!» Да ведь птицы, нежность, бессонница – все это вкупе могло б довести асфальтовый двор до ранга пенатов. И душа не противится, пока греется в детстве.

Подробно и непрерывно любим был отец – недосягаемый в мире лабиринтных чертежей и вычислений. Из-за его склоненного плеча выглядывали лебединые шеи интегралов. Очарование высокой непонятности лежало на этом слове. Все слышатся вечерние поручения отца моему старшему брату-студенту: «Возьми-ка тот интеграл от минуса бесконечности до нуля, это минутное дело, он – табличный...» И

все помнится, как перед минус-бесконечностью и нескончаемым немецким Гомером замирало неграмотное воображение. И в долгие годы отцовской бородатости, когда он, бывало, снимал совершенно грибоводские очки, все пророки на рисунках Доре в необъятной Библии вдруг становились его портретами. А все красивые дамы со взбитыми прическами и перетянутыми талиями в таком же необъятном, как Библия, насмешливом альбоме «Она» становились праздничными портретами подробно и непрерывно любимой мамы.

Пенаты – это нечто пространственно-временное, куда ищет возвратиться душа из дальних отлучек. И если бы она сейчас возвращалась в детство, отцовско-материнские домашние боги снова расточили бы еще живому из трех сыновей всю единственность своей благодати и всю неистощимость своей интересности.

Однако, занятая нынче тем, что ей принес Пастернак, душа возвращается не в детство, а в ту пору юности, когда многим юнцам все домашнее вдруг приедается до отчуждения. Я был из числа таких – беспричинно отчуждающихся от дома. И потому до ранга пенатности возвысился тогда другой кусочек Москвы – тот, где удвоился мир щенка.

### 3

...Дьявольщина – откуда же все-таки выскочили и без спроса сели на язык эти старо-классические «пенаты»? В пастернаковских стихах нет на виду этого ничейного поэтизма. Откуда же он? Стоило посидеть за машинкой с закрытыми глазами, и – всплыло: да это ведь ранний Мандельштам!

...У тщательно обмытых ниш  
В часы внимательных закатов  
Я слушаю моих пенатов  
Всегда восторженную тишь.

.....

Иных богов не надо славить:  
Они как равные с тобой,  
И осторожно рукой  
Позволено их переставить.

К слову: вот, может быть, самое глубинное – врожденное – различие между двумя властительными поэтами-современниками...

У Пастернака все норвило, как правило, своевольно перемещаться. Неуместно скользить. Избегать покоя. Безответно аукаться. Бесцельно лететь. Чересполосно пересекаться. Уходить в обгон. Просачиваться с любым движением, терзая пространство и расчлняя время...

У Мандельштама все, как правило, искало завершенности. Окончательной наполненности. Колонной устойчивости. Корабельной остойчивости. Обрамленности в раму. Угаданной преднамеренности. Скрываемой недосказанности. Исчерпанного движения в покоренном пространстве и остановившемся времени...

Разумеется, ссть пастернаковские мутации у Мандельштама и мандельштамовские – у Пастернака. Но генетические коды их решительно несовместимы. Это природная несовместимость: как-бы-футуризм Пастернака и как-бы-акмеизм Мандельштама тут, право же, ни при чем. Решусь заметить: все историко-литературные «измы», удобно открывая в поэте нечто, общее с другими, столь же удобно уводят на задворки наиглавнейшее в нем – его неформулируемую самость. И потому: утоляющие ученую жажду упорядоченности, «измы» не утоляют нашу жажду понимания поэта.

Как-то на вечерних посиделках вспыхнул у нас на аэропортовской кухне недоступный пересказу спор о стихах. Галя Корнилова – замечательно тонкая новеллистка – зачем-то произнесла строки из «Триптиха»:

И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,  
Одиссей возвращался, пространством и временем полный.

В дни юношеских завиральных крайностей мне казались эти строки лучшими у Мандельштама. Может, потому глагол «возвращался» произвел в ушах какое-то неудобство, но не сразу сообразилось, в чем было дело. Спор ушел далеко к стороне, когда я врезался не к месту: «Ах, нет, у Мандельштама не *возвращался*, а *возвратился!*» Немедленная проверка подтвердила правоту ушных раковин. Именно – ушных, потому что смыслово-то разница была ничтожна. Но мне была дорога та правота, и я пустился в объясненье:

–...Мандельштаму чаще всего надобна бывала завершенность вообразившегося. И глагол в несовершенной форме был не для него. Его одинокому Одиссею требовалось пережить все возвращенье домой! Это у Пастернака он мог бы наслаждаться длящимся переживанием – без конечной остановки – и мог бы сказать о себе и Пенелопе:

Так пел я, пел и умирал,  
И умирал, и возвращался  
К ее рукам, как бумеранг.

А в мандельштамовском мире такое трудно представимо. Кстати, как и в ахматовском. А в цветаевском – сколько угодно...

Ей-богу, это все походит на правду. По крайней мере – в ощущении. И сегодня нечаянно всплывшие «пенаты» из раннего – еще не израненного – Мандельштама утвердительно кивают в знак согласия:

да, говорят они, нас, домашних богов, позволено переставлять лишь осторожной рукой! Тут как бы максимум разрешенного поэтом...

Знаю, знаю, возможны прекрасные контрцитаты. Ну, скажем, в 1912 году разве он не уверял: «Бродяга – я люблю движенье»? Двадцатиднолетьи, гордоголовый, добродетельный петербуржец, он вовсе не был бродягой. Просто осенним днем слонялся по городу, наткнулся на шарманку, услышал в ее тягучей песне «вод стоячих лень» и почувствовал, что предпочел бы «ремень точильщика». Вот этот-то вращающийся на месте круг вполне удовлетворил бы, как он признался, его любовь к движенью. В такой же собственной неподвижности он еще любил «следить за чайкою крылатой». Эта строка того же года, 12-го, из первой его книги «Камень». Между прочим: самим этим названием книги уже утверждалась выверенная неподвижность. Чего? Бог его знает – чего. Не бытия ли? Любопытно, что сонет о шарманке он в «Камень» не включил. Уж не ощутил ли даже во вращенье точильного круга превышение нормы дозволенного для осторожной руки?..

...И вот – всей натурой своей лепящийся к Пастернаку, я совсем не в его духе, а в мандельштамовском, осторожно переставляю в нишах памяти одомашненных идолов жадной юности. С осени 30-го они надолго зажили за той балконной дверью, где круглился чайно-преферансный столик. И только грешно называть их нынче невкусным словом «идолы» – омертвляющим «богов». Они были самой жизнью!

Точнее – жизнью культуры. Современной, пульсирующей, терзаемой разноречьями. Они были причастны к ее радостям и бедам. И главное главного – они излучали одаренность.

#### 4

Хочется сравнить одаренность с прибоем, что накатывает на твою береговую жизнь из далей нескончаемого моря времени. А море это, – если поубавить возвышенности и прибавить вещественности, – просто людское море.

Пастернак был прав: лишь морю не дано примелькаться. И среди прочего потому, что оно все рождает и рождает то, что назвал он «белой рьяностью волн». Рьяные – это те, что с пенными гребешками – знаком их выделенности: непоследимо накопленной силы. А ты на своем берегу – точка приложения этой силы. Одаренности не дано примелькаться, а тебе не дано оторвать от ее прибоа замороженного вниманья.

Порою – редко-редко – накатывают из людского моря ее девятые валы: является живая – еще во плоти! – гениальность. И всякий раз неизменно чудится: она – нездешняя. Кажется: она прифлудилась из Гулливеровой страны, где только на время оставила свой дом, населен-

ный иными существами, чем мы. И это снова – как у Пастернака про все на свете моря:

...Ты в гостях у детей,  
Но какую неслыханной бурей  
Отзываешься ты,  
Когда даль тебя кличет домой!

Сразу же говорю себе, готовому завратъся в приступе мемуарной нежности, умиряюще говорю себе, что в мясницких пенатах юности бури все-таки не бывали неслыханными. Девятые валы там не набежали. Да зато одаренность там пребывала в гостях у детей, не отлучаясь. И тех домашних богов душе не нужно славить: они были с нею и впрямь – как равные...

–...Ну, дорогой мой, голубчик, надо же записывать висты! Надо с собою что-нибудь сделать! – говорила Веню Московит из времен Сен-Жермена улыбочиво-надтреснутым голосом Книппер-Раневской из «Вишневого сада». – Граф... если память не путает... Алексеев считал недостойным его глупого дворянства мелочиться с вистами, и что же? В Баден-Бадене проиграл миллион!.. Для начала у вас неплохо идет. Вы уже не отыгрываете туза, как это делал маленький Леша в свои шесть лет. И, апропо, как это делает Леша Цвиллинг в свои восемнадцать. Но! – два-три неоправданных проигрыша, голубчик, и вдруг вам станет в тягость игра... А Талейран сказал, что тот, кто в молодости не овладел преферансом, обеспечивает себе унылую старость. Я согласна с Талейраном, хотя... Леша, зажги мне спичку, пока я сдаю... Вот у Леша уже не будет старость унылой. У Жоржика – тоже. А про Андриюшу – не знаю. Будет утешаться другим. Он даже вашей рулеткой не соблазняется, правда, Леша?.. Как! Вчера играл?! А-а, понимаю: это ему... простите, я пас... это ему для иллюстрирования гроссмановского Рулетенбурга нужно – для одной гравюры с проигрывающим Достоевским, я уверена... Чтó – мое слово? Минутку (выдох дыма) – вистую – надо раскрыться... Господи, голубчик, кто же с такой картой пасует?! По Лешину носу было видно, что он сремизится. Втемную он сидел бы без двух, а теперь его дама играет... Но – не огорчайтесь, не огорчайтесь, все придет. Знаете, как у Достоевского – время терпело, время все терпело, и все должно было прийти со временем и своим чередом... Прервемся. Будем чай пить. Леша, скажи Марфуше...

Все это в памяти навсегда. Как романы юности. Впору носовой платок доставать. Разумеется, все должно было прийти со временем, чего не было. И пришло. Но со временем должно было и уйти все, что было. И ушло. Оскар Уайльд: – Трагедия не в том, что мы стареем, а в том, что остаемся молодыми!

Княгиня Марья Алексевна не раз повторяла и, наконец, уронила

эту фразу в память юнца, уже умевшего восхититься таким парадоксом, но едва ли уже способного печально сообразить его смысл. А их много. Один – в другой кратчайшей фразе, самой щемящей на все шестьсот рассказов Чехова:

– Мисюсю, где ты?

Это – «Дом с мезонином». Чуть не оговорился – «Дом с балконом». Так все слышнее, о чем скрипит балконная дверь.

...Право, не слишком уж в шутку произносится – Веню Московит. В комнате, что была по безысходной коммунальности тогдашней Москвы одновременно спальней супругов, семейной столовой, кабинетом хозяина и будуаром хозяйки, висел на поблекших обоях в допрежней рамке пастельный или акварельный портрет чеховско-блоковско-бунинской дамы. Серо-сиреневая изысканность. Победительная молодость и умная красота. Не помню, чтобы когда-нибудь говорилось, кто влюбленной рукою писал тот портрет – пожалуй, избыточно лестный, если не льстивый. Чего-то в нем было больше, чем нужно, а потому ровно столько не хватало для неоспоримости искусства. Но он удостоверял, как живописная справка, что в ее молодые годы и в другой квартире – в апартаментах громадного доходного дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре – происходили у этой дамы светско-интеллектуальные «вторники», и она не могла на них не блистать. В союзе с добрым и умным мужем.

Алчная хроника изустной мемуаристики рассказывала, как там мирились-ссорились Валерий Брюсов с Андреем Белым, поочередно, а то и вместе сопровождавшие «недостойную их» (а может, как раз достойную?) разлучницу-красавицу по имени, кажется, Нелли. Юргис Балтрушайтис был там завсегда, пока не превратился из русского поэта в литовского дипломата. Там допоздна засиживались Илья Эренбург и Владимир Лидин, Лев Никулин и Иван Аксенов, Вера Инбер и Павел Эттингер... Перечисляю парами не потому, что между этими именами была какая-нибудь внутренняя связь, а просто слога ради и дабы видно было, как широко принимали мир хозяева дома.

Бывали там художники, актеры, адвокаты – всё люди с именами, известными Москве, однако уже забывшимися. Естественно, забылись Москвою и те «вторники». Но, представьте, не совсем, не совсем... По меньшей мере, двос из тех, кто грелся у того огня, – Вера Михайловна Инбер и Лев Веняминович Никулин, – помянули в своих мемуарах добрым словом вечера на Сретенском бульваре. (Непрощеным грешникам предательских времен нашей жизни, им еще воздаст по дурным заслугам или вовсе вычеркнет их со своих страниц история. Но сами годы тех «вторников» предательскими еще не были.) О никулинском слове напомнил мне Алексей Кара-Мурза – тот самый шестилетний Леша, который позднее уже никогда не «отыгрывал туза». (Господи,



как не хочется и его корить за непрощаемые грехи эпохи послевоенной борьбы с космополитизмом... Не хочется дважды – из-за верной дружбы в отрочестве-юности и оттого, что до своих грехов он на своей шкуре испытал репрессии 37-го... И не пережитое ли в лагере повинно было в его духовной порче конца 40-х, когда мы надолго рассорились?) Не стану цитировать Льва Никулина, а о добром слове Инбер вспомнил я сам. Сработало тщеславие.

Я из тех литераторов, о ком редко бывало напечатано что-нибудь похвальное. А Вера Инбер как раз нечто такое обо мне опубликовала в своем дневнике «Страницы дней перебирая»:

*«...С большим интересом читала книгу Данина «Неизбежность странного мира»... Иной раз точность и неожиданность... заставляли меня на минуту отложить книгу, чтобы мысленно заплодить автору...»*

В кои-то веки прочтешь, что коллега хоть мысленно тебе аплодировал. Ну, а рядышком там помешалась запись мемуарного свойства о миллом моему сердцу доме. Вера Михайловна рассказывала, как в конце 1916-го ее, молодую поэтессу, ввели в тот дом Алексей Толстой и Наталья Крандиевская:

*«...Он служил местом встреч писателей и, главное, источником теплоты, которой не хватало молодым... На квартире у С. Г. Кара-Мурзы мне было тепло и уютно. Теплошло от самого хозяина и от хозяйки, Марии Алексеевны. Помню, А. Н. Толстой читал в доме Кара-Мурзы свою повесть «День Петра»...»*

Легко представлялось, как обольстительно и дипломатично вела свои «вторники», – потому что то были, по преимуществу, конечно, ее «вторники», – Мария Алексеевна Головкина, в первом замужестве – Гончарова. И Андрей Гончаров это подтверждал: – Мама была там первым лицом, а папа Сережа вторым...

Эхо того литературного салона на рубеже двух эпох доносилось до нас, юнцов из поколения очарованных, когда мы слушали мимолетные рассказы о полумифических людях полумифической культуры последнего предреволюционного десятилетия – «самого позорного десятилетия в истории русской интеллигенции», как щедро пустил его в расцвете расточительный Горький. Те рассказы всегда бывали незначительными. Преднамеренно насмешливыми. Им словно бы сопутствовала ремарка: «Послушали, мальчики, поулыбались, ну и ладно...» Это режиссировали духи тогдашней поры.

Тогда не хвастались (вслух), а заодно и не чванились (вслух) своим дворянством, отмеченностью в бархатной книге, генеральским, купеческим первой гильдии, священнослужительским или шибко профессорским родословием. То выглядело бы знаком социальной подпорчен-

ности. Иначе – запятнанности прошлым. Социальной наследственности ни с какой стороны не следовало вызывать внезапной жажды изучения. И прошлое, если оно не было классово безукоризненным или благополучно революционным, имело цену только, когда бывало безлико никаким.

...Покаюсь, хотя тут нет моей очевидной вины: я не знаю, кем был отец моего отца – Плотке Давид, литовский еврей из Шяуляя. В детстве говорилось: «Он был бедный человек». И очарованному пионеру этого хватало. А когда постаревшему от-очаровавшемуся внуку бедного человека захотелось поподробней вникнуть в бедственность жизни деда, справиться было уже не у кого. Старший брат мой, после странного раздумья (а что ж тут было раздумывать – или знаешь, или не знаешь!) , нехотя сказал: «По-моему, дед был стекольщиком в Шавлях...» Мне же подумалось, что размышлял он тактически: обременять меня ненужной правдой или не обременять? Однажды ночью мраморное пресс-папье следователя в Бутырках 38-го года мгновенно перевоспитало моего, некогда отважного, брата. Я понял его и не поверил ему.

А понял я, что «стекольщик» означал владельца стекольной фабрики, которому достало заносчивости, разумности и средств дать двум своим сыновьям образование в Швейцарии и Германии – моему отцу и дяде Григорию, а третьему сыну – беспутному моему дядьке Науму-Николаю – ремесло провизора. С судьбою лишь этого дядьки вязался традиционный порок стекольщиков уличного толка: никогда не вязал он лыка и даже умудрился пропить квартиру своей жены на 2-й Тверской-Ямской, несравненной нашей тети Кати с сердцем на правой стороне груди.

Бездетная и, может, потому обожавшая маленьких племянников-близнецов, она в допионерском нашем детстве нанимала лихача, сажала на одно колено Вовку, на другое меня, размашисто командовала: «К Яру!», потом выгуливала нас часочек по дорожкам Петровско-Разумовского парка, приводила обратно к дожидавшейся пролетке, снова командовала: «На Земляной вал!», и с ветерком доставляла нас, хохочущих и счастливых, в родительские пенаты асфальтового двора... Ах, телом и душою я еще обязан дописать, как в голодном 21-м, когда меня, семилетнего, умирающего от неоперабельного заворота кишок, покоили в наглухо зашторенной комнате, она, тетя Катя, с шумом отстраняла от дверей плачущих маму и няньку, возникала черным привидением у моей подушки, доставала из-под юбки флягу с молоком и тайно, вопреки запретам, с шепотными нежностями вливала мне в рот животворящую влагу, отчего я, возможно, и уцелел!.. Немыслимо оскорбленная дядькой, в затмении запоя пропившим ее собутыльнику вместе с квартирой, она вышвырнула его из дома. И вскоре умерла от разрыва неправильно расположенного сердца.

А дядька – маленький, мрачный, с пугающе-лиловой, химически-обожженной щекой провизора-неудачника, обносившийся до вокзальной нищеты погорельцев – боялся показаться на глаза моему отцу, стеснялся мамы, скрывая свой адрес, и почему-то не чурался только няньки и меня. С выслеженной точностью изредка появлялся он, когда в доме не было никого, кроме нас с нею, одалживался на бутылку (никогда сверх того!), уносил донашивать или продавать что-нибудь из моей одежды и уходил, не прощаясь. Уже во время войны однажды он был найден заледеневшим в подворотне на Первой Мещанской с паспортом на имя Николая Дмитриевича Плоткина и с потертой запиской, где значился единственный московский телефон и единственный московский адрес наших асфальтовых пенатов.

После войны стоило мне вернуться домой демобилизационно пьяным, как мама с опасливой печалью произносила: «Не ждет ли тебя судьба дяди Наума?» А я беспечно повторял: «Да нет, не ждет, потому что я не умею делать это два дня подряд!» И теперь догадываюсь, что означало отцовское про деда: «Он был бедный человек» – не «был», а стал! Оттого, что как раз умел «делать это» дольше, чем два дня подряд. И судьба моего дядьки объяснима, как наследственная беда. А вместе становится правдоподобным другое: может, и впрямь незнаемый дед Давид под конец жизни оказался настоящим шавельским стекольщиком с позвякивающим ящиком на усталом плече и космополитическим тоскованием ремесленной души по иному позвякиванию – не оконного, а бутылочного стекла?

Однако с возрастом такой вероятности убывает смежная: мог ли второй мой незнаемый дед Аркадий Грюнберг – богатый выходец из Шавель и владеец мыловаренного заводика в Либаве – миролюбиво согласиться даже не на один, а на два мезальянса, ибо две его дочери, Елена и Блюма, последовательно вышли замуж за двух сыновей неблагополучного стекольщика, Семена и Григория? Но никогда ни о чем семейно-драматическом в этих двух счастливых замужествах не говорилось ни слова. Очевидно, не было драм. Не было мезальянсов. Попросту оба деда принадлежали к одной сословной касте. Такой, что в атмосфере 20-х и 30-х годов предпочтительней было о принадлежности к ней помалкивать. (Да, признаться, по тем временам очень уж некрасиво звучало бы упоминание, что ты – из мелких фабрикантов.)

...Так, по психологическому закону-выверту социальной предсмотрительности все разгоравшиеся было расспросы в мясницких пенатах о прежних салонных бдениях под эгидой Марии Алексеевны быстро затухали в анекдотических несущественностях. Однако не затухало безотчетное ощущение замечательно стойкой связи времен. Той – гамлетовской, которой полагалось быть давно распавшейся. И действительно распадавшейся – с нашей же собственной помощью оча-

рованных энтузиастов безоглядной новизны. Но вот оказывалось, что тянули к себе еще и другие очарования...

## 5

Не знал и не знаю о Марии Алексеевне ничего анкетного. Но что бы ни лежало в подноготной ее стародавнего воспитания, а в музыке ее разговорной повадки и московской, хочется сказать – московитой, речи неизменно звучала нота избранности: не сословного, а человеческого аристократизма.

Даже в том, как она непрерывно курила папироски дешевого «Норда», – после войны патриотически переименованного в «Север», – внимание засекало грацию повелительной женственности. В тонкокостистых пальцах откинутой руки очередная папироска всякий раз выглядела так, точно радовалась своей судьбе – быть выкуренной под этой лампой этим затяжным дыханием.

Зримая одаренность Веню Московит не требовала никаких подтверждений – так она была очевидна. Когда-то Мария Алексеевна перевела с французского знаменитый роман Гюисманса «Наоборот», но, по-видимому, могла и не переводить: это ничего не определило в ее жизни. Если возможны талантливость без творчества и мастерство без ремесла, она являла собою живое воплощение того и другого. Домашнее, непринужденное, бесспорное. Это были талантливость и мастерство застольного общения, как были у других московских мам талантливость и мастерство застольного угощения. И друзья ее младшего сына Леши с готовностью приходили или попутно забегали на Мясницкую не ради скудных даров безалаберной Марфуши, а ради неиссякающего говорения, сервируемого за столом Марией Алексеевной.

Думаю, что и друзья ее старшего – Андрея Гончарова, уже вкушавшие в ту пору достойную профессиональную известность Сергей Образцов, Петр Вильямс, Юрий Пименов, Жорж Ечистов и еще другие, чьи имена попрятались сейчас по закоулкам памяти, думаю, что и они заглядывали в тот дом на Мясницкой не ради одних только бдений в Андреевой комнате-мастерской, но и ради вольного говорения под лидерством покуда совсем не старой, но навсегда старинной матери их друга...

А может, все это преувеличения? Не знаю. Знаю только, что из отжитого лишь то осело в нас нерастворимым осадком, что заслуживало преувеличения. Бывшее заурядным, уменьшается в памяти по закону перспективы: с расстоянием теряет свой прежний рост. Незаурядное – вопреки закону – растет. Но это значит, что ничто былое в натуральной величину не увидишь.

Ах, не вовремя это произнеслось. Будто под руку: я ведь как раз

добрался до попытки высветить фигуру Пастернака, какой представляла она в тех мясницких вольноговорениях. И получилось, что предупредил: точности от рассказа тут не ждите... Меж тем нужна была бы точность: все с ним и там непросто было...

...Огорчительно бывало услышать, что нет, он не приглашался и не приходил на салонные «вторники» Марии Алксссвны. А в те годы она виделась коллекционершей человеческих достопримечательностей. И в предреволюционные времена, когда появился в ее коллекции, изменчивой как само время, Иван Александрович Аксенов, казалось, легкого мог появиться и его товарищ по модной московской литературной группе – Борис Пастернак. Не появился! «Ну почему же? – спрашивал я непозволительно задиристо. – Он что же – не нравился вам?» Или еще как-то – привязчиво, теряя чувство дистанции, точно это продолжался преферансный разговор о не взятых взятках, когда партнеры – безвозрастно равноправны: «Отчего же вы не звали его?» И память собирает сейчас из обрывков ее ответов единый – довольно достоверный – монолог:

–...Ну, голубчик, как вам объяснить?! Все происходило непреднамеренно. Вы себе многое превратно рисуете. Не помню уж, как растолковывалось название их группы – «Центрифуга». Ах, тогда было столько эфемерных групп! Ими увлекались, но поверьте, они почти ничего не значили. Моему поколению был всего ближе символизм. Я ведь, как ваша мама, ровесница Блока и Белого... А Борис Пастернак?.. Такого имени не было в наших святцах. Много говорили об его отце – Леониде Осиповиче. Да-да, больше всего из-за иллюстраций к Толстому. И потом – конечно, из-за Школы живописи... Ах, иксююз ми... Фу, Господи, это я напомогалась сегодня Жоржику в его китайских переводах с английского... Нет-нет, та школа называлась Училищем живописи, ваяния и зодчества, – тут – на Мясницкой, через три-четыре дома по этой же стороне. Леонид Осипович был там чуть ли не директором – академиком... Ах, нет, мы тоже совсем не почитали академизма! Не думайте, в нас было немало революционного. И мы полюбили революцию. Полюбили, когда вас еще на свете не было... Почему юность невежлива? Нет, вы вежливый мальчик, как и Леша. Но юность в вас – невежлива!.. А про академика Пастернака известно было, что ему благоволил великий князь. Сергей Александрович, кажется... Смешно – у меня теперь все великие князья смешались в кучу. Вот придет Сергей Георгиевич – он все точно знает... Ну, конечно, голубчик, конечно: это – где теперь Полиграфический институт. Рядом с чаем Перлова... Нет-нет, не спорьте – Высоцкого была чаеразвесочная фабрика, дальше, туда, к вокзалам, а торговля – Перлова. А институт против почтамта. Андрей стал там недавно доцентом – у Владимира Андреича, да! У Фаворского, естественно... Неужели он вам этого не

говорил? Он еще считает Лешиных друзей мальчишками... А стихи Бориса Пастернака я первый раз от Андриуши и услышала. Не от Ивана Александровича Аксенова – от Андриуши. Вы, пожалуй, второй, кто читал мне их вслух... Леша ими не восхищается. Вообще, антр-ну, – Леша гораздо трезвее Андрея. И вместе с тем – сложнее. Как теперь говорят, он путаней... Вы ведь тоже путанный, разве нет? Да, в другом смысле, но путанный – не сердитесь, я вас люблю – вы хорошо меня слушаете... А где ж это Леша застрял? Неужели в булочной очередь?.. Между нами – еще раз: Андрей – дитя моих надежд. Молодости и ясности. А Леша, как и вы, – предвоенный – четырнадцатого года. Он дитя моих тревог, смуты и уже трудного времени. Я верю, что в детях отражается время рождения. Историческое и личное. Вы хуже знаете моего Жоржика, а он – замечательный. Он родился почти посредине между Андреем и Лешей, ближе туда – к Андрею, в девятьсот шестом. Он дитя моего другого романа, тоже – хорошей поры... Вы думаете, у него больше сходства с Лешей? Это не так... Протяните мне спички, друг мой... Спасибо... Просто Леша тоже будет историком. Оба они знают все про политическую борьбу, про все уклоны и деятелей партии... Но Жоржик яснее и жизнеустремленней Леша, он ближе к Андрею, поверьте мне... У вашей мамы тоже трое сыновей, и мне надо как-нибудь обо всем поговорить с ней. Но не по телефону же! А из дома меня нельзя вытащить... Вот будет выставка Андрея у архитекторов – тогда выйду в свет!.. К слову, я и Пастернака до сих пор не слышала, не видела. А Жоржик рассказывал, как от души смеялся, когда на последней воскресной пультке у него вы под Тонины пирожки спьяну очень похоже подражали голосу Пастернака. Между прочим, ваша правда – в этом Жоржик ближе к Леше: ему тоже не нравится переусложненность и не по душе формалистические ухищрения... Ну, не вспыхивайте, голубчик! Я вовсе не против формализма: у нас ругают формализмом все индивидуальное и высоко мастеровитое, я знаю. От этого страдают и Фаворский, и Андрей. У них еще безрадостней, чем в литературе... О, Господи (долгая затяжка, натруженный смех, прикрытые ладонью глаза), куда же тогда нашу молодость девать?! А Иван Александрович появился у нас, право, не из-за «Центрифуги». У него было юридическое или театроведческое соприкосновение с Сергеем-Гергичем. Вы же слышали, как они посмеиваются над «вкладами в отечественную шекспирологию»... Это из названия старой аксеновской книжки. Она у нас есть. Почитайте. Он острый человек. Не без цинизма. В Киеве пошел на казнь Багрова – убийцы Столыпина, а потом говорил: «Это было менее интересно, чем я ожидал!» Со своей голой головой и военной выправкой он ведь, правда, не очень похож на изысканного литератора? Хотя... после гражданской войны, знаете, пришли такие писатели – с голой головой, во френче и с выправкой. Но

у Ивана Александровича она – наследственная, не будем вдаваться в подробности... А о Пастернаке, Господи, спросите его смело – не конфузьте! Он будет в воскресенье, как обычно, в час. Кстати, посмешите и его голосом Пастернака, ладно? Да, а помните, как Ися Рахтанов показывал Каверина над статьей Тынянова: так хорошо клюет носом, потом, застигнутый врасплох, вскидывается: «Безумно интересно, просто не оторваться!» Взгляните с балкона – не идет ли там Леша? Ну, слава Богу. Расчертите пульку, голубчик. Нет, на три виста – Игорь Гончаров просился, сказал, что чуть опоздает...

И внезапно – внимательный взгляд, какой бывает из-под очков:

– Друг мой, вы в Бригаде Маяковского, а можно подумать – Пастернака. Разве и он заслуживает своей бригады юношей-энтузиастов?.. Ударной. Ди Штосбригаде... – усугубила она насмешливость немецким переводом, пародируя словарь самой эпохи.

...Однако – останавлиюсь. Такой монолог можно бы конструировать нескончаемо. Но без Пастернака. В духовном обиходе Марии Алексеевны, где хватало интереса ко всему незаурядному, Пастернак появлялся как рядовой незаурядности. Его имя залетало в те разговоры, как еще одна разноцветная бабочка на огонек вечерней террасы. И оно накалялось на булавку литературной хроники Москвы на равных правах с любыми известными именами. И та его не-выделенность странной кажется лишь сегодня. История потрудилась. А тогда...

Однажды, когда я совпал с Иваном Александровичем Аксеновым за воскресным столом на Мясницкой, Мария Алексеевна кинула мне ободряющую улыбку, дабы я решился без околичностей задать ему свой вопрос о «Центрифуге» и Пастернаке. Я решился. Последовал ответ – да, была такая группа, да, мы были в ней вместе. И все! Так прозвучал тот ответ, словно сам Пастернак был ему, Аксенову, уже столь же неинтересен, как процедура казни убийцы Столыпина. И уязвимо помнится, как ни на один градус не пожертвовал Иван Александрович офицерской вертикальностью своего торса, дабы хоть чуть наклониться и хоть искоса взглянуть на вопрошающего юнца, какового он встречал за этим столом уже не раз. И, конечно, тотчас расхотелось заговорить при нем пастернаковским голосом (хотя я любил это демонстрировать, сознавая, что подражание удастся). Возникло впечатление, будто между старыми литературными сотоварищами пробсжала черная кошка, а я, не зная брода, сунулся в ледяную реку. В таких случаях догадываешься о своей бестактности, пробуешь тотчас исправить дело и увязываешь в неловкости еще глубже. Точно оправдываясь в чем-то содеянном предосудительно, я сказал, что впервые прочитал о «Центрифуге» в недавно вышедшей «Охранной грамоте»: там сердечно помянуты Пастернаком, как друзья по группе, Николай Асеев, Сергей Бобров, Юлиан Анисимов и кто-то еще. Тут бы мне и

остановиться, а я помянул, что Иван Александрович почему-то не помянут!.. Ничего не произошло – только река стала еще ледянее и торс Аксенова еще вертикальней.

– Ах, как все просто, голубчик! – утешила меня потом Мария Алексеевна. – Вы даже отдаленно не представляете, как самолюбива и как ревнива эта среда: писатели, ученые, художники... А Иван Александрович – и писатель, и ученый, и, пожалуй, художник, потому что писал о Пикассо и других... Представьте, я не прочла «Охранной грамоты». Андрей восхищается, а мне это трудно. Но, знаете, меня удивило – почему Пастернак обошел Аксенова? Впрочем, поэты небрежны, поверьте. И, возможно, за этим ничего не кроется...

...Через четверть века, в середине 50-х, когда Пастернак писал свою вторую автобиографическую вещь «Люди и положения», он обошелся без упоминания даже самой «Центрифуги», как историко-литературной мимолетности. Однако вновь не забыл ни Асеева, ни Боброва, ни Анисимова. А об Аксенове – вновь ни слова. Меж тем финансовым попечением именно Ивана Александровича (вкуче с Самуилом Вермелем) в 1917 году издательство «Центрифуга» выпустило «Поверх барьеров» – вторую книгу Пастернака (однако первую, за которую он получил гонорар). Случилось ли что меж старыми товарищами по группе – такие гаданья не имеют значенья. Мне тут интересно одно: в доме Кара-Мурзы ни сам Аксенов, ни Мария Алексеевна, ни Андрей Гончаров никогда не упоминали о материальном содействии Ивана Александровича изданию раннего Пастернака. Может, для них это было зауряд-явлением? Сам же я узнал об этом только сейчас – спустя полвека. В награду за еще не совсем растраченную детскую любознательность. Она повелела хоть на старости лет доподлинно проведать – откуда взялось для литературной группы название «Центрифуга»?

В юности я наслушался разных версий, сочиняемых тут же. Одну придумал сам: центрифуга при вращении отбрасывает все легковесное – вот и назвались ею, как символом серьезного отбора... «Да не мудрите вы, Д., они играли-дурачились, взяли с потолка техническое нечто, лишь бы не было этих возвышенных Антеев, Алконостов, Мусатетов!» – возражал Андрей Гончаров... Спросить Аксенова мешала вертикальность его торса. А позднее, когда ничего не помешало бы спросить самого Бориса Леонидовича, будоражило другое, и в голову не приходило это ретро. А теперь и потревожить праздным вопросом уже некого. Впрочем... Да, центрифугистов и впрямь никого уже нет на свете. А исследователь Лазарь Флейшман, сделавший молекулярный доклад о «Центрифуге» в Серизи-ля-Салль, к сожалению, не москвич и сиюминутно недостижим. Мне же – не исследователю – все надо «сию минуту». К счастью, живы еще в Москве старики-знатоки тех ретро-времен.



И по испытанной методе я набираю телефонный номер надежнейшего знатока:

– Николай Иванович! – несмело, однако громко, окликаю я старого человека, предупрежденный о нынешней глуховатости Харджиева (ему уже далеко за восемьдесят). А потом, в ответ на его молодую оживленность, тожс молодо кричу в полувековую даль: – Дорогой Николай Иваныч! – только далекостью этой дали и оправдывая фамильярное «дорогой». – А помните, а помните?..

Конечно, не может он помнить нечаянное и никчемное участие студента-физика в его споре с Татлиным об одной детали в оформлении тома «Неизданных произведений» Хлебникова. Оба они, еще густо черноволосый исследователь и уже давно седеющий художник, одинаково хмуро и неуступчиво отстаивали свои варианты, если память не подводит, расположения хлебниковского профиля на переплете будущей книги... Какие смешные зарубки оставляет в душе тщеславие: когда вышел тот прекрасно составленный, поразительно прокомментированный и столь же поразительно неуместный в нашей хвастливой поэзии толстый том хлебниковского своеволия, мне возомнилось всерьез, что я был прикосновенен к его изданию, ибо в ответ на Татлиново: «А ты что скажешь?» – подхалимски-искренне сказал именно то, что Владимиру Евграфовичу услышать хотелось. (Мне посчастливилось быть его младшим другом.) А теперь через полвека, словно бы для симметрии, я искренне подлизываюсь к Николаю Ивановичу.

– Господи, как приятно мне сказать вам, – кричу я с яхонтовской дикцией, дабы слога не пропало, – что мне представился повод в очерке о Татлине назвать замечательными и процитировать из того тома ваши с Тэдди Грицем комментарии!

– Да-да, спасибо! – слышу я легкий голос. – Это ведь было первое научное издание Хлебникова. А помните?..

И вот телефонный поводок тянет уже нас обоих – в паре – по бывлой Москве, как на привязи у одного хозяина. И этот хозяин – время. То на Садовом кольце, то на Бульварном, то на Моховой, то на Арбате коротко появляются нам навстречу исчезнувшие из пространства достославные современники. Их вызывает на свидание все тот же пароль: «А помните?..» И внезапно я только сейчас узнаю, что тогдашнему молодому маяковисту-лефовцу тоже был дорог дом Кара-Мурзы, где, по правде говоря, футуризм ни в какой чести не бывал, но бывал в непрерывной чести самый дух исканий в искусстве века. И, вообразите, каково мне было услышать издалека вопрос, у меня же и вертевшийся на языке: «А вы помните Марию Алексевну – мать Андрюши Гончарова?!» На мою долю достается лишь свидетельски поправить топографическую ошибку Харджиева, спутавшего Мясницкую с Тверской. А в остальном – все совпадает в наших душехранилищах. И ошибка его

мне понятна: приятель левых вхутемасовцев 20-х годов и ровесник Андрея, он, конечно, к нему-то, по преимуществу, и захаживал, а в 32-м женившийся Андрей переехал с Мясницкой в Глинищевский на Тверской, и Николай Иванович нечаянно перевез туда в воспоминании и его мать...

Какие пустяковины городит память! Да ведь оттого, что ей это сладостно! Будем великодушны. А тут еще телефонный поводок как раз выводит нам навстречу Аксенова и Пастернака.

— Да-да, замечательно образованный был человек Иван Александрович. Но вы не могли не заметить его замкнутости. И то, как он обычно изъяснялся: не поднимая глаз, помните? А название «Центрифуга» не он придумал. Это — Сергей Бобров. В письмах Боброва я находил объяснение. Нет, не идея отбора там работала, а идея разрушения материала при сильном вращении. Это было в духе футуристического техницизма и разной там ломки традиций... А ничего точного не означало... Не думаю, не думаю, чтобы между Пастернаком и Аксеновым мрачное что-нибудь произошло, хотя замеченное вами упоминание Ивана Александровича — да еще дважды! — в мемуарных вещах БЛ, признаться, странновато...

И на этом-то повороте рассказа Николая Ивановича я впервые слышу:

— ...Аксенов был в свое время довольно состоятелен, но вы наверняка не знаете, что вторая книга Пастернака — «Поверх барьеров» — вышла в издательстве «Центрифуга» на аксеновские средства! Это заслуга Ивана Александровича.

И тотчас в моих глазах по-иному окрашивается вся молчаливая повадка бывшего сотоварища Пастернака. Все по тому же кривому закону социальной осмотрительности сам Аксенов, даже за дружеским столом у Кара-Мурзы, о бывлой истории не заговаривал.

И в несчетный раз я думаю, какая это хитросплетенно-драматическая материя — ретро революционных эпох.

## 6

Не счесть, скольких гуманитариев и даже естественников — молоденьких и седеющих — тянет нынче на археологические раскопки «культурного слоя» 10-х и 20-х годов. И всякий добытый черепок мнится достойным внимания.

Это — отдушина. Или — зримее: светлый овал оставшегося позади, мерцающего входа в туннель принудительного единобожия. Мы и нынче еще в туннельной темноте, хотя на ощупь стало и попросторней. Однако если в туннеле вздремнуть от усталости чувств и ума, можно перевернуться во сне, а проснувшись, светлый овал далекого входа

принять за светлый овал далекого выхода. Ретроскописты – перевернувшиеся во сне.

Еще живая в 20-х годах, модель азартной свободы исканий представляется им желанной моделью чаемого. И возможно – они правы. Другую-то модель в отечественной истории как сыскать?

...Пушкинские времена тут совсем не годятся: довольно, что в «Былом и думах» иконографическим знаком тогдашнего туннельного хода стали для Герцена «зимние глаза» Николая.

...Может, пригреться в пореформенных 60-х прошлого века? Но там-то – за посевом прекрасного, доброго, вечного – нынешние ретроскописты и различают начальные всходы бесчеловечно-злого и мнимосоциалистического устройства общества.

...Неужто податься в екатерининские времена с петропавловской судьбой Радищева и шлиссельбургской судьбой Новикова?

...Может быть, петровское смелое величие с распахнутым окном в Европу как раз и было бы желанным? А «Слово и дело государево»? До свободы ли исканий при свободе доносов?!

...Ах, вот находка: поразительные – без всяких шуток! – одиннадцать месяцев Димитрия-Самозванца в начале века XVII!

Когда умирала Т. и в лекарственном полусумраке я вечерами читал ей, вперемежку с чеховскими рассказами, костомаровские жизнеописания, она один-единственный раз попросила с уходящей улыбкой перечитать только что прочитанное, и то были страницы из главы о «Названном Димитрии».

Легко угадалось: к безнадежному запаху камфарных протираний, что утешали ее измученное тело, тут непредвиденно примешался обнадеживающий аромат нечаянностей истории, способных, как оказалось, хоть на минуту утешить еще живую, навсегда оскорбленную несвободой душу. Почти через четыре века!.. Помню свое собственное – смешно сказать! – волнение, когда я вслух читал, как англичане того времени полагали Лжедмитрия первым в Европе государем, сумевшим сделать свое государство беспрецедентно свободным!!

Достану-ка с полки в коридоре Костомарова – сызнова посмотрю те страницы: может, то была ошибка взвинченной болезнью впечатлительности?..

Стоя на польской табуреточке под финской лампочкой и слушая вполуха чешскую пластинку английских вёрджинелистов, чье добахово простодушие тихо доносит голландский «Филлипс», я читаю сквозь венгерские очки с американскими линзами знакомые строки, отвлекаемый налетевшим географическим недоумением космополита-москвича: отчего это мертвые вещи легче странствуют по белу свету, чем живые русские люди?

А потом нахожу у Костомарова запомнившееся место. И вдруг

соображаю: Боже мой, да ведь костомаровские «англичане того времени» – сограждане тех самых клавесинистов, виртуозов на вёрджинеле, что тешили рыжую Елизавету и Шекспира! И были современниками Димитрия-Самозванца! 1605 год!.. Взбудораженный открытием такого совпадения, я соскакиваю с польской табуреточки в освещенном туннеле моего коридора и спешу к себе, чтобы под ту же, все длящуюся английскую музыку тех времен выпечатать за немецким столом на югославской машинке неправдоподобные слова знаменитого историка о когда-то состоявшейся модели желанного:

*«...Всем предоставлено было свободно заниматься промыслами и торговлей; всякие стеснения к выезду из государства, к въезду в государство, к переездам внутри государства уничтожены. «Я не хочу никого стеснять, – говорит Димитрий, – пусть мои владения будут во всем свободны... У нас только одни обряды, а смысл их укрыт... Вы называете себя новым Израилем, считаете себя самым праведным народом в мире, а живете совсем не по-христиански, мало любите друг друга, мало расположены делать добро. Зачем вы презираете иноверцев?»... Когда ему заговорили о семи соборах и неизменяемости их постановлений, он на это сказал: «Если было семь соборов, то отчего же не может быть и восьмого, и десятого, и более? Пусть всякий верит по своей совести». Он не преследовал народных забав, как это бывало прежде; веселье «скоморохи» свободно тешили народ; не преследовались ни карты, ни шахматы, ни пляски, ни песни... Свобода торговли и обращения в какие-нибудь полгода произвела то, что в Москве все подешевело и небогатым людям стали доступны предметы житейских удобств...»*

Какое несбыточное – и вправду самозванное – прорезалось в ту пору царствование на Руси!

Достаточно хотя бы доли достоверности в рассказе Костомарова (1817–1885), чтобы увериться: да конечно же Димитрий был лже-царем! И никаким не Гришкою Отрепьевым, а чужаком инопланетянином. И чудо, что он продержался у власти одиннадцать месяцев! Но вовсе не чудо, что был «небогатыми людьми» любим. Жаль только, что, в отличие от житейских удобств, за одиннадцать месяцев не вырастают философия, литература, искусство. И потому не могло остаться от той свободы исканий ни московских Бэконов, ни «елизаветинцев», ни вёрджинелистов...

...Вот так и получается, что 10–20-е годы нашего века кажутся теперь вполне заслуженно ни с чем не сравнимым временем в истории русской культуры. Они покоряют неуправляемым хаосом ошеломляю-

щих вожделий. Разве не из разряда таких вожделий были хлебниковские попытки нащупать единый язык для Третьего Спутника Солнца? Или татлинское конструирование из стали и стекла спирально-наклонной башни в параллель земной оси? Или пастернаковское лицемерие Близнаца за тучей? Или мечтания биокосмистов о лучшей орбите для нашей планеты? Или бескорыстная ерундистика ростовских ничевоков – ничего не писать, не читать, не говорить? Или... Но кажется, после ничевочкины ничевоков ничего пустее уже и не придумаешь, не правда ли? А ведь придумалось! Дадаисты ранних 20-х добавили к разным «не» еще и «не смотреть». Даже само исходное словечко «дада» толковали как ничего не означающее. А на днях легла мне на стол подаренная Никитой Хубовым редчайшая редкость – четырехстраничная декларация Сергея Шаршуна, изданная в июне 1922-го:

### ПЕРЕВОЗ

*дада*

*Официальный орган  
3 1/2 Интернационала*

.....

*Адрес редакции:*

*отель «Корабль без единого приключения».*

Но нет, они – эти четыре странички – неконспектируемы. Просто четыре странички наслаждения безнаказанностью глупословия. Только еще одну строку нельзя не привести – удивительнейшую:

**«Ничевоки – никудышники!»**

А ведь подумать только – из французских дадаистов вышел Поль Элюар... Ну, да ведь Хлебников, Маяковский, Пастернак – тоже вышли к современникам не из Парфенона...

Оно неперечислимо – все серьезное и вздорное, драматическое и смешное, плодоносное и беспоследственное, ставшее классикой века и не ставшее ничем, – словом, все памятное и все забытое в тогдашних играх на время раскованного ума и на время нескованного сердца! И я отыскиваю давнюю выписку из позднего Эренбурга 60-х годов. Она настоятельно просится на эту страницу. Ощутимо приструненная туннелем, но неисправимо хаотическая душа Ильи Григорьевича все-таки всегда сохраняла в своих глубинах тоскующую верность сумасбродствам молодости. Однажды в доме его близкого друга Овадия Савича был у меня случай спросить ИГ – сколько он мог бы перечислить художественных групп 10-х и 20-х годов, у нас и на Западе? Савич предположил: «Две дюжины...» Эренбург усмехнулся: «Две чертовы дюжины!» И стал, не задумываясь, перечислять. В сохранившейся выписке из его мемуаров число скромнее – не двадцать шесть, но и речь – не обо всем искусстве:

*«Было множество литературных школ: комфуты, имажинисты, пролеткультовцы, экспрессионисты, фуисты, беспредметники, презентисты, акцидентисты и даже ничевоки... За нагромождением непривычных слов порой ничего не скрывалось, кроме жажды славы или озорства. Но мне хочется защитить то далекое время.»*

Вот и нынешним ретроскопистам хочется его защитить!

Меж тем они тогда еще и на свете-то не жили. Это не их ностальгия. Они защищают собственную тоску по свободному самопроявлению души. Для творчества ретроскопии мало. Для утешения – достаточно. И раскопки былого, утишая тоску, утешают в тоске: они превращают не-личное хотя бы в наличное!

А в хаосе нет пустяков: такова уж материя жизни в вольных исканиях. Вода на шиверах бесится. Единого потока нет. Колобродят детали. Потому и в радость ретроскопистам всякий черепок на пожарище и каждый камешек с размытого дна.

А кто-то еще и жив из тех игроков в идеи и чувства, слова и формы, звуки и краски. И есть еще разновозрастные свидетели той поры...

## 7

Да ведь я сам – из числа свидетелей, честное пионерское!

Нет, правда, в непорочном возрасте первой сознательности – юным пионером двадцатых годов – я слышал тот шум. Туннель еще был коротеньким. Он легко сходил за полукруглую раковину для духового оркестра. Оттуда неслись марши. Всем мальчишкам мечталось быть барабанщиками или горнистами. Дяденьки в оркестровой раковине являли образцы мастерства. Барабанить у меня получалось – ритмично и даже ветвисто. А горнить – не получалось: дыхания не хватало. Только счастливым удавалось и то, и другое. Но не догадывались радужные мальчишки, что оркестровая ниша, все углубляясь и заселяясь доброхотами трубачами-барабанщиками, уводит в нескончаемую темноту.

А теперь вот я, один из тех недогадливых мальчигов, нет-нет да и становлюсь телефонной добычей собирателей ретро, перевернувшихся в туннельном сне. Раздаются звонки. Слышатся молодые голоса. Чаще всего несмелые и оттого вызывающие доверие.

– ...На девяностолетии Виктора Шкловского вы вспоминали, как он выступал перед группой «Перевал» в помещении издательства «Круг»... Зеленый шарф... Кривоколенный переулочек... – и стеснительно-торопливое: – Не сохранилось ли у вас афиши или билета-и-вообще...

Что ответить? Я разочаровываю неутоленную душу с наимягчайшей мягкостью:

– Понимаете ли, тогда, в двадцать седьмом, мне было только тринадцать лет, и я случайно, по дороге домой...

– ...Вы написали о Татлине тридцатых годов, – это уже другой голос, в другой раз, и лишь смущенная торопливость, пожалуй, та же, – изуми... нет слов... но Юткевич Сергей Иосифович уверял, что у вас остался номер футуристического журнала «Взял» пятнадцатого года с круглой печатью мастерской самого Владимира Евграфовича...

Донельзя изумленный, что владею таким раритетом, я прошу подождать минуточку у телефона, а сам спешу к заветному дубовому шкафчику, дабы проверить, не ошибся ли Юткевич с печатью? Нет, не ошибся: вот она, красная, размером с пятак, даже без инициалов – «Мастерская Татлина», трижды повторенная, – на огромной обложке, на титуле и на девятой странице, где Асеев и Шкловский следуют за Пастернаком. Куда же я гожусь как вспомятатель, если совсем забыл об этой оставшейся мне от Владимира Евграфовича памятке?! И так прочно забыл, что не вспомнил ее, даже когда двадцать лет назад писал эссе о Татлине – «Улетавль».

А в телефонной трубке смущенная торопливость договаривает просьбу:

– ...Не помните ли вы, где была тогда его мастерская... ваш рассказ мы запишем на пленку...

Снова – что ответить? Юмористически я говорю, что мне был годик от роду, когда издавался тот знаменитый «Барабан футуристов» – «Взял», и поэтому – что же с меня возьмешь?.. Но, вероятно, чтобы продлить славный разговор, принимаюсь предположительно объяснять, почему Юткевич запомнил красную печать, из моей памяти выпавшую:

– Думаю, в том все дело, что мне достались от Татлина сразу два похожих издания: «Взял» и такого же формата «Эксцентризм 1922». Он так говорил: «Коли тебе интересно это старье, возьми, когда-нибудь отдашь, а ты мне Тютчева зато принеси, ладно?..» А на «Эксцентризме» я вот сейчас вижу выцветшую чернильную дарственную, которая всемоу причиной...

И я читаю незнакомому человеку чужой стародавний текст, даже не осведомившись, интересно ли ему это. Дарственная разбирается не без труда:

*Владимира Евграфовича Татлина приветствует  
ЭКСЦЕНТРИЗМ.*

*За Депо эксцентриков  
Сергей Юткевич*

*7 июля 1922 г.*

Из-за этой-то надписи Сергей Иосифович однажды разглядывал мою татлинскую папку, и, листая попутно «Взят», зорко заметил там красную печать, мне примелькавшуюся... Но чем она так взволновала нынешних искателей черепков? Это праздный вопрос: никогда заранее не известно, какой длины цепочка вытянется за ухваченное звено.

...Раздается новый жадный звонок. Пятый. Десятый... Стоило только где-то когда-то коснуться вслух тех лет, и вот уже (сверх телефонных звонков) – вопросы на ходу и запросы по почте. Про Хлебникова – Цветаеву – Мейерхольда – Крученых – Эренбурга – не говоря уж о Пастернаке. У собирателей черепков рюкзаки необъятны.

Однажды в 70-х, на очередном Блоковском празднике в Шахматове, после чтений с полуденно-жаркой эстрады на немилосердном солнце, благодатный ливень загнал нас под разлапистые деревья. Я очутился рядом с босой мариновладиевой девицей в огромных синих очках. Отряхивая мокрые босоножки, она непредвиденно спросила:

– Вы сейчас читали там «О, эти дальние руки...». Вы, наверное, помните, шел ли Осип Манделъштам за гробом Брюсова вместе с Борисом Пастернаком?

Мне бы привычно отшутиться: «Милая Марина Влади, я был тогда десятилетним мальчишкой, в 24-м!» А я, оторопев от неожиданности, чуть ли не с сожалением признался: «Не помню...» Она сразу перебежала к другому дереву под дождем – к другим ретроидам. Потом, на уже подсыхающей дороге, я весело пересказал Павлу Антокольскому, возглавлявшему в Шахматове москвичей, вопрос девицы. Он тотчас вскинулся:

– Как! Ты видел Манделъштама с Пастернаком на брюсовских похоронах?!

Я снова оторопел, а шедшие рядом Лида Либединская и Рита Алигер укоризненно воскликнули: «Па-авлик!» Только тогда он сам рассмехался:

– Фу ты, я забыл, что все вы – щенки!

Сколько лет прошло, а все помнится та ретро-озабоченность молоденькой незнакомки – вместе или порознь шли два больших поэта за гробом третьего? А я до сих пор не проведал, шли ли они вообще за гробом Брюсова. И наверняка не смог бы верно оценить, от какой разбитой временем вазы этот черепок. Десятки поэтов «шли толпою, врозь и парами» на тех академически-почтительных похоронах «дьявола недетской дисциплины» (по выражению Пастернака), пострадавшего от собственной работоспособности. Но в той печальной процессии не видится из нынешнего далека ничего сверхритуального. (Между прочим, странно подумать: Пастернаку было тогда тридцать четыре,



Мандельштаму – тридцать три, Цветаевой – тридцать два, Маяковскому – тридцать один, Есенину – двадцать девять и Багрицкому – двадцать девять...) Вот оно что такое ретро: молодость предшествующих поколений!

Однако так радужно разговаривая о собирательстве черепков того самозванного времени, не закрываю ли я глаза на совсем не радужные принудительности и в тогдашней нашей истории? Короче – не забылось ли тут, что с инопланетным Димитрием-Самозванцем исторически соседствовал другой – подлинный – Димитрий, маленький, но вполне по-русски на всякий случай убиенный... И в небывалой вольнице исканий 10–20-х годов тоже не все вершилось столь розово, как может кому-нибудь вдруг примниться...

Впрочем, и ходить-то за примерами никуда не нужно. Запомню про татлинскую красную печать на «Барабане футуристов» 1915 года, я, однако, никогда не забывал, как там напечатаны были все в дырках многоточий отрывки из «Флейты-позвоночника» Маяковского. В юности поразили эти «следы копыт царской цензуры», как называл Горький обезбуквенные слова и строки. И, как всегда, деспотизм повелений цензуры понять было трудно. Выбросили:

Вот я богохулил.  
Орал, что бога нет...

Да ведь в этом следовало увидеть беспомощность богохульства, потому что дальше открывалось:

...А бог такую из пекловых глубин,  
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,  
вывел и велел:  
люби!

«Бога» заменили местоимением «он», и кто приказал поэту «люби!», осталось неизвестным. Меж тем на предыдущей странице журнала в фантазмагорических «Предложениях» Хлебникова та же военная цензура не тронула издевательски-антивоенное:

*«...Учредить для вечной непрекращающейся войны между желающими всех стран особый пустынный остров...»*

*«...Перековать в войнах ветер чумы на ветер сна...»*

В общем, никогда не сводилась к нулю несвобода! И обеспокоенно-растерянны бывали управители перед искусством 10–20-х годов, как и в любые другие десятилетия.

– ...А интересно, черт побери, – взрывался Андрей Гончаров, – у неандертальцев или там кроманьонцев с их наскальными рисунками тоже бывало так, чтобы какой-нибудь босой заведующий в звериной шкуре разрешал-запрещал: «Это зачем же у буйвола три ноги, а у того

вон с копьём – клюв вместо носа-сморчалки, а?! Безобразие! Чтоб в последний раз, дураки вы первобытные!..» – голос гудел, и желваки ходили по широким, чуть монголоидным скулам.

Вот это уж действительно заводился разговор о ретро!

## 8

Как уместно всплыл тут в воображении негодующий голос старшего из сыновей Марии Алексеевны! Разумеется, за точность слов мне уж не поручиться. Андрей Гончаров вернулся тогда весь красный и взъерошенный после спора в издательстве вокруг его гравюр. Мы гоняли внеурочную – невоскресную – пульку, а он прервал игру, выплескивая Марии Алексеевне свое негодование на кого-то ей хорошо знакомого. Она его утихомиривала: «Все обойдется». А он возбужденно говорил, что «все равно не уступит». И я могу почти дословно воспроизвести, что же именно он не собирался уступать, ибо до того дня никогда не слышивал такой аргументации:

– ...Я не уступлю ему ни черного пространства, ни белого пространства, потому что у меня тут черное вовсе не черное, а белое – вовсе не белое! Он еще в шкуре ходит и не понимает гравюру как целое!

Ему тогда еще не было тридцати, а нам с его младшим братом Лешей соответственно не было двадцати. Он был уже весь – свершение, а мы еще даже не обещание. Я внутренне как бы прихорашивался, когда он говорил мне – «друг мой». И, думаю, не очень обманывался, когда порою чувствовал, что он немножко отличал меня от других Лешиных приятелей. И, по крайней мере вначале и хотя бы отчасти, виною тому был Пастернак.

Почти пятьдесят лет спустя, летом 1979-го, когда Андрея не стало, мне вдруг позвонил журналист Григорий Цитриняк.

– ...Галина Федоровна Гончарова не смогла мне помочь, – сказал он, – и посоветовала спросить вас, где у Пастернака строки, которые любил Андрей Димитрич: «В творилах с известью торчали болтни...»? – Он остановился, недоцитировал: «Рогожа скупно пропускала свет. / И было пусто, как бывает в полдни, / Когда с лесов уходят на обед», – и объяснил, что в «Литгазете» идет чуть не целой полосой его беседа с Гончаровым, и там поминается строка с творилами...

– Это из «Спекторского», – сказал я, пообещал проверить и попросил перезвонить чуть позже. Не мог говорить – заколотилось сердце, точно окликнул меня вживе тот ясный, легко прерывавшийся смешками, всегда настоятельно в чем-нибудь убеждавший Андреев голос. И глубоко тронуло, что Галя помнила мое пастернаковское присутствие в душе Андрея. Мне не нужно было ждать выхода «Литгазеты», чтобы узнать, зачем процитировал ту строку Гончаров. Не для того, чтобы

сказать, как легко было бы предметным изображением иллюстрировать поэму Пастернака: болтны в творилах – палки в ящиках для перемешивания извести – что может быть проще? Конечно. Но лишь на мгновенье, потому что сразу вслед за тем:

А позади, как бабочка в плену,  
Безвыходно и пыльно билось эхо.

И вот уже предметность ускользнула. И надо искать пластическую метафору, чтобы проиллюстрировать целое...

Сколько раз похоже, а то и буквально, говаривал он это, когда застолье, – часто изрядно пьяноватом, – заводился среди прочего разговор о стихах БЛ, с которым он был знаком чуть ли не с той поры, когда юнцом учился во Вхутемасе.

С этого таинственно-нерусского слова, точно из языка лонгфелловских индейцев, и началась моя «пастернаковская прописка». Однажды при упоминании Полиграфического института, где Андрей преподавал, я развязновато врезался в семейную перекидку словами цитатой из «905 года»:

Мне четырнадцать лет.  
Вхуметас  
Еще – школа ваянья.  
В том крыле, где рабфак  
Наверху,  
Мастерская отца...

Изумленно вскинувшись на меня, нового Лешиного приятеля, он радостно хмыкнул:

– А дальше? Какая рифма к «ваянью»?

Я смешался – разом все забыл – стал тянуть дурацкое «э-э». И он сам вкусно продолжил: «где столетняя пыль на Диане...».

...Так естественно реставрирует память начало нашей неравной дружбы. Это потому, наверное, естественно, что «в начале бе(было) Слово», да еще пастернаковское! У Андрея было много привязанностей в поэзии, уже устоявшихся, а я их еще отсеивал. Однако как счастливо излучили тогда дружелюбие строки именно Пастернака!..

Дружба наша, конечно, была пунктирной. Иногда между существенными встречами проходило больше года. Но и редкие, они оставили в душе нестираемые отметины. Особенно дороги две. Одна из ранней поры, другая из поздней. Год 32-й и год 74-й.

...Пальмовая дощечка величиною с почтовую открытку (ах, смею-ка точно: двенадцать сантиметров на восемь с половиной). Благодарная коричневатость, какую умеет приобретать со временем породистое дерево. Черно-белая гравюра, где черное – вовсе не черное и

белое – вовсе не белое. Исполненная безнадежности фигура Достоевского в углу гостиничной каморки. Справа вверху – висящий в пустоте топор-секира. Слева над головой несчастного – женская фигура – воплощенное ожидание беды. А еще левее – источник беды – табло рулетки – то самое табло, что когда-то перерисовал нам Андрей из «Солнца России». Тонкий штрих. Безукоризненно экономный рисунок. Трагическая неумолимость открытого пространства перед Достоевским, куда ему не шагнуть – разве что под разящий удар судьбы-секиры.

На оборотной стороне доски – сохранившиеся пробы несостоявшегося изображения. И сохранившаяся во всех переездах, перестановках, прикосновениях дата дарственной Андрея: «Март 32 г.». Мне исполнилось тогда восемнадцать. (Говаривали о скуповатости Гончарова. Но та пальмовая гравюра, два живописных холста – мой портрет и пейзаж в Ильинском, подписные оттиски с мрачно-замечательных гравюр к пастернаковскому переводу «Гамлета», и еще разное другое, что дарил он мне с живейшей охотой, – право же, все это разрушает формулу скуповатости. Скажу: просто у него не было замашек транжира, как их обычно не бывает, по моему наблюдению, у людей искусства, связанного с ремеслом, ибо хлеб дается им тяжелым трудом без внешних гарантий оплаченного успеха. Так было, между прочим, и с незабвенным Татлиным.)

А тот щедрый подарок к восемнадцатилетию я заработал доказанной любовью к Достоевскому. Она несказанно удивила его в юнце комсомольце, ибо Федор Михайлович был у нас тогда не в чести. Официально!.. Однажды, когда мы вечером гоняли рулетку, вышедший к нам поразмяться Андрей вдруг спросил: «Не могу понять, как Смердяков прикончил Настасью Филипповну?» Это я сейчас спародировал тот вопрос, потому что не помню подлинного: смысл его был в бессмыслице. Андрей нас проверял. И брата Лешу, и меня, и всех. Но откликнулся я единственный: «Андрей, да вы же спутали «Карамазовых» с «Идиотом»! И забыли, кто кого прикончил?!» Он рассмеялся и одобрительно обнял меня за плечи.

Вообще он любил сокрушаться над разнообразным невежеством младших поколений. В этом было что-то раннестариковское. И как-то, защищаясь, да еще расхрабрившись спяну, я сказал Андрею, что его поколение тоже разнообразно невежественно по сравнению с предыдущим. Начали было спорить. Но спор тотчас увял, когда Андрей сам отнес к поколению предыдущему Владимира Андреевича Фаворского. Он развел вскинутыми руками – в смысле «сдаюсь». А когда я присоединил к предыдущему Пастернака, Андреев жест повторился. Мы стали играть в достойные имена. А кончили признанием, что у каждого поколения своя шкала «вежества» и смешно было бы думать, будто «вежество» все убывает. Тогда оказалось бы, что самыми образованны-

ми были самые от нас удаленные поколения – то есть те, что вообще ничего толком не знали не ведали...

...А дорогая моей душе поздняя отметина 74-го года – это его надпись на монографии «Андрей Дмитриевич Гончаров» в серии «Мастера книжной графики». Прихвастну той надписью, дабы не подумалось кому-нибудь, будто я самовольно заговорил о себе, как о приятеле известного художника:

*Дорогому Д.. Д.. –  
милому старому другу –  
с нежными чувствами*

*Андрей Гончаров.*

*С запозданием на 14 лет – 23 января 1974 г.*

Не стану объяснять это запоздание – оно ничем решительно не интересно. Но интересно упоминание – 14 лет. Суть в том, что монография, вышедшая в конце 60-го, подписывалась к печати через полтора месяца после смерти Пастернака. А он умирал опальным членом Литфонда. И когда я увидел Андрееву книгу, первым движением было – пробежать глазами перечень тридцати трех гравюр и поймать среди них хоть одну его иллюстрацию к пастернаковским переводам Шекспира. И я сразу увидел одну – к «Отелло»! И помню свой телефонный звонок Андрею – прямо из автомата в Столешниковом – с эзоповым объяснением, что сию минуту у книжного прилавка мне случилось с радостью стать свидетелем его отважного поступка, ибо я узрел в его монографии гравированного мавра с кинжалом за поясом над юной спящей итальянкой! Андрей рассмеялся, но тут же прибавил, что это – «нетелефонный разговор»... Состоялся ли потом нетелефонный – уже не скажу. И только сызнова, сызнова, в несчетный раз недоумеваю: Господи, изобретательный ты наш, как же странно мы жили-были на свете!

А тут еще то любопытно, что «отважный поступок» мне тогда померещился – в согласии с нашими нравами. На самом же деле публикация пастернаковских переводов Шекспира, и тем более иллюстраций к ним, отваги в то лето уже не требовала. В то лето 60-го выходил шестой том восьмитомного Шекспира, и БЛ был представлен там «Королем Лиром» и «Отелло» – и не только по благому желанию главного редактора Александра Аникста, но и с благословения директора издательства Александра Караганова. Они добыли милостивое соизволение (если не указание) переводы Пастернака напечатать! Это было как бы компенсацией за исторгнутый отказ провинившегося автора «Живаго» от мировой премии.

Ясно, что Андрей это знал тогда (в отличие от меня). И все-таки: «нетелефонный разговор»! И все-таки – безотчетное чувство возмож-

ной опасности! Хочется повторить: Господи, изобретательный ты наш, как же пугливо мы жили-были на свете!

Это не облыжное «мы». Когда бы нам, как в Евангелии, предложено было бы забросать камнями блудницу по праву безгрешных, она – как и в Евангелии! – уцелела бы без единого ушиба.

Среди всяческих достоинств такого неуступчивого в своем искусстве Андрея Гончарова одной добродетели не было и в помине: общественной строптивости. Домашняя – за дружеским столом, в глуши мастерской – бывала она у него, как у всех нас, яacobинского накала. Его угнетало командование искусством. От него, от первого, гораздо раньше, чем прочел глазами, услышал я притчу Виктора Шкловского о тысяченожке. Он повторял ее в разных версиях. И может, лучше всего отыскал на полке первоисточник – «Ход коня», 1923 года издания, – и привести многократно пересказанное в первоизданном виде:

*«— ...Человек, который пожелал бы все учесть, был бы похожим на индейскую сказку о тысяченожке.. Имела она ровно тысячу ног или меньше: и бегала она быстро, а черепаха ей завидовала.*

*Тогда черепаха сказала тысяченожке:*

*– Как ты мудра!.. Как это у тебя хватает сообразительности знать, какое положение должна иметь твоя девятьсот семьдесят восьмая нога, когда ты заносишь вперед пятую.*

*Тысяченожка сперва обрадовалась и возгордилась, но потом в самом деле стала думать о том, где находится каждая ее нога, завела централизацию, канцелярщину, бюрократизм и уже не могла шевелить ни одной.*

*Тогда она сказала:*

*– Прав был Виктор Шкловский, когда говорил: величайшее несчастье нашего времени, что мы регламентируем искусство, не зная, что оно такое...*

*Величайшее несчастье русского искусства, что ему не дают двигаться органически, так, как движется сердце в груди человека: его регулируют, как движение поездов.*

*– Граждане и товарищи, – сказала тысяченожка, – поглядите на меня, и вы увидите, до чего доводит чрезучет! Товарищи по революции, товарищи по войне, оставьте волю искусству, не во имя его, а во имя того, что нельзя регулировать неизвестное!..»*

«Величайшее несчастье русского искусства»... Да отчего же только искусства и только русского? Уже тут проглядывает ранний Эзоп: вся наша культура подпадала под феномен тысяченожки! Не знаю, как переживал это двадцатилетний Гончаров в пору своего вхутемасовского студенчества. Но в 30-е годы и позднее, – свидетельствую как соуча-

стник, – это было вечной драматической темой его бунтарства за материнским столом на Мясницкой и в несчетных спорах-разговорах где придется.

Однако же только сейчас, рассказывая о нем, я соображаю, что Андрей никогда не пускался в политическое негодование. Он словно дал себе когда-то зарок молчания на разные там партийно-государственные предметы, чреватые неизвестно чем... то есть как раз совершенно точно известно, чем именно чреватые! И его домашняя взрывчатая строптивость не бывала исторической, а только эстетической. Думаю, тот зарок политмолчания был семейным уроком с детства. Думаю, что шел тот зарок еще и от школы Фаворского: там все дышало глубоким интересом к мировой культуре и столь же глубоким неинтересом к политической злобе дня... (А впрочем, осеняет невозможная догадка, может быть, я, не всегда простодушно доверчивый, не внушал ответного доверия без оглядки? И потому знаю о ближних меньше, чем позволяю себе высказывать?.. Но так самооскорбительно судить о себе – не вижу оснований. И Андрей-то мне доверял сполна – я не обманываюсь.) И когда я припоминаю сейчас свое пастернаковское присутствие в его душе, меня нисколько не удивляет, что речь у нас всегда шла об искусстве, и только о нем. О поэзии – и только о ней. Ну да ведь это одно и то же.

Одно и то же... одно и то же... и лишь неизвестно, что же именно! Шкловский 23-го года был прав. И, по-видимому, еще более прав, чем подозревал. Да, конечно, начальство регламентировало искусство, не зная, что оно такое. Но еще существенней другое: не зная, что оно такое, из века в век искусством жили люди. И, наконец, сами художники!

Сладостно было разговаривать о таких материях с Гончаровым.

Уже семидесятипятилетний, в последней беседе с журналистом, он совсем как в молодости неспроста привел из мудреного «Спекторского» лишь предметно-зримые болтны в творилах. Рельефная вещественность незаатасканного слова воодушевляла его мысль... Жалею, что не записывал за ним. Особенно потому жалею, что его статьи об искусстве, даже о любимейшем Владимире Андреевиче Фаворском, слишком смиренно обыкновенны, чтобы передать волновавшие внезапности в его суждениях. На мой слух они порою звучали совершенно как пастернаковские из «Охранной грамоты» (в ранней молодости) или из «Живаго» (в ранней старости). И пришло сейчас в голову – а отчего бы не воспользоваться голосом БЛ, чтобы дать усиленное представление о гончаровских необычайностях?.. Попробую. Вот из «Охранной грамоты»:

*«И есть искусство. Оно интересуется... образом человека. Образ же человека, как оказывается, – больше человека. Он может зародиться только на ходу...»*

Что делает честный человек, когда говорит **только** правду? За говорением правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстаёт, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек?

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве... заговаривает образ. И оказывается: **только** образ поспекает за успехами природы.

По-русски врать – значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство...»

Верно, конечно, что в следующий раз, особенно если предыдущий был за рюмкой, Андрей мог спросить: «Кажется, давеча я нес что-то лишнее про то, как врет искусство, но отчего ж никто не спорил?» Ах, нет, спорили. Но не оспаривали. Когда Андрей заводился в эдаком пастернаковском духе, оспаривать, как и у Пастернака, было нечего. И соглашаться тоже было не с чем. Просто счастливо воспитывалась душа артистизмом свободной мысли... А то, что сейчас последует из «Доктора Живаго», Андрей, услышав, просил меня выпечатать ему на машинке еще с самиздатской рукописи (среди его бумаг, возможно, хранится у Наташи Гончаровой та замечательная страничка рижской рыжей бумаги).

«Давнишняя мысль моя, что искусство... обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы и разработанной истины. И мне искусство никогда не казалось предметом или стороной формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания.

...Произведения говорят многим: темами, положениями, сюжетами, героями. Но больше всего говорят они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах «Преступления и наказания» потрясает больше, чем преступление Раскольникова.

Искусство первобытное, египетское, греческое, наше – это, наверно, на протяжении многих тысячелетий одно и то же, в единственном числе остающееся искусство... И когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного».

Бедная тысяченожка «мышления образами» – чего только не наслушалась она за свою нескончаемую жизнь! И бедные ее двуногие прародители и родители, так и не узнавшие за тысячелетия, что делать с ее девятьсот семьдесят восьмой ногой, когда заносится вперед пятая!



Однако же... как огорчительна дата под притчей Шкловского о бедах нашего искусства – 1923! Что же остается от надежд ретроскописту?! Где ж там неуправляемый хаос свободных исканий! Еще не забылись бесцеремонности царской цензуры 10-х годов на страницах футуристического «Взъял», а уже в самом начале 20-х понадобилось футуристу жаловаться на регламентирующий гнет «товарищей по революции»! Что же это значит? А только то и значит, что райские времена в истории – это порождения мифов и в свой черед – источники сказок. Но все-таки – за что-то же удостоиваются они эпитета «райские»? Наверное, за то, что соседствующие времена – гораздо хуже.

В обоих сюжетах – и с цензурой 15-го года, и с тысяченожкой 23-го – надо заприметить одну тонкую тонкость: запрещения там были не замаскированы, а открыто предьявлены! Право, стоит взглянуться в это и оценить.

...Для нас-то в цензурном налете на Маяковского разве удивительны сами изъятия слов и строк? Дело обыкновенное. Удивительны только многоточия на местах изъятий! Вычеркнув непотребное по «высшим соображениям», цензор своего непотребства не скрыл. Напротив – точно указал нанесенный ущерб. Ей-богу, сверхудивительны те строки без букв, особенно нам, принужденным всю дорогу делать большие глаза при слове «цензура». Поскольку само ее существование было у нас нецензурно, от нее, безфигурной и безымянной, всегда оставался на книгах лишь один зримый след: на задворках издания – как нецензурное слово на заборе здания – шестизначный код – прописная и пять цифр. Вот, скажем, «М 19249» на зеленом однотомнике Пастернака 1976 года. А что там не дозволил этот «Эм-девятнадцать-двести сорок девять» – укрылось в безгласности: даже намекать на бесправие – ни-ни!.. В сравнении с прежней цензурной грубостью – как все наглядно утоньшилось!

...А в притче Шкловского о «величайшем несчастье нашего искусства» разве поражает нас сама жалоба на регламентирование творчества? Снова – дело это обыкновенное. Нас, перетренированных, поражает другое: полная публикация той крамольной притчи! Приглашение: читайте! Как же оказалось возможным такое при «чрезучете»? Может, чрезучета еще и не было? В том же «Ходе коня» звучали возвышенные слова о татлинской башне, параллельной земной оси. Говорилось: она сделана «из железа, стекла и революции». Но тут же правоту ищущего Татлина Шкловский оспаривал. И совсем уж ошарашивал признанием: «Мейерхольда... я не люблю»!.. Отголоски вовсе не укрощенных в искусстве страстей наполняли ту книжку. И тысяченожка легко перебежала там из статьи в статью, не затрудняясь регламентациями.

...Насмешливая притча звучала в начале 20-х, как фельетонно-безудержное преувеличение наличных бед. Но была и тревожным прозрением близкого будущего.

Не об этом ли в ту же пору, в 1921-м, написал Пастернак свое знаменитое: «Нас мало. Нас, может быть, трое...» Хочется думать, что это он о себе, Маяковском и Цветаевой (а есть вариант с Асеевым): «Мы были людьми. Мы эпохи. Нас сбило и мчит в караване...» Дальше там тоже шло прозрение – из невеселых:

Слетимся, ворвемся и тронем,  
Закружимся вихрем вороньим,  
И – мимо! – Вы поздно поймете...

Да, мы все стали понимать поздно. Революция не учила вероятностному мышлению. Все оценки сущего для общего сведения не могли быть иными, кроме как безошибочными и своевременными. Мы ведь самого Берию, как писалось в 1953-м, «разоблачили своевременно»!

Прозреавшие в 20-х кое-что несладкое в грядущем, естественно, заглядывали перво-наперво в 30-е годы. И у нынешних ретроскопистов появился особый мотив для раскопок в том десятилетии – следовательский мотив. У иных – окрашенный сожалением. У других – злорадством. Копится «Дело»: «Блеск и нищета куртизанки». А куртизанка – наша интеллигенция.

Тут уж пустяковость пустяков, как в любом судебном разбирательстве, исчезает вовсе: черепки ретро способны казнить и миловать. В туннельном обиходе силу улик обретают частные письма, запомнившиеся ссоры, необдуманные поступки, неразборчивые знакомства, фрейдистские оговорки, когдатошные сплетни, да и Бог знает какие еще архивные плюс изустные микронаходки. Ретроскопистам жаждет-ся, чтобы отжитое правдиво заговорило на все голоса.

Да будет удача с теми, кто без злорадства! Но отчего такое условие? Да оттого, что оно человечней, когда без злорадства, которое всегда убавляет понимание. А приходит это в голову вовремя, потому что нужно тут вернуться к Пастернаку: ведь и на него заводится «Дело» – «о блеске и нищете». Он сам вложил туда поэтические документы не без значения.

## 10

Как-то в середине 50-х он безжалостно написал о себе:

И я испортился с тех пор,  
Как времени коснулась порча...

А дальше – еще безжалостней, выравнивая себя по общему ранжиру. Помните:

Я человека потерял,  
С тех пор как всеми он потерян.

Всеми?! Мыслимо ли? Ну, добро бы сам потерял – в одиночку – на замысловатом своем духовном пути. Это хоть было бы по-пастернаковски. Но в одночасье со всеми?! Не в тишине, не в тайне, а на миру – под знаком всеобщей «порчи времени»? И это могло стрястись с поэтом, так умевшим сохранять свою единственность – свою человеческую самость?!

Да ведь ею, этой самостью своей, он когда-то и вошел в нас. И ею продолжает в нас пребывать. Не возвел ли он снова на себя напраслину? Если бы он и вправду «потерял человека», зачем продолжал бы надобиться нашим душам?

Однако что мы знаем о поводах его тогдашнего самоосуждения? В каких чертах и событиях собственного существования он, уже давно переваливший за шестьдесят, вдруг увидел свою застарелую причастность к порче времени? Или – происшедшую с ним «перемену»? (Так назвал он стихотворение с этими строками о порче.)

Он не расшифровал календарного «с тех пор». Не уточнил начала порчи. А в подекадном исчислении оно могло прйтись и на предреволюционно-роковые 10-е, и на обманно-обнадежившие 20-е, и на сталинско- (можно без эпитета) 30-е, и на военно-послевоенно-беспощадные 40-е с захватом первой половины 50-х. Тут понадобился бы на расшифровку целый трактат.

Но вместо этого припоминается, как «посредине жизни» – на старте 30-х – во «Втором рождении» – одной из человечнейших в поэзии книг – он увидел себя человеком в Истории, или иначе – обитателем эпического пространства-времени, и сразу же, в зачине книги, предупредил, что в волнах бытия постарается ничего не утратить из единственности своего духовного опыта проживания в мире:

Здесь будет все: пережитое  
И то, чем я еще живу,  
Мои стремленья и устои,  
И виденное наяву.

Так, не утрачивая себя, он не утрачивал и других. Пристальность внимания к человеческой единственности в каждом из ближних позволила ему однажды сказать:

Ни разу властью схем  
Я близких не обидел...

И, пожалуй, впрямь – ни разу. Но и дальних властью схем он в 30-е годы тоже обижать не научился. Эти схемы никак не прилаживались ни к его поэтическому ладу, ни к словарю.

По необходимости, дальние, конечно, являлись в его стихи, и по одиночке, и скопом... Но – помните? – у «девушки сенной» он слышал бьющееся сердце. У «бравших край бригад» видел глаза, покоренные красотой покоряемого Кавказа. И чаял «счастья сотен тысяч» взамен «пустого счастья ста»... Так что потери человека не было и тут, хотя, вообще говоря, разглядывание целых людских категорий и классовых разрядов не давалось его поэтическому зрению. Он вообще не мог обольститься «властью схем» по совершенной своей непригодности для политграмоты в любом обличье. И менее всего – в поэтическом, ибо более всего был поэтом – существом, не понимающим всерьез, будто где-то кончается его внутренний мир и начинается другой обиход – внешний, а не его собственный.

По всему этому тяжба с властью схем началась у него вместе с появлением сей власти. И это опять уводит в далекое ретро...

В первой попытке автобиографии – в «Охранной грамоте» – он рассказал о своем участии во вражде полуфутуристической «Центрифуги» с кубо-футуристами, где главенствовал Маяковский. И признался, что вопреки групповой солидарности «был без ума от Маяковского». И еще сильнее: «Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт». Это продолжалось четыре года, пока Маяковский «существовал творчески». Иначе говоря, тоже не сознавал границы между собой и миром. Четыре года все снова и снова переживал Пастернак потрясение ото всего, что стало потом Первым томом Маяковского и служило «гениальным оправданием исчерпавшего себя литературного течения» – футуризма.

«Я четыре года привыкал к нему и не мог привыкнуть!» Но на исходе того четырехлетия – на рубеже 20-х годов, – когда Маяковский демонстративно становился глашатаем «власти схем», случился день иного ошеломления: день пастернаковского отступничества.

«Он в тесном кругу прочитал «150.000.000». И впервые мне нечего было сказать ему!»

Столь томительно длилось то чтение с разбором поэмы, что Пастернак пунктуально запомнил: оно продолжалось два часа с четвертью. Не два или два с половиной, а угнетающе точно – два с четвертью! Это были 135 минут нараставшего отчуждения от власти схем. Там, в «150.000.000», эта власть нашла апофеозное выражение: дальние всем скопом были доведены до абсурдной безликости – даже не класса, а попросту народонаселения страны. Миллионы человек оказывались стоящими чего-нибудь только благодаря своей многомиллионности...

Не хочется оскорблять Маяковского скверной параллелью, но она возникает сама: его картина ста пятидесяти безликих миллионов заключала прообраз будущих сталинских человекoв-винтикoв. И пастернаковский эпитет «нетворческие», присоединенный к стихам поэмы, был осуждением из будущего. «Не-творческое» – это не-сoтвoреннoе – сработаннoе бездухoвнo. Это – потеря человека!

Так, может, «порча времени» как «потеря человека» тогда-то и началось? В поэзии синхронно с жизнью! И вон что означало по историческому календарю его нерасшифрованное «с тех пор» – с рубежа 20-х!.. Однако сразу видно и другое: он сам-то, осудивший себя Пастернак, ни тогда, ни позже человека вовсе не терял! Его стихи – тому свидетели. И его молчаливо-бунтарское – «мне нечего было сказать» – в ответ на манифест обобществления людей.

...Уличаю себя в смешном самообольщении: рассказываю так, будто мне посчастливилось единолично завладеть этим бесценным черепком из ретро тех лет – воспоминанием о ста тридцати пяти минутах первого духовного разрыва двух наших гениев. Господи, да ведь это же всем принадлежащая историйка со страницы не раз издававшейся книги! А на страницах своего второго автобиографического сочинения 50-х годов – в «Людах и положениях» – Пастернак, уже не повторяя рассказа о «150.000.000» – еще бесповоротней растолковал, почему для него кончился тот, кого он боготворил:

*«За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос» позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины... Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий».*

Начиная с «Мистерии-буфф»?.. Но это хронологически то же, что начиная со «150.000.000». А «прописи», «общие места», «избитые истины» – разновидности власти схем. (Изотопы с до-о-олгим периодом полураспада!)

Но, честное слово, БЛ мог бы быть и помилован. Слишком уж оптово было такое безоговорочное – совсем не в пастернаковском духе, – и такое нетерпимое – совсем не в христианском духе – осуждение всего Маяковского 20-х годов. Вовсе не всегда наступавший на горло собственной песне, трагический Маяковский не терял человека ни в строфах «Люблю», ни в главках «Про это», ни в иных из парижских стихов, ни в безысходно-нежных строках «Хорошо!»... Словом, и в это последнее десятилетие своей недолгой жизни он добыл немало настоящего радия. И вместе с тысячью тонн словесной руды извел на это бесценные граммы пульсирующей мускулатуры своего одинокого сердца.

Размашистость пастернаковского приговора можно оправдать

только тем, что БЛ и себя в тех же «Людях и положениях», осудил без снисхождения: «Я не люблю своего стиля до 1940 года». Это – рядышком с полуфразой: «отрицаю половину Маяковского». Легко сосчитывается: стало быть, у себя к середине 50-х годов он решился отрицать даже не половину, а две трети написанного! Щедрая расправа. Неужто одобрить и ее?! Можно возразить, что невзлюбил он только свой стиль, а вовсе не то, что выражал этим стилем. Но нет, не тот был художник, чтобы стиль и суть выражаемого полагать независимыми. Подозреваю: та фраза о стиле явилась заместительницей другой, трудно произносимой, исповедальной фразы в духе позднего Толстого, невзлюбившего все свое бытие. Пастернак словно бы хотел сказать: «Я больше не люблю себя, каким был в своих писаниях до 1940 года...».

Однако о «потере человека» как о возможной причине недовольства собой в «Людях и положениях» – ни слова. И все-таки защиту Пастернака от Пастернака надо тут еще продолжить... В ней есть поворот, раньше только помеченный вскользь.

...Из меня бы не вышел ретроскопист: не хватает коллекционерской страсти и промыслово-охотничьей терпеливости. Но иногда оказываешься ретроскопистом поневоле – долгая жизнь откладывала по ящикам стола «культурные слои». И как радостно бывает отыскать там свидетельство победы ближнего над порчей времени – чисто и ясно поблескивающий черепок, ничем не загрязненный.

Вот мой пастернаковский черепок, – действительно мой, а не всехний! – из недавнего ретро. Времена войны. Середина сороковых. Этот черепок – не находка. И не дар со стороны. Просто письмо Бориса Леонидовича. Однажды рывком поднявшее меня на ноги в зимней землянке на левобережье Южного Буга, оно залетело, как чудом не сгоревшая звезда, в глухомань нашего тягучего наступления после летних кроваво-блистательных побед на Орловско-Курской дуге 43-го года. В августе под Орлом был памятный звездопад. Местные, как принято, говорили, что не упомнят такого. Наверное, оттого, что в том августе Орел был освобожден. Пастернак приезжал в нашу 3-ю армию именно тогда. Потому и письмо от него, пришедшее уже в январскую стужу, сравнить захотелось со звездой из потока августовских персеид. (А ученое прозвище регулярных метеоров начала января я безнадежно забыл.)

## 11

Письмо было замечательное. Очень печальное. А как случилось, что БЛ захотел написать его «капитану Д. Данину», сейчас само скажется.

*Милый Даниил Семенович!*

*Благодарю Вас за сердечное письмо. Его нельзя оставить без ответа. У меня действительно были серьезные намерения, когда я писал «Сапера». Его немного изуродовали (даже его!), как все, что пишем. Там все рифмы были полные и правильные: у Гомеля — сэкономили; смелые — проделаю; вынести — глинистей. Изменения, которые делали без меня, пришлось как раз по рифмовке. Кроме того, выпустили одну строфу. Это противно.*

*Вы в большом заблуждении, думая, что Ваши чувства в каком-то смысле общие и распространенные среди многих. Я привык осторожно обращаться с общностями, как «народ», «армия» и пр., и никогда не любил романтизма, даже когда он не был еще официально признан.*

*Вы ошибаетесь, думая, что я со своим миром и люди подобные мне (даже с большими именами) кому бы то ни было нужны и на деле заслуженно известны. Ничего подобного. Обидная курьезность нашего явления достаточно определилась именно в последнее время и дальше будет только расти. Я никогда не возвеличивал интеллигента и не любил его, как и романтика, но не поклонялся и невежеству. Темнота самоутвержденная и довольная собой ни к чему меня не склонит.*

*Я не верю в успешность своих нынешних усилий. Вы спрашиваете о поэме. Я начал ее с другими надеждами. Но общий тон литературы и судьба отдельных исключений, отмеченных хоть какой-нибудь мыслью, обескураживают. Проработали Зоценку, навалились на Асеева, после многих лет пустоты и холода позволившего себе написать по-человечески, кажется, очередь за Сельвинским. Все равно. Я теперь никого не люблю. Я стал взрываться по другим причинам, и с такой резкостью, что это меня когда-нибудь погубит.*

*Посылаю Вам «Поезда». Это книжка никчемная и конфузная по запоздалости, малости размеров и случайности содержания. Лучшее из военных («Русскому гению») и лучшее из переделкинских (единственных живых страниц книги) «Вальс с чертовщиной» выкинуты. Стихов, как переделкинские, должно было быть вдесятеро больше, их нужно было бы, как и вообще всякую свою литературу, прозу, драматическое, писать постоянно, а не переводить десятилетиями с недельными отступлениями. Сейчас один из театров заказал мне «Отелло». Надо жить.*

*Еще раз спасибо. Не старайтесь меня разубеждать. Пи-*

*сать письма мука и бесполезное дело, я их от Вас не жду.  
Вы и так слишком много мне сказали. Еще раз спасибо.  
Ваш Б. Пастернак.*

На конверте – печать военной цензуры и два почтовых штемпеля. На одном – ясное: «З.1.44». А в дарственной к сборничку «На ранних поездах», что пришел одновременно тоненькой бандеролькой, дата внизу: «30.XII.43»... И отчего-то все эти несущественности сейчас важны душе. Не могу простить себе, что в нетерпенье конверт надорвал я небрежным движеньем, а обертку бандероли и вовсе выбросил... Впрочем, это словесный шлак – «не могу простить себе». Могу. И прощаю. Но выскочил этот штамп все-таки со значением: стало быть, мне, стареющему, хочется большего пиетета к Пастернаку, чем нашлось во мне же, молодом. Отчего? Неужели тогда чего-то не хватало в любви к нему?

Нет, дело в другом. Любви было через край. Больше того – нынешняя любовь, помудревшая, позволяет себе критику. Иначе – несотворение кумира! А та, прежняя, сотворяла. И если нынче хочется все-таки большего пиетета к БЛ, то это потому, что время прибавило к его образу черты исторического мученичества, которое он предвидел:

*«...Я стал взрываться по другим причинам, и с такой резкостью, что это меня когда-нибудь погубит».*

Помню, как я собрался тотчас написать ему снова и с тревогой осведомиться об этих «других причинах». И даже офицерски-молодцевато поощрить на праведную «резкость». Бесцеремонное, наверное, получилось бы письмо. К счастью, вовремя остановило руку его предупреждение, что «писать письма мука».

А историческое мученичество постигло его не за взрывы и пагубные резкости. В истории с «Доктором Живаго» и Нобелевской премией взрывы и резкости позволили себе носители власти. Непостижимо, что они так всполошились?! Деспотизм близорук, оттого что уверен в своей дальнорукости – в умении зорко видеть даль. И вдобавок глуп: губя неугодное ему сегодня, деспотизм полагает его исчезающим навсегда, ибо и власть свою полагает непреходящей. Черта с два! Неправедно исчезнувшее вырастает в небытии, оттого что венок мученичества прибавляет ему роста...

И вот с пиететом, что рангом выше прежнего, перечитывает бывший капитан неправдоподобные слова более чем сорокалетней давности:

*«Вы ошибаетесь, думая, что я со своим миром и люди подобные мне (даже с большими именами) кому бы то ни было нужны... Ничего подобного».*

Кого же БЛ имел в виду под «большими именами», себя к этой



элите не относя? Но главное: неужели его московский знакомец капитан действительно ошибался, думая, что он, ни на кого на свете не похожий поэт, многим на свете нужен?! И нужен именно «со своим миром!» (Скажу, что в таких прямых выражениях я, разумеется, БЛ об его нужности-важности людям в своем письме не писал: силился подражать его словесному искусству предъявлять себя собеседнику не прямо, а чуть-чуть ребусно. Он же в своем ответе раскрыл это прямо – «в сантиметрах», как некогда писал кузине Ольге Ф. И я теперь не знаю, как выпутаться из прямого – «Вы ошибаетесь, думая...». В чем же была ошибка?)

Чувствую сейчас то, чего не чувствовал тогда: правоту на его стороне. Да-да! Ошибка сводилась к тому, о чем он предупреждал: к неумению «осторожно обращаться с общностями». Народ... армия... молодежь... алкоголики... вдовы... академики... просто – многие... все эти общности по любому признаку никому не дают права говорить от их имени «мы» в тонких сплетениях надежды, веры, любви и детища их – Искусства. А то ведь становишься тем фельдшером, что докладывает врачу: «Так что средняя температура у больных в палате тридцать шесть и пять!...» Однако право на ограниченное «мы» жизнь иногда нам дает. И это бесценно.

...Ополченский сентябрь 41-го года под Вязьмой. Тоска войны без войны. Учебное ползание по-пластунски на размокших полянах. Неумелое копанье в земле. Снизу вода и сверху вода. И взбалмошные команды нашего комроты лейтенанта Раевского – розового красавчика, неулыбающегося, уже психически пошатнувшегося. И наши с Эмиком Казакевичем вполголоса обсуждения: «Не из тех ли он Раевских, которые...» И ставшая в устах моего друга мечтательным паролем пушкинская фраза: «Когда б не смутные влеченья чего-то жаждущей души...» Это не описка – да, во множественном числе: влеченья переполняли нас. На парольную фразу нашелся подобающий отзыв.

Он нашелся на одном беспросветном рассвете, когда после дня земляных работ лейтенант Раевский по мнимой тревоге поднял только нас двоих, ненавистных ему очкариков. В мирном лесу смерть как не хотелось выползти из шалашика под дождь. Мы потом все вспоминали, как я спросонок сказал лейтенанту голосом Пастернака: «Спи, царица Спарты, рано еще, сыро еще...» На счастье, Раевский переспросил: «Что?! Что?!», а в ответ – мы уже стояли вертикально. С того рассвета и пошла до нашей разлуки в сентябре 41-го та игра: пушкинский пароль – пастернаковский отзыв. Но мы не забывали ее и позже.

В первых письмах Казакевича, добравшихся до меня под Оптиной Пустыней в начале марта 42-го, – после драматической эпопеи ополченского окружения, – он писал среди прочего:

*«...С учебной бригадой, куда я уехал от лейтенанта*

*Раевского, я участвовал в боях и отходах... Вообще вел себя довольно хорошо. Много думал о тебе и твоей судьбе. Ясно представлял себе тебя, выбирающегося из окружения, что ты при этом говоришь, делаешь, думаешь... «Смутное влечение чего-то жаждущей души» осталось, но оно не столь остро, как бывало... Мне писали из Чистополя, что Борис Пастернак переводит «Ромео и Джульетту». Я написал моему адресату о нашей любви к БЛ и о том, как мы в условиях тяжелейших как-то утешались его стихами, и просил передать ему это. Пусть будет рад, что и он пригодился на войне...»*

Вот как могло звучать и звучало достовернейшее «мы» от имени благодарной «общности». Неважно, что двойки было достаточно для ее исчисления: «Я да ты, да мы с тобой!» Говоря языком нынешним, тут задавалась модель возможного – двоек, троек, тысяч, а там и неисчислимой общности любящих эту – пастернаковскую – поэзию... И Эммануил Казакевич хорошо поступил, еще в начале войны известив БЛ, как ему, с войной несовместимому Пастернаку, уже случилось «пригодиться на войне». И не первыми военными стихами, – в ополчение не доходили ни «Огонек», ни «Красная новь», где печатался Пастернак в 41-м, – а случилось пригодиться всем миром своей поэзии. Обрадовала ли БЛ та весточка с фронта? О, да! Позднее в Переделкине мы от него самого узнали об этом (бестрепетно пишу «мы»).

...А на рубеже 44-го я в своем фронтовом письме, очевидно, слишком широковещательно обошелся с «мы». И потому – недостоверно. И пришлось мое льстящее уверенье, что он нужен всем, на дни его дурного умонастроения: «Все равно. Я теперь никого не люблю»

Какая чертовщина! Он снова возводил на себя напраслину. Как раз в то время, в начале 44-го, он написал стихи о любви ко всем. Не то чтобы «никого не люблю», а напротив – люблю всех, достойных сочувствия, доброты, вольного труда!.. Он писал стихи о предчувствии конца войны – тишайшие и, на мой слух, лучшие из его «военных». Стихотворение «В низовьях» не поспело к сборнику «На ранних поездках» и потому узнать его там, на левобережье Буга, где читал я и перечитывал ту присланную БЛ последнюю его книжку, мне не посчастливилось: то стихотворение напечатал тогда «Красный флот», а как могла появиться военно-морская газета у сухопутных артиллеристов?! И впервые увидел я «В низовьях» только после победы – на страницах пастернаковского «Земного простора» Там он сначала необязательным перечнем нарисовал довоенное Причерноморье, а потом – вдруг:

Было ли это? Какой это стиль?

Где эти годы?

Можно ли вернуть эту жизнь, эту быль,

Эту свободу?  
Ах, как скучает по пахоте плуг,  
Пашня – по плугу,  
Море – по Бугу, по северу – юг,  
Все – друг по другу!

Какая уж общность могла быть общее: ВСЕ! Это превышало маяковские 150.000.000. А к людям еще присоединялось все остальное, разобщенное войной: плуг и пахота, река и море, север и юг. Словом – окружающий человека мир. Но простая и ясная музыка стиха – уже одна только его музыка! – снимала малейшее ощущение потерянности человека в этой всеобщности. Властительность поэзии: сердечно-порывистая строка «Ах, как скучает...» возвращала бедствующему миру домашнюю обжитость, а необъятную человеческую громаду сжимала до родственно-соседских масштабов и делала ее доступной обыкновенному объезду после военных разлук. Вместе с тогдашней напраслиной «я теперь никого не люблю» снималась и более поздняя самонапраслина середины 50-х годов – «я человека потерял».

...Какая, однако, замысловато-трудная жизнь была у его поэзии в нашей истории! Он все ждал от Истории добра, а она то обманывала, то медлила. Он все ждал, а она все лукавила. И он долго с нею не ссорился. Он словно бы драматически играл с нею, с Историей, в нашу ополченскую игру. Так и слышится:

*Пароль – «Когда б не смутные влеченья чего-то жаждущей души...» (это – он).*

*Отзыв – «Рано еще, сыро еще...» (это – она).*

*И снова: «рано еще...» И снова: «сыро еще...»*

Впрочем, не очень похоже: у нас – всего только пошучивала тоска, а у него – «шла другая драма», когда сам Авва Отче не мог уволить его от участия в Истории. И потому тут может начаться следующая –

«Я  
МОЛИЛ  
ТЕБЯ:  
ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНО  
ПОВТОРИ  
ТВОРЯЩИЕ  
СЛОВА»

## 1

**Н**ет, с феноменом «потери человека» сознанию так просто не смириться. И пора впечатать сюда целиком пастернаковскую «Перемену», где та потеря стала образцом «порчи времени».

Это стихотворение не печаталось при жизни БЛ. Оно впервые появилось у нас в довольно неожиданном месте: в «Чукоккале» Чуковского – среди других раритетов этой золотиносной россыпи автографов друзей Корнея Ивановича и просто его «соседей по эпохе». (Когда я жил в переделкинском Доме творчества, Корней Иванович дважды предлагал и мне отметить в «Чукоккале» чем-нибудь смешным или просто метким, но я, дважды этим польщенный, дважды на это не осмеливался, тщеславно боясь показаться тяжеловесно-неостроумным. Еще бы! – там блистала несравненная выставка имен и находчивостей...) Пастернак одарил «Чукоккалу» совсем не юмористической «Переменной» летом 1958 года, а возможно – еще двумя годами раньше, в 1956-м, когда она, судя по всему, и была написана. В сопутствующих публикации строках Корнея Ивановича временной ясности нет. Но дата «1956» напрашивается сама.

В 1979-м «Чукоккала» была прекрасно издана толстенным альбомом, и «Перемена» была там воспроизведена факсимильно. И хотя БЛ оставалось уже совсем немного до семидесяти, почерк его прежний – нестареюще-летающий. И сами строки «Перемены» как бы окрыленно взлетали из-под его пера. Как, впрочем, и все стихи той знаменитой поры – оттепели после Двадцатого съезда. Даже самые безутешные из

них были окрыленными, как безнадежно скорбная «Душа», жутковатая из-за танцующего ритма:

Душа моя, печальница  
О всех в кругу моем!  
Ты стала усыпальницей  
Замученных живьем.

.....  
Их муки совокупные  
Тебя склонили ниц.  
Ты пахнешь пылью трупною  
Мертвецких и гробниц.

Душа моя, скудельница,  
Все виденное здесь,  
Перемолов, как мельница,  
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай  
Все бывшее со мной,  
Как сорок лет без малого,  
В погостный перегной.

(После таких стрóf надо постоять подавленно в минутном молчании. Мне – в память моего отца. Наташе – в память ее отца. И каждому – в память своих, оставшихся в мертвецких истории. А всем вместе – за всех вместе.)

...Минута прошла. И вот – «Перемена».

В ней не звучало реквиема. Но и в ней перемалывалось «все виденное здесь». И тоже была ритмически необременительной музыка стиха. Что могла она значить, эта легкость безнасильственной смены строк и стрóf? Она, я думаю, выдавала выношенное о-мысление горького чувства и выношенное о-чувствование горькой мысли.

В те первые послесталинские времена воздух жизни был насквозь пропитан историзмом. Как весенние рассветы – туманной влагой далеких половодий. Об этом историзме хочется писать красиво – с туманами и половодьями, пренебрегая прописями вкуса, – потому что он, тот историзм, ошеломлял надеждой. Не заученным бахвальством пережитой истории: вон сколько успели сотворить «за сорок лет без малого» (1917–1956)! А внезапно разрешенной переоценкой нашей истории ошеломлял: вон сколько успели натворить за четыре десятилетия – как сумели обесчеловечиться!.. Звучало заклинание: «Это не должно повториться!» Неуверенней звучало: «Это не может повториться!» Шло испытание исторического оптимизма. У всех вместе и у каждого в отдельности. Издали увиделось: весь взвинченный переоценочным историзмом, как в «Душе», Пастернак – по следу начавшегося осуждения времени – взглянул судейскими глазами и на себя. Об этом-то и написал он «Перемену». Разве не слышно?

Я льнул когда-то к беднякам –  
Не из возвышенного взгляда,  
А потому что только там  
Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком  
И с публикою деликатной,  
Я дармоедству был врагом  
И другом голи перекатной.

И я старался дружбу свести  
С людьми из трудового звания,  
За что и делали мне честь,  
Меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз,  
Вещественен, телесен, весок  
Уклад подвалов без прикрас  
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,  
Как времени коснулась порча,  
И горе возвели в позор,  
Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял,  
Я с давних пор уже не верен.  
Я человека потерял,  
С тех пор как всеми он потерян.

Да, самоосуждение выразилось без иносказаний – с формульной прямотой. Было ли оно достаточно полным, если он не нашел за собою большей вины, чем неверность человеку? Не «простому человеку», а просто человеку, чьи беды в истории и жизни самолюбующаяся эпоха мнимой справедливости не признавала допустимыми, поскольку они чернили ее, белоснежную. А какая вина, сверх неверности человеку, могла быть неизбежной для сознания поэта, чьи «мысли лежали на сердце» (по знакомой ему с юности немецкой идиоме)?! Разве что глухое непонимание-нечувствование этой вины.

Вот едва произнеслось тут для усиления слово «глухое», как всплыла на помощь одна из колдовских пастернаковских строк: «Глухая пора листопада...» Когда-то до войны она начинала у Пастернака строфу-утешение:

Глухая пора листопада.  
Последних гусей косяки.  
Расстраиваться не надо:  
У страха глаза велики.

Может, вспомнись эта строфа самому Пастернаку осенним для его жизни, но исторически-весенним летом 1956-го, он, хоть и невесело, но засмеялся бы и не стал писать «Перемены»? Нет-нет, конечно, все равно написал бы – не тогда, так чуть позже: он расстроился, оглянувшись в то лето на прожитое, ибо тут уж глаза были велики не у страха, а у Истории.

Но, к счастью, неизменное жизнелюбие было в нем сильнее печалей непонимания. Это ощущалось во всех стихах того лета. Восемь из них «Знамя» опубликовало ранней осенью. И «Перемена» могла бы оказаться девятым в знаменском цикле, будь эпоха столь же смела в самоосуждении, как поэт! Но какой же правоверный орган рискнул бы заговорить о «порче времени»? А тот цикл покорила читающих современников, многих впервые превратив в пастернаковистов.

Помню, как за сентябрьским номером «Знамени» тотчас началась охота. Стали заучиваться наизусть и повсеместно повторяться «Быть знаменитым некрасиво» и «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Да и остальные шесть вещей из того цикла несли долгожданную отраду издавна знакомой музыки, слегка запинаящейся, как при сердцебиении. Длилась неостывающая молодость дара.

Недотрога, тихоня в быту,  
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.  
Дай запрю я твою красоту  
В темном тереме стихотворенья.

За вечерней водочкой со стихами кто-нибудь обязательно принимался с удивлением подсчитывать его годы. На шестьдесят седьмом году можно ли было давать обольстительное обещание:

Пошло слово «любовь», ты права.  
Я придумаю кличку иную.  
Для тебя я весь мир, все слова,  
Если хочешь, переименую.

И ведь, право, переименовал бы, отпусти ему природа с историей побольше, чем три оставшихся года! И в таком жизнеобильном умонастроении уличил он себя в застарелой (!) неверности человеку... А что это не был у него случайный взгляд минувшего – вполоборота – через плечо – за компанию со всеми нами, окликнутыми вдруг разоблаченным прошлым, – словом, что было это его драматичным вглядыванием в себя, отразилось на особый лад в раздумчиво-медленном стихотворении «Хлеб», напечатанном месяцем позже знаменского цикла в «Новом мире». Оно выглядело бы совсем внеисторично, когда б не первые четыре строки:

Ты выводы копишь полвека,  
Но их не заносишь в тетрадь,  
И если ты сам не калека,  
То должен был что-то понять.

Конечно, сразу прочитывался намек на некие нехорошие выводы. Но зря: просто ему открылось, что сама жизнь человека содержательней бытия в истории. И понятное за полвека объяснялось так:

Ты понял блаженство занятий,  
Удачи закон и секрет.  
Ты понял, что праздность – проклятье  
И счастья без подвига нет.

И не что другое, как «взращенный столетьями хлеб», представилось ему метафорой всего самого существенного, что может оставить после себя человек

Средь круговращения земного,  
Рождений, скорбей и кончин.

И подвигом было для него совсем не то, что у нас прославлялось: не превышение заданного кем-то урока, а подвижничество души.

## 2

Бесценной в нашей жизни стала вся дата «1956» – во всем ее годовом объеме, раз уж в самом начале – в феврале – осветился тот год «веселыми печальями Двадцатого съезда» (как выразилась моя старая тихая мама). Историческое счастье громогласного раскрытия исторических несчастий! И не только осветился, но и освятился тот год громогласным развенчанием венчанного, казалось, навечно общего Отца нашего. Один порок был у той громогласности – она была безгласна: нам позволялось узнавать все, что счастливо меняло нашу жизнь, только тайно – из Закрытых Писем ЦК. В коллекции всех секретностей та была нелепейшей, а может быть, напротив, умнейшей: принудительные – многочасовые – чтения съездовских материалов тренированными голосами на закрытых собраниях с обязательной явкой удостоенных, делало секретные документы жадно-желанными даже для тех, кто отродясь ничего политического доброхотно не читывал.

Ах, какое это было чтение! Чернее черного. Светлее светлого. Отяжеляющее сознание и окрыляющее душу. Непредсказуемые превращения происходили с дальними и ближними. Когда бы повелели мне –



выбрать из памятных подробностей 56-го достаточно неожиданную, чтобы разом озарить новизну тогдашнего переживания истории, я, пожалуй, присудил бы домашнего Оскара милому другу нашего дома Юрию Герману за ночной звонок из Ленинграда:

– Старичок, коли ты уже спишь, проснись. Я принял решение. Мы, наконец, вступаем в семью европейских народов! И я вступаю в партию!.. Понял? Что скажешь?

– Юраша! – сказал я. – Последнее дело спрашивать об этом человека, по второму разу исключенного из рядов в марте 53-го – в день смерти не скажу кого, и до сих пор не восстановленного...

– Ты шутишь! – сказал Юра, немея. – Теперь это кончится!

– Юраша! – отозвался я на его обычное немедленное предложение помочь. – Хотя мы уже вступили в семью европейских народов, ты еще не вступил в партию...

Это – полудословная реставрация: замечаю, что мои реплики звучат слишком находчиво-гладко. Поручусь лишь, что тот неправдоподобный звонок Юрия Германа раздался в одну из доавгустовских ночей, ибо в августе 56-го меня действительно восстановили после двух исключений – в 49-м и 53-м. А Юрий Павлович действительно осуществил свое намерение. И нетрудно представить, с каким изумлением и легкой душой голосовали за него Ольга Берггольц и Ефим Добин, да и все его давно партийные ленинградские друзья!

Неожиданно – неправдоподобно – внезапно. Все верные слова. Юраша – человек-праздник – был беспартийнейшим из беспартийных. Строгая система догм – это было не для него. Он любил жизнь. Бремя уставных предписаний – не для него. Он любил жизнь. Отправление нормативных обязанностей – не для него. Он любил жизнь. И ей-богу, правящей партии делало честь, что она сумела ввести в соблазн такую бескорыстную и правдолюбивую натуру...

Это была заслуга 1956-го. Заслуга года надежд.

...Редко кто с такой словесной щедростью – от всей полноты чувств – выражал свое отвращение к Сталину во все времена, как это делывал Юрий Герман. Когда Иосиф Виссарионович отдал душу, – или что там у него было, – всеядному Богу, – или там еще более всеядному дьяволу, – Юрий Палыч, обычно излучавший добросердечие, с фантастическим злоязычием разыгрывал сцены бальзамирования бессмертного пахана для временной прописки в Мавзоле. Пластмассово-металлической ярости моей машинки не хватит для достойного воспроизведения его импровизаций, настоянных на коньяке. Готов побожиться, что в сценах бальзамирования, где мировая классика ничего не могла ему подсказать, Юрий Герман достигал таких высот, что имел бы право присоединиться четвертым к Зоценко, Булгакову и Эрдману, взявшимся за руки... А во временности сталинской мавзолейной про-

писки он не сомневался с самого начала: «Да вышвырнут его оттуда раньше или позже, можешь мне поверить! Лучше бы раньше...»

Но «раньше» были попытки временно возродить бальзамированно-го. Они накатывали и откатывали с затухающей амплитудой. И в один из таких накатов Юрий Герман стал писать оставшуюся неоконченной повесть «Пусть лает собака», найдя для нее эпиграф у Тютчева:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,  
Воскресшими для новых похорон...

Там, в старинном парке, где былое имение служило санаторием, ночами собачий лай не давал уснуть профессору и заставлял его казнить сквернами прожитой жизни. И собака праведно обрекала на бессонницу еще и тех, кто обдумывал новые скверны... Словом, верно это было: пусть лает незримая в ночи собака!

Однако был у повести и более тонкий подспудный смысл. Герман мог бы прибавить к эпиграфу две другие тютчевские строки:

Впусти меня! Я верю, Боже мой!  
Приди на помощь моему неверью!

Строки беспримерные по духовному отчаянию. Вера утрачена, да вот зачем-то еще нужна. И человек просит Всемогущего пособить ему, человеку, совладать с неверием в него, Всемогущего: «Впусти меня!» И дабы это произошло, пускается на ложь: «Я верю!...» Но тотчас осознает бессмыслицу такой лжи Всеведущему! И признается в неверии. И не знает, что делать. А единственный, кто по своей сластию своему мог не допустить беды неверия, вовремя этого не сделал...

Юраша любил Омара Хайяма (и обязательно в переводах Тхоржевского):

Ловушки, ямы на моем пути.  
Их Бог расставил. И велел идти.  
И все предвидел. И меня оставил.  
И судит тот, кто не хотел спасти!

Десятки раз, то с-пьяна, то с-трезва, повторялась эта раба́йя в наших долгих посиделках 56-го года. (С Юрием Германом, да еще вкуче с его неразлучным другом тех лет Селиком Меттером, не бывало посиделок коротких.) После февральско-весеннего нашего «вступления в семью европейских народов» было в ноябрьском предзимье вступление наших танков в Будапешт. И были пьяноватые просьбы нашего зоологического оптимизма к Истории – перестать сволочиться и прийти на помощь невольным приступам нашего неверья. Впрочем, патетические фразы были у нас в ходу только как цитаты. «Мы не врачи, мы – боль!» – не раз говаривал Герман, никогда не забывая

прибавить: «Герцен». Или – тоже не раз: «Мы – дети страшных лет России...» И без паузы: «До самых страшных Блок не дожил». Вклинивался и патетический Пастернак, но редко. В отличие от Блока, Киплинга, Заболоцкого БЛ не был «его поэтом». И надежно мне вспоминается только одно его многократное:

– Да, о старости у Пастернака прекрасно: она не читки требует с актера, а полной гибели всерьез! – И тут же: «Старый должен быть как старый», это – Олеша!

И вот на исходе 56-го (зацепка памяти – сразу после венгерских событий запрещение на Ленфильме съемок по моему сценарию о несчастливой судьбе молодого атомника), так вот, однажды – за длинным столом в кавказском ресторанчике около «Европейской» – звучно произнесенное на тех кинопоминках от имени Достоевского:

– Если Бога нет, то все позволено!

Это была искра: тотчас вспыхнул спор о вере и вседозволенности. Многие разномастные наши интеллектуалы уже тогда, в 50-х, присталились повторять это утверждение вполне всерьез для объяснения бесчеловечных мерзостей нашей обезбоженной истории.

Теперь запоздало соображаю: почему за тем интеллектуально-вольнولهбиво-шашлычным столом у всех на устах была, как свежечитанная, разящая ссылка на Достоевского? Да простит нас его великая тень, но тогда, в первое оттепельное лето, не его вечные книги, а злободневно-отважный том «Литературной Москвы» 1956 года читали мы в жажде современной крамолы. А главный заводила этого издания просвещеннейший Эм.Казакевич сумел добыть у Пастернака и напечатать довольно полный вариант его «Замечаний к переводам из Шекспира», где среди других удивительностей поражала параллель между Макбетом и Раскольниковым. Там-то и содержалась – не цитировалась, а излагалась! – афористическая мысль Достоевского. И в нашем споре мы, в сущности, не его цитировали, а пастернаковскую формулу.

...Кто и как шумел – уже несущественно. Помнится, что два Юрия – Герман и Макогоненко – ёрнически, по Пушкину, заявили себя и всех нас «афеями» (или «афеистами»), а Ольга Берггольц – еще вся язычески русалочья – разила наотмашь нетерпимостью своего мнихристианства...

...Десятилетия прошли. И тех спорщиков – нет на свете. А спор продолжается. И все выглядит так, будто атеизм «афеистов» потерял исторический смысл. Неужели это правда? Односложно не ответить. А тут еще все томит и томит, вместе с религиозностью Пастернака, его понимание Раскольникова в параллели с Макбетом и осознанная им в 56-м всеобщая «потеря человека».

«Обширный вопрос» — как говаривал один из героев Достоевского. Может, так бы и надо сказать: достоевский вопрос!

...Когда Иван Карамазов в трагическом разговоре с Алешей отказывался принять мировую гармонию ценою хотя бы малой детской слезинки, он одновременно неистово убеждал послушно верующего брата не размышлять о самом существовании Бога:

*«...Советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет Бога: есть ли Он или нет?.. Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях...»*

Зато всей своей исповедальной проповедью столь же неистово Иван внушал Алеше пуще всего думать о человеке. Существование человека было для него аксиомой. Пусть эвклидовой, как определял он, то есть земной, а не вселенской, однако же — аксиомой! И, не умея оправдать вековечное страдание человека молитвенным: «Прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!», иначе говоря, не умея оправдать страдание премудрым замыслом Создателя, — Иван пришел к полному неприятию этого мира, напоенного болью и мукой. В мире есть доверяющее Богу существо — человеческое! — а он, этот мир, устроен так, точно все противучеловеческое в нем дозволено. Этого не должно быть. Так как человек со всей аксиоматической непреложностью есть, то позволено не всё, не всё!

Тогда преднамеренное зло — не позволено. Тогда генерала, затравившего мальчика борзыми, — «расстрелять!». Вопреки христианнейшему запрету — расстрелять! И пусть милосерднейший Алеша, прямо этим глаголом ответив на вопрос Ивана — как поступить с генералом, потом опоминается — «я нелепость сказал», не мог он в порыве ужаса перед злом сказать иначе, потому что иначе — не был бы глубинно милосердным.

Ну, а если человек — лишь навоз для будущей гармонии, или — что то же самое — человека нет, тогда позволено даже... как это выразилось у Достоевского?

*«Убежденные присяжные удаляются и выносят оправдательный приговор. Публика ревет от счастья, что оправдали мучителя. — Э-эх, меня там не было, я бы рывкнул предложение учредить стипендию в честь имени истязателя!.. Картинки прелестные...»*

...Выписываю я это сейчас из 13-го тома старенького темно-зеленого, еще в детстве читанного, пантелеевского Собрания сочинений Ф.М.Д. Выписываю отчеркнутое на полях, но уже отнюдь не в детстве, а в другие незабвенные времена — в годы образцово-бесчеловечной

борьбы с космополитизмом. Лишенный права печататься, а потому свободный с утра до вечера, я наслаждался счастливой горечью сквозного перечитывания тех томов. И неспроста отчеркивал отчеркнутое. Но, признаться, никак не думал, что мне душевно понадобится когда-нибудь извлекать воодушевляющую поддержку из отчаяния Ивана Карамазова.

*«Итак, принимаю Бога... принимаю и премудрость Его, и цель Его, – нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся... ну и прочее и прочее и т.д. ... Слов-то много на этот счет наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге – а? (Это он Алешу словно бы подкупает мнимым смирением. – Д.Д.) Ну, так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего не принимаю... Я не Бога не принимаю, пойми ты это, а мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусенькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми, – пусть, пусть это все будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять!»*

Если уж хватило дыхания на этот Иванов монолог, то как же помешать ему закончить свое кредо знаменитым отказом от входного билета на зрелище обещанной гармонии, почему-то покупаемой ценою неисчислимых человеческих страданий:

*«...Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько заплатить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю».*

(Недавно одна исследовательница Достоевского не без яда заметила, в духе времени, что это Иван свой партбилет возвращал «наверх».)

Но можно ли было бесповоротней отречься от веры в Бога и масштабней заместить эту утрату состраданием к человеку?!

Веками было принято неразрывно соединять эту веру и это сострадание чуть ли не как причину и следствие. Иван Карамазов их разъединил! Показал их независимость! Не знаю – впервые ли. Но то, как он это сделал, было сделано, думаю, впервые. И ошеломляюще. Проза Ивана Карамазова – это словопады-мыслепады, как водопады. Словотрясения-мыслетрясения.

Далеко отсюда – в начале этого неуправляемого сочинения – написано было о стихотрясении, как землетрясении, случившемся, когда явился Маяковский. И тут вспомнилось, как пронизательно увидел ранний Пастернак в повадке раннего Маяковского «сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского». Это – в «Людах и положениях», а в «Докторе Живаго» об этом же полнее:

*«Скажу снова. Маяковский мне всегда нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или, вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита, Раскольникова или героя «Подростка». Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз навсегда непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!»*

Да разве ж это не прямо о словотрясениях Ивана Карамазова, шваркнутых им с безоглядной смелостью в лицо наших верований и в лицо самой Истории? И разве в речевом неистовстве первых поэм Маяковского – в «Облаке...», «Флейте...», «Человеке» – не слышались отзвуки Иванова голоса? И не от прозы ли Ивана Карамазова, как от эпицентра, докатилось до этих поэм боготрясение в 12 баллов «по шкале Аввакума»?! И не от Великого ли инквизитора из «Братьев Карамазовых» генетически произошел у Маяковского «Всевышний инквизитор»?! Снова на языке его гипнотизирующее:

Если правда, что есть ты,  
боже,  
боже мой,  
если звезд ковер тобою выткан,  
если этой боли,  
ежедневно множимой,  
тобой ниспослана, господи, пытка,  
судейскую цепь надень.  
Жди моего визита.  
Я аккуратный,  
не замедлю ни на день.  
Слушай,  
всевышний инквизитор!

А между прочим, у самого Достоевского Великий инквизитор – от богохульного Вольтера. Но все это – так, попутно. Существенной одна типографская деталь в монологе Ивана Карамазова: фраза «хотя бы я был и не прав» дана курсивом. Почему так? А потому, что потрясенной состраданием душе Достоевского была без надобности любая логически выводимая правота лишенного сострадания Всемогущего. И не только без надобности, но и прямо враждебна была его чувствам, как и чувствам Ивана, такая правота, что бы ни служило ее источником – сами ли Заветы, Ветхий и Новый, или теологические словопрения... Выразительно Иваново: «Слов-то много на этот счет наделано!» (И каждый вправе присоединить к ним еще и свои.)

Так присоединила свои Марина Цветаева: «...Пора-пора-пора/Творцу вернуть билет... /Не надо мне ни дыр/ Ушных, ни вещей глаз./ На твой безумный мир/ Ответ один – отказ!»

#### 4

И еще, и еще... Только нынче, в преклонные годы, когда живешь уже на обратном склоне горы, порою вдруг обескураживают странной содержательностью простые наблюдения. И не понимаешь – отчего же раньше не обеспокоилось твое внимание тем событием или той фразой (в нашей жизни слова – тоже события)? Почему не услышал я в молодости признания Ивана Карамазова: «Я давно решил не понимать!»

Как должно было настрадаться сердце и как должен был набедствовать разум, чтобы не просто вырвалось невзначай, а укорененно высказалось: «Я давно решил не понимать!»

И всего удивительней – когда же это он успел давно вырешить такое, если в пору исповеди перед Алешей ему, Ивану, было от роду всего лишь двадцать четыре?! Да не покажется нелепым, что тут приходит на память одно свидетельство Эйнштейна. Известно: теорию относительности он сформулировал и напечатал, когда ему было только двадцать шесть. Но, как рассказал он в автобиографическом эссе, «не понимать» общепризнанной универсальности механики Ньютона он «решил» давно: еще десятью годами раньше, когда был шестнадцатилетним!

Начала своего отказа понимать устройство Божьего мира и уготованной в нем человеку судьбы Иван Карамазов не датировал. Но его «давно» тоже достойно внимания: оно могло прийтись лишь на Иванову юность. Достоевский предложил нам допустить возможность почти неправдоподобно раннего созревания духовного бунта в человеке! Не порукой ли это тому, что он писал нешуточного гения ищущей и потому страдающей мысли?

Да ведь и впрямь – безо всяких уверток: перед обоими юношами

высились темные громады двух невероятно простых, но логически неодолимых вер.

Перед выдуманной Ваней из несуществующего Скотопригоньевска – громада двухтысячелетней, унаследованной еще от Ветхого завета, христианской веры, будто этот наш мир задуман, создан и управляем всемогущей и всеблагою волей.

Перед невыдуманной Альбертом из существующего Ульма – громада двухтысячелетней, унаследованной еще от эллинов, классической веры, будто время и пространство в этом мире абсолютны – текут и простираются совершенно одинаково всегда и всюду.

А веры неистощимо приспособительны. Они не гибнут в любых испытаниях – что логикой, что опытом... И вероятно, высшим подвигом самоспасения веры было радостное открытие Тертуллиана, недаром со второго века несчетно повторяемое перифразой: «Верую, потому что это абсурдно!» Можно было ликовать: любые доводы «против» стали вере не страшны – никому не удалось бы найти ничего абсурднее осознанно принятого за истину абсурда! Но какая мудрость! Не в этом ли был и смысл провозглашенного еще раньше евангельского наставления: «Возложивший руку свою на плуг, не оглядываясь назад!»? Торжество цельности религиозного чувства, победившего строптивую мысль!

Дед Нильса Бора – учитель – толковал это по-другому. А разные богословы находили еще другие смыслы. Мне же, грешному и несведущему, хочется только себе ответить: а как быть с нашими верами нам – не-цельным и оглядывающимся, да еще заплатившим миллионными жертвами за веру в догмы? Как нам не позволить мысли сгинуть под владычеством вер? Да вот же два пути, каждым еслиходимые, то в одиночку...

*Карамазовский: «Я давно решил не понимать».*

*Эйнштейновский: «Я давно решил понять».*

Выбор – за нами. Если б еще знать, как он делается, этот выбор! Звучит в услужливой памяти снова и снова чеховское: «Если бы знать, если бы знать. Музыка играет так весело...» Простенькое «я решил» – обманывает. Акта житейского выбора – «хочу, не хочу» – здесь нет. Это – от природы, от меры одаренности, от случая.

«Возложить руку свою на плуг» и «не оглядываться назад» – разные вещи. Первое исполнимей второго. Как трудно не оглядываться назад – отказываться от повелений догм – знали задолго до нас. И задолго до Карамазова. И задолго до Эйнштейна.

Библейская жена, – в истории Содомы и Гоморры, – вопреки запрету оглянулась. И эллинский муж, – в истории Орфея и Эвридики, – вопреки запрету оглянулся. А запреты мифов, вер и абсурдов непрере-



каемы: в них присутствует наречие «навсегда». Жена Лота стала соляным столбом навсегда. Орфей навсегда остался одиноким.

Карамазов и Эйнштейн разрешили себе, не оглядываясь назад, всмотреться в реальность сущего. И не скрыли, что всё в этом мире не так. То есть все-таки осуждающе оглянулись на догмы! Правда, оба проявили осмотрительную вежливость. Эйнштейн написал в автобиографии: «Прости меня, Ньютон!» И Карамазов объявил, что возвращает свой билет Господу Богу почтительнейше. Иван еще и слухавил: притворился, будто Бога-то самого не отвергает – иначе кому бы он возвращал билет на лицезрение будущего торжества гармонии? Однако лукавство юноши из Скотопригоньевска не помогло ему избежать каменной участи Лотовой жены, а вежливость мальчику из Ульма – одинокой участи Орфея. Карамазов окончил окаменевшей головой – сумасшествием. Эйнштейн – тридцатилетним одиночеством среди коллег, не принявших его попытки найти единство всех физических сил.

Наверное, равно несовместимы с нормами обыкновенной жизни оба абсолютных решения: «не понимать» и «понять все».

Вера и абсурд – не синонимы. И всего менее они – синонимы недомыслия или безумия. Напротив – они притягательно умны. Они устроены, право же, гениально: так, чтобы всем быть равно доступными, а для этого – недоступными анализу! (Как любые аксиомы.) И они устроены еще так, чтобы въяве или втайне быть желанными всем. А для этого они щедро обещают: гармонию и всеведение, спасение – всем, счастье – каждому. А что может быть искусаительней для грешного и смертного существа, уязвимого и алчущего существа?! Оттого они так жизнеспособны, тысячетелные веры...

...Настукиваю эти строки, а подспудно все соображаю – откуда тут выскочил в параллель Ивану Карамазову чуждый религиозных иллюзий Эйнштейн? (Правда, гуманитарные интеллектуалы, никогда не имевшие ни времени, ни случая, ни нужды читать самого Эйнштейна, обожают передавать друг другу и даже развивать легенду то об иудейской, то о христианской, то о пантеистической его религиозности.) Сейчас сообразил, откуда параллель: это – от Ивановых гаданий об Эвклидовой природе человеческого воображения! Где эвклидово, там – в противовес – неэвклидово, а где неэвклидово, там – естественно – Эйнштейн.

Достоевский неодолимо втягивает нас в свою духовную игру, как в детстве старший мальчик с соседской дачи неодолимо соблазнял нас, маленьких, карточным азартом на медные деньги в полутьме сеновала, куда взрослые не заглядывали. С Достоевским всегда ощущаешь себя безнадежно проигрывающим. Но всегда оказываешься в громадном выигрыше, потому что выходишь из полутьмы сеновала с повзрослевшей душой. Иначе – с пульсирующим чувством: вот опять приоб-

щился к чему-то существенно важному! Часто и не сказать – да в чем же оно, это важное? Но чувство приобщения само уже победительно: говоря языком несчастливо умного: Ивана Карамазова, ощущаешь, будто преодолел эвклидовость человеческого мира и увидел невозможное в нем – как сходятся параллели...

Достоевский самый неэвклидовый писатель на свете. И так целебно приложить ладонь к изменчивой кривизне его мира: у твоей собственной ладони хоть на время возникнет изгибчивость. А мне это сегодня нужно для соприкосновения с кривизною совсем другого, но тоже неэвклидова, мира Пастернака.

Тут бы и расстаться с Достоевским. Но он еще не отпускает. А мне и необязательно расставаться. Абсолютный атеист, возложивший руку свою на безропотную машинку, разве не вправе я, вопреки всем мифам и догмам, сколько угодно оглядываться назад и озиаться по сторонам? Сладостна свобода вольнописания! И она никого не понуждает страдать: вольночтение предопределено вольнописанием – все позволено!

Вот и всплыло здесь сызнова достоевское – недообговоренное – «все позволено». Попытаюсь договорить.

## 5

Есть неумирающие выражения глубокой чеканки. Не пословицы. Не присказки. Не нравоучения. Кем-то выношенные смыслы. Очевидно, бесспорные, раз уж их повторяют с неуывающей частотой. По меньшей мере, три из таких знаменитейших выражений с юности удручают мою самонадеянную понятливость. Проходят годы, а все не могу я растолковать их себе однозначно.

*«Человек – мера всех вещей».*

*«Блаженны нищие духом».*

*«Если Бога нет, то все позволено».*

Первое завещано эллинами (кажется, Протагором). Второе и третье принесены христианством. Тут лишь о третьем речь. А впрочем, сначала о втором... Повод хороший: опубликовано шутивное восьмистишие марбургского студента Бориса Пастернака, примечательное одной строкой:

Мне милы все, кто духом нищие...

Когда бы не шуτικότητα контекста, с «Гегелем и кофеем» да еще «ветеринаром философии», впору было бы подумать: не тогда ли и началось христианство Пастернака?.. Но прозелиты всякой веры не позволяют себе пошучивать над ее ценностями. И пошучивание скорее означает, что вера в действительности еще не пришла. Это случится с Пастернаком, очевидно, позже.

«Нищие духом» – одна из духовных ценностей христианства. С них, с этих странных нищих, начинается Нагорная проповедь в Евангелии от Матфея. «Блаженны нищие духом...» – самые первые в ней слова. Христос помянул таких людей своим благоволением раньше, чем «плачущих», «кротких», «милостивых», «чистых сердцем», «миротворцев», «изгнанных за правду». Кто же они, нищие духом? По Нагорной проповеди, «изгнанные за правду» и «нищие духом» суть блаженны на одном и том же основании: «ибо их есть Царство Небесное». Оно не обещано ни «кротким», ни «милостивым», ни «миротворцам», ни даже «чистым сердцем», а только духовно нищим и гонимым за правду. Что же их роднит? Ведь правдолюбцы – богатеи духа, а не бедняки! Возможно, тут один из евангельских парадоксов. И не мне, глубоко неверующему, вменяться в него. Ничего не выйдет.

Можно, конечно, избавиться от этого парадокса простейшим способом: прочитать «блаженны нищие духом» как объяснение, чем же блаженны те, у кого ничего нет. Духом они блаженны, ибо этого-то у них не отнять! Но Нагорная проповедь имела в виду, по-видимому, что-то другое. Наверное, всего ближе к ней понимание нищего духом, как убогого. Буквально – того, кто «у Бога», ибо человек Его от себя отторгает, как существо ненужное, а Царь Небесный – милостив и берет в свое царство. Этим и блаженны убогие. Вполне сносное толкование частного лица. Однако, говоря по-карамазовски, что-то слишком много слов тут понаделано на сей счет. Студенческая строка Пастернака отчасти тому оправдание.

...А существенно нужна мне третья давняя непонятность: загадочно – отчего все позволено, если Бога нет?

Пародийно воображаю платоновского Сократа, разговаривающего с нами, как с детьми на прогулке по небу.

– Если по предпосылке Бога нет, то о чем мы говорим? – спрашивает он. – От не-существующего не может зависеть существующее. То, чего нет, не может позволять или запрещать. А когда бы оно могло это делать, оно было бы нечто, а не ничто. Стало быть, – улыбается Сократ, вместо того, чтобы сокрушаться, – утверждение, будто все позволено, если Бога нет, просто лишено смысла. Коли нравится, можно с равным правом утверждать противоположное: ничто не позволено. Проходит и более мягкое: позволено, но не все...

Легко представить, как походя, лишь на минуту затруднившись негодованием, изничтожил бы Достоевский такую логическую игру с одной из его заветных мыслей! Но, по правде сказать, мне нигде не встретилась в его сочинениях сама эта чеканная формула: «Если Бога нет, то все позволено». Она без труда выводится – из «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», «Бесов», «Идиота» и многого другого, но прямо – афористически! – вроде бы нигде не произнесена.

Не доверяя себе, решил справиться у знатоков. И только решил, как встретил сразу двоих. Они сидели на высоких кругляшах у стойки ставшего безалкогольным клубного бара в Доме писателей и разговаривали о рукописи, лежащей между ними. Конечно, она была о Достоевском. И мой вопрос не показался пустым обоим «ведам». Давний друг Юрий Карякин и новая знакомая, мгновенно располагающая к себе, милейшая Людмила Ивановна Сараскина, с готовностью пообещали точно установить – где у Достоевского появляется эта формула (если – появляется!). Я намеренно просил об адресе «этой формулы», а не «этой мысли», потому что о мысли справляться было бы незачем: Достоевский жил с этой мыслью всю жизнь, то покоряясь ее властности, то единоборствуя с нею – внедряясь в ее возможные смыслы и, может быть, ища ей замены.

А за стенами писательского клуба низвергался отчаянный июльский ливень – из тех, что «сегодня выпала месячная норма осадков». И под старинным порталчиком клубного входа со стороны Поварской (это благозвучней, чем со стороны Воровской) теснились спасающиеся от небесной кары прохожие. А я, в противоречье с волевым громоуханием ливня, тихо вертел в голове короткий разговорец у стойки бара, жалея, что не довыговорился:

– Дьявольщина, хотя Бога и нет, но всем нам, современникам Безбожия, не только не «все позволено», а позволено так мало, точно дюжина богов удерживает нас от своеволия...

...Кто же эти боги? Где обитают? Почему властвуют?

Речь не о таких богах, как общественные институты и само государство. В их повелениях и позволениях нашего выбора нет: не мы караем и милуем по внешним законам. И формула «все позволено» – не о внешних правилах общежития, а о собственных, душою санкционированных волеизъявлениях человека – добрых или злых, святых или мерзостных, человеческих или звериных...

Бросается в глаза, хоть, может, и не сразу осознается, что у Достоевского ведь нигде не изображается драма столкновения человека с государством, а всегда – человека с человеком. Или – что всего драматичней – человека с самим собой! Даже в историко-политических «Бесах» это так: там террористы вовсе не противостоят власти, а только друг другу и втянутым в их судьбы ближним.

Боги, правящие вседозволенностью, – те, что накладывают на нее запреты или распахивают перед нею ворота, – обитают в нас. Они, эти боги с маленькой буквы, наши идолы. И слеплены они иные – тщательно, иные – на скорую руку, генетикой, воспитанием, историей. И к тому единственному, который с большой буквы, отношения не имеют. А какими путями они властвуют – как на это ответить?

...Вот ведь, возможно, через полчаса, когда небесная вода иссяк-

нёт, один из моих полупромокнувших соседей по клубному порталчику, – вон тот, с черным дипломатом в загорелой руке, – ринется по лужам в Трубниковский, убежит в парадную громадного серого дома (куда в первые послевоенные годы я, недоисключенный космополит, хаживал агитатором), достанет из своего плоского кейса хорошенький туристский топорик и для торжества не слишком убедительной идеи прикончит старуху процентщицу, сказав, что он «из Мосгаза»? (Там в 40-х годах жила одна такая бабуля, и местные даже просили агитаторов навести на нее милицию.)

...Или вон тот, весь в русой бороде колечками, свисающей над вырезом синей майки с белой надписью «Адидас», поспешит, едва захитнет ливень, вниз к Арбатской, чтобы неподалеку от Института мировой литературы завернуть в подворотню со старым московским двориком в глубине, и там, у мокрой лавочки, где полвека назад я сживал влюбленным студентом, встретить своего эпилептического полубратца, ненароком сообщить ему, что он, Адидас, смотается вечером на электричке в Чермашню, и так же ненароком внушить этому полубратцу, что тот совершенно в своем праве проломить на рассвете голову их общего папеньки...

В самом деле, откуда постороннему знать, какие боги-идолы властвуют над теми, с кем ненадолго свел его июльский ливень? Или – Москва свела? Или – жизнь? Или – История (с прописной)?

И дабы уж дружески пографить Юрию Карякину с его благородным умонастроением ядерного апокалипсиса, я рисую себе, что приключится сейчас с голубенькой девочкой напротив, укрывшейся от дождя за порогом бокового входа в Театр киноактера. Она держится за руку мамы – красивой женщины с вызывающим лицом (это всегда видно, когда рука – мамы), и все вглядывается да вглядывается в отвесную стену небесной воды, точно видит за нею нечто желанное. Воображается, как через минуту-другую там причалит к тротуару генеральский лимузин. Выскочит майор-порученец с плащом, примет от мамы с рук на руки просветлевшую девочку, внесет ее в салон машины и вручит тоже просветлевшему отцу-генералу. А потом за двойными дверями ультрасовременного здания вахтер козырнет генералу и не осмелится задержать голубенькую девчущку, хотя та явно без пропуска! А генерал подведет ее к скоростному лифту и спустится с нею в подземный свой кабинет. Там подойдет он к плоскому пульту с тремя застекленными кнопками и разноцветными телефонами. Поднимет самую невзрачную трубку и говорить станет, прикрыв ее ладонью: пусть дочурка не разберет его зашифрованных жалоб бабушке на непоправимый разлад у них в семье. А девочка будет тянуться к пале. Взберется на пульт за его спиной. И неразумная ее коленка раздавит предохранительное стеклышко над красной кнопкой – той судьбонос-

ной кнопкой, что чудится символом Рока гуманным гуманитариям Запада и Востока!.. Девочка вскрикнет... Кнопочка углубится... Генерал обернется... Через мгновение литературно расширятся его затравленные глаза... Еще через мгновение литературно разорвется его иерархическое сердце... А еще через восемнадцать или там сорок минут – велика ли разница! – к чертовой матери полетит наш мир... И никто никогда не узнает о безвинной вине младенца, чьей слезинки не стоила бы вся будущая гармония!..

И мне, более не существующему, уже не смогут сообщить более не существующие Юрий Карякин и Людмила Сараскина, где же прячется у бессмертного Достоевского отныне уже не имеющая никакого значения простенькая формула: «Если Бога нет, то все позволено!»

...Через три дня, как было условлено, я, уцелевший, звонил из уцелевшего Серебряного бора поочередно им обоим, тоже уцелевшим. Узнал много интересного. Но место пребывания чеканной формулы не узнал. Ее просто не нашлось. Нашлись только мне хорошо известные версии ее смысла. Пожалуй, самая яркая – у Смердякова, в его упреке Ивану:

*«Это вы вправду меня учили-с... коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе».*

## 6

Так где же все-таки видел я недавно эту формулу с прямою ссылкой на Достоевского? Да ведь ясно: там же, где в 56-м, перед спором в кавказском ресторанчике. У Бориса Пастернака!

*«Макбет и Раскольников не природные злодеи... Преступниками делают их ложные головные построения, шаткие ошибочные умозаключения... Слишком далеко зашедшее нигилистическое допущение, что если Бога нет, то все дозволено...»* («Замечания к переводам из Шекспира»).

Разве не поразительно: поэт, назвавший свое прощальное стихотворение христианским речением «Божий мир», на одной странице трижды усомнился в нравственной всеспасительности самой идеи Бога?! В отрицании этой идеи, – в неверии, – он не увидел губительных для человеческой морали начал. Предположение о торжестве аморальной вседозволенности, если исчезает вера в Бога, он окрестил сперва «головным построением», потом – «шатким умозаключением» и, наконец, «слишком далеко зашедшим нигилистическим допущением». Да еще не поскупился на редкостные в его словаре эпитеты – «ложные» и «ошибочные»!

Так неужто Достоевский этого не видел-не ведал?

Уверен: видел и ведал! Может, оттого и ходил вокруг заветной формулы, вглядываясь в нее и не решаясь доработать до геометрической чеканки. И на пробу заменял: то Бога – бессмертием души или бесконечностью, то вседозволенность – утратой добродетельности или ее синонимами...

Христианство Достоевского было этической природы. Идея Бога, лишенного нравственного всемогущества, теряла бы всякое значение для его зоркой души, измученной мировую скверной. Он жаждал от Бога необсуждаемого всемогущества в делах межчеловеческих, где нашими помыслами должны бы управлять нерушимые нравственные начала. И веками думалось, что им неоткуда взяться, кроме как от повелевающего Бога. Но когтистый ум был настороже. И замечал уязвимость окончательной формулы – «если Бога нет, то все позволено». Озабоченность правдой мешала вывести ее!

Ее вывели другие – те, что были побеззаботней.

А христианство Пастернака, – мне все уверенней чудится-видится это! – было эстетической природы. Доказывать такие вещи непросто. А может, и не нужно? По мне, довольно вслушаться в стихи из романа, чтобы убедиться, как покоренность красотой Евангелий возглавила религиозное чувство БЛ! Но есть и другие тому подтверждения. Почти прозрачные – в его переписке с кузиной Ольгой Фрейденберг.

В октябре 1946-го, когда вовсю шла уже работа над романом, еще не называвшимся «Доктор Живаго» (а неожиданней – «Мальчики и девочки»), он написал все понимающей кузине:

*«...Атмосфера вещи – мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным».*

Эти «другие стороны» были бесконечно близки его жизнелюбию и его жизнестойкости. И суть их, этих сторон, с замечательной телесностью или победительностью выразилась в другом письме к Ольге Ф., написанном через семь лет, в январе 53-го, после пережитого им инфаркта. Это был как бы прозаический набросок будущего, датированного годом 56-м, одного из лучших стихотворений всей его жизни – «В больнице»:

*«...Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил Бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света, и тени, и жизни, и смерти, и то, что Он сделал меня художником, чтобы любить все Его формы и плакать над ними от торжества и ликования».*

Для нее, конечно, не была новостью эта его «своя» религиозность –

совсем не каноническое «мое христианство». Давно, в 1926-м, он убеждал ее:

*«...Ах, Оля, есть Бог на свете, нет, лучше скажем, есть, в противовес земному тяготению, в противовес падуцей – тяга ввысь, тяга своеобразной, самооглушенной формы к форме форм».*

Наверное, ничто не могло быть враждебней его христианству, чем знаменитое богоборческое восклицание англичанина Суинберна (которого Пастернак, к слову сказать, однажды переводил):

*«Ты победил, о бледный Галилеянин: мир потускнел от твоего дыхания!»*

В глазах Пастернака: похорошел – преисполнился смысла и формы – расцвел, а не потускнел. И, думаю, только в этом – в эстетическом происхождении его веры – можно отыскать ответ на невольный вопрос: отчего же он, искренний христианин, сумел так легко устранить из причинного объяснения преступлений Макбета и Раскольникова безбожие, а осудил их только за ложные выводы из неверия? Да просто Бог не был для него верховным судьей человеков. Точнее – не этим захватил его воображение и душу. Бог был для него творящей первоосновой всего неперечислимо сущего в мире. И всего, отмеченного добротой и совершенством. Он был для него формой форм!.. Не больше. Но ведь и не меньше!

– О Господи, как совершенны  
Дела твои, – думал больной, –  
Постели, и люди, и стены,  
Ночь смерти и город ночной.

.....  
Мне сладко при свете неярком,  
Чуть падающем на кровать,  
Себя и свой жребий подарком  
Бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,  
Я чувствую рук твоих жар.  
Ты держишь меня, как изделие,  
И прячешь, как перстень в футляр.

Как перстень! Не как сосуд греховный, каковому еще надлежит быть опорожненным для предъявления содержимого при разбирательстве в Судный день. Нет – как превосходный перстень, достойный футляра! Подумать только – свой последний час он встречает без покаяния и молитвы... Но потому-то у него, у Пастернака, когда он думал о Достоевском, так естественно произошло осуждение окончательной формулы:



*«...слишком далеко зашедшее нигилистическое допущение, что если Бога нет, то все дозволено».*

Еще совсем немного, и, право же, он мог бы сказать...

Но нет, не буду кошунствовать: он никак не мог бы сказать того, что сейчас скажется. Однако ничто не может помешать сделать это мне – одному из тех, кто побеззаботней и кары Господней надеется избежать.

## 7

Скажется вот что: «Если Бог есть, тогда-то все и дозволено!»

Осмелясь на оглашение такой крамолы, – да еще пристроившись для этого третьим к Достоевскому и Пастернаку как бы с их великодушного разрешения, можно ли не почувствовать себя почти героически?! Да еще в наши годы модного возрождения не только религиозности, но и церковности... В общем, осмелясь на презренный атеизм, хоть произноси вслед за ранним Маяковским уже знакомое:

А там  
расстреливайте,  
вяжите к столбу!  
Я ль изменюсь в лице!  
Хотите –  
туза  
нацеплю на лбу,  
чтоб ярче горела цель?!

Но отрезвляет голос Юрия Карякина... Когда все у той же июльской стойки безалкогольного бара я высказал ему эту неэвклидову формулу, – «если Бог есть, то все позволено», – он без промедления отозвался полным согласием: «Конечно!» Это незамедлительное согласие означало, что я произнес тривиальность и меня действительно следовало бы вязать к столбу.

Можно было смутиться – втайне. Меж тем мне надо было не втайне смутиться, а въяе обрадоваться: я ведь в том и желал утвердиться, что эта формула – арифметическая, то есть на каждом шагу доказуемая самую жизнью! Впрочем, смущение мое было еще и психологического свойства. От Карякина, изнутри и навсегда обожженного Достоевским, я почему-то ожидал отповеди или ветвистых оговорок. А он – как в туза на лбу: «Конечно!»

Меж тем против ожидаемой отповеди я заготовил арифметически прозрачные доводы. Старые, как сама вера и как само безверие. Только непривычный контекст возможного спора их чуть подновлял. Но неприятия этих страниц (и допускаю, что многими!) все равно не избежать. Так что, может, все-таки заранее привести свои доводы? Для этого опрощусь до детского ясноглазия.

Всемогущий все может. Стало быть, и вседозволенность устранить в его власти, если она завелась среди людей. А коли не устранил, значит, принял на себя ответственность. Тут бы можно и остановиться. Но хочется представить, что же нам разрешает вседозволенностью соблазняться, если Бог есть?

Здравомыслие терзает четыре взаимопересекающихся довода. От самой идеи Бога. От человека. От логики. От жизни.

Довод первый... «Боже, Боже, зачем ты меня оставил?» – рвущий сердце вопрос его Сына в последней и непоправимой беде. Никогда не умолкающий, вопрос этот раздается не только со страниц Евангелий.

Всеведущий и Всеблагод – и потому достойный веры в Него – Он, очевидно, прекрасно знал, «зачем» оставил нас на Нерона, на Аттилу, на все инквизиции, чека и гестапо, на всех Филиппов Вторых, Иванов Четвертых, нумерованных Чингисханов, на Сталина, Гитлера, Мао, Пол-Пота, Хомейни и дьявола в ступе... При всей провозглашенной неисповедимости Его путей, все свершившееся – было. И, значит, замыслу и воле Его тогда отвечало.

И потому одно очевидно: все сущее в каждый данный момент дозволено Его недремлющей волей. И потому любой из нас вправе сказать: «За все, что я позволяю себе, в ответе Он. В его существовании оправдание моей вседозволенности...»

Довод второй – от человека... Вера предполагает, что Он – внимает человеку. Все неправедно содеянное можно отмолить или замолить перед Ним, поскольку невозможно превысить меру Его всепрощения. И у согрешившего не может иссякнуть надежда на снисхождение и даже награду за покаяние. Есть Чистилище. Оно хорошо чистит.

Словом, раз уж есть Верховный судья над человеком вне самого человека, всегда есть на что уповать... И каждый вправе подумать: «А отчего бы не предаться, хоть на время, искусу вседозволенности?! Раз Он есть, все в конце концов устроится».

Довод третий – от логики... У человека, как создания Божьего, бесценный дар от Него: свободная воля. (Пусть хоть отчасти.) Это – источник этических возможностей человека: свобода выбора поведения. И набор осуществимых вариантов, предоставляемых нашей воле, – от долготерпения Иова и тридцати сребреников Иуды до неразумных жестокостей детства и усталого великодушия старости, – все это тоже запрограммировано там, у Него.

Это Он сделал все практически осуществимые человеком решения – от самоубийства до людоедства – возможными: ни одного не запретил нулевой вероятностью! Создав мир этики, как вероятностный мир, – а иначе зачем бы Ему понадобилось наделять нашу волю свободой? – Бог с самого начала, с Каина и Авеля, дозволил все. И, черт возьми, был совершенно последователен: мир природы в ее атомных

глубинах Он тоже смастерил как вероятностный мир! Неважно, что это раскрылось лишь в наши дни – на тысячелетия позже, чем в мире этики: замысел был един. Вероятность универсальна!

А зачем же строгость заповедей Моисея («не убий...») и настоятельность Нагорной проповеди («возлюби врага своего...») – разве не снималась там возможность выбора решений? Конечно, не снималась: то были советы мудрого и запреты красноречивого, но не провозглашения отныне невозможного! Когда бы заповеди и проповеди делали дурное невозможным, Авель остался бы жив, а Хам не сумел бы стать хуже Яфета и Сима. Наконец, от невозможного не надо отвращать: оно и так не может содеяться – по определению. Нет-нет, оттого все этики и выдвигают свои нормы, что любые нарушения норм возможны. У этих нарушений лишь вероятность разная: отцеубийства – редки, прелюбодеяния – часты. Но только в этом и разница. И всякий вправе рассудить: если есть Ты, Господи, то мне, как раз в согласии с Твоим вероятностным замыслом, выбирать дозволено все! Ну а что я выберу, это уж – как придется...

Довод четвертый – наипростейший – экспериментальный. Жизнь ставит этот эксперимент непрерывно. Она отвечает на вопрос: разве вера в Бога кому-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь помешала добиваться эгоистически желанного? Вопрос риторический. Не помешала! Однако до вседозволенности от этого, конечно, еще далеко. Но «довод от жизни» – то же, что «довод от истории». История – просто жизнь, выпавшая в нерастворимый осадок. А статистически в этом осадке откристаллизовалась закономерность: едва только люди превращали одного из двуногих в своего земного бога, как во имя этого бога делалось дозволенным все по-человечески недозволенное. Казни невинных. Возвышение ничтожных. Травля правдивых. Поощрение лжесвидетельствующих. Ограбление нищих. Неподсудность правящих и бесправие всех... (Неужто снова поминать Сосо и всех, готившихся ему в сосунки?!)

А статистически высвечивается и другое, прекрасно известное тебе, Господи: те, кто преступал границы дозволенного, веря, что Ты – существуешь, всякий раз еще просили тебя ниспослать им успех! И скольким Небо помогало не без щедрости! И, право же, я – последний, кто удивился бы такому особничеству Неба, ибо исповедую неэвклидову формулу: «Если Бог есть, то все человеку дозволено!»

...Ах, далеко завел пастернаковский абзац про Макбета с Раскольниковым. В разговоре о религиозности оказалось трудным выговориться сполна. Может, потому, что всякий раз, когда речь заводится о Боге, я вслух храбрюсь, а про себя – робею. Откуда робость – в толк не возьму. Не оттого ли, что слово очень уж громкое – самое громкое на всех языках? Или оттого, что касаешься чуждых и недоступных тебе

глубин человеческой психологии? Или оттого, что загодя осознаешь тщету столкновений с религиозным сознанием? Одолеть его словоговорением нельзя. Дуэль безнадежная.

Убеждаешься, что твое красноречие тут ничего не стоит. Но потому и выделяешь красноречие – по закону литого сгусточка жизни, шмеля, что бьется сейчас о стекло затворившегося окна, слышно его негодующее: «А я все равно улечу!»

Красноречие создает иллюзию убедительности. И не сразу догадываешься, что это – ошибка. Красноречие кажется поэзией прозы. Не сразу осознаешь, что и это вовсе не так. Они только похожи – поэзия и красное словцо. Природа у них разная – как у зарниц и салютов. Зарницы – и с ними поэзия – произвольны. А салюты – и с ними красноречие – преднамеренны.

А может, робость оттого, что столько людей чудотворной одаренности – среди них и «мой Пастернак» – жили с идеей Бога всерьез? Они жили даже не столько «с нею», сколько «в ней», точно это была не идея, а равновеликая самому бытию реальность. И тебе, обнесенному этим богатством, следовало бы – еще раз повторю – помалкивать.

От этого – головная боль. И нет надежды на пирамидон.

## 8

...Эти схваченные кем-то сзади виски – от тягостного недовольства собой. Есть такие дни, когда устаешь от себя.

...Почему ты должен слушать, как шлепает по комнате этот господин в тапочках без задников? Надел бы с задниками, ветеран! Вот сейчас он нальет для тебя несчетную чашечку чая и забудет вынуть ложечку, торчащую, как весло в байдарке, и, как вчера, опрокинет рукавом невезучую чашечку и прокрипит: «Фу ты, черт...» И весь вечер не будешь знать, как от него отделаться. Все это очень похоже на пастернаковское юношеское ощущение, будто «живешь через улицу от собственной жизни».

...В такие угнетающие дни сварливой тяжбы с собой все валится из рук. Сначала – ложечка и чашечка. Потом – жизнь. В детстве, когда налетало такое, жаждалось перевоплотиться в кошку, что ходила сама по себе. Но теперь, в старости, неодолимо хочется жить все-таки в своей испытанной плоти. Это оттого, что живешь в любви, непрерывной, как время, и чувствуешь всю плоть, что надо жить, по меньшей мере, для одного человека, раз уж себя самого тут не берешь в расчет... Как в пастернаковских строках из Шекспира:

Измучась всем, не стал бы жить и дня.  
Да другу трудно будет без меня.

Когда в летнем Переделкине по соседству с дачей Пастернака восьмидесятилетняя Лиля Юрьевна Брик от физической безысходности, — а я видел эту безысходность, потому что навещал ее незадолго до того, — навсегда наглоталась снотворных, оставленный ею жить Василий Абгарович Катанян сказал: «Лиля, это нечестно». (Свидетельства Юлии Добровольской и Андрея Вознесенского.) Не дай Бог когда-нибудь услышать такое себе вослед — в ту тишину, где ничего не слышно... И не дай Бог самому произнести такое — в ту же тишину.

Выручает из тяжбы с собой долгий опыт существования: знаешь — это все не впервой. Как пришло, так и пройдет. Вытрется чайная лужица на террасе. Восстанет чашечка на скатерти. Ложечка поднимется торчком, как весло в байдарке. И поплывут себе дальше, может быть, зачем-то все-таки нужные фразы о Боге и человеке.

Перечитывая написанное про это, жалею, что не одолжился вовремя у «моего Нильса Бора» (такого же совершенно «моего», как Пастернак) его любимой мыслью, хотя нет у меня уверенности, что он — первый, кому пришла она в голову:

*«На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя».*

Следовало, признавая веру в Бога очень серьезной вещью, разговаривать о ней по-другому. Тонем пониже. Словами потише. Манерой поскромнее. И по возможности — без себя. Но теперь уж поздно.

Теперь будет вот что...

...Вернется с Москвы-реки моя Наташа, — Господи, как много еще, несмотря на все утраты, «моего» в окрестном мире! — вернется, как всегда, увлажненная и убаженная предвечерней рекой, и станет развешивать в зеленом малиннике на белой веревке свои русалочки причиндалы, а я, сухопутный серебряноборец, спрошу, хочет ли она послушать, что я тут написал? У нее — редактора-ветерана — следящий слух и выслеживающий ум, да еще развитое чувство жизнеспособности литературной формы. Словом, я знал, что она тотчас почувяла бы, что я шаманю, не умея выпутаться из дуэта — или дуэли? — человека и Бога. А теперь мне показалось, что выпутался. И потому решился. Но вместо чтения принялся восстанавливать течение словесной схватки — ее завязку и ожидаемый исход. Все-таки не был уверен в успехе...

Все началось, в сущности, с драматического самоосуждения Пастернака, памятным летом 56-го увидевшего себя в зеркале нашей истории: «Я человека потерял, с тех пор как всеми он потерян». Однако напрасно было это самообвинение: в искусстве своем он человека не терял. Это легко открывалось и в его стихах, и в романе, и в переводах.

И все-таки в чем-то усмотрел он свою причастность к всеобщей «порче времени»? Это достойно было бы тонкого расследования. Но

случилось так, что одновременно – в том же 56-м – обнаружилось в публикации «шекспировских заметок» его очевидное неприятие пресловутой формулы, что если Бога нет, то все дозволено, «как слишком далеко зашедшего нигилистического допущения». Нравственный мир внутри нас явно виделся Пастернаку более сложным в своих основаниях... И мне подумалось, что есть истинная зависимость между «потерей человека» и «вседозволенностью». В этом, именно в этом, ЕСТЬ то, чего НЕТ в сочетании «вседозволенности» с «потерей Бога»: есть правда прямой причинной связи!.. И, еще не додумав этого до словесного выражения, я неосторожно обмолвился, что тут прячется по масштабу «обширный вопрос». А это из говорений Свидригайлова. И потому тотчас сказалось еще неосторожней – «достоевский вопрос». И тогда без стука вошел Иван Карамазов. И поехало...

Теперь мне кажется, разговор дотянулся вкруговую до исходно желанного понимания, исключаяющего Бога:

**КОГДА ЧЕЛОВЕКА НЕТ, ТОГДА ВСЕ ДОЗВОЛЕНО!**

Это-то и назвал Пастернак порчей, которая коснулась времени. А выразить он хотел не какую-нибудь тонкую тонкость, но всеми ощущаемое зияние черной дыры в узаконенной психологии времени: утрату великодушия – утрату милосердия – утрату сострадания. И по возрастающей – в финале – просто утрату человека!

Она, эта утрата, и в самом деле привела стольких наших служителей «прекрасного-доброе-вечного» к раболепному оправданию всего по-человечески недозволенного в нормальном обществе. Она позволила когда-то подлинному гуманисту сменить свой гуманизм на призыв к уничтожению всякого, кто «не сдаётся». Максим Горький знал, что такая каннибальская «максима» будет любезна Хозяину. И дети должны были десятилетиями проходить это в школе! Вместо пушкинского «быть любезным народу» – да еще долго!

Удивительно ли: ни один советский поэт ни в какие времена не решался призывать во всеуслышание милость к падшим! И не по внутренней своей бесчеловечности, нет, а по вольному или невольному соучастию «в порче времени».

Так, может, за это – за то, что НЕ ВЫСКАЗАЛ ДОЛЖНОГО – и осудил себя летом 56-го Борис Пастернак? Еще один вопрос без однозначного ответа. И снова – обширный. Тут уж не дуэль человека с Богом, а дуэль с самим собой.

Впрочем, у Человеков с большой буквы она длится всю жизнь. О ней, я чувствую, кое-что расскажет и начинающаяся здесь –

«...ДУХУ  
ЧЕЛОВЕКА  
НЕГДЕ  
ЖИТЬ,  
КОГДА  
НЕ В МИРЕ,  
СОЗДАННОМ  
ВТОРИЧНО»

1

**В**СЕМ, – по разным мотивам, но, право же, всем – правящей партии, сочувствующему миру, страдающей культуре, литературному начальству, читающей России, – всем он бывал необходим (если поэзия бывает всерьез необходимой!) именно тем, за что его ставили в угол и выгоняли из класса: своей кривизной – своей неэвклидовостью!

И покорял он этим всего более юнцов, которым зачем-то всерьез необходима была поэзия. Его стилистическая кривизна была во сто крат драгоценней общераспространенной прямизны. Для чуть насмешливого удивления перед виртуозной умелостью у моего поколения всегда были под рукой опыты живого Семена Кирсанова. Для обалдения перед поэтической непредсказуемостью – живой Борис Пастернак. («Не добирай меня сотым до сотни...»)

...А по чести говоря, Пастернак и чистой виртуозностью легко превосходил любых претендентов на версификаторское чемпионство. Цела еще в дубовом шкафчике тетрадь «Турнир поэтов» – стеклографированное издание 29-го года. Сто пятьдесят нумерованных экземпляров. Мой – номер сто тридцать девятый.

Затяя А. Е. Крученых. В предисловии объяснение:

*«...Хотелось бы повернуть колесо истории и открыть настоящим конкурсом ряд блестящих триумфов рифм, соревнований речетворцев!..»*

## В. Маяковский – 1922:

– Учи ученых! –  
сказал Крученных».

Первым взял слово Семен Кирсанов:

Был у курицы курченок  
под названием Крученных...

Восьмым по порядку – Пастернак:

Пока мне рифмы были в первоучину,  
Я бил крюшон из них и пек драчены.  
Былой мучитель их и ныне мученик,  
Скорблю о них: спина к спине прикрученных,  
И не за тем тащу из рекрутчины,  
Чтоб в рекруты сдавать тебе, Крученных!

Замолкаю: ни один из соревнователей, а среди них – Сельвинский, Асеев, Инбер, Леонов, Олеша – ни один не побывал даже на подступах к такой вершине музыкально-осмысленной виртуозности. А о рифмах типа кирсановской (курченок – Крученых) он насмешливо заметил:

Притом не хитрость, мир зверей затронувши...  
Пройтись с тобой по линии детенышей.

Между искусством и искусностью есть различие по сути: искусство обнажает возможности личности, искусность – возможности материала. Пастернак-художник был равен Пастернаку-искуснику.

Когда-то, тридцатилетний, он написал об уже пережитых им притязаниях юности:

...Так зреют страхи. Как он даст  
Звезде превысить досяганье,  
Когда он – Фауст, когда – фантаст?  
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря  
Поверх плетней, где быть домам бы,  
Внезапные, как вздох, моря,  
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком  
Упав в овсы с мольбой: исполнься,  
Грозят заре твоим зрачком,  
Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

Потому-то юности необходимо обалдение перед выраженностью



чужой единственности: в поддержку собственных притязаний! И не имеет значения их иллюзорность. Они, эти притязания юности, работающий двигатель, пока горючее иллюзий не иссякнет.

А он (и это была вариация странной уязвимости его могучего «я»)... а он (и это выглядело как недовольство своим генетическим билетиком)... а он (и это походило на превратную самооценку)... а он тужил: «О, если б я прямой возник!» И утешал себя, если не заклинал:

Но пусть и так, – не как бродяга,  
Родным войду в родной язык.

Бесплодность своих усилий сделаться эвклидовой – общепонятней – он заметил задолго до 30-х годов.

«...Всю жизнь я быть хотел как все...» – написал он в 1923-м, когда мое поколение по младости лет не могло прочесть его трудную (ни с какою школьной поэтикой несовместимую) «Высокую болезнь», и уж, конечно, не могло удивиться странности хотения быть на одно лицо со всеми.

Вслушаемся: «Всю жизнь я быть хотел...» Да ведь это значит, что всю жизнь желанное не сбывалось. А было оно, казалось, до смешного доступным: что уж проще, чем опроститься?! Ан нет... Еще в ранней юности его удручало нечто из той же сферы весьма необычных переживаний. Помните, в 1910-м он, двадцатилетний, писал кузине: «Я боюсь... подозрения в претензии на... несходство с другими»?! А она говорила: «У Бори было красивое, одухотворенное лицо, и ни один смертный не был на него похож ни видом, ни душой». Но прибавляла, что ей «становилось душно от его признаний». (Неожиданно?!)

Ее можно понять. Совершенно уж вчуже испытываешь сегодня духоту, – буквально затрудняешься дыханием, – читая его переписку середины 20-х годов с Мариной Цветаевой. Чувствуешь себя в духовной барокамере: то разреженность надмирного неба, то давление шахтных глубин. (И это при любви к обоим – почти всепрощающей!) Может, он и сам временами задыхался от гнета своей требовательной ненормативности?

А после революции несбыточность желания «быть как все» стала чудиться ему знаком несовместимости с эпохой провозглашенного народовластия. Знаки этой несовместимости проступали отовсюду... Но однажды – и это надо высказать с абзаца...

Но однажды, в начале 20-х, в пору «Высокой болезни», его осенило, что несовместимостей-то скорее всего и нет: открылось, что само время в его революционной необычайности – тоже не-эвклидово, не-тривиально, не-общепонятно!.. И строфа со строкою-жалобой целиком звучала в «Высокой болезни» так:

Всю жизнь я быть хотел как все,  
Но век в своей красе  
Сильнее моего нитья  
И хочет быть, как я.

Грандиозное случилось открытие: век (он), или время (оно), или эпоха (она) захотели быть такими, каков был поэт!

«Сильнее моего нитья» означало – сильнее моих докучливых жалоб на неисполнимость желания «быть как все».

## 2

Кажется, вся необыкновенность этой строфы не бывала оцененной по достоинству. Едва ли хоть один художник отважился на провозглашение себя желанной моделью для современной ему исторической жизни: она – «хочет быть, как я»!

Право слово, это было посильнее, чем три знаменитых «Памятника» – Горация, Державина, Пушкина – по крайней мере, по нескромности. Впрочем, он сам не мог тут почувствовать никакой нескромности, потому что пребывал отнюдь не в приступе самовосхищенья. Напротив – в приступе горьковатого иронизирования над своей чертовой неэвклидовостью. Она давала повод «милым людям революции» видеть во врожденной кривизне его «песен», как съязвил он по этому случаю, выражение скрытого противостояния эпохе.

Это оскорбляло. Это вынуждало к гордыне самоотстранения. И недаром незамеченному критикой четверостишьем, где век хотел бы ему уподобиться, предшествовали шесть других – затасканных критикой – строк:

Я не рожден, чтоб три разá  
Смотреть по-разному в глаза.  
Еще двусмысленней, чем песнь,  
Тупое слово – враг.  
Гошу. – Гостит во всех мирах  
Высокая болезнь.

Так получалось, что и само наше время, – раз уж хотело оно быть его подобием, – тоже гостевало в истории. Да и всякая революция была для истории гостем. И «во всех мирах» – трудным гостем, ибо она, революция, всякий раз оказывалась Высокой болезнью истории. И по той же поэтической логике, она, как Высокий гость, вторящий автору, тоже рождалась не для того, чтобы смотреть в глаза по-разному. Были тому неумолимые прецеденты:

Моралью в сказочной канве  
Казалась сказка про конвент.  
Про то, что гения горячка  
Цемент крепче и белей.  
(Кто не ходил за этой тачкой,  
Тот испытай и поболей.)

Гением, чья революционная горячка была в неистовстве своем побелее белой и цементно скрепляла взорванное время, был тут означен Ленин. Это неоспоримо. Почти через тридцать пять лет в автобиографических «Людах и положениях» Пастернак написал о Ленине словами той строфы 23-го года:

*«...Он с горячностью гения, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир...»*

Только образ каторжной «тачки» разъясняюще заменился «кровью и ломкой». А в том прозрачном напоминании о французской революции прочитывалась укоризна: за словом «мораль» таилась мысль, что надо было из кровавой «сказки про конвент» извлечь исторический урок нравственного спасения!.. Возможно, тридцатитрехлетний Пастернак действительно думал об этом в своем Христовом возрасте. Однако верно и то, что думал он не только об этом. Мораль представляла перед ним не в бытовой, а «в сказочной канве», соединявшей бесчеловечную низость террора с высокой человечностью легендарных помыслов революции. Потому-то: «Кто не ходил за этой тачкой, тот испытай и поболей!»

Сей влекущий мотив революции, – трагически возвышающий над всеми бедами жизни, – Пастернак услышал еще за шесть лет до «Высокой болезни». Он услышал его двадцатисемилетним, в своем лермонтовском возрасте, когда летом 1917-го писалась «Сестра моя – жизнь». Там, словно бы намеренно, ни разу не нашлось места для слова «революция». И нашлось, кажется, лишь один раз – для прилагательного «революционный». Но тем же летом он писал еще и «Драматические отрывки», а в них по-шекспировски изъяснялись Сен-Жюст и Робеспьер. Особенно замечательно – Сен-Жюст, превращавший идеи в чувство:

...Кто им сказал, что для того, чтоб жить,  
Достаточно родиться? Кто докажет,  
Что этот мир – как постоялый двор.  
Плати постой и спи в тепле и в воле.  
Как людям втолковать, что человек  
Дамоклов меч творца, капкан вселенной,  
Что духу человека негде жить,  
Когда не в мире, созданном вторично...

И дальше – словно бы в упоенном следовании Гамлету, точно он,

Пастернак, уже начал вести бессмертную параллель между собой и принцем Датским («я... играть согласен эту роль»), а заодно стал уже готовиться к будущему переводу трагедии:

Как спать, когда рождается новый мир,  
И дум твоих безмолвие бушует,  
То говорят народы меж собой  
И в голову твою, как в мяч, играют,  
Как спать, когда безмолвье дум твоих  
Бросает в трепет тишь, бурьян и звезды  
И птицам не дает уснуть...

Эти «Драматические отрывки» так переполнены были поэзией исторического бытия человека, что непросто понять, отчего Пастернак не включил их в «Сестру...». Известно, что в дарственной надписи Асееву на титуле той книги он признался:

*«Я одно время серьезно думал ее выпустить анонимно; она лучше и выше меня».*

Ему представлялось, что его указанное авторство затемняет истинное авторство книги, продиктованной самим революционным временем – необыкновенным летом 17-го. Но вот ведь что бросается в глаза: ни об одном стихотворении того лета нельзя было бы сказать этого с бóльшим правом, чем о «Драматических отрывках»! Их всего два – законченных. И оба в самом деле написаны как бы под диктовку событий за окнами его комнаты. А второй к тому же, – какое символическое совпадение! – дописывался в июле, меж тем как изображалась в нем ночь с девятого на десятое термидора, то есть, по нашему календарю, именно июльская ночь – с двадцать пятого на двадцать шестое... Сознал ли это термидорианско-июльское совпадение Пастернак? Дорогого стоило бы проведать это. Но видно и слышно, как остро сознал он вещи посущественней:

...Век пройдет  
...в архивах,  
Пытливость поднесет свечу к тому,  
Что нынче нас сплит, живит и греет,  
И то, что нынче ясность мудреца,  
Потомству станет бредом сумисшедших.

Каково, а?! Мы ведь уже из потомства. Век еще не прошел, а свеча пытливости разгорается все неумолимей...

Может, оттого Пастернак и оставил оба отрывка за пределами книги, что диктующий голос революции слышался в них слишком явственно – как бы независимо от сердцебиения самого поэта? Вся книга была единой метафорой, выраженной ее заглавием, а прямое вторжение исторической темы эту метафоричность разрушило бы: необъятно ши-

рокое «жизнь» сузилось бы до злободневного – «революция»!.. Понимаю – хочется возразить: почаще бы случались такие «сужения»! Но это говорит в нас с детства внушаемая псевдоистина, будто «общественное» содержательнее «личного». Общественному надо еще углубиться в ущелья личного и пробраться на его одинокие высоты, чтобы стать достоянием искусства, а затем уж и нашей души.

Когда бы Пастернак действительно решился выпустить «Сестру...» анонимно, – как позднее осуществил эту идею Маяковский с поэмой «150.000.000», – ему, вероятно, пригодились бы «Драматические отрывки». Они открыли летом 17-го глубинную духовную связь Пастернака с революцией. Не партийно-политическую, а всечеловечески-творческую связь.

Глазами Сен-Жюста он увидел на постоялом дворе истории противостояние необыкновенного человека обыкновенному. Обыкновенному довольно платить за постой, ради тепла и воли. Необыкновенному – в безмолвии его бушующих дум надобно пересоздание самого постоялого двора.

...Духу человека негде жить,  
Когда не в мире, созданном вторично.

(Какой упрямый у Пастернака мотив «второго рождения»!)

С вдохновенным сочувствием к этой жажде пересоздания мира – к бессоннице птиц – к ясности мудреца, что покажется потомкам бредом сумасшедшего, – словом, с признательностью к революции за все, чем она «спит, живет и греет», написал он «Драматические отрывки». И в завершение их, на вопрос Робеспьера – «ты каешься?» – пастернаковский Сен-Жюст отвечал:

Далек от мысли. Нет.  
Но летопись республики есть повесть  
Величия предсмертных дней. Сама  
Страна как бы вела дневник загробный...

Эти строки попросились на бумагу в июле-термидоре 17-го, когда совершавшаяся революция еще только понуждала предвкушать будущую «сказку про конвент». А в «Высокой болезни» – спустя шесть лет – «дневник загробный» велся уже не «как бы»:

В сермягу завернувшись, смерд  
Смотрел назад, где север мерк,  
И снег соперничал в усердьи  
С сумерничающею смертью.

Образ мира как постоялого двора истории подразумевался и здесь, раз уж поэт заявил себя гостем эпохи. И естественно, сей гость был из

разряда необыкновенных постояльцев – тех, что не могли уснуть в часы «рождения нового мира». Да, вот представьте непредставимое: Пастернак сам находил в себе Сен-Жюстовы черты!

В первом варианте «Высокой болезни», опубликованном Маяковским в ЛЕФе, после памятной афористической строфы –

Однажды Гегель ненароком  
И, вероятно, наугад  
Назвал историка пророком,  
Предсказывающим назад, –

после этой без конца повторяемой строфы шло никогда не вспоминаемое самонаблюдение Пастернака:

Теперь сквозь строй его рапсодий  
Идут герои напролом.  
Я сам немножко в этом роде  
И создан под таким углом.

Позднее он удалил эти строки из поэмы, но они не ушли из истории его жизни в Истории.

Среди многих других, тоже исчезнувших из лэфовского варианта мест, было в «Высокой болезни» еще одно напоминание о временах Конвента:

И – в капоре пурги тогдашней,  
Сквозь мглу распахивались нам  
Объятия Сухаревой башни  
Простертые, как Нотр-Дам.

И в переключку с сен-жюстовской презрительной строкой о «тепле и воле», как уделе обыкновенной жизни, звучала в поэме прочувствованная строка, о «тепле и боли болезни высшей», как уделе необыкновенной жизни. И это был автобиографический мотив в лирическом эпосе.

Наверняка не замеченная им самим, как человечна была в тех размышлениях о времени замена через шесть лет «тепла и воли» – «теплом и болью»! Из закоулков памяти высовывается сейчас пленительное восьмистишие Владислава Ходасевича, в начале тех же 20-х годов помянувшего шесть лет войн и революций. Но ему пришел на ум не Конвент, а леди Макбет. И прозрачно-ясные его строки наполнил иронически-элегантный трагизм:

Леди долго руки мыла.  
Леди крепко руки терла.  
Эта леди не забыла  
Окровавленного горла.

Леди, леди! Вы как птица  
Бьетесь на бессонном ложе.  
Триста лет уж вам не спится.  
Мне лет шесть не спится тоже!

А рядом – тоже бессонница:

Как спать, когда родится новый мир,  
И дум твоих безмолвие бушует...

Вот дьявольское богатство истории не идей, а людей: полярность одновременных переживаний Истории в одной среде! Двум бескорыстным поэтам в одни и те же ночи на одном и том же земном прибежище не спалось по противоположным причинам: Ходасевичу – от знобящего предчувствия гибели старого мира, Пастернаку – от знобящего предчувствия рождения мира нового.

И это – не публицистика. Не критическое красноречье. Это – почти документ из хроники «Человек в Истории».

Революции приходилось трудно: чуть не всякий ее день всходил на крови и каждые сутки выглядели «предсмертными». Но Пастернака потрясала «неземная новизна этих суток». Потом он еще открыл в революции «историческую исключительность...чрезвычайность... редчайшую достопримечательность».

Впрочем, такой виделась она ему с самого начала. А всего ярче он выразил это там, где всего менее следовало ожидать от него не то чтобы приверженности к Высокому гостю истории, а хотя бы оправдания его, как Высокой болезни века: в «Докторе Живаго»! Каждой страницей романа взывал он к чуду – к надежде, что в разрушающей стихии революции уцелеют, пройдя через все испытания, две величайших человеческих ценности – любовь и одаренность... Когда-то, – задолго до новомирского скандала и нобелевского триумфа, – мне случилось выписать из рукописи «Живаго» немало достойных чеканки строк. И среди них – вот эти:

*«...Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к постройке новых: ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница.*

*А тут, нате, пожалуйста... Это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато... в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по*

*городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое».*

Эти строки поражают и сейчас – через сорок лет после первого чтения: полные вопиющего вне-историзма, они неотразимо портретировали переживание революции как житейского свершения. Такое переживание не было въяве дано моему поколению – оно пребывало еще младенческим в дни и Февраля, и Октября. Но, взрослея, мы, очарованные, ощущали чуть ли не реальным событием собственной жизни это гениальное КРУШЕНИЕ ОБЫДЕНЩИНЫ.

Оно невытравимо записалось в наших душах. И мы виделись себе живыми свидетелями сего крушения, ахнутого в самый разгар курсирующих по Москве трамваев, на подножках которых нам и посчастливилось (или – не посчастливилось?) стартовать в Историю.

### 3

Пожалуй, я добрался до истока нашей очарованности. А верно или не совсем верно то, что размыслено тут о Пастернаке и революции, можно не обсуждать. На самом деле мне хотелось только растолковать, – и прежде всего самому себе! – как разгадывали его мы, неэвклидовы юнцы из поколения очарованных. Неэвклидовы – это значит не выравненные средней пионерско-комсомольской добропорядочностью.

Разумеется, мы не бились в приступах литературоведческой учености. И наши споры шли без этих многословных параллелей – без соотнесения цитат и дат. Да и накрутить то, что сейчас тут накручено, было бы в 30-х годах попросту невозможно.

...Неоконченные «Драматические отрывки» с Сен-Жюстом и Робеспьером прятались в забытом повременном издании 18-го года «Знамя труда» и до 65-го повторно не публиковались.

...«Доктор Живаго» не был еще написан. А «Люди и положения» еще не могли быть написаны.

...Разве что первый вариант «Высокой болезни» был доступен юноше из Бригады Маяковского, поскольку он владел выпусками ЛЕФа, тогда еще не слишком раритетными.

...А самое главное: в 30-х годах еще никого не могло лихорадить приступами пастернаковедения. Он для этого не годился – был слишком жив!

Хоть и переваливший за сорок, он был меняющийся и непредсказуемый, как волны под ветром, с которыми ему захотелось сравнить свою жизнь во «Втором рождении». Эти пастернаковские волны катились и



в наших – зреющих – душах, словно мы были взрослее, чем полагалось по возрасту.

Передо мною волны моря.  
Их много. Им немислим счет.  
Их тьма. Они шумят в миноре.  
Прибой, как вафли, их печет.

.....

Гуртом, сворачиваясь в трубки,  
Во весь разгон моей тоски  
Ко мне бегут мои поступки,  
Испытанного гребешки.

Их тьма, им нет числа и сметы.  
Их смысл досель еще не полн...

А может, не в нашей взрослости тут было дело? Юность потому повышенно отзывчива на тревожную музыку зрелого существования, что ее собственный смысл для нее заведомо не полон. И может быть, быстро сменяющиеся волны испытанного в юности потому всего чаще шумят в миноре, что недобирают нами же предписанной им крутизны. И наверное, никогда не бывает такого разгона тоски, как в юности, оттого что тоска – это нескончаемый мост между желанным и достигаемым. А в ранние годы жизни как смириться с этой нескончаемостью?! Как смириться даже просто с равнодушной равномерностью времени?! Хорошо вспоминала любимая кузина БЛ – Ольга Ф.:

*«Я была молода, и самая вечность мне казалась привлекательной при условии ее непродолжительности».*

Не оттого ли по преимуществу в юности становятся самоубийцами и революционерами, чемпионами и террористами... От неодолимого нетерпения – от тоски во весь разгон... Впрочем, лучше остановиться.

А я вот о чем: как же нам было не довериться поэту, когда он словно бы глазами нашей впечатлительности видел в своей взрослой жизни еще и нашу, только взрослеющую, и сам полагался на нашу – резонирующую – понятливость?! Мы и доверились!

И нам казалось – были понятливы.

Вот я позволяю себе говорить «мы», а меж тем в начале пообещал говорить лишь от своего «я». Не из скромности. Просто по неверию в добропорядочность памяти. А еще – из опасения услышать от сверстника: «Что это ты от моего имени разговоришься! Все мы, одною меткой меченные, как белье для машинной стирки, тем не менее были размерными и разноцветными. Так что поосторожней, приятель!» Стараюсь, стараюсь... Но тут я – только о добропорядочности памяти.

Память – домашний пес: вечно смотрит на тебя с преданным ожиданием, потом срывается со всех четырех за брошенной палкой и возвращает ее тебе из неразберихи десятилетий, как радостную находку,

и еще ликует всем хвостом, услужливо делая вид, будто осталось незамеченным, что палку-то сейчас забросил ты сам. Такие игры с собою – простительны, потому что бескорыстны. Но как играть чужою памятью? Как закидывать палку от имени поколения? Не поднимается рука: палка – тяжела, чужие псы – непослушливы.

И когда я – все-таки! – осмеливаюсь говорить «мы», то сразу прикидываю, а много ли было среди нас, размеренных и разноцветных, еще и неэвклидовых? Прикидка подкидывает непреходящее воспоминание: вечер Пастернака в университетском клубе на углу Моховой поздней осенью 33-го или 34-го года...

Тут уже рассказывалось, как однажды стайка университетских студентов не отпустила Пастернака в полуподвальном коридоре под клубной сценой, а она, застолбленный на месте нашим знанием его текстов, смеясь и отнекиваясь, начитывал нам «куски из старого». Это было финалом как раз того осеннего вечера.

Конечно, наша стайка была поголовно неэвклидовой. А были мы все будущими математиками, химиками, биологами, физиками, географами. Только не филологами и не журналистами – таких факультетов не существовало в тогдашнем МГУ. Возможно, затесалась в ту стайку парочка ифлийцев. Остальные профессиональным литературным любопытством не жили. Или – еще не жили, как я сам, один из них, в ту пору – студент-естественник. И как мой давний, до- и вне-университетский друг Вальдик Кузнецов. Словом, мы являли собою стайку пернатых, летевших разными маршрутами. И сообщая, не сговариваясь, крутились вокруг Пастернака, как птицы кружатся над одинокой, но щедрой лодкой, откуда пригоршнями наугад взлетает в воздух хлебное крошево (возвышенно, но похоже).

Толчее под сценой предшествовало двух- или трехчасовое соло Пастернака на сцене в переполненном зале. Разумеется, зал взрывался аплодисментами, но не единым порывом, а островками. Это живо помнится, потому что досаждало.

Мы с Вальдиком Кузнецовым плюс три-четыре моих сокурсника были одним из вулканирующих островков: начинали бешено хлопать за полстроки до окончания стихотворения. Нас одергивали смирно слушающие рядом, а мы огрызались, ощущая себя знатоками, а их невежественной толпой. И не скрывали своего пренебрежения: явно они привалили на Пастернака, как привалили бы и на Жарова. Ради похвально-повального, но безличного поветрия тех лет – «повышать свой культурный уровень». Или ради извечно-светского «быть в курсе».

То наше стихо-сектантство было самонадеянно и невежливо, как любое сектантство. Но не говорить же о нем с осуждением? Оно было чище чистого. Конечно, порою оно отдавало игрою в избранность. Но

снова – не осуждать же? То была игра без ставок: ничье чужое достоинство в ней не проигрывалось. Только свое – утверждалось. Отец Вальдика Кузнецова, консерваторский профессор истории музыки, человек очень сдержанный, однажды при мне страшно обрадовал сына неординарным одобрением.

– Есть музыканты, – примерно так сказал он, – при которых опасно насвистеть полфразы из Верди: подхватят на память и заставят слушать их до конца. А многие ли подхватят любые полфразы Дебюсси?.. Наш Вальдик умеет это с вашим Пастернаком. Молодчина!..

Но скажу не про один тот вечер и не только про студенческую среду. В читательском море существовал архипелаг пастернаковских островков. И он вовсе не был элитарно малочисленным. Когда бы не мрачность параллели, можно бы его окрестить – «Архипелаг Пастернак». И то, что он не исчезал, а множился на карте духовной жизни наших молодых поколений, когда-нибудь высоко оценит историк культуры.

Может быть, он вот что поймет: эти мальчики и девочки, взрослея, задавали в своем окружении, а становясь мамами-папами, передавали своему потомству некий повышенный уровень одухотворенности. Или – интеллектуальности. Бессистемной, но всеохватывающей. Беспредметной, но всепроникающей. Та невесомая одухотворенность – интеллектуальность – не приносила знаний, для дела необходимых. Она выглядела совершенно бесполезной для строителей Магнитки на пастернаковском Урале или для проходчиков метро в пастернаковской Москве. Однако ипостаси нашей разноликой эпохи вели свой гамбургский счет. Были высоты выше горы Магнитной. Были глубины глубже станций метро. У качелей истории-жизни-природы обнаруживался никакими планами не запланированный разлет. Это как в третьей из пушкинских «Вариаций» Пастернака:

Мчались звезды. В море мыслились мысы.  
Слегла соль. И слезы высыхали.  
Были темны спальни. Мчались мысли.  
И прислушивался сфинкс к Сахаре.  
.....

Море тронул ветерок с Марокко.  
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.  
Пльгли свечи. Черновик «Пророка»  
Просыхал, и брезжил день на Ганге...

Мы качались на этих качелях – во весь их разлет. Качались, завоженные необъятностью открываемого поэзией мира и ненасытностью воображения художника. Не поддавалось ни перечислению, ни экзамену то, что узнавалось нами. Тут был бессилен счетоводческий стиль нашего Хозяина-скотовода: «шесть условий», «четыре причи-

ны», «три вывода», «две стороны» (а потом еще «десять ударов» и тэ-дэ и тэ-пэ) – семинарское пифагорейство для насильственно и добровольно умо-заклоченных. А мы не были в умо-заклучении! Или, по крайней мере, знали лазы на волю в сторожевой ограде...

Трудно тут даются ясные определения. Но в этом, трудноопределимом, и состояла неоценимая ценность пастернаковского вклада в нашу одухотворенность. Или еще по-другому: неоценимая ценность бесполезного и безгрешного пастернаковского начала в нашей одушевленности.

#### 4

...Когда на том вечере стихи отзвучали, Пастернак стал отвечать на вопросы. Окончилось наше сектантское всезнайство. Теперь мы с соседями поменялись ролями. Вольничали они, а мы негодовали. Нас держало с закинутыми головами взнузданное внимание: не пропустить бы в его ответах хоть слово! И потому на границе нашего островка разыгралось маленькое происшествие. Вполне забавное...

Прямо перед моим Вальдиком Кузнецовым юный дылда в ковбойке все привставал и ораторски выкидывал руку, будто чувствовал себя на броневике. Он выкрикивал архиглупые подначки, вроде: «Ого-го!», «а еще что?», «ур-ра!». Все это рассчитано было на обожающие взгляды и прысканье студенточек ошую и одесную дылды. Мы свирепели: «Заткнись!» Он не слушался. Последней и довольно громкой его подначкой было: «Ид-деалист!» Тут широкогрудый Вальдик, обычно невозмутимый, опустил ему на плечо мощную руку и с такою силой усадил на место, что материалист промазал мимо сиденья. Уже снизу до нас донеслось: «Выйдешь на улицу, сволоочь, поговорим!» А Вальдик с бешеным спокойствием отозвался сверху: «Поговорим-поговорим, а пока, чтоб тихо было, яс-сно!» И стало тихо.

А в тишине... (ах, наверное, память выгодно связывает тут воедино два разрозненных момента того вечера, но велика ли беда?)... в тишине снова зазвучал для нас гулос Пастернака:

– Да-а, да-да-да, эта записка – об идеализме. Она против меня! Я прочту ее целиком.

Он прибавил что-то благодарственное «за прямоту изобличения» и стал читать, не сдерживая коротеньких приступов внезапной смешливости, словно попутно прихлебывал нечто горячее и вкусное. Конечно, той записки мне не воспроизвести, даже пародийно. Но помню, что Пастернак «идеалистически приписывал объективной действительности» личные «мелкобуржуазные мнения», поскольку у него «какой-то арум не просил у болота милостыни»... Ответ был короче записки, и мы его потом повторыли «в лицах», защищая БЛ на тогдашний обычный

энгельсовский лад, как «стихийного материалиста». Могу воспроизвести тот замечательный ответ с почти магнитофонной точностью:

— ...Вы не виноваты, когда думаете, что для идеалиста внешний мир не существует. Нет, вы не виноваты. Но хочу уверить вас — мир существует! Даю честное слово... (веселый вскрип). А какой-то арум — это не говорящее животное, как полагает автор записки, а болотное растение... Простите меня!

И всё!.. Взрыв нашего ответного смеха, как и аплодисменты, снова был островным.

Но подумать только — я рассказываю это как занятную историйку полувековой давности, не более того! Славный анекдотец, не так ли? Отчего же за ушами — то ли жарок, то ли морозец? Благо ходкой Истории: интеллектуальные мальчишки-девочки нынешних лет уже не поймут — отчего это температурят уши у рассказчика? А это — от стыда забывчивости!

Слова меняют не столько словарное значение, сколько историческое звучание: какое от них раскатывается эхо, зависит от социального рельефа жизни вокруг. Сегодня беззлобно-академическое слово «идеалист» звучало в 30-х опасным клеймом. Оно услужливо вертелось в соседстве с застеночными — «оппозиционер», «малOVER», «оппортунист», «вредитель»... Оно было из политиканского словаря, а вовсе не из философского. И в любой день могло послужить сигналом к расправе. Вся штука в том, что сверх вялых эпитетов «объективный» или там «субъективный» идеализм обзавелся судьбодробительными — «махровый», «поповствующий», «меньшевистствующий». «Ах, ребята, — мысленно говорю я еще живым университетским ровесникам, — мы же это все проходили! «Уд.» и «отл.» получали за это в зачетных книжках!»

...Это ведь как раз о ту пору одареннейший Георгий Гамов — ленинградский однокашник и старший друг Льва Ландау, но на беду еще и внук одесского епископа, — остроумец и смелый теоретик, уличаемый нашими догматиками в физическом — всего лишь физическом! — идеализме, нервно вычислил вероятность своей будущей посадки и, убедившись, что она равна единице, то есть неминуема, постарался в 34-м году не вернуться из парижской командировки, дабы превратиться потом в Джорджа Гамоу — «американского физика», как сообщают наши (!) энциклопедии, — щедро прибавить людям понимания мега-, микро- и биомикро природы, а под конец спиться от классической эмигрантской тоски... Такое вот эхо, бывало, раскатывалось от слова «идеалист» на том рельефе жизни.

О, Марбург 15-го года! О, неокантианство! О, Герман Коген! О, все эти напрасные пустяки!.. Пастернак в своей юности проходил совсем не то, что мы в своей. Но в зрелости знал все наше получше нас: он не отметки получал, а удары. Отчего же так беспечально смеялось ему на

том вечере в нашем клубе – в бывшей университетской церкви великомученицы Татьяны? И отчего столь же беспечально вторили ему наши преданные островки?..

Впрочем, из чего же следует, что беспечально? Верно, что улыбочиво, но совсем не весело сказал он – «вы не виноваты...». И сам невиновный, зачем-то все-таки просил простить его. За что? А был он из разряда тех наших интеллектуалов, кто всегда ощущал себя хоть в чем-нибудь да виноватым перед догмами эпохи. Пусть хоть в наималейшей малости, но виноватым! Из этого разряда еще живыми и никуда не девшимися – ни в эмиграцию, ни в лагеря – были тогда Андрей Белый, Ахматова, Булгаков, Олеша, Бабель, Мандельштам, Платонов... Их-то, вечно без вины виноватых, всего более чттили-любили и защищали в спорах неэвклидовы ребята из поколения очарованных. Это могло бы даже сойти за определение их юношеской неэвклидовости.

Сильнейшим доводом в защиту Пастернака была у нас в обращении строфа из недавнего «Второго рождения»:

В родстве со всем, что есть, уверясь,  
И знаясь с будущим в быту,  
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,  
В неслыханную простоту...

И его странно-шутливое «простите меня!» (за непонятную милостыню от болота?) прозвучало для нас на том вечере новым обещанием неслыханной простоты. Ей-богу, совсем просто все выглядело! И особенно – после двух его ответов на записки с обращением «дорогой», будто спрашивали старые знакомые. Кратчайшие те записки запомнились благодаря еще более коротким, мгновенно снимающим проблему, ответным его восклицаниям.

Спрашивалось: «Дорогой Борис Леонидович, можете ли Вы логически раскрыть каждую Вашу строку?» Следовало молниеносное:

– Ах, нет! Каждую в отдельности я не р-раскрою!

Спрашивалось: «Дорогой Борис Леонидович, почему Ваши ранние стихи такие непонятные?» Следовало без раздумий:

– Ах, да это потому, что они – р-ранние!

А может, и впрямь не надо усложнять прожитое? Однако ведь не для затуманивания смысла, а ради ясности прибавил он к строфе о неслыханной простоте нечто совсем не простое:

Но мы пощажены не будем,  
Когда ее не утаим.  
Она всего нужнее людям,  
Но сложное понятней им.

Что это могло означать? Отчего «неслыханную простоту» безопасней было бы утаивать? И отчего нам «сложное» понятней? Перечитаем

внимательно: «неслыханная простота» – от чувства «родства со всем, что есть». Такое чувство родства – источник бесхитростной правдивости. Она – правдивость – и есть простота. Но жизнь устроена так, что открытость делает человека уязвимым. И потому простота – ересь. Ее надо утаивать: прямоту – правдивость – открытость надо ради самозащиты вооружать ложью общепринятых хитростей.

Они-то всем понятны и оттого безопасны... «Сложность» так и надо расшифровывать: это то, что «с ложью». И загадочное «но сложное понятней им» становится совершенно прозрачным, не правда ли?

На том клубном вечере он простоты – открытой прямоты своей! – не утаивал. И зримая его беспечальность, пожалуй, действительно была беспечальной: так уверенно и свободно он держался! Соображаю задним числом: он тогда был застигнут нами на одном из гребней его колеблющегося доверия к ходу нашей истории. (Можно даже заключить, что вечер происходил вероятней всего не осенью 33-го, а осенью 34-го – вскоре после 1-го писательского съезда, где Пастернак был «героем дня»). Следующему пику его доверия – «Новому совершеннолетию» – предстояло вырисоваться в 36-м. Это уж перед черным провалом 37-го...

А мы, его островитяне в клубном зале, доверяли тогда, кроме хода истории, еще и ему.

И уверенность нашей повадки была как бы удвоенной. С тем мы и расположились в эпилоге вечера на тротуаре – у выхода из клуба – в ожидании компании дылды, пообещавшего Вальдику «поговорить на улице».

Мы долго там маячили, предвкушая стычку под аркой Зоологического музея наискосок (не драться же у освещенного подъезда). Но, вероятно, слишком затянулось после вечера наше общение с Пастернаком в коридоре под сценой – аудитория успела разойтись. А возможно, материалист смотался от греха подальше... Так или иначе, жаль: было бы что вспомнить! «Драка из-за Пастернака» – это славно звучало бы... Особенно, если вообразить, что препроводили бы нас в «Никитскую часть» и допросили бы там: «Из-за чего нарушали?» – «Что за пастернак – огород, что ли, разоряли?..» И предметно обнаружилось бы, какая это всесветная иллюзия: незарастающая народная тропа, всяк сущий в ней язык, и долго буду тем!.. И, кстати, уж прояснилось бы окончательно, какой несуразицей было давнее уверенье виновника шума, будто «век хочет быть, как я»: стражи порядка на улицах века, право, не стали бы в это вникать.

И тут, как нельзя более кстати, может начаться следующая

*Глава,*

*для которой было у меня припасено название – «Неэвклидова»...*

«...СТУЧАТСЯ  
ОПАВШИЕ  
ГОДЫ,  
КАК  
ЛИСТЬЯ,  
В САДОВУЮ  
ИЗГОРОДЬ  
КАЛЕНДАРЕЙ»

1

**К**огда дождливым олимпийским летом 80-го года исполнилось двадцать лет со времени ухода Пастернака и как «под знаком беды» затеялось это сочинение, у нас еще не было книг о нем. Не исчезало чувство, что «ведение» его трудов и дней живет на уровне «слуховедения» – поры неизбежной и замечательно плодоносной в любом «имяведении», но все-таки лишь предварительной.

Однако пока неспешно и свободно писалась, – без малейших помыслов о публикации, – эта произвольная книга, фигура Пастернака стала бронзоветь с поразительной стремительностью. И нынче она уже видится на постаменте в обители диссертационной классики, куда доступ, как на Новодевичьем, по пропускам...

Нет, правда, скоро уже нельзя будет подступиться к нему с вольнописанием – без ученой степени в кармане и компьютерного дисплея на столе. Надо ловить последние для дилетантизма счастливые денечки, пока он еще не расчислен вдоль и поперек. Впрочем, личность, судьбу и творчество не расчислить вдоль и поперек. Поэтому счастливые денечки никогда не иссякнут совсем. И современнику, право же, стоит рассказывать о былом: для ведения темы «Пастернак и мы» всегда останется прибыльток.

...Итак, докладываю: одна кулачная стычка из-за Пастернака все-таки случилась. Но не в студенческие мои времена, а раньше. Кабы это имело значение, можно бы даже ее датировать с точностью до двух недель. Неплохо для попадания памятью в прошлое из полувековой дали! А дело в том, что есть две опорные даты в апреле 1932-го, между которыми и случилась та маленькая стычка друзей. И то, что связалось



с каждой из этих дат, оставило в памяти во сто крат более глубокий след, чем дарапина пустяшной мальчишеской драки в промежутке. Так что о них-то, об этих датах, тут и рассказ.

В писательском клубе – бывшем «доме Ростовых» на Поварской – Борис Пастернак читал «Второе рождение». Это и было событием первой апрельской даты. Но не только это...

...В начале 30-х годов толпы московских ребят ходили в Музей изобразительных искусств поглазеть на огромную диковинную птицу, прилетевшую к нам то ли из времен Икара, то ли из будущих времен: на рукотворную птицу художника Татлина. Убежденный, что человеческий род произошел не от земноводных, а от летающих, Татлин решил вернуть людям некогда утраченное – крылья для полета. Он изучал рисунки Леонардо, наблюдения Лилиенталя, сопротивление материалов. Он был убежден в научной обоснованности своего «Летатлина». Человек необыкновенной ремесленной умелости, он извлекал из дерева то, что в нем, казалось бы, вовсе и не заключалось: текучую ручьистость. Под его рукой оно словно бы приобретало сверх своей природной плавучести новое свойство – полетность. И зрелище татлинской конструкции с распростертыми крылами было такое, что глаз не оторвать!

В высоченном зале с микельанджеловским Давидом, странно соразмерным с этой птицей, все обсуждали: «Полетит или не полетит?» И ответ каждого зависел от склада его души. Мне хотелось настаивать: «Конечно, полетит!» Всезнающий малый, я наслышан был, что Татлин – из футуристов. Этого было достаточно для доверия ко всему татлинскому по происхождению. Его называли «русским Пикассо», одни – с восхищением, другие – с издевкой, и под этим прозвищем сведущие исподтишка указывали на него нам, несведущим ребятам, когда он дежурил в музее возле своего детища, точно боясь, что оно улетит...

Разумеется, ничто не предвещало юнцу будущего близкого знакомства с Владимиром Евграфовичем – неравноправной по возрасту, но сердечно-доверительной дружбы с ним, человеком ни с кем не схожей повадки. Однолюб во всем, он в поэзии предан был только Велемиру Хлебникову, а тот еще в 16-м году назвал его «тайновидцем лопастей... из отряда солнцеловов». О Маяковском Владимир Евграфович отзывался односложно, но так, что это звучало сложно. А о Пастернаке молчал. Ничего враждебного и ничего сочувственного. Когда я начинал по памяти что-нибудь пастернаковское, он, выслушав, произносил: «А теперь внемли сему» – или: «Этому вонми». И тоже по памяти глуховато прочитывал что-нибудь хлебниковское, особо любимое, как строки о мыслях-облаках из «Зангези»:

... Они голубой тихославль.  
Они голубой окопад.  
Они в никогда улетавль.  
Их крылья шумят невпопад...

И вот, представьте, татлинский Улетавль был распластан под лепным потолком того зала в «доме Ростовых», где в начале апреля 32-го Пастернак читал «Второе рождение»! По сравнению с музейным залом на Волхонке то был пустяковый залишко. Но жаль, что его уже давно не существует, хотя старый особняк по-прежнему цел. Система перегородок превратила правое крыло исторического дома в набор комнатушек для аппарата Союза писателей. Зайдя туда по делу, никак не подумаешь, что тут, бывало, громко звучали стихи и бесшумно парила сотворенная художником плоть для полета.

В тот пастернаковский вечер зал был туго набит. Но мы – группка ребят из Бригады Маяковского – пробрались туда неостановимой ватажкой: для нас, непримиримо «левых» в искусстве, Пастернак был, безусловно, «свой». И нам не нужны были пригласительные билеты, чтобы загодя занять хорошие места. Помню, как довольно было приподняться и вытянуть руку, чтобы коснуться пальцами черного мяча: это свисал над нашими головами прикрепленный к потолку, как люстра, Летатлин – мячи служили ему чем-то вроде колесного шасси. Для нас, маяковистов, конечно, и Татлин был «свой»: по слову Маяковского – «гениальный художник». И в довершение нашего юношеского счастья весь вечер сидел перед нами на сцене «свой» Мейерхольд. Он сидел боком к залу с неизменностью фигуры на египетской фреске и весь вечер тянулся к Пастернаку стремительным профилем...

И над всем этим – парила необыкновенная птица.

Можно ли такое забыть?

Много лет спустя у меня был случай косноязычно припомнить в присутствии БЛ, как мне в юности повезло, если я впервые слушал его под крыльями Летатлина. Наверное, сказалось это излишне мечтательно, что ли, в общем – не так, как надо. БЛ громко и словно бы спеша предварить еще что-нибудь избыточно красивое, быстро проговорил:

– Да-да, но ведь он не летал, не правда ли? – и засмеялся. – Только стихи умеют быть такими же ненужными... Нет-нет, я не то хотел сказать. Давайте говорить о другом!

И был разговор о другом... Однако об этом после. А тут надо вернуться к апрелю 32-го. В тот пастернаковский вечер оченьгодились для истории литературы наши молодые ладони и молодые глотки.

Возможно, Пастернак прочитал тогда все «Второе рождение» насквозь! – столь долго и сладостно длилось чтение. Аплодисменты порождали все новые и новые стихи, а для начавшейся сразу же шумной

дискуссии не хватило времени, и ее продолжение было перенесено на другой вечер. Там нашей компании уже не было. Однако мы вдосталь наплодировались и накричались на вечере первом.

Нас тогда влюбил в себя, – непрочно и ненадолго, но влюбил! – Всеволод Вишневский. Большую часть вечера он видится на председательском месте рядом с Пастернаком. Нелепейшее, надо признать, было соседство! Круглоголовый крепыш, круглолицый и круглоглазый, в застегнутом наглухо кителе, восторженно ораторствующий, митингово актёрствующий, он абсолютно не годился Пастернаку «в связку». Но как он о нем говорил! Каким преклонением перед громадой пастернаковского дара расцвечены были его слова! Не знаю, успел ли он напечатать те свои словоизлияния. Но мы бешено ему хлопали, когда он сказал на моряцкий манер, что взял бы Пастернака с собою в бой. А может, на абордаж... (да-да, на абордаж вражеского корабля!).

...Когда же он был искренен – в тот ли вечер, или через пятнадцать лет в своем редакторском кабинете, с тем же неистовым актерством требовавший от двух критиков травли БЛ? Я был одним из тех критиков, а происходило это в атмосфере погрома, начатого Алексеем Сурковым в 47-м на страницах «Культуры и жизни». Храбрый моряк очень боялся, как бы его журнал «Знамя» не потонул в гнилом болоте абстрактного гуманизма. И вопрос о его искренности лишен смысла: вдохновенное политиканство не бывает иным, кроме как искреннейше живым...

А жаждущих травли Пастернака было довольно и на том вечере в «доме Ростовых», где оказался у БЛ такой неожиданный адвокат в тельняшке. (Нет-нет, тельняшки не было видно, и абордаж я тут, возможно, причинил от отвращения.) Но с того вечера память безошибочно доносит окающее ораторство молодого Суркова. Мы шумели, враждебно слушая его. Однако в разных концах зала он располагал и поддержкой. Все горячились. Сыпались реплики. А нам, пристрастно сочувствующим БЛ, еще передавалась взвинченность Вишневского. Была минута, когда полетела к сцене фраза: «Наши поэты пишут лучше!..» И Вишневский негодующе взорвался навстречу: «Кто это – ваши?! Имена!!» Смех вспенился по всему залу.

А мы потом в своей компании не раз вспоминали ту развязную фразочку и гадали, кто ж это те, что «пишут лучше»? Гадали – составляли табели о рангах. Еще немногих зная в лицо, мы спорили, кто из «комсомольских поэтов» присутствовал на вечере. И устраивали соревнование удручающих цитат из Жарова, Алтаузена, Суркова, дабы установить – кто «лучше»?.. Словом, игра с той злополучной фразой веселила. И все бы хорошо, но однажды...

Однажды мой приятель, к Бригаде Маяковского непричастный, но

упрямо писавший стихи лесенкой, прослышав о нашей игре, с вызовом сказал: «А что?! Ясное дело, мы пишем получше Пастернака!»

Признаюсь, я опешил от неожиданности. Сдавленно переспросил: «Ты что сказал?!» И когда он повторил, врезал ему кулаком по уху. Не затрудняясь доводами. Он дал мне сдачи. Затем мы схватились – пятерня в пятерню. И остыли.

Не буду называть его имени. Он довольно широко известен в своей профессиональной области. Нам вместе уже сто сорок с хвостиком! В те времена, по взаимной мальчишеской привязанности, он мне снисходительно прощал кривизну, я ему – прямизну. Но должен сознаться, не чувствую себя задним числом праведным судьей. Опыт жизни стал постепенно совпадать с опытом истории. Нынче хочется каяться в кулачных доблестях, даже мальчишески оправданных... (А что – разве не очевидно, что вlepить ему следовало?)

...Теперь ясно: та стычка не могла случиться раньше пастернаковского вечера «с Вишневым и Сурковым». И чтобы сошлась моя календарная арифметика, я звоню Евгению Борисовичу и спрашиваю – отмечена ли в хронике выступлений его отца нужная мне дата? И слышу ответ почти мгновенный:

– Вечер был шестого апреля, а продолжение одиннадцатого...

Ну а про вторую дату, позже которой наша маленькая драка приключиться не могла бы, мне и не надо ни у кого спрашивать. Это – 23 апреля 1932 года! День истинно исторического события в нашей культуре. Непросто представить себе: происшедшее в коридорах власти – где-то высоко и далеко, это событие, как незримый обвал в горах, услышано было во всех ущельях столичной общественной жизни – сутолоки – суеты – сумятицы – суемыслия – суесловия... (выбирай любое на «су» – по вку-су). Всего же замечательней было, что тот обвал не означал разрушения. И эхо его не звучало грозным... Напротив, напротив! Оно и в наших ущельях утихомирило на время все разноречья и непримиримые пристрастья.

Историческое событие имело два названия. Одно – скучно-бюрократическое: «О перестройке литературно-художественных организаций». Второе тоже бюрократическое, но не скучное: «О ликвидации РАПП!» Об этой-то ликвидации говорили все. С наслаждением!

## 2

Тот воскресный благовест раздался в утренней «Правде» 24 апреля. Свидетельствую восемнадцатилетний: ликование было если не всеобщим, то всеинтеллигентским. Ибо всеинтеллигентским было многолетнее отращивание к Ассоциациям пролетарских писателей – ВАПП

(Всесоюзной), РАПП (Российской), МАПП (Московской)... Это отвращение начиналось с самого термина «пролетарский писатель»:

– Что за аттестация для пишущего книги?! – говаривал мой отец-инженер, любивший надежды революции. – Не хочу читать пролетарские поэмы. Предпочитаю Гомера...

Его приятели по преферансным сборищам в нашем доме, интеллигенты разномастные, но неподдельные, злословили над разными бедами и глупостями нашей жизни. Литература была их постоянной жертвой. А скорее – полем сочувствия. Аркадий Ефимович М., некогда учитель моего старшего брата, финансовый деятель, веселый игрок и неустанный каламбурист, сдавая карты, невинно спрашивал меня, следившего за игрой: «Деточка, зачем же твой Владим-Владимыч перед смертью сделал такой ЛЯП – вступил в РАПП?» Зная, что я, оскорбленный маяковист, отмолчусь, он тут же отвечал сам: «Довели, деточка, доляпали!». И разъяснял партнерам: «Это у них в РАППе главного заведующего называют Ляпой, поскольку он Леопольд...»

В то воскресное утро – 24 апреля – отец, поползав безнадежно близорукими глазами по газетному листу, стал дозваниваться до Аркадий-Ефимыча: хотел выведать закулисные детали крушения литературно-пролетарского деспотизма. АЕ был в незапомнившемся родстве и дружбе с соседскими семьями – писателя Якова Окунева, чья известность была тогда на взлете, и Александра Аникста, чья известность была еще впереди. Десятиэтажный утес бывшего «Дома холостяков» Нирзее в кривой расселине Большого Гнездниковского, где все они жили, – и где цыганский театр «Ромэн» сменил в полуподвале «Летучую мышь», а на самой верхотуре готовился прилепиться под плоскою крышей скворешный лабиринт «Советского писателя», – этот еще до-революционный, до-моссельпромский небоскреб с детства завораживал своими нескончаемыми коридорами и пологими лестницами и чудился обителю затаившихся московских новостей непубликуемой важности... Как нетерпеливо топтался я возле облокотившегося о стену отца, ожидая, когда снова водворится на рычаге телефонная трубка и я смогу названивать приятелям, пересказывая все сенсационное, что сию минуту узнал отец-инженер у друга-финансиста об ошеломляющем событии в литературе... Но ничто не запомнилось, кроме одной отцовской фразы: «У них там все десять этажей гудят!» А когда после полудня я примчался на воскресную пульку у Марии Алексеевны, влезть в игру мы не смогли: то и дело появлялись «на пять минут» коллеги Сергея Георгиевича Кара-Мурзы (юристы) и друзья Андрея Гончарова (художники), и всем кружило голову все то же литературное событие...

Легко понять: оно не было просто литературным!

Забрезжило просветление далей. Политическая небывальщина.

Огромный гаечный ключ сделал поворот не в ту сторону. Может, он и дальше будет отвинчивать, а не завинчивать?

Вечная надежда нашей интеллигентной интеллигенции!

Не так уж важно, что одна ее часть всегда с иронией посмеивалась над этой надеждой, как над иллюзией, а другая часть всегда в охотку воодушевлялась этой надеждой как реальностью. Еще менее важно, что оптимизм всегда выглядел при этом глупее пессимизма. Но бесценна была сама неодолимая никаким террором потребность дышать и двигаться вольно. Или хоть повольнее, раз уж вольно почему-то нельзя! Такая потребность – вольничать в слитном мире мысли и чувства – тогда была, как и сегодня, более верным признаком состоявшейся интеллигентности, чем любая академическая образованность.

Все догматики и фанатики – в религии, философии, науке, искусстве – все, уверенно знающие «что надо» и «как надо», всегда бывали попросту недостаточно интеллигентны и недостаточно живы! Так телеграфные столбы, хоть и гудят, но мертвы. Не цветут и не плодоносят. На своих линиях они передают друг другу через живые леса и доли повелительное одно и то же. А зеленый шум и дыханье пространства им только помеха.

И вот – в тот пригожий апрельский день – вдруг оборванные провода! Да еще на какой линии... Да еще кем оборванные... И впрямь – небывальщина...

Но зачем эта публицистическая высоко-художественность?

А затем, что вчуже вообразить немислимо, что произносилось и печаталось вапповцами-рапповцами-мапповцами «от имени и по поручению»! Даже если на самом деле это и не бывало «по поручению», они-то уверенно сознавали себя проводниками партийно-государственной воли.

...Когда в начале 80-х умирал интеллигентнейший интеллигент Сергей Ермолинский, ровесник века, он часто и всегда печально заговаривал о второй – неопубликованной – части своей мемориальной книги про Михаила Булгакова. Там тюрьма и ссылка, тюрьма и ссылка. Ему не верилось, что эту часть когда-нибудь удастся напечатать.

Сживая возле его последнего дивана, я старался отвлекать-развлекать Сережу вопросами о ретро 20–30-х годов. А как-то спросил про 40-е – тюремные его годы; полюбопытствовал, встречал ли он «там» осужденных литераторов? И услышал в ответ:

– Случился один бывший рапповский вождь. Разумеется, не более виноватый, чем я. Измученный, озлобленный, тяжелый человек. Звероватый нелюдим. Из нашего общенья ничего не вышло. Вардин... Илья или Илларион...

От удивленья я с места вскочил:

– Не может быть!

– Чего не может быть? – еще удивленной спросил Сережа.

Действительно, восклицания глупее нельзя было бы придумать. Я объяснил, что накануне – и все из-за этого сочинения – перелистывал одну политкнижечку середины 20-х годов, и как раз имя Вардина, «Ильи или Иллариона», возбуждив внимание, наполнило душу гнетущим чувством. И вот – как сон в руку – Сережино: «Нелюдим в тюремной камере...» Точно я выпросил у этой тени дважды явиться на протяжении суток!.. Я начал было возбужденно пересказывать кое-что выписанное из той книжицы, но Сережа устало меня остановил:

– Не надо, друг мой, не стоит... я знал все это в натуральную величину.

А выписалось черным по белому вот что:

*...9 мая 1924 года на Советствии по литературе в ЦК с заключительным словом выступил от имени ВАППа Вардин. Он попросил позволить ему «привести поучительную цитату» из эсеровской «Воли России». И прочитал:*

*«Коммунизм проходит различные стадии. Сперва он добивался побед материальных. Он связал подданных обязательной одинаковостью действий. Тогда и оказывала неоценимые услуги чека внешняя. Теперь он желает... сковать всю Россию, а потом и весь мир, цепью одинаковости мысли и чувства. Для этого потребовалась чека внутренняя». Дочитав цитату, вождь ВАППа сказал: «Эсеры правильно поняли нашу задачу. Они правильно поняли, что государство и духовно нужно сковать... Литературная чека нам необходима. Товарищи, это нужно понять».*

Всего поразительней показалось: «Товарищи, это нужно понять!» Как будто э т о можно понять! Взъерошила сознание еще и дата: 9 мая 24-го. Три с половиной месяца после смерти интеллигента Ленина! Неужели э т о было внушено его тенью?

А кроме того: для нас-то, нынешних, 9 мая – День Победы! И в этот именно день из глубины века: «Государство духовно нужно сковать!» Тоже победа – не над фашизмом, а самого фашизма. И почти одновременная с пивным путчем в Баварии!

Этими-то мрачными сопоставлениями хотел я повеселить уходящего Сережу, отсидевшего свое просто за близкую дружбу с Булгаковым! – когда он устало и тихо заметил: «Друг мой, я знал это в натуральную величину».

...Знал это в натуральную величину и Пастернак. Годом позже, в 25-м, он высказался об этом в натуральную величину. Тогда постановлением ЦК были слегка укрошены диктаторские притязания рапповских вождей. Но не более, чем слегка. Пастернаковский отклик на то

постановление был напечатан в «Журналисте» и потом никогда у нас не перепечатывался. Мне-то он сейчас достался без труда все из того же архива-коллекции Анатолия Тарасенкова. Среди прочего Пастернак написал в своем неэвклидовом духе:

*«...Культурной революции мы не переживаем, мне кажется, мы переживаем культурную реакцию. Наличие пролетарской диктатуры недостаточно, чтобы сказаться в культуре. Для этого требуется реальное пластическое господство, которое говорило бы мною без моего ведома и воли и даже ей наперекор. Этого я не чувствую... Эпохе вменили в обязанность жить в виде воплощенного общения. Все мои мысли становятся второстепенными перед одной, первостепенной: допустим ли я или недопустим? Достаточно ли я бескачественен, чтобы... радоваться составу золотой середины?.. Философия тиража сотрудничает с философией допустимости. Они охватили весь горизонт. Мне нечего делать. Стиль эпохи уже создан. Вот мой отклик.*

*...Художнику неоткуда ждать добра, кроме как от своего воображения... Главное же, я убежден, что искусство должно быть крайностью эпохи, а не ее равнодействующей...»*

Как меняются исторические времена! Сегодня выглядит удивительным, что такой отклик был опубликован как написан: без оглядки на чиновничье недовольство Вардина или Авербаха (заставлявших искусство быть «равнодействующей эпохи»). Но право же, мы сейчас преувеличиваем рапповскую власть по инерции: так рисуется история 20-х годов нашему приструненному мышлению. А весной 32-го этой власти и вовсе пришел конец.

...Всё помнится теплая отрада того воскресенья – 24 апреля, совершенно согласная с отрадой официального сообщения на газетной полосе.

*Ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей...  
Объединить всех писателей, поддерживающих платформу  
Советской власти, в единый союз...*

Сразу видно: вместе с концом РАППа пришел оргконец и всем другим литературным течениям, дожившим до 30-х годов. И хотя к этим течениям принадлежали многие выдающиеся мастера, все они были «писателями без власти». От скольких из них мне случилось слышать потом, что чувство обретенного равноправия было несравненно сильнее сожаления об утрате групповой обособленности. Иные думали по-иному. Но так уж всегда: социальные радости и социальные горести не бывают одновременными у всех.



Мило вспоминать, с каким чистосердечием откликнулись на происшедшее мы, тогдашние юнцы, еще не успевшие испытать собственных мытарств литературного свойства. В этом «мило» нет иронии. Ничего сладостней не придумать, чем жизнь в чистосердечном согласии с ходом истории: тогда и сама история выглядит чистосердечной!

Поколение очарованных взросло в первой половине 30-х вполне простодушно. По крайней мере – городское. Оно кое-что знало о бедах деревни. Но только кое-что. И это называлось классовой борьбой. Столица знала скудость жизни. И это именовалось праведными жертвами ради индустриализации. Мы знали карточки, но не знали голода. Столица не подозревала о геноциде в деревне. Нигде не произносилось об этом ни слова.

...Появлялись той весной на нашем асфальтовом дворе серолицые женщины без возраста в тускло-коричневых домотканых хламидах. «Погорельцы...» – говорила наша дворничиха тетя Саша и сама показывала этим несчастным квартиры, «где подадут». Был случай, когда я открыл на глухой стук, – а у нас был звонок, – увидел два огромных глаза на женском лице, двух малышей у порога и крикнул маму, а женщина дернула узел на препоясывавшей веревке, хламида разошлась, и во весь рост обнажилось ничем не прикрытое, гипсовое, тишайшее тело, и мама у моего плеча повелительно сказала: «Уйди!» – и в свой черед позвала из глубины квартиры нашу нянюку Татьяну Михайловну, дачно ставшую членом семьи, и вдвоем они стали во что-то обрядать и кормить погорелку с двумя молчаливыми детьми...

Хочется сохранить и не брать в кавычки слово – «погорельцы». Тогда верилось в него. А на самом деле тем разоренным пришельцам из неизвестных глубин страны кем-то было велено или присоветовано называть себя не иначе как «погорельцами». Тогда это не приходило в голову. И не тетя Саша выдумала это слово. И моя мать в ту версию верила. Когда через год, в 33-м, она уехала вместе с отцом на Урал, в ее письмах нет-нет да раздавался вопрос: «Приходят ли еще погорельцы?» А один раз просто: «Не приходила ли еще та погорелка, помнишь?» И только позже – ближе к 37-му, стала появляться догадка, что то были обманные псевдонимы... До Москвы потаенно добирались жертвы не деревенских пожаров, а совсем иного зла – исторического...

Да, у поколения очарованных к началу 30-х еще не подгнила вера в историческую честность сталинской воли. Высокость помыслов государства виделась самоочевидной: разве не была она завещана нам пострадавшими поколениями правдолюбцев?! Мы не искали умыслов, а допытывались только замыслов. И кривды жизни не путались в нашем

ощущении мира с новизной-кривизной Истории – эйнштейновской метафорой ее небывалости.

Беды и кривды искренне считались пережитками прошлого: одни достались нам от феодализма, другие – от капитализма, третьи – от военного коммунизма. Все дурное не принадлежало самой эпохе! И потому – не пятнало ее исторической сути... Ну, совершенно так, как несчастливые силуэты девочек-проституток на Петровских линиях 30-го года не пятнали тот мой сентябрьский вечер первого обалдения от стихов Пастернака, когда по выходе из читалки Герцена я на мгновение опрометчиво прописал среди этих силуэтов фигурку моей однокашницы Люси Рамзиной, чей высокоученый отец, оказывается, уже сидел в распропадающей тюрьме...

Нет-нет, все дурное еще не пятнало в наших глазах исторической СУТИ эпохи, а все хорошее еще мнилось воплощением этой СУТИ. И мы радовались ликвидации РАППа без злорадства – с правозверным торжеством.

... Чудный воскресный вечер 24-го собрал нашу компанию на Гоголевском бульваре – у Евгения Долматовского, чьи почтенные родители ушли в гости. Кроме семнадцатилетнего Жени припоминаю четверых: моего ровесника Алексея Кара-Мурзу, едва переваливших за двадцать Ярослава Смелякова и Александра Коваленкова и самого взрослого из нас – Исаю Рахтанова, в свои двадцать пять уже известного детского писателя, автора широко читавшейся повести «Чин-чин-чайнамэн», добрейшего человека с экзотическими странностями, вроде вегетарианства, которого Лев Кассиль называл «Исай Лидуич»... (Леша Кара-Мурза уверял меня недавно, что были еще двое наших однолеток-приятелей, но я их «не вижу» в том эпизоде.)

А затеяли мы телефонный розыгрыш свергнутого генсека РАППа Леопольда Авербаха на тему Маяковского: «Которые тут временные – слазь, кончилось ваше время!»

Не поразительно ли: даже у тех из нас, чья прикосновенность к литературе была еще совсем поверхностной, нашелся свой антиавербаховский сюжет. Помню собственный. Я был тогда свеженьким – недавно выбранным – председателем запальчивой Бригады Маяковского, созданной кураторами его Выставки Артемием Бромбергом и Виктором Дувакиным. И вот той весной Выставке Маяковского в Литмузее Ленинской библиотеки стало грозить закрытие. Почему? А потому, что экспозиция, красиво начинаясь на спиральном взлете парадной лестницы музейного особняка, только наверху уступала место Выставке Горького. Директор получил предупреждение, что ведет себя политически безграмотно: гнилой либерализм – вынуждать посетителей проходить на Выставку великого пролетарского писателя через Выставку мелкобуржуазного бунтаря! (До сталинского «лучший, талантливей-

ший», к несчастью, вводившего Маяковского, по слову Пастернака, «как картошку при Екатерине», оставалось еще три года.) Естественная версия называла имя предупреджанта: РАПП – Леопольд Авербах... Какими только словами мы его не честили! Мягчайшим было «горьковский задолбиз». Мы вообще соглашались с Маяковским: стыдно было Алексею Максимовичу «лысинку южной зарей озарять» в благополучных краях, а надо было в великолепно бедственной России «сердце отдать временам на разрыв»!.. То была апология инфарктов, которые нам, мальчишкам, еще не угрожали. (Между прочим, само слово «инфаркт» еще не бытовало тогда в языке.)

Идея досадить Авербаху розыгрышем в исторический день его крушения обростала вариантами. Выбрали, пожалуй, самый тонкий: сочувственный звонок от Бориса Пастернака – от беспартийной «крайности эпохи»! И принять сочувствие недопустимо, и отклонить невежливо... Надежда была на мое пародирование голоса Пастернака. Оно всегда удавалось.

Легко узнали телефонный номер Леопольда Леонидовича. Абонент был дома. Все началось хорошо... Он поверил в подлинность звонка немедленно:

– Да, я вас слушаю, Борис Леонидович! Здравствуйте, здравствуйте, нет-нет, не помешали – ну что вы!

Дальше могу пародировать только собственную пародию, как делал это в несчетных хвастливых пересказах. (А может, еще где-то прячется в старых бумагах запись того розыгрыша и всего случившегося после: отчаянно жалевший, что его не было с нами, такой записи потребовал от меня Толя Тарасенков. Но пережила ли она войну – не знаю. Часть моих писем к нему – пережила.)

– ...Леопольд Леонидович! – сказал я взбудораженным голосом Бориса Леонидовича. – Не удивляйтесь моему порыву. С той утренней минуты, когда домашние прочитали мне счастливое постановление правительства...

– Не правительства, Борис Леонидович, а Центрального Комитета, дорогой Борис Леонидович. Но я вас слушаю... – позволил себе прервать меня, Пастернака, он, вчерашний генсек.

Возникло секундное замешательство. Однако оно, по-видимому, только усилило правдоподобие розыгрыша.

– Ах, ну как же это в самом деле! – продолжал пастернаковский голос. – Меня ввели в заблуждение и выставили неучем! Да-да-да, так о чем я?.. С той утренней, всех осчастливившей минуты мои мысли потянулись к вам... По своей врожденной несговорчивости искусство не может даже в такой день заискивать перед небрежностью истории – перед ее забывчивостью и неблагоприятностью к

*тем лицам, которых она сама же с несудимой произвольностью выбирает себе в любимцы... Вы из их числа. И мне представилось, как нескончаемо длится этот весенний день для вашей попоранной искренности, которую я всегда ценил на расстоянии, не соглашаясь с точкой ее приложения... Мне захотелось высказать вам слова понимания, не дожидаясь, пока огорошенная весной Москва станет ночной и сделает невозможной такую простую вещь, как телефонный звонок сочувствия... И как раз то, что вы менее всего могли бы ожидать его от меня, заставило, наконец, мою руку отбросить запреты и поднять трубку... Простите еще раз. Надеюсь, мы найдем случай поговорить обо всем этом яснее и на равных... Спокойной ночи!*

Наболтавшись в таком, вполне пастернаковском стиле, я остановился. Заговорил Авербах. Подражать ему не буду – ничего не получится. Он благодарил за звонок и – к полному моему оцепенению! – предложил встретиться прямо завтра.

– Да-а, да-да-да... в самом деле... вы правы... – забормотал «Пастернак», сляясь сообразить, что же теперь делать? Сегодня я бы добормотал: «Простите, мне надо открыть дверь...» И мы сообща нашли бы за полминуты лучшее решение. Но тогда я глупо добормотал: – Конечно! Откладывать нет нужды! Буду рад, если вы меня навестите...

Клянусь, я уверен был, что домой к Пастернаку он не пойдет. А он мгновенно согласился прибыть в назначенное время по указанному адресу. А мы все вместе знали лишь одно: Пастернак обитает на Волхонке во дворе Комакадемии – в самом непастернаковском месте Москвы! Это там – «огромность квартиры, наводящей грусть». Знать бы еще ее номер!.. А Леопольд Леонидович тотчас об этом осведомился, сказав, что дом-то знает прекрасно. И я ляпнул наобум: «Девять, квартира девять...»

Есть такой детский тест на умственные способности: надо назвать одно из нечетных чисел меньше десяти – гений называет единицу, а дурак – девятку. Оттого, что я оказался дураком, конец того розыгрыша превзошел его начало. Борис Леонидович пригласил Леопольда Леонидовича – как бы по-братски – пожаловать завтра к двум часам дня. И в поту с головы до пят повесил, наконец, трубку.

Бросились к телефонной книге. Проверили адрес БЛ. Все сошлось: Волхонка, четырнадцать, квартира девять! (В ту пору телефонные справочники еще давали и полные адреса.) Господи, как мы хохотали... Оставалось провести финал. Это уверенно пообещал Ися Рахтанов. Он дружил с писателем из «Перевала» Борисом Губером, а тот приятельствовал с Пастернаком... Но таким кружным путем не скоро

все могло узнать. И мы с Женей решили быть на завтра около двух часов у ворот Комакадемии.

Без четверти два я приехал на Гоголевский. Оседлали велосипед Женькиного брата Юры. Поехали – Женя на раме – через Воздвиженку. Не помню, что помешало более короткому пути по Знаменке (улице Фрунзе). Но из-за этого устроилось дорожное происшествие. Поворачивая на Моховую, – там, где нынче подземный переход к Александровскому саду, – я легонько врезался в буфер внезапно затормозившего трамвая. Свистки, угрозы, советы... Словом, когда мы примчались на Волхонку, было уже начало третьего. Неужели опоздали?! Мы долго там кружили – Авербах не появлялся. Поругивая друг друга, покатали обратно на Гоголевский, но сомневаясь, что бывший генсек одумался и просто не приходил.

...А дня через три захлебывающийся голос Рахтанова по телефону. Только что Борис Губер рассказал ему про невероятное происшествие: в минувший понедельник к Пастернаку явился сам Авербах! Днем – без предупреждения!

Подробности выглядели примерно так... Не ждавший решительно никого, Пастернак обомлел, увидев на пороге невозможного гостя. Подумал, что случилась какая-то беда. Но гость сиял и попросил удостоверить, что он точен: сейчас ровно два – как они и условились. Пастернак возбужденно спросил, есть ли у Авербаха маленькие дети. И, не дожидаясь ответа, стал бурно говорить, что произошло очевидное недоразумение... он ни с кем не мог уславливаться о встрече... и живет уже в другом месте... а здесь никого не вправе пускать за порог: в доме карантин – его малолетний сын Женя болен скарлатиной!.. И перед оторопело молчавшим Авербахом закрылась дверь.

...Так вот почему мы зря крутились у ворот Комакадемии: мы опоздали и к приходу, и к уходу доверившегося такому простому розыгрышу грозного литературного вождя. А сейчас я прикидываю: черт возьми, ему же было тогда только двадцать девять лет! Не в этом ли объяснение азартной доверчивости?

Потом были постскрипумы к той забавной историйке. Более существенные, чем она сама. А два из них – даже драматичные.

#### 4

Прошло десятилетие. Была прифронтовая Москва. Канун 42-го года. Шумная ночь у Павла Антокольского. Отчего-то бездомный, Александр Фадеев у него на дружеском постое. Радости декабрьского наступления на фронте углубляют печали расспросов о погибших в окружении писателях-ополченцах. Нам с Пашей Железновым, однополчанам, – хлебнувшим, но уцелевшим, – не дают умолкнуть. И

вдруг – неистово возбужденный Павел Григорьевич крепким кулачком по столу: «Хватит этого! Д., расскажи-ка лучше Саше ту историю с Авербахом!»

Можно ли было не смутиться до немоты? Хоть и пригласивший меня как молодого критика вступить в Союз писателей и удвоивший свою подписью рекомендацию Антокольского, Фадеев не был для меня ни «Сашей», ни «Сан-Санычем», а со всеми гласными и согласными «Александром Александровичем» – добрым знакомым из разряда «сильных мира сего». Лицедействовать перед ним, пародируя Пастернака... – это было немислимо. А главное – Авербах! Его давний соратник – «разоблаченный враг народа»! Его имя с 37-го года было неизносимо всуе. Действовал молчаливый уговор покуда что благополучных современников – читателей и писателей: о литераторах, погибших не в окружении, а в лагере, не убитых, а расстрелянных, вслух не говорилось вне тесного круга. Меж тем у Павлика Антоколя в тот вечер сидели на стульях и на полу не только близко знакомые. Я давился немотой. Но Фадеев жизнерадостно вскинулся: «Какая, знышит, история? Давайте... смелее!» И я осмелел.

Напрасно раньше истратились слова – Господи, как мы хохотали! Фадеев хохотал почти обморочно и все приговаривал: «Есть ли у вас маленькие дети?» Не скажу, мелькнуло ли тогда в голове то, что мелькнуло сейчас: а может быть, то действительно был смех еще и сквозь слезы? Ответить некому.

...Этот первый постскриптум уже написался, когда зимним вечером оказался у меня давний добрый друг Лев Левин – живое напоминание о рапповладельческой эпохе. Его красивая седина свидетельствовала: могли еще жить-поживать и его всесокрушавшие шефы – те баловни ранней истории революции, что от ее имени баловались судьбами литературы. Теперь бы они ходили в почтенных старцах или безнадежных склеротиках. Но почти по всем по ним раньше старости прошлась извечная расточительность революций – закон превращения баловней в жертвы. Был он сформулирован, как известно, еще в Конвенте жирондистом Верньо: «Революция, как Сатурн, пожирает своих детей». Странный написанный закон непредсказуемого возмездия.

Я спросил Льва Левина, известно ли, как окончил свои мытарства Леопольд Авербах, разумеется, никакой не «враг народа». Ответ был краток: «Константин Симонов говорил мне, что Авербах в 1939-м бросился в пролет тюремной лестницы».

...Знал ли уже об этом Фадеев в 41-м, когда, хохоча в опьянении, приговаривал сквозь слезы: «Есть ли у вас маленькие дети?» И могло ли ему хоть на осколочек мгновенья вообразиться, что через полтора десятилетия – в 56-м – он тоже не найдет иного выхода из безвыходно-

стей грешной души и бросится в свой пролет смерти – застрелится на свободе...

(Интересная у нас история литературы, а? Вся поперек исходных начал и вер. Строптивная – и слева, и справа, и сверху, и снизу. И потому – вечно живая!)

...Мы только-только просмотрели на видео «Ностальгию» Андрея Тарковского (тогда еще запретную у нас). Медленно завораживал фильм о человеке, потерявшемся в самом себе. Можно и по-другому – о человеке, потерявшемся в ненужном ему мире. Можно и совсем просто, но бедно: о неодолимости ностальгии на чужой стороне по своей стороне. Бедно это потому, что мы живем не в пространстве, а в пространстве-времени. Ностальгия никогда не убывает, а накапливается, как само время. Легко ли, трудно ли, но ее можно изжить в пространстве: вернулся с чужбины – и вся недолга!.. Но как изжить ее по четвертой координате? Во времени некуда возвращаться.

То, что подсовывает память, только как бы реальность: там не передвинешь стула, не исправишь глупости, не пойдешь куда глаза глядят... А человеку зачем-то надо в окоченевшее былое возвращаться. Снова накатывает пастернаковское о душе:

О, внедренная! Хлопоча об амнистии,  
Кляни времена, как клянут сторожей,  
Стучатся опавшие годы, как листья,  
В садовую изгородь календарей.

Хочется достучаться. Зачем? Похлопотать об амнистии за все грехи? Да. Но еще существенней: хочется продлить себя нынешнего назад. Это поиски хоть и отрицательного, а все-таки долголетия, поскольку положительное – продление себя вперед – совсем уж не в нашей власти...

## 5

Потом был второй постскрипtum – послевоенный.

Осень 47-го. Распропаше-радостная Москва вернувшихся и дождавшихся. Недождавшихся, да живых. Растянувшееся похмелье Победы. Не знаешь с утра, где приземлишься вечером. Где и с кем? Все от случая и доброй воли, а добрая воля – у всех. В общем, поехали, надо только маму предупредить по телефону, чтобы в обозримое время не ждала... Вот так в осенний день с одной особой приметой, – а какой, об этом чуть ниже, – после конца рабочего дня на десятом этаже недавно припоминавшегося «Дома холостяков», где приятель мой Анатолий Тарасенков с лета заведовал поэзией в «Советском писателе», а я под-

визался редактором, мы с ним приземлились в семейной обители его жены Маши Белкиной.

...Какое живописное это было место! Точно понарошку изготовленное для мемориального макета старенькой Москвы накануне ее исчезновения. Одноэтажный, а потому необременительный для покато скользящего вкось Конюшковского переулка, тот белкинский домик зацепился на коленном повороте тротуара за столетнее дерево, обнял его ствол углом прихожей и выносом крыльца да так и остался с ним в паре понаблюдать напоследок за высотной судьбою греховной Кудринки. Это дерево, чья крона выглядела неизвестно откуда взявшейся, это дерево... это дерево... – как бы пристроить его к моему рассказу посодержательней? С надеждой на нечаянную подсказку звоню на Лавруху Марии Белкиной – последней былой обительнице того обезлюдившего уголка:

– Послушай, Машенька, что за дерево протыкало ваш дом в Коношках? Не береза ли?

– Ты что! Какая там береза. Настоящий тополь!

Это звучит как «настоящий Врубель». Вот еще и так морочит голову ностальгия вдоль четвертой координаты мира: даже деревья в былом кажутся мечеными. Маша продолжает о тополе, как о состарившемся родственнике-бедолаге:

– Знаешь, я недавно была у него. Еще стоит, но совсем высох. Будешь ехать мимо, навести старика...

Вот: еду мимо и навещаю. «Послушай, – молча говорю я, пытаюсь вообразить, где могут быть у тополя уши, – ты, старик, ведь и вправду меченый: изо всей тополиной Москвы тебя единственного однажды помянул Пастернак в сердечной дарственной надписи, полной значения. Тебе этого довольно для славы, а мне – для оправдания». – «В чем?» – удивляешься ты. «Да в том, что я тут вспоминаю своего многогрешного друга Анатолия Тарасенкова дружелюбно. И не трачусь на обличения. Ты, старик, – молча продолжаю я, – конечно, помнишь его, голенастого и белобрысого, разводившего в доме ремонтные запахи столярного клея и обойного клейстера. Но он не столярничал и не малярничал. Тебе из прихожей не видно было, как свободными вечерами он доната раздевал невзрачные стихотворные книги, чтобы приодеть их в новенькие одежды. И бывал при этом демократичен: ничтожеством доставались одеяния не беднее, чем великим. Смотря что подворачивалось под руку – ситец или парча, полотно или шелк. В общем, русской поэзии хорошо жилось в его домодельно-матерчатых переплетах...»

Он был книжником-маньяком. Знатоком-коллекционером. Библиографом-наркоманом. И как все, одержимые целомудренной страстью, был он то безоглядно отважен, то панически пуглив. Отважен –



когда ставил на полку запретное: эмигрантское издание или сборник посаженного поэта. И пуглив – когда в пору очередной литературной проработки начинали расходиться круги по воде. Перед ним возникала сцена ночного превращения его бесценной коллекции в вещественное доказательство преступного «хранения и распространения». И он спешил, очертя голову, включиться в очередную критическую травлю даже того, кого любил и ценил, дабы не было сомнений, что он – «свой».

«Старик, – говорю я тополино-врубелю, – поверь, он сделался заложником у собственной библиотеки. А тогдашние заложники запретных страстей знали, что разоблачение могло сулить им «полную гибель всерьез». И потому, старик, давай отнесемся к нашему голенастому и белобрысому с той мерой снисходительности, какой заслуживает простой смертный, избегающий просто смерти. Иначе говоря – не ради чужой гибели лукаващий и лгуший... Я не настаиваю на таком милосердии! Но мне оно по душе».

Голенастый и белобрысый... – тут слышится оттенок пренебрежительности, точно выглядел Анатолий Кузьмич непременно пустяково. Нет, он бывал вальяжным, приват-доцентским, адвокатурным (не знаю уж как выразиться поточнее). Но даже, когда ему стало за сорок, перебравшийся из тополиной тесноты белкинского дома на простор государственной квартиры в Лаврухе, усмиренный сверх туберкулеза стенокардией, ставший посолондней в повадке, он все равно оставался «на просвет» подростком-переростком – ясноглазым и влюбленным в стихи, порывистым в дружеских привязанностях и блудливым в перипетиях литературной жизни. А так как Пастернак был его неизменной еретической страстью, вокруг него-то он всего чаще и блудил.

Из-за этой страсти был он все время на подозрении – то у Фадеева, то у Суркова, то у Вишневского... То у Поликарпова и прочего надлитературного партначальства. Не занимай Анатолий журнально-издательских постов, жить ему было бы легче...

Пастернак с ним ссорился. Это естественно. А потом прощал. И всего драматичней, что тоже естественно! Вполне последовательно. В ноябре 39-го, после почти трехлетней размолвки между ними, БЛ сказал Тарасенкову в напряженно-трагическом монологе: «Все мы живем на два профиля!...»

«Ну, к тебе-то это не относится, – говорю я тополино-врубелю, – хотя Пастернак и сказал, что так живут все. А впрочем, и дерево можно уличить в двуличии, раз уж оно способно сначала послужить распятием, а потом могильным крестом! Однако с тобою, высохший от времени старик, мне хочется расстаться дружелюбно. И потому я приведу наконец ту дарственную Бориса Пастернака, где ты был помянут добром в один из заурядных дней мирного времени:

*«Толя, я по твоему желанию надписываю эту статью*

*в октябре 1947 года. Я рад, что у тебя такой дом, с душой и настроением, с таким деревом над ним, в таком живописном и исторически славном переулке. Меня с тобою связывает чувство свободы и молодости, мы с тобою все победим. Я целую тебя и желаю тебе и всему твоему счастья.*

*Б. П. 16 окт. 1947 г.».*

16 октября 1947-го! Да это же был тот самый осенний день, когда мы с Толей поспешили после служебного бдения на издательском десятом этаже приземлиться у него в Конюшках... Поспешили? Да, потому что под вечер к нему должен был зайти по делу Борис Леонидович. И нам следовало по дороге от Гнездиновского до Кудринки спроворить что-нибудь гастрономическое – достойное «вечеринки с Пастернаком».

А особая для меня примета того осеннего дня была военного происхождения. Ежегодно 16 октября я непременно слегка (или не слегка) прикладывался в кругу приятелей к «фронтовым ста граммам», поскольку в 41-м то число явилось счастливой датой в моей солдатской судьбе: день выхода из окружения!

Мне тогда неслыханно повезло на заснеженно-слякотной платформе Наро-Фоминска. В разбитых ботинках, рваной шинелишке и пробитой осколком пилотке, с разряженным на два патрона чужим наганом в матерчатой кобуре, без вещмешка, денег и хоть какой-нибудь военной справочки, словом – совершенно бездокументный, я ни к кому не рисковал обращаться ни за какими советами и разрешениями. Но зато и не был принят за дезертира носившимся вдоль пассажирского состава начальством. То был ночной поезд в Москву – последний дачный поезд по Брянской дороге. Он шел без расписания и без огней. И счастливо доставил в Москву окруженца-ополченца на рассвете несчастливого в ее истории дня, заслужившего горько-ироническое прозвище «Дня патриотов». Именно в этот день – 16 октября 1941-го – начался исход москвичей из столицы. Я же – москвич – в нее вошел!

В общем, пока осенние обострения язвы не отменили ритуала, я по праву год за годом отмечал «шестнадцатые октября». А тут этому предстояло случиться в обществе Пастернака...

## 6

В те дни Толю непосредственно связывало с БЛ издание пастернаковского тома в «Золотой серии» советской литературы (1917–1947). И встреча в Конюшках имела эту подоплеку.

Ах, черт, до чего ни дотронься в нашем былом, – болит!

Тарасенков курировал пастернаковское «Избранное» как завре-

дакцией поэзии, а пребывал он в этой скромной роли с августа 47-го, потому что в начале лета вынужден был распрощаться с другою ролью – заместителя Всеволода Вишневого в «Знамени», а распрощаться с любимым журналом ему пришлось из-за еще более сильной привязанности... да-да – к поэзии Пастернака!

В Толином архиве сохранились преинтереснейшие письма.

7 ч. веч. 21 апр. 47.

Москва

Ан. Тарасенкову

*Привет... Да, – тебе надо с должности заместителя... уйти. – Я говорил... в ЦК вполне серьезно: «Будешь за Пастернака... – буду против тебя, буду драться».*

*У коммунистов должна быть единая линия в вопросах эстетики. – Ты придерживаешься, – к сожалению, «особых» взглядов на Пастернака и подобных. Невыполнение указаний о статье (о Пастернаке) я не могу принять, – ни как член парт. организации ССП, ни как гл. редактор, ни как один из секретарей ССП. Ты глух к товарищеским, братским призывам, звонкам, письмам... Ты упрямец...*

*Я обязан сделать выводы, политические и деловые. – Перемещение согласую с А. Фадеевым. – Буду рад, если ты на досуге все обдумаешь: свои взгляды на Пастернака и пр.; на этику парт. лит. работы... Привет!*

Вс. Вишневецкий.

Дьявольщина! Зная это письмо давно, я только при перепечатке его в собственную рукопись уловил всю низость Вишневецкого:

...отношение к поэзии Пастернака сделано пробным камнем благонадежности недавнего фронтового друга;

...устный донос на заседании в ЦК повторен, как доблестный ультиматум: будешь за – буду бить;

...провозглашена «этика парт. лит. работы»: свои убеждения – предай, искусство – ошельмой, и восприми сии требования сверху как «братские призывы»!

Понимаете – братские?! Ну а что – Каин к Авелю тоже обращался с призывами братскими... Сознаю: тут не вполне полноценна эта библейская метафора, ибо один был Каином не всегда, а другой не всегда был Авелем. Но в годы, о которых речь, эта метафора работала хорошо.

Я прихвастнул, сказав, что в том апрельском письме «уловил всю низость» псевдобратшки из бывших петербургских гимназистов. Не

всю, не всю! Есть у меня копия еще одного каинова письма Вишневецкого тогдашнему Авелю Кузьмичу. Оно было писано годом раньше – в 46-м. Там самовлюбленно помечено под датой не «7 часов вечера», а «Утро». Есть его письма ко мне и к Тусе Разумовской с пометками не только часов, но и минут написания. Он воображал свою жизнь эпихально значимой. И заранее помогал историкам: «Вот как гениально выразался я в 4 часа пополудни, а уж по утрам! – читайте, изучайте, комментируйте!» Но жена его, Софья Касьяновна, недаром после смерти Вишневецкого упрасивала Толю вернуть ей оригиналы тех писем о Пастернаке: она понимала, как дурно будет выглядеть в этой переписке вместе с супругом:

26. VI.46.

Утро.

**Ан. Тарасенкову**

*...Ты в полемическом задоре готов опрокинуть всю критику и библиографию по Пастернаку и объявить его великим советским поэтом, забыв совсем, что значит в народном, боевом, партийном плане слово «великий»... Случай превращения марксистского критика в апологета аполитичного, стихийного, мечущегося поэта.*

*...Кстати, в дни бегства из Москвы Пастернак говорил Соф. Касьяновне: «Как я рад, что у меня сохранились письма из Германии...» (подчеркивание Вишневецкого. – Д. Д.). Деталь, которую ты не смеешь пропустить (в литературном портрете Пастернака. – Д. Д.). Я довожу ее до тебя открыто, официально. О «великом» – полезно знать побольше.*

*...Я не продолжаю. Просто утром, встав, набросал тебе эти неск. слов предупреждения и совета.*

*Вс. Вишневецкий.*

Вот теперь его низость улавливается, кажется, вся! «Кстати» и «официально» доводится до сведения автора требуемой статьи против Пастернака зловеще-доносительское: Пастернак ждал прихода гитлеровцев в октябре 41-го – «в дни бегства из Москвы»!.. Это писалось черным по белому писательской рукой и уже после войны: «О «Великом» – ...побольше».

Моя рука противится – не хочет стучивать черным по белому этот стукаческий сволочизм. «Стукаческий» – не оговорка и не излишество: ВВ посылал в ЦК копии своих личных редакторских писем!.. Трудно ли понять Тарасенкова, что немедленный ответ на утреннее

письмо самолюбующегося шефа он тоже датировал с указанием времени суток, хотя обычно никогда этого не делал: надо было зафиксировать незамедлительность отклика на политическую инсинуацию:

26 июня 46

Вечер

**Вс. Вишневскому**

*...Разговор с Софьей Касьяновной. Я не могу его принять... Скорее всего Пастернак разумел письма к нему от Рильке, крупнейшего немецкого поэта, умершего в 1926г. Знаю, как Пастернак вел себя в дни бомбовых атак на Москву, он героически тушил немецкие «зажигалки», работал на крышах ночами, как член команды МПВО. Я категорически отмечаю приклеивание Пастернаку каких-то пронемецких разговоров. Этого не могло быть и не было. Я в это не верю и никогда не поверю. (Разрядка Толи. – Д. Д.)*

*...Сними твое письмо ко мне от утра 26 июня с.г...*

*Ан. Тарасенков.*

Не знаю, «снял» ли Вишневский свое постыдное письмо. Не помню разговоров об этом. Но помню, как почти год агонизировали их отношения, пока в конце апреля 47-го не кончились уходом Тарасенкова из журнала. Чертов случай привел меня накануне в их спаренный кабинет на улице Станиславского, где в трамвайной тесноте и всеслышимости работала редакция «Знамени». Они расставались громко. ВВ «в последний раз» требовал покорности от Авеля по разным пунктам. Пастернак был решающим. Увидев меня на пороге, ВВ вдруг прервал свое обычное морганье: его осенила оргидея! Тарасенкову комиссарским тоном предлагалось вывести вместо себя на огневой рубеж партийного разгрома Пастернака «молодого критика-фронтовика», то есть меня. Доведенный почти до сердечного приступа, глотающий воду, Толя прокричал что-то вроде: «Вот он, Д., сам и выводи!» Вишневскому не пришлось «выводить» – я увильнул от высокой чести без героических слов: не задумываясь, соврал, что мне уже заказана статья о БЛ другой редакцией, а зато я могу осчастливить «Знамя» большим сочинением о Симонове... Одно письмо тех дней Тарасенков закончил словами: «Я устал... Сегодня и вообще...» Тут не мои многоточия, а его. Запомним эти слова.

Уволенный, он уехал в мае на Рижское взморье с Машей и семилетним Митей. Измученный, но не сдавшийся. От меня он ждал «пастернаковских новостей». И я несказанно рад, что в его архиве уцелело мое

письмо, датированное 15 июня 47-го: не будь этого документа, я едва ли решился бы реставрировать рассказанную там историю.

*«События, тихие, странно многозначительные, наши события развиваются... Кажется, и я, как платонический знаменец, доживаю последние дни. Сейчас тебе станет все ясно.*

*Слушай! Мы с Ту решили поехать в Переделкино к Эмику Казакевичу. Выпили, поиграли в преферанс, помокли под дождем, а вечером пошли вместе с ним к Вишнеvesкому на дачу. Я захватил статью (о Константине Симонове) с собой и отдал ее патрону. Все было хорошо. Потом Соф. Касьяновна пригласила нас ужинать. Мы выпили остатки чьей-то водки и сидели трепались. Шеф вдруг сказал, что он перечитал всего Пастернака и понял еще раз то, что понимал и раньше: Пастернак – подлец, который тридцать лет презирает все и всех и т.д. и т.п.*

*Я начал очень вежливо возражать, говорил, что трагические судьбы настоящих художников не «разоблачаются» пустыми и прямолинейными «выводами». Говорил ему, как Маяковский заставил, любя и ругаясь, написать Пастернака «905 год» и «Л.Ш.» (эта версия с чьей-то легкой руки исповедовалась в 30-х годах Бригадой Маяковского. – Д.Д.), и многое другое выкладывал довольно спокойно и слишком убедительно, чтобы это не задело В.В. Дело в том, что он сам собирается написать в «Знамени» статью о П... В.В. вспоминал непримиримые письма Ленина Горькому, а я ему советовал, кроме того, припомнить, что в этих письмах, в самих обращениях к М.Г. Ленин разговаривал с ним, как с заблуждающимся другом, гений которого ему важен, нужен, дорог...*

*...Все пересказать я тебе не могу, но кончилось это задыханиями, истерическими криками, зубовным скрежетанием, взвизгиваниями В.В. и такой чудовищной демагогией, что листья осыпались в лесу, где «заканчивался» этот глупый и ненужный спор. Эмик мудро молчал, только помогал мне цитировать БЛ, а Туся исципала мне всю руку... В темноте мы ушли напропалую через лес и вышли к какой-то даче. Горело большое окно. Чье бы это могло быть окно? – гадали мы. – Федина! – решил переделкинец Эмик. По тропинке осторожно пробрались мимо окна и заглянули. За столом, обхватив голову руками, сидел в очках Пастернак и Бог его знает, что думал!..*

*Вот и все».*

Здесь бы следовало поставить точку. Но письмо продолжалось:

*«Вчера вечером неожиданно позвонили от В.В. и сказали, что его шофер привезет мне мою статью и письмо патрона. Скоро это случилось.*

*Ничего нелепее, глупее, позорней в жизни своей не читал. Статью (о Симонове. – Д.Д.) он забраковал начисто... бессвязными фразами на трех листах. Напомнил о «наших последних разговорах», написал, чтобы я «понял, проникся, изменил метод, почитал старшее поколение и пр. и пр.», все, что тебе слишком хорошо знакомо... Интонация письма озлобленная, мелко мстительная, фарисейски-искренняя. Приедешь, покажу оригинал, и ты поймешь бездну дурацкой самовлюбленности, в которую он безостановочно падает, по мере того как все больше и больше убеждает в своем нынешнем бесплодии и все больше и больше начинает... следовать шатким авторитетам из всяческого начальства.*

*Потом я ушел, а он сам позвонил... Туся выдала ему сполна, он, видимо, чувствуя, что переборщил, произносил всякие комплименты на мой счет и говорил, что нам необходимо поговорить подробно. Я этого делать не собираюсь, пусть приедет сам, а этого он делать не собирается. Итак, роман кончается.*

*...Удовлетворен я, по крайней мере, тем, что, кажется, он отказался теперь от мысли сам писать о Пастернаке. Одной гадостью в нашей критике будет меньше.*

*Прости длину этого послания... Приветствуй Митю. Запрети ему писать стихи...»*

Вот почему сказались выше: до чего ни дотронься в былом – болит! Доскажу тут еще кое-что...

## 7

Пока Тарасенков курировал пастернаковский том «Золотой серии», я готовил для той же серии том Багрицкого. Мои заботы редактора-составителя были неизмеримо проще Толиных.

Мертвый Эдуард Багрицкий пребывал в совершенно благополучных классиках нашей поэзии, да еще романтиках. (А чиновное начальство почему-то обожает романтиков. Уж не молодеет ли оно от «красивого и звучного» утомленной душой?) Живой Борис Пастернак пребывал в совершенно неблагополучных антиклассиках нашей поэзии, да еще формалистах. (А чиновное начальство почему-то не выносит формалистов. Уж не чует ли, что формализмом обзывают «не сразу удобо-

понятное», а это для начальства оскорбительно?) Словом, с моим Багрицким все шло на зеленый свет, а с Толиным Пастернаком – то на желтый, то на красный...

Все же подписаны к печати были оба «Избранных». Пастернак даже раньше Багрицкого. Но том Багрицкого вышел в свет, а пастернаковский – не вышел. В начале следующего – 1948 – года, после знаменитого доклада «пианиста» Жданова о музыке, когда в очередной раз было заминировано наше искусство, Фадеев убоился подорваться на Пастернаке: для железной «Золотой серии» тут проба была некондиционной. И задокументировано фадеевское повеление книгу остановить. Но тираж уже начал печататься. Поэтому энное количество экземпляров существовало. И конечно, один из них был у Тарасенкова.

А еще годом позже – в 1949-м – все кончилось гадко и с томом Багрицкого, хотя он и успел украсить довольно жалкую «Золотую серию». К тому времени наша культура победителей фашизма дозрела под руководством Отца народов до открытого юдофобства. И обнаружилось, что поэма Багрицкого «Февраль» – сочинение сиониста! Еще бы – там были строки:

Как я, рожденный от иудея,  
Обрезанный на седьмые сутки,  
Стал птицеловом, – я сам не знаю!

«А-а, птицеловом ты стал, космополит-иуда! Ловцом наших отечественных беззащитных пташек?!» – такие тексты, на этой странице утешительно ослабленные, услышали в ту пору начальнические кабинеты, редакционные коридоры, писательский ресторан. И хотя Анатолий Тарасенков страдальчески, всем сердцем и разумом, ненавидел антисемитизм, равно как и любой национализм, именно из-за истории с Багрицким произошла между нами ссора, выглядевшая навсегда непоправимой.

– Маша, – снова звоню я на Лавруху, – можно мне в своей книге сослаться на твою рукопись о Толе и Пастернаке?

– Конечно. Я старалась быть точной. Цитаты сверены. У тебя выправленный экземпляр.

И я погружаюсь в выправленный экземпляр горького сочинения о жизни, которую уже не выправить. Обвинительно-объяснительно-оправдательное, – нет, все-таки безусловно обвинительное! – сочинение: три листа биографического портрета героя нашего времени – человека, чьи духовные злоключения когда-нибудь войдут страницей или главой в жизнеописание Пастернака. И написать их психологически достоверно будет непросто, особенно будущему автору, не имевшему несчастья и чести жить в наши дни.

Со временем Мария Белкина напечатает свой очерк. Поэтому при-



коснусь к нему лишь чуть-чуть. Да там ведь и не одни только пастернаковские мотивы. И простится мне, что я сначала молча вытяну оттуда самый болезненный для меня мотив, связанный как раз с поношением Багрицкого в 49-м.

*«...Я поссорилась с Тарасенковым из-за Данина. В какой-то статье я наткнулась на фразу, что не случайно, мол, товарищ Данин, составляя и редактируя книгу Багрицкого, включил в нее поэму «Февраль». «Но ты же знал, что он включил, он с тобою советовался!» (Советоваться нужно было потому, что эта поэма – вещь неоконченная. – Д.Д.). «И Фадеев знал!» – «Но как же ты можешь? Это же твой друг?» – «Вот именно потому, что он мой друг и все это знают, я должен его критиковать! Критикуют меня, я критикую его!.. И потом, он попал в эпицентр – ему будет худо, его не будут печатать и ему будет не черта жрать, а если я сейчас выступлю с критикой его, я потом смогу давать ему работу, а защитить его я все равно не в силах! Ты ничего не понимаешь, не суйся. Мне тошно и без тебя!..»*

*А он любил Данина, ценил его талант...*

*Нет, право же, порой мне кажется, что для того, чтобы объяснить нас тех времен нам же самим... нужен Достоевский!*

*Я спросила недавно Данина, давал ли Тарасенков ему работу? Давал.*

Все тут верно, и Толины оправдания записаны точно, и в них действительно был привкус того, что принято называть достоевщиной. Но, по правде говоря, еще больше было от повадки эренбургского Алексея Тишина – несносного ученика Хулио Хуренито, равно легко грешившего и плакавшего в раскаянии. Тарасенков плакал через год, в 50-м, когда я вернулся из добровольно-изгнаннической экспедиции на Ангару. Он тогда позвал меня в «Новый мир», где стал работать по приглашению Твардовского его заместителем. Позвал как бы от имени Александра Трифоновича через его секретаршу, сознавая, что без такого обмана я не пришел бы. Он плакал в огромном кабинете главного редактора, наглухо заперев две двери, дабы просить прощения у исключенного космополита без свидетелей! Иначе покаянная акция могла бы дорого ему обойтись: заигрывание с врагом... двурушничество... политическая бесхребетность (словарь-то у нас был гибкий!). И никто не должен был знать, кроме Твардовского, ни о нашем объяснении, ни о бесфамильной «негрчтянской работе», предложенной мне для отдела критики («Трибуна читателя»). А слезы были не скупые мужские, но настоящие – бегущие по щекам. Невозможно забыть их!.. Конечно, мы

помирились. И все-таки... – привлекать Достоевского для уяснения психологических феноменов той поры, пожалуй, много чести. Довольно популяризаторов Дарвина.

А впрочем, были и психологические феномены, одной борьбой за существование едва ли объяснимые.

...Не могу тщеславно не вспомнить, как мне удалось ненароком спровоцировать незабвенного Михаила Светлова на одну из блистательнейших его острот. В Малом зале ЦДЛ шло шумное заседание. Тонкоголосо требовал что-то осудить Александр Безыменский. Его толстоголосо поддерживал Александр Жаров. С чувством напрасно прожитой жизни я вышел покурить. Пустое фойе вяло пересекал Светлов. Он поманил рукой: «Старик, о чем там люди шумят?» Я сказал, что там все шумят уже несуществующие люди. И перечислил некогда громкие имена. «Ты прав, старик, – проговорил он, – и при этом идет страшная борьба за несуществование!»

Тут нужен целый трактат, чтобы достойно растолковать эту мысль. Может показаться, что она остроумна только как парадокс-перевертыш. Ан нет!

Представьте нетривиальный сюжетец... Талантливейший поэт, сравнительно молодой еще, вскоре после войны успевает опубликовать меж двух репрессалий цикл прекрасных стихов. Его старый друг-приятель сразу пишет взволнованно-радостную статью, и «Литгазета» публикует ее под пастернаковским заглавием – «Второе рождение поэта». Естественно, они обмывают это событие в кругу общих друзей. И никто не подозревает, что «в верхах» та статья уже взята на заметку. Она нежелательна, ибо до войны поэт побывал в лагере, а во время войны – в плену. Безоговорочные похвалы ему не полагаются. Проходит немного времени, и руководитель Союза писателей печатно объявляет злополучную статью «эстетским захваливанием». И редакции, начавшие улыбаться поэту-бедолаге, перестают улыбаться. А он звонит другу-критику и говорит, что им надо встретиться. И они встречаются в полуподвальной забегаловке на углу Столешникова. Чокаются гранеными стаканами, хотя поэт не в духе и отводит глаза. «Скотство... – говорит он другу-критику. – Зачем ты написал обо мне?! Выставиться захотел?» Обомлевший критик-друг тихо спрашивает: «Ты что, с ума сошел?» – «Я-то не сошел... А вот ты о моей судьбе подумал? Теперь из-за тебя, мудака, меня снова не будут печатать!» У критика-друга подрагивает стакан в руке, и еще тише он повторяет: «Ты что – с ума сошел?!» – «Я-то не сошел! – повторяет в свой черед поэт. – Мне надо было жить в незаметности, а что делать теперь после твоей сволочной статьи?» – «Ты спятил...» – потрясенно говорит автор «сволочной статьи» в спину поэта-друга, повернувшегося к стойке за новыми пор-

циями водки. Но ссоры им уже не поправить. И что делать – эти новые порции не скажут.

Странноватый сюжетец, не так ли? Меж тем молекулярно-документальный. Время действия – год 47-й. (Тот самый, когда Пастернак сидит у ночного окна, обхватив голову руками.) Руководитель Союза писателей – А.А.Фадеев. Автор эстетского захваливания – аз грешный. Поэт-бедолага – Ярослав Смеляков. Это ему «надо было жить в незаметности», дабы выжить. Иначе: следовало вести светловскую борьбу за несуществование... Нет, не парадокс-перевертыш, а пронзительная догадка тихого мудреца-остроумца: в бесчеловечные времена появляется и такой, казалось бы, невозможный, психологический феномен.

Многоликий, мне он явился еще раз и в ином обличе.

## 8

Анатолий Тарасенков хотел превратить меня в собирателя русской критики XX века. Ему мерещилось – в параллель его книжной библиотеке русской поэзии – такая же исчерпывающая библиотека отечественной критики той же поры.

У меня были три полки критических книг. У него чуть больше. Достойные издания совпадали, а заваль была разной, но для коллекции – заваль-то и есть вожделенная россыпь. «Мои метры – твои метры!» – щедрым жестом одарил он мою будущую библиотеку. И однажды, все той же осенью 47-го, я приволок с Конюшков в тесноту наших клетушек на углу Петровки аршинные связки макулатурных на вид, но мне-то мнившихся бесценными, изданий. Залохматившиеся обложки и растерзанные корешки прибавляли книгам достоинства. Так, с извращенной приятностью создавалось, что Пастернак у меня стоит в поношенных суперах, как в рабочих спецовках. Однако Тарасенков этого напрочь не признавал и казнил, что отдает мне критику не в должном виде. Но стихопереплетение и так отнимало у него все свободное время. «А хочешь, я тебя научу переплетать?» – осенило его однажды. И он стремительно научил меня этому ремеслу как рукоделью. Без станка, без пресса, без инструментария, если не считать иглы, сапожного ножа, напильника и стальной линейки.

Совсем скоро – в 49-м – я возвышенно возблагодарил его за науку. Мысленно. Вслух не мог. Мы к тому времени уже не разговаривали: разоблаченный космополит и разоблачитель космополитизма... А возблагодарил я его по причине ни с чем не сравнимой уместности этого рукодельного занятия для литератора, изъятого из литературы.

Да и вообще – свидетельствую: когда истинное твое дело валится из рук, а голова набухает толчею внутренних монологов, словом – в

смутные часы жизни, переплетная возня лучше пасьянсов и решения шахматных задач!

Ну а в моем случае «разжалованного критика» она, эта возня, обрела особый смысл... Казалось: деловые отношения с тобою литература оборвала насовсем. Тебя уже не попросят писать и не полюбобпытствуют, «над чем работаешь». А для сочинительства в стол ты еще слишком нетерпелив, да и как заниматься критикой для себя? Возможны ли репетитор без учеников, священник без причта, проститутка без клиентуры? Отношения критика и книги – вещественны. Тут нужны слова «мастер» и «материал».

Это совсем не то, что отношения читателя и литературы. Там все беспоследственно. Ариадна Эфрон вспоминала, как Цветаева говорила: «Нельзя быть поэтом в душе, как нельзя быть боксером в душе – надо выходить на ринг и драться!» (Но, кажется, Марине Ивановне принадлежали лишь первые две полуфразы, а разъяснительную – после тире – прибавляла в пересказе Аля.) Читатель – это боксер в душе. Критик выходит на ринг. И бывает всякое: он может послать в нокдаун книгу, а может сам получить нокаут. И будет, мученик или дурила, – а всего чаще – дурила-мученик; лежать на помосте под свист или сочувствие боксеров в душе, не слыша счета – «восемь... девять... десять» и не видя растопыренных пальцев судьбы.

В 49-м я вроде бы лежал на помосте, и недавно освоенная наука переплетения была как протянутая рука – вставай, приятель, твой нокаут – мнимый! Есть еще вот такая вещественная форма общения с книгой. Этого у тебя никакие грибачевы-софроновы не отнимут.

Свободный, я предавался переплетным радостям, как распутству. ...Тоненькие книжки Бориса Михайловича Эйхенбаума 20-х годов становились толстыми в пышных одеждах из маминого махрового халата... Разноформатный Корней Чуковский одевался не без простонародного притворства в пестрые ситцы... Андрей Белый – в несносимую обивочную парчу... Бернард Шоу саблинского издания – в штапель с похожими на театральные маски лилиями... Джек Лондон – в клетчатую шотландку... А как бывало отрадно, сшивая на коленях разброшюрованные тетради, ненароком зачитаться нечетной страницей, начинающей очередной печатный лист, и на время забыть, что в руке у тебя игла с суровой ниткой, а в душе листопад. (Совсем по Бабелю...) Так прочитаны были за рукодельем два Эм-О-Гершензона, два Вэ-Вэ-Розанова, три Льва-Шестова, один Аким-Вольнский, два Константин-Леонтьева, а главное – почти весь двадцатидвухтомный Герцен в хронографической последовательности Лемке. Он и ныне стоит в своих серых кардинальских одеждах выше вытянутой руки, бесполезно занимая на стеллаже хорошее место, потому что в случае нужды все-таки снимаешь с полки прекрасно комментированные тома современного

издания, а не того, экзотического. Но расстаться с этой реликвией стыдного времени не велит душа...

Однако только переплетчик-любитель из меня и вышел, но никак не книжник-коллекционер. Недостало нужных черт в характере. Не хватило меня даже на все отечественные издания Пастернака: заветный дубовый шкафчик укоряет непростительным отсутствием: «Близнеца в тучах» и «Тем и вариаций»... А уж стать собирателем русской критики XX века мне и вовсе было не суждено: и причиной тому не только свойства природы, но еще и свойства самой русской критики середины века. Юдофобский и гангстерский позор 49-го года стал неотменимой главой ее истории. Я удостоился чести в нее попасть, в эту главу, на правах паршивой овцы, портившей стадо. Николай Грибачев на страницах «Правды» объявил меня лидером космополитизма в поэтической критике. Оно бы даже почетно, когда б не комыя грязь в лицо и требования самооговора. И худшее: в ожидании посадки – униженно-самоспасительное «признание своих эстетских ошибок» – стадное и стыдное отступничество от себя!

Заурядная жертва того позора 49-го года, я был им попросту отравлен. Безо всяких там Достоевских глубин. Так в детстве травятся грибами-поганками, волчьей ягодой, печным угаром: сначала изнемогаешь от вонючести и боли, а потом переполняешься отвращением к породившей их субстанции...

...В поруве такого отвращения сидя как-то предвесенним вечером 49-го за переплетным рукодельем, я словно бы опомнился вдруг: Господи, да чем же это я занят – сшиваю листы критического словоблудья хорошо известного мне Виктора П., а ждут очереди уже подремонтированные листы столь же хорошо мне известного Валерия К.?! Кем же я становлюсь – собирателем навоза? И больше того – его хранителем-украшателем?.. Я сгреб недошитые тетради в кучу и сунул ее в помойное ведро (поскольку не было мусоропровода в нашем трущобном доме). Пожалуй, в тот вечер и кончилась затея с коллекционированием критики XX века.

Но это еще не было борьбой за собственное несуществование. Однако если в предвесенней Москве 49-го был «день помойного ведра», то на предосенней Ангаре 49-го случился «день счастливого карбаса».

...Неужели у меня еще не было повода рассказать, что я, разоблаченный, нанялся тогда коллектором в алмазную геологическую экспедицию, дабы умотаться из Москвы подальше на время возможной тюремной расправы с космополитами? Если рассказывал, пропустите предыдущую фразу, но вчитайтесь в следующую. Тем памятным предосенним днем в приангарскую тайгу пришла на мое имя книжная бандероль из Ялты! Не фантастично ли? И добиралась она до меня почти все лето. В обратном адресе стояло – П. Павленко.

Имя Петра Андреевича, ныне ушедшее в подробности истории, тогда было громким. Меня спрашивали геологи: «От того самого?» Потом: «Дадите почитать?» Я отвечал, что от того самого, но почитать не дам – симферопольский альманах прислан мне для дела, интересно в нем ничего нет... А суть состояла в том, что там приземлилась моя статейка о молодом крымском поэте Борисе Сермане. «Последняя вылазка диверсанта-космополита Д., поднявшего на щит нашего местного агента сионизма!» – красиво показывая руками, как поднимается над головою щит, рассказывал позднее Петр Андреевич о возмущенной речи секретаря симферопольского обкома. Покровитель крымских талантов, «московский наместник» в Крыму, Павленко уговорил меня написать ту статью-коротышку, когда я был еще «в полном порядке». Но он мог успеть вынуть меня из номера, как только я стал «не в порядке». Однако – не вынул! И даже послал мне экземпляр «Крыма» с собственноручной подписью. Не в Москву послал, а в Сибирь, отлично понимая, что в тесном быту экспедиции бандероль от него прибавит мне веса...

(Лукавый царедворец и цивилизованный литдеятель, он всегда готов был проявить порядочность, если не грозила расплата. «Четыре пишем – шесть в уме!» – было любимым его присловьем. Между прочим, не вызывает доверья театрально-обличительный рассказ Надежды Яковлевны Мандельштам о «Павленко в шкафу» во время допроса ОЭ. Есть другая версия: Осип Эмильевич увидел Павленко на Лубянке в лифте. Это правдоподобно. В отличие от опереточного залезания в шкаф, для какового действия ПА был слишком масштабной фигурой в коридорах нашей власти.)

Его бандероль я воспринял как привет «из той жизни». И благодарно преувеличивал риск в поступке Павленко, рассказывая о нем своему техруку и новому другу, шляхетскому красавцу и всамделишному рыцарю Эдмунду Равскому. И все бы хорошо, не перечти я на радостях свою последнюю диверсионную коротышку... Внезапно удушило некое отчаяние той же природы, что приступ отвращения в московский «день помойного ведра»:

– Господи, да чем же это я занимаюсь?!

Было это в прибрежной деревушке Карапчанке, ниже Шаманских порогов, на девственной еще Ангаре, куда карбас доставлял нам почту из Нижне-Илимска. Все кругом было серьезно – молчаливо – недоуменно. Земно и небесно. И непоправимым было чувство заброшенности в пространстве-времени. И чувство разрыва с малостью оставленной за горизонтом жизни.

*Это даже на войне не переживалось.*

*Об этом даже читано не было прежде.*

И в ту минуту все словеса нашего литературного обихода предста-

вились гнетущей ненужностью. Все литературное о литературе... – да хоть бы никогда не заводилось оно на свете!

За скверным сельповским спиртом под королевскую ангарскую стерлядь Равский в спокойно-искренней своей манере стал расспрашивать меня о присланном альманахе: «Что-то вы темните, ДС, я не ошибаюсь?» Помню, я удивил и его, и себя грубым: «Заткнитесь, Эд», точно мы играли в американское кино. Однако сразу спохватившись, я стал с полнейшей откровенностью объяснять, что пребываю в припадке отвращения к собственной персоне – литератору по профессии и штрафнику по судьбе. Злословно уверял, что после возвращения в Москву брошу литературный промысел к чертям собачьим. И в стиле «ты меня ув-важаешь?» настаивал, чтобы он оставил меня при себе коллектором навсегда... Не меньше: навсегда и при себе!

В наших геоморфологических маршрутах вдвоем, – в сообществе с вороньим конем Агентом и черно-белой лайкой Байкалом, – на привалах-перекурах мне нравилось начитывать Эду стихи. Чаще других – пастернаковские. Он хорошо слушал. Но в тот вечер мы были не на привале у таежного ручья, а в населенной избе у печи. Правда, все равно – вдвоем: хозяева спали в сарае. Календарно: кончался август – наступал сентябрь. Так пригодившийся бы в тот час пастернаковский «Август» еще не был написан доктором Живаго. Зато вынырнули ранние строки Пастернака о сентябре:

...Но время шло, и старилось, и глохло,  
И паволокой рамы серебра,  
Заря из сада обдавала стекла  
Кровавыми слезами сентября.

Эд сказал:

– Немного слишком, ДС. Я не ошибаюсь?

Возможно, он не ошибался. И возможно, я не ошибаюсь, когда думаю, что пережил в тот «день счастливого карбаса» лютый приступ светловской борьбы за несуществование.

Наверное, такие приступы – худшее из всего, что приносит нам скверна лжи в историческом бытии человека. Не в уединении с другом, конем и собакой, а в принудительном единении с обществом, к которому ты приговорен всю жизнь. Во лжи не наказуемой, а поощряемой человек легко теряет себя. Даже с готовностью! Ибо становится самому себе в тягость.

## 9

Хочется, как ни в чем не бывало, вернуться в осенний вечер 47-го, точно этот рассказ и не уходил из домика с тополем в Конюшках.

Пожалуй, он и вправду оттуда не уходил, а что память скакала по годам, то отлучаясь в недавнее лето 47-го, то забегая в близящийся 49-й, так это она, хранительница наша, подражала самой жизни, выстраивая свои сюжеты непредсказуемо.

В тот именно вечер, через шесть лет после первого – фадеевского – постскриптума к истории с телефонным розыгрышем Авербаха, нечаянно написался второй постскриптум к ней, на сей раз – пастернаковский.

Тогда в Конюшках сумел я на минуту одолеть неизменно наступавшую при БЛ немоту и сделался даже пьяновато-смешлив. Однако то было лишь кажущимся освобождением от загипнотизированности его личность. Напротив, сам захмелевший, он властвовал с удвоенной неотразимостью. Все, что нами, другими, говорилось и делалось, было как бы невольным подыгрыванием его неудержимой словоохотливости и похохатыванию взахлеб. Но реставрировать его словопады не буду. Все вертелось вокруг издательской ерундистики и пестрело событиями, ныне уже ничего не значащими... («Вступится ли Евгения Ивановна за такого-то, если уже сам Александр Михайлович не вступился за такую-то?»)... Площадку держал по преимуществу Толя – знаток союз-писательской атомистики. Но неожиданную осведомленность обнаруживал и Пастернак. Я ощущал себя не на уровне. Зато посреди такого разговора ненасильственно прозвучал вопрос, на какой я отваживался в первый раз через пятнадцать лет после происшествия на Волхонке: «Борис Леонидович, а правда ли, что однажды к вам без предупреждения явился с дружеским визитом сам Леопольд Авербах?»

Пастернак не задумался ни на мгновенье:

– Д-да-да-да! Это было. Очень давно. Я не мог принять его. Произошла ужасающая несуразность. Кто-то без доброты подшутил над ним... Над нами! Это, как если бы...

Остановлюсь. Слов не помню. Но мне не забыть, как он уравнивал себя и Авербаха в роли жертв чьей-то бесцеремонной выходки. Готовый объявить свое остроумное авторство и даже голосом показать, «как дело было», я удрученно замолк на весь остаток вечера. Отлично знавший всю историю, Толя не выдал меня. Маша – тоже. И это было с их стороны великодушно.

...А свою дарственную с увереньем «мы всё с тобой победим» Пастернак сделал в антракте, когда Маша «меняла стол».

Толя позвал Бориса Леонидовича ненадолго уединиться ради прямой цели их встречи – дабы решить что-то нерешенное в рукописи или верстке. Они уединились в соседней комнатке – кабинете и переплетной, где был люк в домашний погреб – хранилище журнально-альманашной части Толиной библиотеки. Когда вскоре я заглянул к ним – «господа, чай подан!», – люк был открыт. Ясно: Толя лазил в подполье



как раз за тем самым альманахом 1922 года, где впервые было опубликовано пастернаковское эссе «Несколько положений». За тем и лазил, чтобы появилась на эссе дарственная надпись БЛ.

Тарасенков показывал мне ту книжку «Современника» и гораздо раньше – еще без надписи. Он просвещал меня: в сороковых годах афористически вычеканенное кредо молодого Пастернака мало кому было известно. Иные из его «нескольких положений» производили сильнейшее впечатление. Одно я как-то процитировал в журнальной статье, да только оно было вычеркнуто из верстки чьей-то властной редакционной рукой. Сейчас без труда отыскиваю ту замечательную фразу в томе пастернаковской прозы:

*«Неуменье найти и сказать правду – недостаток, которого никаким умением говорить неправду – не покрыть».*  
Была в том эссе еще более впечатляющая фраза:

*«Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести – и больше ничего».*

Впервые опубликованное в 1922-м, начерталось это на самом деле еще в 1918-м. И всего удивительней – рукою «футуриста-формалиста-модерниста» (если собрать в триаду синонимы разных лет). Руке было двадцать восемь. Революции нашей – годик. И в том эйфорическом настаивании на всеохватывающем значении совести сквозило чувство: она, горячая и несговорчивая, в опасности! И потому поэт в своем кредо, – а то была пора манифестов и деклараций, – должен разяще громко заявить ее права.

Так это прочитывается сегодня. И не эхо ли той захлестывающей веры в победительное правдоискательство можно нынче услышать в дарственной надписи Пастернака, сделанной осенним вечером 47-го в доме влюбленного и неверного литературного друга?

*«...Меня с тобою связывает чувство свободы и молодости, мы всё с тобой победим. Я целую тебя...»*

Чувство свободы... – и это ровно через полгода после мартовской статьи Алексея Суркова в «Александровском центре» с прямыми доносами: «злоба», «клевета», «керенщина»!

Помните, как ранним летом того 47-го сказал он обо всей этой сурковщине – «свинство неподсудности». Так неужто к середине октября что-то для него и для его поэзии изменилось к лучшему – да еще настолько, что вот: «чувство свободы и молодости» и вера в победу над всеми бедами!.. Нет-нет, внешне – снаружи жизни – ничто у него не изменилось к лучшему. Но в цельности своей он оставался тем, кто десятилетием раньше, в канун жесточайшего года нашей истории, 37-го, уверял, что нельзя человека одарить свободой, если он не носит ее в себе. И ощущал ее в себе как условие плодотворности существования. Потому плодотворным оно было и в щедром на беды 47-м... Ему

шел пятьдесят восьмой, а он написал – «чувство молодости»! Очевидно, ему хорошо работалось тогда. И – решусь добавить – хорошо любилось!

...Еще через месяца полтора после встречи в Конюшках случилась на перевале от осени к зиме та встреча с ним в Переделкине, когда в ответ на мое упоминание о Летатлине он сказал об «уменьи стихов быть ненужными» и предложил «говорить о другом».

Мы с Т. доживали последние путевочные дни на нижней террасе треневской дачи, когда однажды утром нежданно-негаданно, со второго этажа, как с небес, к нам спустился Борис Леонидович. Оказалось, пока мы завтракали в литфондовской столовой, он навещал нашего верхнего соседа – прихворнувшего Василия Васильевича Шкваркина (ныне забытого драматурга) и уносил от него довольно толстую папку с рукописью. Объяснил, что это – начало его романа. Слова «Доктор Живаго» не были произнесены. Помню ревнивое чувство: почему Шкваркин, а не Туся – в первочитателях его новой прозы? (На себя я этой чести, право же, не примеривал, а примерить на Т. было совершенно естественно.) Слово сработала тут телепатия, БЛ, оперев папку о стол, сказал – вроде бы нам обоим, но по смыслу – Т.:

– Не сердитесь, что вас еще обременит эта важная для меня тяжесть: когда она станет тяжелее, я притащу ее в «Знамя»...

В этот момент, трудно преодолев запорошенное крыльцо, на террасу вступил из сада Юрий Карлович Олеша. Растерзанный бессонницей, не опохмелившийся, красноглазый. Что привело его к нам в тот утренний час – здесь не существенно. Существенно было, что он чувствовал себя скверно. И заставил всех ощутить, что мы как-то виновны в этом. Молча поглядывая на пастернаковскую папку, сумрачно вобрал в плечи замечательно весомую свою – бетховенскую – голову. И стало неизвестно о чем говорить. Было чувство, что его подавляло зрелище объемистой рукописи БЛ. По долгу как бы хозяина террасы, я принялся заполнять неловкий вакуум. И тут-то прилетел Летатлин!.. А пастернаковское «давайте говорить о другом» обязывало его самого и говорить. Он сказал (и все легко реконструируется по кратенькой записи Туся в письме к сестре Шуре):

– ...У меня сегодня утро непредвиденных встреч! Не предвидел, что вас тут поселили. И Олешу не предвидел. А по дороге сюда, откуда ни возьмись, Фадеев! Что там ни говори про него, а сразу видно: он – личность! И, представляете, спрашивает совершенно по-соседски: «Как ты?» А я отвечаю, что мы с ним живем на гуттаперчевой почве: то он поднимается, а я опускаюсь, то я поднимаюсь, а он опускается! Посмеялись и разошлись. И вдруг он окликает. Снова сошлись. «Что ж это за гуттаперча, – говорит, – если сейчас мы оба внизу!» И захохотал. Я тоже.

И мы стали смеяться – так это безоблачно было рассказано. А оба

они тогда действительно были одновременными жертвами разных работок. Фадеев – только начавшейся – за правду отступления 41-го года в «Молодой гвардии». Пастернак – вечно длящейся – за всегдашнюю правду своей независимости.

Дав нам отсмеяться и словно бы отогревшись, Юрий Карлович весело заключил (ну, не «весело», согласен, но с отрадой):

– А я всегда внизу! Действительно, что за странная гуттаперча?!

...Снова – теперь уж на прощанье – возвращаю рассказ в Конюшки, вооруженный пастернаковской «гуттаперчевой почвой» – этим образом ненадежности нашего общественного бытия. Есть у него строка: «Я с улицы, где тополь удивлен». Если б не была она написана тридцатью годами раньше, эта строка могла бы сойти за начало строфы о том октябрьском вечере в Конюшках, когда под сенью удивленного белкинского тополя БЛ доверил старому альманаху свой очередной оптимистический самообман: «Мы всё с тобой победим».

Есть у него еще строка 31-го года с «горькой тополевой почкой». Она тут тоже к месту. В сущности, она-то всего более и к месту: горькая! Едва наступил следующий – 1948 год, как оба они, Борис Леонидович и Анатолий Кузьмич, взамен «победы надо всем», были оба побеждены на полях той самой рукописи или верстки, каковой занимались в памятный вечер.

Вертятся в памяти и другие тополиные отрывочки из его стихотворений разных времен. Марбургский: там в шахматной партии с бессонницей «тополь – король». Московский: там подхваченный ветром на бульварных аллеях, «гуляет как призрак разврата пушистый ватин тополей». Спекторский: там весеннее утро приходит с «головомойкой в жизни тополей». И еще есть у него тополино-тополевые места. Но сейчас – Бог с ними со всеми: вызванный тополем-врубелем на randevу с былым, я открываю нечто непредвиденное в очерке Маши Белкиной о Толе.

Маша напомнила забытое – то, что я писал ему летом 48-го про его статью в «Большевике»:

*«...Ты сказал немало совершеннейшего легкомысленного вздора (прости!). ...Тебя можно было бы просто высечь (прости!). ...Совершенно незаконно, противоестественно сопоставление Уайльда и Бор. Пастернака... Белкинский часто говорил, что нельзя ложью доказывать истину. А ты так небрежен... что это уже не дело. Черт с ними, с М. и с А. Ж., но Пастернак – ведь он твоя же собственная искренняя страсть и вечная привязанность!!*

*Не могу не написать тебе всего этого: я думаю, что наша долгая и неизменная дружба основана на прямодушии. Какого же черта я стал бы заниматься «тактичными»*

двусмыслицами!.. Думаю, ты не рассердишься на меня за это».

Конечно, забыл я не только об этом письме. Но сверх забытого открылось в Толином архиве и прежде мне неизвестное. И сейчас я счастлив, что оно открылось!

## 10

...В руках у меня черная клеенчатая тетрадь – обыкновенная студенческая для записи лекций. А в ней – дневниковые записи Тарасенкова о разговорах с Пастернаком.

Он заполнял ее пять лет – с ноября 1934-го до ноября 1939-го. И никому не показывал. Отнюдь не скрытный, – скорее, душа нараспашку, – он, тем не менее, надежно прятал ту тетрадь. И, право же, слава Богу!

*«...Прятала и я после его смерти, пока был жив Борис Леонидович, – рассказала Мария Белкина в своем очерке, – ибо высказывания БЛ были слишком смелы и откровенны по тем временам, и тетрадь эта, попав на глаза недоброжелателю, могла бы сыграть пагубную роль...»*

В одной записи упоминается мое имя. И, казалось бы, сейчас меня должна была уязвить тогдашняя сверхбдительность Тарасенкова: мог бы довериться давнему товарищу – чужих тайн я никогда не выдавал, только собственные. Не доверился.

Маленький от него укол. Маленький от меня укор.

Психологически схема правильная. Но, как ни странно, ничего такого нет в душе – ни укола, ни укора! Вот историческая натренированность психики: сознание ее необсуждаемой правоты – постоянно помнить об опасности!

Читаю клеенчатую тетрадь, и глазам не верю: как же он, годами ходивший по краю, осмелился записать то, что услышал от БЛ после 37-го! Последняя запись – 2 ноября 1939 года. Ему было всего только тридцать... Может, потому он и не ужаснулся при мысли о том, что делает? Великая безответственность молодости! Или великая ее безоглядность? Послушайте – это говорил Пастернак:

*« – Мы пережили тягостные и страшные годы. Нет Тициана Табидзе среди нас. Ведь все мы живем преувеличенными восторгами и восклицательными знаками. Пресса наша самовосхваляет страну и делает это глупо. Можно было бы гораздо умнее. На восклицательном знаке живет Асеев. Он каждый раз разлетается с объятиями и вскриками и тем вызывает на какую-то резкость с моей стороны. Все мы живем на два профиля –*

общественный, радостный, восторженный – и внутренний, трагический. Мне так было радостно когда-то, что Грузию я мог воспринять с ее поэзией искренне, от сердца – и под восклицательным знаком, что совпадало с тоном времени. И вот в разгар страшных наших лет, когда лилась повсюду в стране кровь, – мне Ставский предложил ехать на Руставелевский пленум в Тбилиси. Да как же я мог тогда ехать в Грузию, когда там уже не было Тициана? Я так любил его. А тут бы начались вопросы о том, как я был с ним связан, кто был связан со мной и т. д. А что же не глядели, когда я связывался? Почему тогда это приветствовали? Помните минский пленум? Почему это поощрялось? Я отговорился только тем, что у меня жена была на сносях. Я не поехал в Грузию...»

«Говорят, Тициан жив. Я надеюсь на это».

«В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически. У нас трагизм под запретом, его приравнивают пессимизму, нытью! Как это неверно! Трагичен всякий порыв, трагична пора полового созревания юноши, – но ведь в этом жизнь и жизнеутверждение. Ужасен арест Мейерхольда и арест его жены. (Значит, ни БЛ, ни Толя не знали тогда правды о гибели Зинаиды Райх! – Д. Д.). Конфискована его квартира, имущество. Но если он жив, если он выйдет на свободу – его жизнь будет трагически озарена, и, может быть, это нужно обществу. Иначе жизнь постна. И нужен живой человек – носитель этого трагизма».

«В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть, – даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече – прятал глаза. Даже В. Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал всякие гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу-искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в нее зеленое (железное? – Д. Д.) кольцо, его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу – в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым

нравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все еще, довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике».

Затем мы с БЛ вышли из дому, он пошел проводить меня на трамвай. По дороге он мне сказал:

«— Под строгим секретом я вам сообщу, что в Москве живет Марина Цветаева. Ее впустили в СССР за то, что ее близкие искупали свои грехи в Испании, сражаясь, во Франции — работая в Народном фронте. Она приехала сюда накануне советско-германского пакта. Ее подобрали, исходя из принципа «в дороге и веревочка пригодится». Но сейчас дорога пройдена, Испания и Франция нас больше не интересуют. Поэтому не только веревочку, могут бросить и карету, и даже ящичка изрубить на солонину. Судьба Цветаевой поэтому сейчас на волоске. Ей велели жить в строжайшем инкогнито. Она и у меня была всего раз, — оставила мне книгу замечательных стихов и записей. Там есть стихи, написанные во время оккупации Чехословакии Германией. Цветаева жила ведь в Чехии и прижилась там. Эти стихи — такие антифашистские, что могли бы и у нас в свое время печататься. Несмотря на то что Цветаева — германофилка, она нашла мужество с гневом обратиться в этих стихах с призывом к Германии не бороться с чехами. Цветаева настоящий большой человек, она провела страшную жизнь солдатской жены, жизнь, полную лишений. Она терпела голод, холод, ужас, ибо и в эмиграции она была бунтаркой, настроенной против своих же, белых. Она там не прижилась».

«В ее записной книжке, что лежит у меня дома, — стихи, выписки из писем ко мне, к Вильдраку. Она серьезно относится к написанному ею, — как к факту, как к документу. В этом совсем нет нашего литературного зазнайства...»

«Когда-то советский эстет Павленко сказал, что зря привезли в СССР Куприна, надо было бы Бунина и Цветаеву. Этим он обнаружил тонкий вкус. Но Куприна встречали цветами и почетом, а Цветаеву держат инкогнито. В сущности, кому она нужна? Она, как и я, интересуется узкий круг, она одинока, и ее приезд в СССР решен не по инициативе верхов, правительства, а по удачной докладной записке секретаря. В этом ирония судьбы поэта».

В заключение БЛ просил меня уговорить Вишневского

напечатать «Принца Гомбургского» (перевод драмы Клейста. — Д. Д.).

«— Ну пусть «попадет». Все равно попадет. Но дайте же ответить мне самому за это. Так и передайте Вишневному. И пусть он не боится...»

## 2. XI-39

Дурно ли это, хорошо ли, но я еще доверчив, хотя долгая жизнь могла бы научить обратному. И я ни на мгновение не сомневаюсь в подлинности дат под этими записями Тарасенкова. Недоверчивый скажет, — и я уже слышал нечто похожее, — что они сделаны задним числом — после культовых разоблачений XX съезда. Ах, если бы Анатолий Тарасенков знал эти разоблачения!.. Может, положительный стресс и продлил бы ему жизнь. О ранней его смерти Пастернак тогда сказал Але Эфрон (Цветаевой):

— Сердце устало лгать.

Оно окончательно устало лгать 14 февраля 1956-го. Он умер в день открытия XX съезда. В памяти — его фраза, написанная десятью годами раньше: «Я устал... Сегодня и вообще...»

Всматриваясь сейчас в поразительно ясный почерк Тарасенкова, я стараюсь представить — отчего в ноябре 39-го записи в заветной тетради кончаются (хотя остался еще добрый десяток пустых страниц)? Полагаю, он сызнава осознал, что делает нечто опасное. Но уничтожить тетрадь, конечно же, был не в силах. Так он до конца хранил в своей библиотеке почти триста (!) книг, надписанных арестованными, ссыльными, расстрелянными авторами.

Однако что значит — сызнава осознал? Стало быть, уже осознавал раньше? Да. И это недвусмысленно отразилось в тетради. Трагической записи — с Табидзе, Цветаевой, Мейерхольдом — предшествуют страницы, исписанные другими чернилами двумя годами ранее — самым страшным летом:

*«Делаю последнюю, очевидно, запись 4 июня 1937 года, уже после того, как подверглись сокрушительной критике мои статьи о Пастернаке, после того, как мы поссорились с ним в ноябре 1936 года...»*

Дальше в той записи — хитроумный психологический этюд на темы любви и коварства, безрассудства и страха, искренности и притворства. Да разве могла не быть таким психо-кентавром вся его лихорадочная литературная жизнь? Заложник своей библиотеки, он был еще и заложником своей неотменимой влюбленности в Пастернака. И вот гляжу я на эту черную клеенчатую тетрадь, хранимую до конца, как талисман, и во мне нарастает сочувственное понимание ночей и дней

рано ушедшего приятеля – то понимание, что равносильно отказу судить и казнить.

И еще нарастает запоздалое сожаление... Вскоре после кончины БЛ, когда ему уже ничто не могло грозить, Маша Белкина, естественно, показала Толины «Черновые записи» (так они означены в заглавии на тетради) Александру Трифоновичу Твардовскому – самому давнему другу-приятелю Тарасенкова – с надеждой на замечательную отвагу тогдашнего «Нового мира»: а вдруг смогут опубликовать!.. Не смогли.

А как воодушевляюще прозвучали бы в середине 60-х пастернаковские вспышки негодующего правдолюбия середины 30-х:

*«...Мне предложили в первомайском номере «Известий» (1936 г. – Д. Д.) высказаться на тему о свободе личности. Я написал, что свобода личности – вещь, за которую надо бороться ежечасно, ежедневно, – конечно, этого не напечатали... У нас трудное время. Мы находимся в подводной лодке, которая совершает свой трудный исторический рейс. Иногда она поднимается на поверхность, и можно сделать глоток воздуха. А нас вместо этого уверяют, что едем мы на прекрасном корабле, на увеселительной яхте, и что вокруг открываются великолепные виды. И люди начинают этому верить и искренне поддакивать... Я свою задачу вижу в том, чтобы время от времени говорить резкие вещи, говорить правду обо всем этом. Нужно, чтобы и другие начали. Когда люди увидят упорство повторения одной и той же мысли, – они смогут увидеть, что надо менять положение вещей, и, может, быть, оно действительно изменится...»*

*(Из записи лета 1936 г.)*

Подумать только – больше полувека прошло! Истинно большие поэты – невольные современники всех поколений.

## 11

...Потом – уже в 1980-м – был третий из достойных пересказа постскриптумов к историйке с Авербахом в апреле 32-го. Пустяковый постскриптум, но закругляющий сюжет. И если бы он не случился въяве, его следовало бы придумать.

Сорок восемь лет прошло... Да, эдак вот простенько выстукиваются на машинке рядышком две цифры: четыре и восемь. И ничего не происходит! Но оставлю возрастные печали. Они бесплодны.

Я о том, что мальчик, лежавший в скарлатине весной 1932-го на



Волхонке, успел за такой срок превратиться в пятидесятилетнего отца пастернаковских внуков. И в самоотреченного пастернаковед-знатока. Оттого-то летом 80-го, когда заладилась это сочинение, мне понадобились короткие встречи с Евгением Борисовичем.

А познакомились мы задолго до того. В конце сентября 62-го. Нечаянно. Для меня очень памятно – через день после кончины друга моего Эммануила Казакевича. Забывшиеся трудности с похоронами понудили меня броситься в Переделкино – к Ираклию Андроникову, чтобы вместе отправиться к Федину, дабы тот незамедлительно звонил куда-то наверх. Я топтался у фединской калитки в ожидании Ираклия, когда внезапно услышал за спиной совершенно пастернаковское – «д-да-да-да-да!». Подумал, что это Андроников пародирует перед кем-то покойного БЛ. А настроение было удрученное, и я обернулся с укоризной. И действительно увидел подошедшего Андроникова. Но рядом с ним – стройно-упорядоченную молодую версию пастернаковской фигуры и пастернаковского лица.

– Вы незнакомы? – спросил Ираклий Луарсабович сразу нас обоих. Но называть ему понадобилось только меня. И вновь раздалось безошибочно наследственное – «д-да-да-да-да», сопровождаемое уверенным, что как раз сейчас «у них» (то ли в доме, то ли на работе) прочитана моя книга «Неизбежность странного мира». Хотя я редко верю, что кто-то читал меня (не могу вообразить, как это человек сидит, лежит, стоит с раскрытой книгой в руках, чей автор, оказывается, я!), именно то уверенье освободило меня впоследствии от необходимости представляться, когда я решил передать Евгению Борисовичу для архива фотокопию письма Пастернака на фронт – «Капитану Д.».

Я спросил тогда – хранил ли БЛ письма случайных корреспондентов? И услышал: «Да, частично хранил». И вскоре выяснилось, что мое фронтовое письмо из-под Орла нашлось в архиве. И даже только взглянуть на него через три десятилетия с лишним было все равно, что очертя голову нырнуть в поросший таинственной ряской пруд посреди заглохшего парка Оболенских в дачном Краскове моего детства... Зачем так длинно? А затем, что я забыл к тому времени текст своего письма, но не забыл, как писалось оно в заглохшем парке на берегу Оки, где вечерами все отдавало детскими страхами, а всего более – темный, словно тот, оболенский, пруд с затопленными минами; где удивляли неправдоподобием обыкновеннейшие голоса уцелевшей жизни; где наборматовались об этом стихи, к счастью, не посланные Пастернаку вместе с письмом:

...Кричит петух на Болховской дороге.  
И вправленный в туманный ореол,  
летит, как в сказке, по холмам отлогим  
предугранный израненный Орел.

Остановись на каменном пороге –  
прислушайся: в светлеющей ночи  
кричит петух на Болховской дороге!  
Ты поклонись ему, живому, в ноги,  
с бессонным сердцем крик его сличи.

Словом, когда Елена Владимировна – жена и сподвижница Евгения Пастернака – показала мне мое письмо, я должен был отвернуться, чтобы сглотнуть волнение. Потом она скопировала для меня текст. (И поразило, что копия была сделана от руки. Мне, сумевшему к тому времени дважды поработать в копенгагенском архиве Нильса Бора, царпнула душу бедная неоснащенность того раннего пастернаковедения даже примитивной архивной техникой.)

А к концу лета 80-го у меня стали копиться пастернаковедческие с виду вопросы. Однако – только с виду. Просто в мозаике частных нашего исторического существования и его отражения в мозаике стихов и судеб следовало быть точным. И я не раз «уточнялся» на даче Пастернака. Но не в двухэтажном ветшающем доме, где обитал с женою Наташей его младший сын Леня, которому суждено было совсем скоро – вот уж воистину безвременно – погибнуть «от сердца» за рулем машины. Я успел всерьез пообщаться с ним лишь раз, приведенный на старую дачу Николаем Николаевичем Вильям-Вильмонтом, очень любившим Леню. Увидев, как я закуриваю «Яву», Леня протянул «Мальборо», соблазнив посередине жеста заморской сигаретой и Николая Николаевича. Мы вкусно дымили в бывшем пастернаковском кабинете на втором этаже, где я дважды бывал до войны и, кажется, лишь единожды после войны (и где он на моей памяти дымил папиросами хорошей марки, а какой – не помню). Леня был на редкость привлекателен, кроме всего прочего, спокойной доброжелательностью. Но мне тогда ничего не удалось у него уточнить: на всё он мило отвечал: «Может быть»... А уточнялся я в маленьком доме справа, где жили со своими ребятами Евгений Борисович и Елена Владимировна...

Однажды, в конце июля 80-го, я пришел туда с кассетным магнитофончиком. Записывал ответы на мои хронологические вопросы. В середине разговора, когда на столе появился чай, в проеме двери возник силуэт привидения из дачной шарады. Фигура женщины была совершенно как в пастернаковском стихотворении полувековой давности – «в чем-то белом без причуд». Но уж до такой степени без причуд, что ночной халат ее или роба выглядели сметанными на живую нитку из двух простыней. Возможно, она не ожидала увидеть за столом постороннего, но никакого смущения не выказала. И мне бы ничего «не выказывать». Однако когда Евгений Борисович представлял нас друг другу, я зачем-то сказал, что мы знакомы, хотя видел, что привидение меня не узнало. Это была Надежда Яковлевна Манделъштам. А позна-

комил нас когда-то в том же Переделкине Борис Слуцкий, лаконично отрапортовавший ей на лесной дороге, что вот – бывший космополит, чьи злоключения были такими-то и такими-то. Сейчас, измученно-больная и зримо-недобрая, она вела себя как воплощенное «я – вправо!» Довольно распорядительно сказала нам: «Продолжайте!» И, попивая чай, мы продолжали игру «вопрос-ответ», пока она внезапно не прервала меня: «Вы – еврей?»

– Да! – храбро ответил я, как уличенный в чем-то, от чего все равно не отпереться.

Кажется, хозяева опешили не меньше моего. Но в следующую минуту можно было опешить и того более.

– Я подумала об этом, слушая вас. Сейчас хорошо говорят по-русски интеллигентные евреи. Пожилые... московские...

Хотелось в ее тоне различить насмешливость, но насмешливости не было, а был вызов – как бы подразумевалось: «Они хорошо говорят назло юдофобам!» Она добавила, что прекрасно звучал русский язык у БЛ. Возможно, она сказала: «У Бори». Конец ее фразы плохо записался на пленке из-за севших батареек. Но главное записалось.

И среди прочего – мой пустяковейший вопрос к Евгению Борисовичу, которого он, разумеется, никак не ожидал:

– А когда у вас была скарлатина, вы помните?

– Да-да-да, конечно, помню... – начал он, но я опередил его, чтобы удивить своей осведомленностью:

– Весной 32-го года!

– Да-да-да, вы правы...

– А теперь послушайте, откуда я это знаю...

Так через сорок восемь лет тогдашний девятилетний мальчик узнал... А, собственно, что он узнал? Чепухистiku ловкого юношеского розыгрыша, непредвиденно доставившего неприятную минуту его отцу. Драматических постскриптумов я не рассказывал – только вскользь помянул про хохочущего сквозь слезы Фадеева в военную ночь у Антокольского... А сам Евгений Борисович нечаянно дописал этот третий постскриптум одной подробностью, каковая уж никак не могла быть ведома нашей бузотерской компании вечером 24 апреля 32-го.

Открылось, что Борис Леонидович тогда бывал в квартире на Волхонке только спорадически. Маленький Женя и его мать-художница продолжали там жить, но Пастернак уже покинул их: он ушел к Зинаиде Николаевне Нейгауз. А она была бесквартирной, и, как я понимаю сейчас, именно в ту пору БЛ бедствовал с жильем... Разумеется, ничего удивительного не было, что в будний день он пришел навестить больного мальчика и посидеть с ним, отпустив по делам его мать. И потому-то сам открывал Авербаху дверь... Но каким же странным – удваи-

вающим ошеломление! – должно было показаться Пастернаку, что незванный гость пришел встретиться с ним именно в этот час – точно выследил его... Причуды случая неисповедимы. К счастью!

## 12

Слышу напутствие: хорошо бы выбалтывать пустяки покороче. Хоть это и звучит бесспорно, мне не хватает уверенности в пустяковости пустяков. Их масштаб задается не ими самими, а нескончаемым целым. Оно же возникает из липнущих со всех сторон подробностей нашей жизни в Истории. Они формируют целое, как событие и как вещь. И волей-неволей получается, что уже по происхождению своему форма всего на свете дьявольски содержательна. Она содержательней содержания, потому что кроме него самого содержит усилия целого не распадаться, а быть!

Так, в литературе это иллюзия, будто одно и то же можно написать по-разному. Когда по-разному, значит, написано не одно и то же. Привесок от «как» меняет самое «что»: жизнь ищет выразиться вместе с «я» рассказчика, и в «как» поселяются излучения его натуры. И вот уже не отличить содержания от формы. Разве не об этом пастернаковская строфа:

Покоилась люстр тишина.  
И в зареве их бездыханном  
Играл не орган, а стена,  
Украшенная органом.

Об этом, об этом: о том, что вечной пресловутой проблемы формы и содержания на самом деле в искусстве нет! Она, эта проблема, возникает там, где искусство кончается, или там, где оно не начиналось. А еще яснее: там, где идет оформление заранее заданных смыслов. Такое оформительство называет себя искусством оттого, что живет на его иждивении – его материалами и ремеслом... Меж тем искусство не оформляет, а открывает смыслы, до него и без него неизвестные. Недаром же его синоним – творчество... Среди загадочных строк «Спекторского» есть одна про это: «Миротворенья послужная быль».

Да-да-да... – хватается мысль на ходу за поручень ускользящей догадки – вот этим-то настоящим искусством и одаривает нас: послужную былью миротворенья! Послужною... – потому что оно, искусство, захаживает в наши души как на свое служебное место, дабы поработать вместе с нами над сотворением мира. Иначе: над прочувствованным пониманием человека, жизни, природы, истории – всего, что в совокупности образует «мир», достойный сотворения... Прочувствованное понимание рождает изображение. В отличие от понимания на-

учного оно требует нашего согласия. Каждый смысл, открытый поэзией, ищет нашего согласия.

Даже с прозрачайшим Пушкиным это так.

«...На свете счастья нет, но есть покой и воля...»

А разве менее достоверно иное: счастье-то на свете бывает, а вот покоя и воли – поди сыщи! И я вправе не давать согласия на пушкинское умонастроение, пусть хоть минутное.

А другой может дать согласие на лермонтовское: «я ищу свободы и покоя», почувяв в подоплеке веру, что их можно в жизни сыскать!

А кто-то третий захочет предпочесть пастернаковский мир, где художник «жаждал воли и покоя», сознавая, что обретет их только «в бореньях с самим собой», ибо так же, как никто не может подарить человеку чувство воли, так никто не может принести ему покой извне.

Да-да-да... – большая поэзия в своих открытиях или находках – в своем миротворении или перетворении мира – на каждом шагу просит нас о понимании и согласии. Или – о сотворчестве. И возникает множество версий человеческого мира. Сколько? Ровно столько, сколько на свете настоящих поэтов и настоящих читателей, перемноженных друг на друга. Однако в том-то и широта необязательностей поэзии, что тут у всех – полная свобода выбора.

И как интересно убеждаться, что у нынешних неевклидовых юнцов выбор почти совпадает с нашим неевклидовым полустолетней давности! Разумеется, почти... Так, Маяковский опустил за нынешний горизонт, а Багрицкий не поднимается до горизонта. Первый опустил потому, что после бешенств ранней поры стал слишком публицистически прямолинеен. Второй не поднимается потому, что до конца остался слишком прямолинейным романтически. Оба не выразили кривизны нашего мира. Скорее, выпрямляли ее... А те, кто, как Пастернак, не выпрямляли, те – с нами. Нынче, как и вчера. И с ними, с новыми, тоже!

...Расскажу одну историйку с зачином в 30-х. Мне все хотелось хорошо ее пристроить – в ней смыслов много. И среди прочих есть в ней отражение свободы поэтического выбора. Вот и пристрою ее здесь. А началась она летом 38-го, когда после ареста отца я попытался делать для мамы деньги студенческим репетиторством.

...Сосватанный старинным школьным приятелем Беню Рощевым, я взялся подготовить к вступительному экзамену по математике (кажется, в ИФЛИ) белокурую красавицу Таню Окс – молоденькую жену художника-дизайнера. Впрочем, тогда говорили не дизайнер, а «прикладник», что означало мастера с достатком. Меня предупредили: «запроси максимум», но не сказали – сколько это. И занятия наши начались без сговора об оплате.

Она пришла на первый урок избыточно нарядная. Через минуту,

скинув летние туфельки, взобралась с ногами на мою тахту. Раскрыла на коленях учебническую тетрадку и смело объявила, что, кроме сложения-вычитания, не знает ни-че-го. Перехватив мой взгляд, прибавила, что ее ноги я мог бы видеть и раньше – в чулочной рекламе Окса на Кузнецком мосту. К концу урока она весело и бессмертно сказала про правило деления дроби на дробь: «Это так глупо, что не может быть!» Мы занимались четыре раза. На пятый она пришла за тем, чтобы признаться в безнадежности своей затеи поступить той осенью в институт. Ни она, ни я не нашли в себе отваги заговорить о плате за четыре занятия. Но, прощаясь в уже отворенных дверях, она вдруг раскрыла сумку, достала три тонюсеньких книжки и со словами благодарности протянула мне «Тристиа» Осипа Мандельштама, «Путем зерна» Владислава Ходасевича и «Вечер» Анны Ахматовой!.. Все это и поныне живо – стоит в дубовом шкафчике по соседству с Пастернаком.

...А через семь лет – в январские дни 45-го – на Сандомирском плацдарме за Вислой – в лесном селении Щука – притормозивший виллис и женский оклик: «Ка-пита-ан!» И сквозь ошарашенность никак не загаданной встречи приступ болтовни москвичей-соседей на фронтовой чужбине.

– А я теперь Сытина...

– А я теперь Данин...

И под вечер, – то ли с нею вдвоем, то ли втроем с Виктором Сытиным, то ли вчетвером с моим дивизионным дружкой и тезкой Даней Слободяном, – хрустальной перегонки чудовищно-градусный бимбер в доме радзивиловского лесника, где я уже не первый день на постое. И после баек о зависленских песках и настланных деревянных дорогах, когда мы заговариваем о Москве, Таня вспоминает мое репетиторство, а я вспоминаю три замечательных книжицы абсолютно неуместных на военном плацдарме поэтов. И весело признаюсь, что мне тогда, в 38-м, вот так, – ладонь ребром у горла, – нужны были деньги, а не гениальные стихи. Она же весело уверяет, что деньгами-то расплатиться ей было проще всего, да она не представляла, сколько должна, и мои длинные волосы плюс неделовая повадка останавливали руку... С бимберного пьяну я вытаскиваю из полевой сумки тоже тонюсенькую книжицу «На ранних поездах» и хвастливо показываю: «Вот... сам Борис Леонидович... после Орла... и какая надпись человеческая – «на счастье»... тут уже есть его первые военные...» Таня подхватывает, что как раз и собиралась расплатиться за уроки «оксовским Пастернаком», но вовремя углядела у меня те же книги.

Потом – на лесной дороге – я неумеренно восхваляю ей военные стихи Пастернака. И чувствую, как зарываюсь – произношу несъедобные вольности, точно мы – безусловные приятели, а не случайно повстречавшиеся земляки. Помню несущее чувство свободы – вероятно,

от бимбера и общества красивой женщины – и последующее трезвое недовольство собой, Бог знает что наболтавшим...

Разумеется, ни на мгновение не прозревалось, что уцелевшая на войне Таня Сытина будет обречена на раннюю смерть природой, но успеет стать – вопреки первым впечатлениям от нее – плодовитым, правоверным, а порою острым литератором... Как возникла она внезапно из январского тумана на зависленских дюнах, так внезапно и растворилась в сумерках гиблых гатей Сандомирского плацдарма. А сейчас исчезнет и с этих страниц, непредсказуемо появившись на них из вечернего туманца на берегу пицундского благополучия.

Но хоть и непредсказуемо явилась она, однако же по тихой подсказке добрых чувств. Сдвоенной подсказке... Во-первых, Танина книжная расплата благодарно запомнилась неэвклидовым выбором поэтов: тех, кого и нынешние неэвклидовы юнцы выбирают за отражение кривизны неблагоприятного мира. А во-вторых, ее тень дает мне повод повиниться перед всеми, к кому я в скверные наши годы позволил себе хоть на минуту испытывать НАПРАСНОЕ недоверие.

То, что недоверие бывало напрасным, это ведь проявлялось всегда потом – по прошествии достаточного времени. Правда, достаточность нельзя было точно установить. Винюсь за промахи...

Года через три после кратенькой встречи под Сандомиром – в мирной осенней Москве 48-го – случился праздничный вечер, когда я снова увидел Таню: всехний веселый приятель Юрий Смирнов затащил меня к Сытиным, что жили тогда во дворе Союза писателей – в левом флигелечке у ворот. Подробности эти ни к чему, но утепляют память. Мы припоминали бимберную болтовню. Пили. Играли в карты. И за переброской небрежными словами Таня вдруг с педагогической наставительностью сказала мне примерно так: «А знаете, я сразу выкинула из головы все, что вы тогда наговорили...» – и не без укоризны улыбнулась. Виктор Александрович и Юра могли решить, будто я объяснялся ей в любви за Вислой. А я объяснялся в ненависти к кое-чему решающему в нашей жизни. Неважно, что это было. Важно, что она выкинула «это» из головы и подчеркнула, что выкинула! И сделала это в дни, когда многие другие готовились подкидывать все такое эдакое как горячий материалчик в уже разжигавшийся костер «борьбы с космополитизмом», где мне предстояло на время сгореть. Горючее было хорошим: среди разного мусорного – пастернаковским.

Многие готовились? Многие!

Да ведь это же захватывающе увлекательно: предчувствуются разоблачения. И сюжетные, и психологические, не так ли?.. О, да! Стало быть, ясно, что тут должна начаться новая глава: про борьбу с космополитизмом.

Да ведь вот в чем трудность: не было в «борьбе с космополитизмом»

борьбы с космополитизмом. Просто за отсутствием такового. Под эгидой теоретика интернационализма из Гори совсем повывелась у нас эта духовная материя. Вместе с вырождением всех теоретических ценностей революции повывелась из обихода и эта прекрасная – всечеловеческая – великодушная широта национального духа. Она не иссякает ведь только тогда, когда национальный дух самоутверждается, сознавая себя братски-желанной частью всего населенного мира, а не дичает в своих заповедных глухоманях... Ей-Богу, не было у нас к концу 40-х достойного космополитизма. И не с ним боролись разоблачители, гонители, вышвыриватели якобы безродных космополитов. Мафиози и погромщики всегда и всюду боролись и борются не с идеями и не за идеи. А с чем же и за что же? Ответ известен. Но варьирует во времени и географическом пространстве. У каждого отрезка истории, – говорю я с умудренностью старика на завалинке, – свой веселый спектр негодяйства.

Одно бесспорно: не настолько веселым было негодяйство 49-го, чтобы современнику того инквизиторского костра (да к тому же погорельцу) каламбурить над происходящим. Но и «звериной серьезности» оно не заслуживает, даю слово.

А потому здесь начнется попросту предпоследняя –



«ИСТОРИЯ  
НЕ В ТОМ,  
ЧТО  
МЫ  
НОСИЛИ,  
А В ТОМ,  
КАК  
НАС  
ПУСКАЛИ  
НАГИШОМ»

1

**К**

ак писать ее, Неправдо-  
подобную? Как членить  
ее на правдивые расска-

зишки с невыдуманнными лицами, датами, текстами?

Можно писать исторически. Но, пожалуй, рано еще.

Можно писать истерически. Но, пожалуй, поздно уже.

Останусь вольнопишущим. Только сразу же ухвачусь за недосказанное: кто же это были те, кто подкидывал в космополитический костер горячее на участочке, где мне случилось гореть?.. Всех не припомнить. Однако сколько времени понадобится, дабы наскрести в усталой памяти ну хоть десяток тех старателей-благодетелей?

Пускаю хронометр электронных часов... Сергей Васильев... Семен Трегуб... Мариэтта Шагинян... Даниил Романенко... Юрий Корольков... Михаил Луконин... Валерий Тарсис... Борис Ефимов... Лазарь Лагин... Борис Соловьев... Десять. Одна минута восемь секунд!.. Вот не думал, что столько во мне проворного злопамятства! А всплывают еще имена. Но удержусь...

Про каждого, – раз уж заговорил, – нужны сюжетики.

Иные с годами ушли в безвестность, меж тем как в свое время имели роль да еще играли значение.

...Вот Сережка Васильев. Вежливей – Сергей Александрович. Но мы окликали друг друга невежливо – мальчишескими именами. Были,

хоть и далекими, а все же приятелями с довоенных времен. Он стал отцом Екатерины Васильевой – такой талантливой и такой безошибочной в парадоксальных ролях, когда она бывает, как мне кажется, равной по блеску Фаине Раневской. В своей области – в поэзии – ее отец так высоко не поднимался. Одаренность его тоже была несомненна, но, правда, не шла в сравнение с бешеной талантливостью его погодка-однофамильца Павла Васильева, погибшего в застенках 37-го. По причине зрительской любви к дочери Сергея мне бы следовало вывести его тут из игры. Однако не получится: навсегда оскорбленная память почему-то подкинула его даже первым в свой проскрипционный список. Не буду памяти перечить.

В преддверье писательских застенков 49-го он при всякой встрече, в клубном ли ресторане или клубном сортире, однообразно уговаривал меня статью о нем написать. Долговязый, преступнолицый – со вмятиной на переносице и алчно-красивыми глазами – он умел угрожающе нависать над собеседником. И, пошучивая, вовсе не шутил:

– О ком ты только не писал, старик... – затевал он уличающее меня перечисление, – ...о Ритке, о Женьке, об Ярке, о Матусе, об Ольге (Берггольц), о Твардовиче – да не раз, теперь, говорят, о Косте (Симонове) чуть не книженицу намахал. А обо мне, мать твою так, еще ни слова! Подумай о душе, старик!

И мне оставалось отшучиваться в ответ: «Создай что-нибудь эдакое – тогда...»

В 49-м он создал! Но я уже не мог об его поэтическом подвиге ничего написать, ибо синхронно был превращаем в непубликуемого космополита. Его юдофобская поэма «Без кого на Руси жить хорошо» безнаказанно ходила в гранках для «Крокодила». Однако простой факт, что Сережкина рукопись была заслана в набор, отнюдь не означал, будто крокодилы собирались публиковать его охотнорядское неприличие. Такая стояла на дворе эпоха, что у простых фактов бывало сложное устройство. Раз уж известный автор позволил себе положить редактору на стол свою политически нужную гадость, опасно было не пустить ее в производство: впереди маячил донос.

Словом, гранки гранками, а печатать поэму сатирический журнал не позволял: слишком уж разило от нее черной сотней.

Перегруженная мерзостями память охотно хранит утешающие поступки современников. Тем более тех, от кого совсем нельзя было ожидать ничего утешающего. Поступки такого свойства немножко просветляют темные дали былого. Оттого-то я рад, что тут появляется третий в этом рассказике писатель Васильев – Аркадий Николаевич. Исторический романист и сатирик. Партийный деятель и публицист. Руководящее лицо в тогдашнем «Крокодиле». Уверенная походка. Начальственная повадка. Жесты без спешки.

Когда он шел к трибуне в дубовом зале писательского клуба, все в нем обещало только правоверную рутину проработочной речи. Но в тот раз он повел себя непривычно. С нервной решительностью достал из бокового кармана связочку бумажных полос и показал их залу как достопримечательность: пресловутые гранки позорной поэмы. Я их уже видел вблизи – до собрания. И знал уже неряшливо скверные строки, каковыми был по имени и фамилии приобщен к разряду тех, без кого на Руси стало бы так хорошо! Аркадий Васильев с отвращением цитировал Сергея Васильева.

Лет через десять, в разговоре с вернувшимся из лагерей Львом Разгоном, Васильев Аркадий с гордостью вспоминал ту праведную историю из своей многогрешной жизни. А Васильев Сергей, прежде беспартийный, к тому времени уже многие годы исправно платил партийные взносы, досадуя, что платить приходилось немало... Мы с ним теперь уж не окликали друг друга невежливыми именами. И даже вежливыми не окликали. Думаю, что оба в момент нечаянной встречи на мгновенье ныряли памятью в его лакмусовые гранки 49-го. И только не могу убедить себя, что, возможно, и ему становилось при этом не по себе...

А потому не могу, что в памяти звучат два голоса издалека.

Первый – предупреждающий голос Ярослава Смелякова в пьяноватый час одной из прощальных вечеринок, когда перед войной мы провожали его на армейскую службу: «В моей посадке (35-го года) не обошлось без Сережки Васильева...» А потом, – году в 46-м, – Сережка однажды поехал в Сталиногорск навестить осужденного по новой Ярослава. Не каждый на это отважился бы. И я усомнился в правоте Смелякова. Возможно, оказался дураком: умело вычисляющие говорили, что как раз та поездка уж и вовсе открыла глаза на причастность Васильева к Яркиной судьбе... Так ли оно было или нет, но в 49-м, узнав от Сергея Васильева, «без кого на Руси жить хорошо», я поверил в довоенную убежденность Смелякова.

Тут бы и покончить с этим сюжетом. Но в памяти звучит еще второй голос – возбужденный голос Леонида Малюгина, только что, вслед за мной, дочитавшего крокодилские гранки: «Ты подумай, как-кая скотина!» И еще раз – как всегда в волнении: «Нет, ка-к-кая скотина!» Его доброму имени тоже нашлось место среди тех, «без кого...». Но он почувствовал себя оскорбленным двукратно. Его легко было понять.

Однако, дабы сделать понятным случившееся, через столько лет придется – вопреки зароку – притвориться на минуту историком. А скорее – лежащим на операционном столе пациентом, которому забыли дать наркоз...

Забыли дать наркоз, меж тем как в конце января 49-го выдалось утро, когда надо было сразу, не пропуская ни строки, осилить в «Правде» чуть не целую полосу: «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Размер и стиль этого сочинения выдавали его основополагающее значение. Это был инструктаж по разгрому-погрому когорты наших общепризнанных знатоков драматургии и театра. Тех, что провинились дважды – требовательным профессионализмом и пятым пунктом. Статья была неподписанной. А стало быть, предписанной. Вероятно – Лучшим Другом советских суфлеров...

...Не стоит думать, будто лишь спустя десятилетия – под наркозом истории – пробуждается охота позубоскалить вокруг пережитого. Нет, мы и тогда весело суесловили над собственными бедами. И бедами ближних. (А даже самые дальние театральные критики стали для меня страдальчески ближними с того январского дня.) Суесловили ради спасения чувства реальности.

Да и как же было жить без этого, если так держимордно и неоправдимо для нашей культуры прodelывала в ней крупномасштабную акцию по самовозвеличению и самообеспечению кода сталинских льстецов и лакировщиков невеселой действительности?! Вся непомерная статья в ЦО нашей партии по преимуществу посвящалась огораживанию от критического рассмотрения драматургической кучи, наваленной двумя Анатолиями – Софроновым и Суровым. Так это помнится.

Пригодившаяся тут метафора кучи – плагиат из тогдашней остроты выдающегося театрала Иосифа Ильича Юзовского:

– Возможно, в софроновско-суровской куче и есть жемчужное зерно, но я не крыловский петух, чтобы его отыскивать!

Фраза эта гуляла по Москве, иногда приписываемая другим театралам. Но так или иначе, «Юз» был зачислен правифланговым в антипатриотическую группу. А по смыслу своему та острота содержала обещание как раз вполне гуманное – проходить мимо и не трогать голубчиков. Презрительное, конечно, звучало обещание, но все-таки – не трогать! А может, и впрямь не надо было трогать? Затем, чтобы шумной возней не мешать истории побыстрее спускать воду...

В названии основополагающей статьи была грубая тонкость: речь велась словно бы лишь «об одной антипатриотической группе...». Но из этого тотчас следовало, что есть еще и другие. И не только театральные. Открывался простор для демократической инициативы. И варьирование разоблачаемых групп «безродных космополитов» стало разворачиваться с размахом. Дошло до раскрытия «антипатриотической группы конструкторов мягкой игрушки». Но это не сразу. А

сразу очистительный огонь перекинулся на поэзию. И второй – после театральной – полетела в костер поэтическая критика.

Это было логично и даже предсказуемо. Анатолий Софронов являл собою сначала поэта, а уж потом драматурга. И его непосредственный преемник на посту секретаря писательского парткома Николай Грибачев тоже являл собою сначала поэта, а уж потом – все остальное. Успешная акция по самозащите для самообеспечения в сфере стихотворства была для обоих насущно необходима. И через две с половиной недели после неподписанной появилась в «Правде» уже подписанная статья, достойная исходного образца: «Против космополитизма и формализма в поэзии». Подпись «Н. Грибачев» обещала не меньше, чем название. А на опытный слух там еще различима была и софროновская мстительная бесшабашность. Статья принадлежала к жанру актуального политического доноса.

Она не требовала индивидуального авторства. Вероятность сотворчества двух поэтов-начальников выглядела достоверностью. И ей-богу, ни у кого не было большего права думать так, чем у меня, равно провинившегося перед обоими.

В 46-м мне удалось напечатать статью против Софронова под непростительным заголовком – «Нищета поэзии». В утро ее появления на полосе «Литгазеты» радостно было услышать по телефону голос Виктора Шкловского:

– Н-ну вот! Вы его хорошо упаковали. Даже бантик завязали сверху. Продолжайте!

Анатолий Софронов нынче в стариковских годах. Я тоже. Чего уж сызнова ворошить ту «хорошую упаковку» забытого мусора. Развяжу только «бантик сверху». Шкловский говорил о финале статьи: там выяснялось, как плох был русский язык у поэта, писавшего «от имени самого русского народа». (Он, скажем, рифмовал «портупею» с неграмотным «отупея»!)

А в 48-м мне удалось напечатать антигрибачевскую главу в большой статье «о драматическом начале» в нашей поэзии. Глагол «удалось» и тут уместен: произошло нечто беспрецедентное – подвергалась осуждающей критике поэма, только что получившая сталинскую премию I степени. Меж тем «Новый мир» напечатал это как ни в чем не бывало! Новомирцы сделали только ни от чего не защищавшую сноску: «Статья – дискуссионная». Я же рискнул на тот шажок из молодого экстремизма. Была тут и психологическая подоплека – уязвленность бессильем перед низостью власти.

А случилось вот что... Годом раньше я уже оскоромился: опубликовал в «Литгазете» нехорошие слова о грибачевской поэме «Колхоз «Большевик», как раз в пору ее выдвижения на премию. Так почтено ли было бы отмолчаться после состоявшегося награждения?!

Поначалу Николай Грибачев решил разделаться со мной нормальным в литературе способом: критически. И я удостоился «даниноведения». Совершенно всерьез! Он не поленился обследовать все мои статьи и статейки, дабы выписками продемонстрировать, как я всегда и всюду протаскиваю требования драматизма в изображении нашей жизни. Иными словами, сбиваю поэтов с пути описцев, а попутно клеветую на счастливую жизнь советских людей.

Свое исследование – под названием «Разговор начистоту» – Николай Матвеевич, естественно, представил «гужеедам», как говаривал Фадеев, то есть в панферовский «Октябрь». В те годы этот журнал один играл роль нынешней тройцы – «Молодой гвардии» – «Москвы» – «Нашего современника».

И вот – в зимних сумерках – курьер из «Октября», где я никогда не печатался. Большой конверт. Правленые гранки. Официальное письмо на бланке журнала:

13 февраля 1948 г.

*Уважаемый Д. С.!*

*Направляю Вам для ознакомления окончательный текст статьи тов. Грибачева. Было бы желательно Ваше выступление в «Октябре»...*

Кончалась пятница, а мне давалось время до понедельника. Зато объем не ограничивался. Возникло чувство ловушки. Было ясно: Грибачев заморозил редакцию своим комиссарским стилем – «наотмаш!» – и сочинение его мнилось неопровергаемым. Решили попросить меня высказаться параллельно: жалким самооправданием я добыю себя собственноручно... Да только ведь недаром Александр Раскин запустил тогда в обращение разящую эпиграмму на Николая Матвеевича:

Едва успел твой стих забыть,  
Как ты статьей меня тревожишь!  
Поэтом можешь ты не быть,  
Но критиком ты быть не можешь.

Грибачевское нападение на драматизм было злобным, а проповедь лганья – беспомощной. Его статья легче легкого поддавалась полемическому растерзанию. К счастью, нашлись две таблетки фенамина: можно было продержаться в бодрствованье двое суток. И я в срок доставил свои двадцать с лишним несдержанных страниц, чтобы еще через два дня быть обманутым самым беспардонным образом: меня уведомили с улыбкой, что решено статью Грибачева снять!.. Наливая мне в породистый фарфор крепкого чаю из огромного термоса, Федор Иванович Панферов (клянусь – простодушно) спрашивал моего одобрения случившегося:

– Здор’о вы его сделали! Ну и сами понимаете – зачем же нам печатать слабую статью?! А уж тогда, сами понимаете, ваша статья тоже... Но мы оплатим...

Оплатили. Однако бессилие против низости сначала бесит, потом – удручает и, наконец, – побуждает к отпору. Хоть и не в «Октябре», но в октябрьском номере «Нового мира» я отреваншировался в том же 48-м. И было чувство, что февральский фенамин все-таки даром не пропал. Но нет – пропал! То был лишь промежуточный финиш. А по-настоящему отреваншировался вовсе не я...

### 3

Однако приостановлюсь. Томителен пересказ той литературной суеты сорокалетней давности. Отдает бахвальством самообольщенного паренька после драки с дворовой бандой: ну я им дал – одному с левой, другому под вздох!.. И ведь правда – дал, но сам почему-то оказался в пыли за воротами... А главное – чем мелочней пересказ, тем бессодержательней: драматизм частностей заслоняет трагизм целого. Теряется представление о реальных масштабах беды. Не мой – единичной – биографической. Всеобщей, исторической. Да-да, таков был реальный масштаб беды 49-го года.

Слепо думать, будто свалилась она лишь на евреев – под псевдонимом космополитов. Подразумевалось – это которые «без роду и племенни». Но не осознавалось, что за этим – тысячелетние печали диаспоры: изгнаннического рассеяния маленького народа по лицу планеты. И никем не внушалось, что тут бы сочувствие было человечней вечно повторяющихся гонений! Нет, беда свалилась на все наше стонациональное сообщество.

Грубой волей Отца народов – по испытанному рецепту – пометили рассеянный народ знаком второсортности, позволив всякому другому предаваться национальному самодовольству. Правда, где уж было предаваться такому самодовольству Высочайше наказанным во время войны крымским татарам, приволжским немцам, степным калмыкам и стольким кавказским горцам! Как все разбойниче, те геноцидные преступления свершались темными ночами и в полной безгласности, дабы, Боже упаси, не поранить наше военно-патриотическое любованье равенством наций. А в 49-м при свете дня и полным голосом стали каждодневно твердить народам большим и малым, что искони завелись у них люди глохие по национальности и церемониться с ними нечего. Как было не взыграть – повсеместно – националистическим страстям?! И как было не предвидеть этого?! Воображается лесник-самодур, воз-

желавший огнем извести в живой тайге негодную древесную породу. А она растет в содружестве со всеми другими. И постепенно занимается вся тайга. Дым тех незагаемых пожаров и нынче ест нам глаза. На западе, на юге, на востоке страны. Разве что арктический север пока еще не в огне... Нет, конечно, не в 49-м и не с борьбы против мнимых космополитов началось крушение интернационализма и духовный геноцид в стране. Но 49-й – особый: он помечен белыми крестами варфоломеевской ночи. И вслед за крестами на космополитских дверях с той ночи оправданными стали кресты на дверях любых инородцев в любой из наших республик. И забыл всевластный Самодур, что сами русские за пределами русских земель всюду – инородцы: «кацапы» на Украине, «москали» у прибалтов, «иваны» в Азии и тэ-дэ и тэ-пэ. И не подсказали ему низколобые подсказчики английскую мудрость: живущий в стеклянном доме не должен бросаться камнями!.. Так нам и надо, рабствовавшим: мы теперь в дыму долго будем собирать осколки. Долго... Осколки... В дыму...

Но донимает меня вопрос: зачем понадобился Ему, безраздельно властвующему, сорок девятый год – подпаленная тайга и варфоломеевские ночи? Что за цель тут могла маячить?

Незначай задумываясь над бредовыми идиотизмами в пережитом, не нахожу ответа. Хочется – разумного, то есть как-то объясняющего ту всенародную беду. Не отыскивается. Друзья-приятели варьируют в спорах неопровержимый довод:

– Ты что ж, забыл про его антисемитизм? Троцкий – Каменев – Зиновьев. Довольно было этой тройки обрезанных вождей, иногда его соратников и всегда соперников, чтобы другая тройка – ревность – униженность – зависть – породила в нем сальеризм и тайную ненависть ко всему «их племени»...

Это и вправду едва ли опровержимо. Но тут нет ответа – зачем? Все-таки был он не жлобом-жидоедом, а царствующим политиком. В 49-м – семидесятилетним! Вспомнить только... Война еще кровотоцит: не восполнено невосполнимое – людские потери. Они тем чувствительнее в культуре, что там утрачивалось неповторимое. Зачем же новые потери? И не от вражеского огня – от собственной руки! Не пулей, так лагерем. Не лагерем, так бесправием. Ради чего?.. Вспомнить только... Уже три года идет холодная война. Бремя вооружений все тяжелее для нищей страны. Надо бы хоть обманно внушить доверие к своему миролюбию. Зачем же, напротив, плодить новых врагов? Да еще безотказным способом: подражанием разгромленному фашизму!.. Вспомнить только... Ах, ладно, с какой стороны ни взглянуть на беду 49-го, вкупе с бедами 48-го, вопиющая открывается вредоносность происшедшего.

Бессмыслица – антинародность – антигосударственность.



Невозможно сообразить хоть крохотную пользу, даже макиавеллевского толка, вроде – «отвлечь внимание народа от...» или «переключить внимание партии на...»! В жизни страны, только-только выигравшей грандиознейшую из войн, не видно было нужды «отвлекать» или «переключать». Все бедственное, естественно, списывалось на войну. Жидов, как виновников, не требовалось... Так зачем же?.. Наконец, могла ли обещать хоть малейший выигрыш для его личного влияния в мире манифестация двуличия: только что салютовал новорожденному государству иудеев и тут же стал удушать их на своей земле? Неужто из страха?! Перед кем? Перед чем?

Когда думаешь о нем не вообще, а предметно, – безуспешно ищешь ответы на точно поставленные вопросы, сродни вот этой космополитической проблеме, – ну, скажем, зачем было уничтожить одаренных полководцев в канун войны или многоопытных врачей в преддверье собственной старческой немощи? – вдруг приходишь к немыслимой догадке: а что, если нами правил всего лишь могучий и злонамеренный недоумок??? Тогда, по крайней мере, сразу делается понятным, почему ни на какие «зачем?» не находятся ответы разумные. Их не было!

...Зато как разумно эксплуатировали зло его партийно-государственных предначертаний трезвые умники во всех сферах нашей жизни! Расчетливо-расторопно. Привыкли: возможен отбой – очередное разгибание перегиба посредством лицемерного «головокруженья от успехов». И потому спешили запасти побольше этих «успехов» для своей карьеры. И для славы. И для страховки. Премии, ордена, звания, чины, членства, депутатства и всякое такое, что в иерархическом социализме влекло за собою привилегии. И разумеется, входило в состав этих успехов обретение покровителей в сочетании с устранением противников. Они-то, трезвые наши умники, безотказно находили на все «зачем?» выгодно-бдительные и льстиво-романтические ответы, озвученные «всенародным счастьем», «единством рядов», «мудростью Отца родного»... А в 49-м к благородному озвучиванию своеобразия привлечен был лейтмотив защиты патриотизма от «безродных». Увлекавшее открылось занятие! Во дворе поэзии Софронов-поэт и Грибачев-поэт «отыскали» меня без всякого труда: я был у них давно на примете...

#### 4

Да-да, мне, хоть и невесело, но посчастливилось! Исторически посчастливилось стать в те первые послевоенные годы критиком-неприятелем властительных стиходелов. Счастлив, что критика моя умерла вместе с их поэзией, никому не нужной. Но есть что вспомнить, хотя бы мимоходом: все-таки временному могуществу временно про-

тивостоял. Хоть ненадолго, а проторил свою тропинку во лжи... Словом, повторю мальчишку после дворовой драки: ну, я им дал! А что отреваншировался тогда все же не я – иначе быть не могло... Грибачев писал в «Правде» 16 февраля 49-го таким языком:

*«...Во главе критиков-формалистов – буржуазных эстетов стал Д. Данин, унаследовавший гнусные методы космополитов, в свое время травивших Маяковского и возвеличивавших Б. Пастернака и А. Ахматову...*

*...Д. Данин, этот отъявленный космополит, критик-формалист, всякое новое имя встречал зуботычиной. ...Данин облил черной краской всю поэзию за год... ...Между тем именно в области поэзии за 1947 год было присуждено больше Сталинских премий, чем... ...Данин доказал до чудовищной клеветы... протаскивая на страницы советского журнала бред фашистских мракобесов, бормочет о «втором рождении человека, обретающего в чужой доброте и новой любви, казалось бы, утраченный источник жизненной силы и мужества». Так может писать о священной для советского народа войне против извергов рода человеческого только «беспачпортный бродяга»...*

*...Данин избивает и извращает все передовое, новое, здоровое... Прибегая к птичьему языку... извиваясь ужом... пользуясь иезуитским трюком...»*

Передохну! Однако не странно ли – перечитываешь все эти желтые гадости без всякой взерошенности чувств: с годами открывается в них смешная сторона – пародийность. Подумалось: «стал во главе...» – это попахивало вредоносной организацией, и Павел Антокольский «становился во главе», и Борис Рунин «стремился тащить...». Словом, все звучало в духе анонимок. Но стало со временем звучать еще и смешно!

Рисуется воображению тогдашний следователь-бедняга, тонуший в потоке доноситељства. Читает он про отъявленного и безродного – «обливал... извивался... извращал...», читает и не знает, как быть: глаголов много, существительных мало. Затевать ли Дело?

Не уверенный, однако, в своем радужном домьсле, звоню я старому лагернику-знатоку Льву Разгону и слышу в ответ:

– Ошибаешься! Для успеха доноса жертве вполне достаточно было «извиваться ужом»: можно было состряпать ха-а-арошее дельце! Над печатными текстами, вроде грибачевского, мы в Бутырках досыта насмеялись. Уверю тебя – досыта...

Мне послышалось – «до смерти». Разгон принял поправку: «бывало и до смерти».

Но прежде чем расстаться с пожелтевшей вырезкой из старой

«Правды», мне надо еще раз окликнуть товарища по грибачевскому доносу – незабвенного Антокольского, потому что сам он голоса подать не может... «Здравствуй, Павлик! – молча говорю я маленькой тени неистового стихолюбца-мастера. – А я совсем забыл, что в Литинституте ты, оказывается, «создавал поэтические группки по нездоровому признаку». Спасибо Грибачеву – напомнил. Правда, он не объяснил, почему пятый признак – нездоровый. Зато я могу теперь напомнить, как, оскорбленный и негодующий, ты вопрошал – зачем из литературного обихода вывелись публичные пощечины?! Не условные, театральные, а раскрытой пятерней по рылу! Да, вот так непоэтично ты выражался – раскрытой пятерней по рылу...»

Однако не за Антокольского всего более следовало тогда получить недавно офицеру Николаю Грибачеву, а за недостойное глумление в той статье над трагической строфой Маргариты Алигер, оплакивавшей убитого на фронте мужа. Строфа начиналась строкою:

День прожить – пустыню перейти...

Грибачев написал: «Итак, поэтесса оказалась в советском обществе, как в пустыне». И дальше: «Чудовищное извращение советской действительности...» Конечно, следовало немедленно – судом! – запретить этому человеку прикасаться к литературе. Но, увы, именно тогда началось его ускоренное возвышение.

...На протяжении десятилетий разгромные статьи на правдинских страницах обретали опасное свойство: как приговоры трибуналов, они кассации не подлежали. Обсуждению – тоже. Только исполнению. Чем бы оно ни кончалось, а начиналось травлей неугодных. «Ату!» – раздавалось с газетной полосы. И свора срывалась с места.

Теперь мне легко закружиться с рассказиком о поэме «Без кого на Руси жить хорошо», прерванном раньше на взрывчатом восклицании Леонида Малюгина: «...как-к-кая скотина!»

Сергей Васильев был из первых доброхотов, кто сорвался с места по обоим сигналам «Правды»: январскому «ату!» против безродных в критике театральной и по февральскому «ату!» против таковых же в критике поэтической. Антигероев для своей поэмы ему не нужно было выискивать самому: они поименно перечислялись «Правдой». От него лишь требовалось изобретательно порезвиться над ними. Особой изобретательности на меня он не потратил. А на Леню Малюгина потратил, хотя с «нездоровым признаком» у Леонида Антоновича все было в идеальном порядке. Суть в том, что своего отвращения к софрону-суровскому типу драматургии Малюгин-критик не скрывал. И кто-то угодливо подкинул его, вместе с еще одним национал-невинным – театроведом Бояджиевым, в крамольный список «антипатриотической группы», дабы легко было отводить обвинение в «травле по пятому

пункту». Леня мило подшучивал, что «угодил в жиды», прибавляя свою любимую присказку «не дворянское это дело». И тут же еще прибавлял:

– Но не дворянское это дело открещиваться от товарищей! Обрезание, что ли, сделать? Ты не помнишь – больно было?

А Сергей Васильев как раз это – откреститься! – ему присоветовал. Развязными стихами. Смысл их был прост: «Ты что ж, дурила, в ихнюю безродную компанию втесался, окстись, Антоныч!» Конечно, Леня взорвался... Стихи те забылись дословно. Да ведь не искать же дерьмо! Ставлю точку.

Но вдруг телефонный звонок: «Д., вы знаете, без кого на Руси жить хорошо?» Улыбчивый голос известного нашего драматурга Виктора Славкина. Отвечаю: «Запамятовал!» – «А мне тот текст в руки попал. Хотите, сделаю ксерокс сей низости?» И вот теперь я могу процитировать кое-что про себя, грешного:

...На столбовой дороженьке  
сошлись и зазлословили  
двенадцать кровно связанных,  
двенадцать злобных лбов,  
сошлись – и заспорили:  
кому доверить первенство,  
кому заглавным быть?  
Один сказал – Юзовскому!  
– А может, Борщаговскому?  
– А может, Плотке-Данину?  
– Он, правда, молод, Данин-то,  
но в темном деле – хват!..

...Наверное, мне надо попросить прощения у Екатерины Сергеевны Васильевой.

## 5

Теперь – Мариэтта Шагинян. И по условию затеянной тут игры мне надлежит наметить ее сюжет. Но писать про незабвенную Мариэтту Сергеевну – все равно что вертеть неумелой рукою кубик Рубика в надежде наvertеть из его угловато-слоистой разноцветности нечто упорядоченное.

– Да-да, я лысенкоистка, арианка-ньютонианка, иудаистка, славянофилка! И другой не буду! – она по-детски громким голосом кричала это мне вослед через распахнутую дверь ее квартирки на Аэропортовской году в 70-м, когда ей было уже за восемьдесят, а мне под шестьдесят, и она в очередной раз дразнила мою несдержанность в спорах с нею.

– Да-да, я гегельянка, социал-демократка, григорианка, сталини-

стка! И нечему удивляться! – со старательной отчетливостью полуглухого спорщика кричала она мне вдогонку сквозь коридорную тишину карловарского отеля «Империал» чуть не десятилетием раньше – в 63-м или 64-м, когда ей было еще только под семьдесят пять.

Нет, мне не набросать шагиняновский сюжетец 49-го года хотя бы с относительной стройностью. Не выйдет правдиво!

Не мог и не могу вразумительно объяснить, как получалось, что после любого ее взбрыка, – ну, скажем, после защиты дурацкого романа Федора Панферова и нападения на честный роман Василия Гроссмана, – после громогласных ссор и обоюдных уверений в разрывах навсегда, – как получалось, что без чьих бы то ни было примирительных стараний наше общение возобновлялось. Да так, будто все прежде теряло осязаемую подлинность и потому не могло взывать к продолжению междоусобиц.

Есть у меня попытка объяснения, но от нее разит нескромностью. Да еще в рассказе о непрерывно мыслившем человеке. Пожалуй, было бы прицельно назвать ее по-старинному любомудром – человеком вечерней завалинки. Но не российско-деревенской и не горноармянской, а столично-европейской завалинки. Непреходящей озабоченностью ее души была «недопустимая тепловая смерть Вселенной», обещанная Вторым началом термодинамики – законом возрастания в мире энтропии – меры философски-ужасного рассеяния или удручающей деградациии энергии. Она не могла смириться с мыслью, что через миллиарды лет мироздание развалится. И готова была предпринять любые философические усилия, чтобы этого не случилось!.. Много ли на свете людей с заботами такого масштаба?! Да ведь один из героев ее поздних влюбленностей – замечательный астроном Николай Александрович Козырев – потому удостоился ее искреннейшего чувства, что в тюремно-лагерные свои годы сочинил фантастическую «Симметричную механику», где ход физического времени сам собою порождал энергию, снимая проблему ее рассеяния. Мариэтта Сергеевна в конце 50-х заставила «Литгазету» напечатать ее двухподвальный очерк об этом. Все полагали, что она писала о сути привлекательно-нелепой идеи Николая Александровича, в то время как писала она о своей любви к этой идее, включая ее автора. А потому едва ли стоило трем академикам, да еще каким – Капице, Тамму, Арцимовичу! – давать ей сердитую отповедь без улыбки на страницах «Правды», вместо того, чтобы осердиться на самого Николая Александровича... (Так я, между прочим, и попытался защитить ее в одной новомирской статье того времени, нападая на нее лишь за научную доверчивость.) Тут психологически интересно, что все это происходило уже после 49-го года. Стало быть, действительно в наших ссорах чего-то живучего не хватало.

Каково же нескромное объяснение этого феномена? Выскажусь

вероятно: Мариэтта Сергеевна принимала меня, как и все на свете, совершенно всерьез, я же, напротив, всерьез ее часто не принимал. Согласен: это еще и невежливо. Однако если бы я полагал главным быть скромным и вежливым, мне пришлось бы пожертвовать правдивостью.

Она могла вызывать несказанное изумление, как невероятный источник энергии, той самой странной, козыревской, энергии, что породилась историческим ходом времени. Она не была притворщицей-актрисой. Скорее – импульсивной реактрисой, автоматически управляемой с пульта эпохи. Команды она воспринимала общие, а импульсами отвечала собственными. Выражаясь модно, она являла собою конформистку, но необычайную – неконформную. Даю слово, я любил ее, хотя всего чаще не желал с нею знаться. Любил за пунктир неожиданностей. И жалею, что нет ее на свете. И нехотя буду рассказывать кое-что, к чему вынуждает этот рассказ о злоключениях 49-го года.

Он вынуждает сначала вспомнить, что 49-му предшествовал 48-й и борьбе с космополитизмом – борьба с компаративизмом. Правда, для наших письменников слишком это учено-отвлеченно звучало: компаративизм, или сравнительный метод. Изображался он по-нашенски – без дураков: злобный метод унижения самобытности русской литературы! Такая формула радовала общедоступной понятностью: какие-то ученые нахлебники занимались пресмыкательством перед иностранщиной, невыгодно сравнивая наше с «ихним». Западным, конечно. Тлетворным. Нельзя было позволить студентам и евреям утверждать, скажем, отродясь известное, ну, там, что у пушкинского «Пира во время чумы» был английский предшественник – чуть ли не близнец в творчестве какого-то Вильсона...

Это почему-то совсем не рассматривается в истории, – правда, еще не написанной, – наших псевдонаучных разгромов. А разгром компаративизма – невинной и плодотворной теории в мировом литературоведении – происходил, в сущности, одновременно с разгромом генетики, кибернетики, лингвистики, физиологии, квантовой химии (и еще многого, о чем я не имею ясного представления). Снова-снова-снова – томящий вопрос: за каким чертом все это понадобилось Корифею?!

...Я тогда доживал последние месяцы своего недолгого и нелепого начальствования в комиссии Союза писателей по теории литературы и критике. Был я замом при неназначенном преде. Секретарша комиссии Сусанна трижды в неделю покачивала головой – «дело кончится плохо». Она не могла покачивать чаще: у меня были три присутственных дня. В конце каждого она перечисляла мои промахи. В 48-м все тревожней предупреждала:

– ДС, на вас опять будут капать Фадееву и повыше: вы небрежничаete с сигналами о низкопоклонстве...

В оправдание я говорил, что сигналы очень уж стыдные. Она смотрела на меня материнскими глазами: «Дело кончится плохо». Но однажды я небрежности не проявил.

В тот день к нам заглянула Мариэтта Шагинян. Она ошиблась дверью. Это обнаружилось сразу: с порога она стала требовать от нас решительного усиления внимания к писательским сиротам войны. Когда же ошибка рассеялась, вовсе не ушла искать правильную дверь, а воскликнула ошарашенная: «Вы-то мне и нужны были!» И в той же интонации, что о сиротах, начала решительно требовать внимания к борьбе с угодничеством перед Западом, а равно и Востоком. Я заскукал было от напора непроверяемой эрудиции, унижавшей меня как столоначальника, но вдруг изумленно понял, что ее красноречие направлено в сторону, противоположную ожидаемой. В ее приемнике команд с пульта времени что-то заело, как то случилось с ее слуховым аппаратом. В тот день она требовала бороться с вульгарностью в борьбе против низкопоклонства!

Она перебирала четки, будто нанизывая на них образцы невежества «разнuzданных ксенофобов» (я тогда впервые услышал в устной речи это книжное слово). Она требовала от нас «ежечасного торжества ленинско-сталинского интернационализма». И мы с Сусанной виновато переглядывались, остро чувствуя, что это по нашему недосмотру он не очень-то торжествует... Конечно, можно было сказать ей, что она обратно же ошиблась дверью. Но я еще не настолько свободно чувствовал себя с МС, чтобы показать ей служебные двери наших начальствующих ксенофобов.

Прощаясь, я не только светски, но и с чувством прикладывался к ее шестидесятилетней руке, поразившей меня выхоленностью, с каковою не совмещалось ученическое лилово-чернильное пятнышко на одном из пальцев... Скажу, что рука ее оставалась такой же и через тридцать лет, когда на сцене нашего клуба – в черед с другими молодыми стариками – я почтительно поздравлял Мариэтту Сергеевну с девяностолетием!.. Но в 48-м, помню, долго досадовал на то, что произошло полминуты спустя после моего лобызания ее аристократической руки.

Уходя, она приостановилась у стола Сусанны и немо уставилась на нее. А затем без предисловий накинулась на бедняжку с повелением срочно привлечь «филологическую профессуру» к борьбе за качество переводов иностранной поэзии. Ни с того, ни с сего! Я поддакнул, никак не подозревая, что она сейчас изберет мишенью своего недовольства пастернаковские переводы.

Это было тогда непозволительно. Гадко. Еще звучала неотмененным партийным приговором Пастернаку прошлогодня статья Суркова в органе ЦК. БЛ был легкой добычей для браконьера. А Шагинян в прозрачных стенах писательского ведомства кричала о недопустимом

волюнтаризме в его переводах. А это обратная сторона низкопоклонства, порождаемого компаративизмом. И получалось, что она хотела для БЛ еще одной казни...

Да нет, никакой казни «лично она», – как привыкли мы в безгласности героически выражаться, – разумеется, не хотела. Но в ее сознании уже включился забарахливший ненадолго приемник сигналов с партийного пульта. Я вяло возразил, что своеобразие и волюнтаризм – разные вещи, поскольку своеобразие – произвольно, а волюнтаризм – преднамерен. И уже без всякой вялости, распаяясь, отважился даже кинуть вопрос – а что, собственно, дурного в сравнительном изучении культур и чего угодно?! Но тут же под взглядом Сусанны осекся. Соврал, что меня ждут в парткоме. Или в другом месте – не помню, что соврал, но помню, что бежал от греха подальше... Напрасно. Убежать было нельзя. Шагинян уязвило мое несогласие. И она вслух оповестила о нем одно из террористических собраний начала 49-го.

Вполне театральное зрелище являли собою три старые дамы в первом ряду под деревянной трибуной, откуда ниспадали в дубовый зал речи казнящих и лепет казнимых. Мариэтта Шагинян, Мария Эссен, Елена Усиевич. В их глазах горела беспощадная жажда чистоты партийных рядов. Они добивали оправдывающихся космополитов своей девической любознательностью: «Скажите партийному форуму – зачем вы уничтожали все лучшее в советской поэзии?» А когда слушали молча, устрашали еще больше своей неутомимой зоркостью – гильотинным поблескиванием глаз. Приходили на литературную память роковые старухи-вязальщицы из диккенсовской «Повести о двух городах» – те, что во времена Конвента вывязывали шерстью имена врагов революции к сведению палача.

Вязалась ли ко мне разительно схожая с Бабой-Ягой Елена Феликсовна Усиевич – не поручусь. Память молчит. Но розово-миловидная очень старая большевичка Эссен вязалась с яростью непонятной, ибо в первой же реплике сообщила президиуму, что злоумышленных статей моих, к счастью, не читала. (Много-много лет спустя, когда за домашней водочкой вспоминали сорок девятый, Юрий Трифонов однажды просветил меня: «Да ведь, наверное, неспроста в революционной юности у нее была партийная кличка Зверь!») Очевидно, что-то во мне самом, раз уж не в моих статьях, вызывало в Марии Эссен чувство принципиального отвержения.

Но, очевидно, что-то во мне самом, напротив, вызывало чувство беспринципной симпатии у Шагинян. Она даже вслух сказала об этом собранию. Между тем партийная ярость ее была при этом эссеновской температуры. Она известила собрание, что не только читала меня, но и «слышала»! Слышала?! Однако что уж тут делать большие глаза: на одном из тех собраний микроцефал Аркадий Первенцев избличитель-



но пересказывал телефонный разговор с Виктором Шкловским. И никто не остановил его! А Мариэтте Сергеевне следовало быть осторожней с глаголом «слышать»: раздались смешки. По-видимому, произошло невольное искривление и моей физиономии, потому что она, глядящая на меня из первого ряда, вскрикнула: «Он еще смеется над партийной критикой!» И тут же напустилась на меня с помощью моего «недо...» или «пере...» оценки волонтаризма Пастернака-переводчика...

А кстати, перебиваю я себя весело, почему это на писательских кровожадных бдениях незаурядно кусачими бывали пожилые литераторши? Им бы жалеть, а они – жалили! Прямо из кресел. Не поднимая своих поп. Не затрудняясь ораторством с кафедр. Демонстрируя жгучую репликабельность. Мне припомнилась сейчас запись Лидии Корнеевны Чуковской в ее ахматовском дневнике – по следу того октябрьского собрания в 58-м году, когда мы, замордованные истерикой Хрущева и руганью Семичастного, требовали выслать Пастернака за границу... Отыщу-ка ту запись:

*«Злобные реплики с места подавали дамы: Вера Инбер, Тамара Трифонова, Раиса Азарх».*

На том собрании в театре Киноактера я, вместе с Яшей Хелемским, забрался на балкон – в последний, пристенный, ряд, чтобы оказаться невидимым со сцены и не поднимать голосующую руку. (Мысль, что можно взять да и поднять руку «против», конечно, баламутила сознание, но отбрасывалась тотчас. Она отбрасывалась даже не сознанием, а инстинктом, как житейски самоубийственная. В согласии с необсуждаемыми нормами нашего – по меньшей мере четвертьвекового – благоразумия страха.) Можно было и по-другому укрыться от голосования: смотаться из зала по неотложной необходимости (как это сделал Юрий Домбровский). Или – по-третьему: сказать больным и не приехать (как это сделал Вениамин Каверин). Еще, по-четвертому, можно было избежать прямого соучастия, по-пятому... Но чего решительно нельзя было – это доброхотно выходить почти семидесятилетней поэтессе, ровеснице Пастернака, к авансцене и хрупким голосом возглашать анафему на голову гонимого, объявляя, что никакой он не эстет или там декадент, а просто предатель!.. Да, нельзя было, а Вера Инбер сделала. И невозможно было постичь – зачем? Тут не благоразумие страха служило движителем, а нечто другое. Как представить это «другое»? Может, то была разновидность уже бесконтрольной искалеченности изолгавшихся душ, когда вопрос «зачем?» перестал даже возникать в мотивах поведения?

...Так, почти десятилетием раньше, в январе 49-го, непостижимо «зачем?» истово тратила свою добропорядочность Мариэтта Сергеевна. В ее партийных репликах ощущалось студенческое проворство, точно

она, шестидесятилетняя, во что бы то ни стало должна была принести домой «пятерку». Очередная антипастернаковская ее реплика, – с «его хорошо известным эстетическим волюнтаризмом», «хорошо известным неокантианством марбургской школы», «хорошо известной антинародной практикой футуристов», – так явно перерастала в развернутую речугу, что председательствовавший (Софронов или Грибачев) попросил товарищ Шагинян встать и повернуться лицом к залу. И была минута, когда в смешном противоречии со смыслом происходящего она стояла внизу – под трибуной, а я высился над нею – на трибуне...

Мысленно я пребывал как раз в этой позиции, когда много лет спустя на миролюбиво-летней террасе в Переделкине, где она писала – честное – слово – хвалебную статью о моем толстенном жизнеописании Резерфорда, пришло мне на ум шутливо спросить ее:

– Мариэтта Сергевна, а помните, как вы в сорок девятом чуть не крови моей жаждали?

– Я?! – изумилась она. – Я... вашей?!

И не было ни тени притворства в ее живейшей просьбе рассказать со всеми подробностями, – «подождите, я только поправлю батарейку в моем аппарате», – со всеми подробностями, что же она такое говорила-делала? В чем провинилась?

– Как?! И перед Пастернаком – тоже?! Ну рассказывайте же!

Подробности я, однако, давно уже не помнил. Разве что немногим больше, чем их реставрировано здесь. Досадовал, что забылись строчечные ее недовольства переводами Пастернака и претензии к «низкопоклонству» Александра Николаевича Веселовского – исследователя мирового класса, которого она в 49-м, то ли намеренно (вслед за Фадеевым), то ли нечаянно, путала с его братом Алексеем, издавшим когда-то, конечно, клеветническую книгу – «Западное влияние в новой русской литературе»... Не помнил я даже собственной былой оскорбленности, каковой не могло же не быть?! И разве не доказывает это, что «чувствилища души моей» действительно не очень-то принимали тогда удивительную Мариэтту Сергеевну всерьез?

(Надеюсь, меня простит Мирель Шагинян.)

## 6

Кто там следующий в десятке подкидывателей? Даниил Романенко? Но в его охапке хвороста для космополитического костра ничего литературного не содержалось. И не отяжеляло ту охапку имя Пастернака. Зато ее отяжелял психологический груз. Для доноса – и эффективный, и эффективный.

«...Этот космополит в 10-й армии Западного фронта защищал дезертира-сиониста, посланного штрафником на передовую...»

Прозвучала ли эта фраза в начале его речи или в середине, на общем ли собрании или секционном, в дубовом ли зале или в парткоме – какая разница? Еще замечу, что кавычки тут незаконные: писаной стенограммы у меня нет. Не знаю даже – велась ли она. И если велась, то сохранилась ли. А если сохранилась, то правилась ли. А если правилась, то кем. Кем и когда? Когда и для чего?.. Короче: не верьте в документальность писанных стенограмм. Мне столько раз случалось беситься и смеяться при чтении собственной застенографированной ерундистики, выправлять ее, вычеркивать, переписывать, а потом читать отпечатанным не то, что я думал и говорил! Столько раз приходилось самому добавлять недосказанное и удалять опасное!.. А издавна усвоенная всеми манера – в самый острый момент властно бросить в сторону маленького столика с двумя измученными секретаршами: «Это не для стенограммы!» Какова же цена такой документалистики? Историк у нее скверный помощник. Литератору – дурной провожатый. Нет, мои кавычки удостоверяют нигде не записанный, но зато пережитый текст... Это – из стенограммы души. Она всего достоверней.

А кавычки, взгляните, похожи на птичьи лапки, двупало обнимающие цитату, как хворостину, выхваченную из охапки доносителя. И прежде чем упадет эта хворостинка, чтобы жару поддать костру, можно мимолетно к ней присмотреться... И можно тотчас увидеть: не договорил доноситель про штрафника-сиониста того, что договорил бы честный солдат, обнажая голову: «...посланный на передовую, он там и погиб, КРОВЬЮ ИСКУПИВ...»

Кровью искупив... Рассказ тут тормозится.

Была вина – была! И по военному времени – непрощаемая. Но не преступная!

Давно уже завершилось наше первое наступление 41-го года – декабрьское, под Москвой. 10-я армия стала в оборону за Сухиничами. И в эти тихие дни два армейских корреспондента соблазняются на дороге пустопорожним кузовом полуторки, едущей в Москву. И появляется в их биографиях двухдневная самоволка – отлучка с передовой в тылы!.. Случай выдал их штатское своеволие, а так – ни в какой микроскоп война не заметила бы того беспоследственного проступка офицеров, которые никем не командовали.

Могло ли быть что-нибудь естественней, чем попытка их фронтовых приятелей смягчить для бедолаг наказание? Мы просили передать их нам на поруки. И были при этом еще так неопытны, что подали коллективный рапорт, не догадываясь, что коллективное заступничество в армии под запретом. А я еще попробовал привлечь Фадеева, – шутка сказать, бригадного комиссара! – к защите по крайней мере

одного из провинившихся, которого он знал и ценил по довоенной «Литгазете», – Михаила Миллера. (Второго «дезертира-сиониста» не называю: он, к счастью, в штрафниках уцелел и здравствует по сей день.)

Сто дней пребывали провинившиеся в смертниках. Но в конце концов смертный приговор отменили. Думаю, без наших молитв. Слишком очевидна была незаслуженность такого возмездия. Но одного человека та отмена казни не обрадовала – приезжего политотдельского инспектора, проводившего расследование дела. Он создавал карьеру! Партийно-политическую. Тыловую на фронте. Был он из тех молодых партблагополучников второй половины 30-х годов, кто с молоком матери-эпохи усвоил сталинское кредо:

*...великодушие во всех вариантах – слабость,  
...беспощадность во всех вариантах – сила!*

Великодушие и милосердие. Великость души и милость сердца. Синонимы. Сколько человеческих жизней спасли бы эти синонимы даже на войне!

Самая преступная вина сталинизма, вероятно, в отчуждении человека от добрых начал, вложенных в двуногого природой и развитых историей. В пустопорожнем проступке наших провинившихся все взывало к великодушию и милосердию. Но сами эти синонимы не водились в словаре «работающих с людьми». И нельзя было показать Даниилу Романенко последнего письма Миши Миллера.

Это были семь страничек отчаяния, любви к жизни, душевной чистоты и веры в человеческую солидарность.

То письмо не прошло бы полевой почты: в нем обговаривались варианты возможных решений будущего трибунала. Миша дал мне его в руки на заовражной окраине Мещовска, когда мы безнадежно обнялись в час его насильственного ухода. На тусклом конверте без марки значилось: «Данину, Мельману, Аграновичу, Григорьеву». Внизу – дата: «24 февраля 1942 г. Мещовск». Оно осталось у меня как у старшего, а сохранилось благодаря трофеем той поры – немецкой папочке-скорошивателю «Зольдате́н Бри́фе».

*Мси дорогие ребята!*

*Приближается час нашего расставания... Хочется заранее сказать вам какие-то теплые хорошие слова.*

*Все, что произошло, страшно... Слишком часто ударяет обухом по голове мысль о дочке, жене, матери. Какое горе на них обрушилось! Отец, муж, сын – дезертир, преступник! Как мне доказать, что это не так? Что мне делать?.. Так хотелось бы работать, «служить» у вас хотя*

б швейцаром»... Одним словом – конец, страшно нелепый...

Сколько бы мне еще ни оставалось жить, быть может совсем немного, я всегда буду помнить вас... Ведь вы единственные люди, которые понимаете, верите – я не преступник...

...Если у меня будет хоть какой-нибудь адрес, дайте его всем, кто захочет мне написать... Объясните всем – я стал жертвой нашей общей любви к Москве... Теперь, наверно, никогда больше Москвы не увижу.

Но главное не это. Главное – дочь, жена, мать. У меня к вам три просьбы, ребята. (Просьбы горя. Опущу их. – Д. Д.)

...Если окажется все бессмысленным, то выход будет один. В этом случае не осуждайте меня, а **поймите**. И вспоминайте – был такой – Миллер – в общем, неплохой мальчик, любил жизнь, не всякую, а именно нашу, советскую, желал счастья своей стране... любил книги, музыку, ненавидел войну и стал нелепой жертвой ее...

Если не доживу до победы – а наверно, не доживу – желаю вам дожить до нее и в мирный день вспомнить и обо мне.

Пишу какие-то розовые слова, а на душе – дьявольщина, иногда кажется, мозг не выдержит. Может случиться и это... Уверен в вас. Крепко обнимаю, целую вас, Д., Ж., Н., Т.

*Ваш Миша.*

Все мы четверо, после Мещовска разведенные по разным фронтальным адресам, дожили до победы. А у него не оказалось ни дороги, ни адреса. Однако милосердный случай кое-что великодушное приготовил и для него. Через сорок три года!

В мае 1985-го ко мне пришла Лариса Миллер. Несомненный талант и стихотворца, и прозаика. Чистый голос. Да-да, это была Мишина дочка... Она впервые увидела и прочитала его последнее письмо. И впервые услышала от самого отца то, что знала прежде с голоса его друзей: на нем не было бесчестной вины, испуганной кровью...

...Мне не хотелось рассказывать ей о политотдельских расследователях, разговаривавших на ином языке. К Даниилу Романенко зачем-то прибавился еще один приезжий, чтобы в четыре руки ковырять пустую породу. Восстанавливать его забывшееся имя не стоит труда. Они были двойниками, и память путает их, хотя один носил в петлицах шпалу, а другой – три кубаря.

Сколь далеко они пошли на фронте – не любопытствовал. А после

войны оказались на редакторских должностях: Даниил Романенко в Гослите, его дубликат – где-то еще...

Но зачем я об этом? А затем, что хочу себе объяснить – для чего понадобилось одному из них в том чертовом январе 49-го, через семь лет после солдатской гибели честнейшего бедняги, вновь затрубить о «дезертире» с прибавлением новой клички «сионист»? Сильный должен был действовать внутренний побудитель, чтобы понудить уже немолодого чиновника трусить по метельным московским улицам в беспогонной шинелишке на чужое партсобрание. Можно не мудрить: внутренний побудитель был все тот же: «Бей, чтобы выслужиться и выгодно себя показать кому надо!» Так что – чего уж метель и шинель: метель не заметет, а значительное лицо заметит!

... Такой карьеризм участия в костоломных кампаниях – явление социальной психологии. А ее резоны убедительны. В их основе – обильная статистика. Достоверная усредненность поведения и есть его социальность. (Патентую определение.)

Но я оттого топчусь вокруг тезки моего Даниила Романенко или его двойника (ибо в точности не уверен, кто из них взял слово, а кто отсутствовал), что этот случай психологически более изысканный, чем усредненное подонство.

Ах, надо было слышать тот ржаво-наждачный голос и видеть над трибуной то квадратно-приплюснутое лицо... Бог шельму метит. Когда грубо слепленная фигура в кителе без погон протиснулась прямоугольно-чувельными плечами в переполненный лубовый зал, я узнал одного из двойников, тотчас всего. Будто не семи лет, а семи дней не прошло с другого палаческого собрания на занесенной метелью Даче, как назывался заовражный Мещовск. И с той же мгновенностью сообразилось, что явился он не по чью-нибудь, а по мою душу.

Ржавость не мешала его голосу звучать даже прокурорски, когда он, глядя на радостный президиум, наждачно оповещал «товарищей коммунистов», что «происки этого»... ну, ладно, не буду реставрировать нужник. Напомню лишь, что на его стенке он вывел, как на заборе, имя «самого товарища Фадеева». Оказывается, пока русские солдаты гнали немцев от Москвы, я «обдывал свои сионистские делишки»: самолично покрывая дезертира той же нации, еще и проводил политическую диверсию, пытаясь оплести члена ЦК сетями пособничества предателю родины...

Стенограмма души не преувеличивает. Уже знакомая мне по Мещовску, сладострастная дрожь была разоблачителя на кафедре: он все перекладывал руки по ее бортам, то ли ласкательно, то ли помогая себе стоять на цыпочках. А между прочим, был говоривший, – как и тот, другой, не-говоривший, – почти среднего роста, но повадки убавляли обоим драгоценные сантиметры. Думаю, потому они оба и карьеры не

сделали: начальству невкусно было холить их и лелеять... Вот и мне – антиначальству – невкусно.

## 7

Пятым и шестым в мою нечаянную десятку почему-то попали все-ми забытый Юрий Корольков и покуда не всеми забытый Михаил Луконин. Можно бы и проскочить обоих без веселого или злого дознания. (Как я уже проскочил второго в моем списке – Семена Трегуба.) Но нет, справедливости ради, как промолчать, что за их старательностью хоть юдофобства не лежало, представляете?! И стало быть, не лежало, не сидело, не стояло того агрессивного национализма для дураков, который вечно ищет, от кого бы с выгодой для себя поспасать Россию!.. Они были из тех, кто дисциплинированно верил, что партия борется против чего-то действительно нехорошего, и это нехорошее надо победить. Но ничьей крови они не жаждали. Так мне чудилось... Ну и промолчу о них.

## 8

Седьмой в моей десятке – Валерий Тарсис. Третий – после Брюсова и Кирпотина – «Валерий Яковлевич» в досоветско-советско-антисоветско-русской литературе. Нет, я всерьез: речь о «том самом Тарсисе» – едва ли не первом нашем диссиденте-эмигранте 60-х годов. Разве это не захватывающе-неожиданно?

Начну, в сущности, с конца – с нашей встречи на том пятачке относительно новой Москвы, откуда он вскорости и отбыл на Запад с ореолом мученика вокруг благородного чела правдолюбца и непечатца. (Изобретаю это возникшее из раздражения вполне старорусское по звучанию слово, цокающее извечно-цензурным страхом перед печатным текстом.)

Так случилось, что я переезжал с Петровки на Аэропортовскую несчастливым воскресеньем: было 7 января 1962 года. Утренний звонок старого приятеля Виталия Гольданского оповестил: только что в автомобильной катастрофе по дороге в Дубну тяжело пострадал Ландау. Он без сознания. Весь день эта трагическая нелепость – «Дау без сознания!» – усугубляла взвинченность неотменимой возни с переездом. И когда в ранних сумерках старожилы Аэропортовской из писательского дома напротив понимающе наблюдали за нашей возней, приключилось, хоть и пустяковое, но памятно-взрывное происшествие.

Вместе с молоденьким моим другом, физиком Марком Кучментом, я тащил к парадному тяжелую коробку и не видел, кто меня окликнул

сзади – совершенно по-приятельски. Не с руки было оглянуться, а голос продолжал: «Говорят, сегодня в Дубне дал дуба академик Ландау?» И что-то еще – развязное. Все это произносилось в ожидании моего охотного отклика. А мне, как принято выражаться, кровь бросилась в голову: понимаете ли, сверх всего прочего, я внезапно узнал тот рыхлый, – давно знакомый и давно забытый, – дворово-бабий голос. Тринадцать лет он не осмеливался адресоваться ко мне! Я обернулся с матерной отповедью. И морда моя, очевидно, не предвещала ничего приятственного, потому что Тарсис стал быстро-быстро пятиться задом, а потом побежал. Скверно было, что он вдруг повалился в снег. Пожилой господин, весь одутловато-рыхлый, как его голос. Мгновенно возникло чувство виноватости. А к нему еще заспешили, как к пострадавшему, его соседи по дому, глазевшие на наш переезд... А спустя неделю Надя Жаркова остановила меня во дворе: «Рассказывают, ты сделал бо-бо нашему Тарсису, это неосторожно!»

Потом был летний денек на Аэропортовской, когда Серафима Густавовна Шкловская, схватив меня за руку, показала глазами на удаляющуюся полумужскую фигуру: «Этот человек посадил Владимира Нарбута!» Она, Серафима Суок, была когда-то женою загубленного поэта, и ей следовало верить. Совершенно те же слова она сказала однажды Нёме Гребневу. Не знаю, взяла ли она с него обещание – никогда («слышите – никогда!») не подавать «этому человеку» руки. С меня – взяла. И мне доставило веселую минуту рассказать ей – отчего да почему я уже почти полтора десятилетия исправно следую ее завету. (Без веселья замечу, что тут затесались в сюжет имя и строка Пастернака.)

...Когда на одном из собраний 49-го, где «делали космополитов», Анатолий Софронов объявил: «Приготовиться товарищу Тарсису», меня слегка прознобило дурным предчувствием: вот сейчас, подумалось в духе психо-извращенности моего и соседствующих поколений, вот сейчас эта балда начнет говорить обо мне что-нибудь хорошее! Поддавшись порыву фронтовой солидарности, попробует, хотя мы и в размолвке, меня обелять! А мне только того и недоставало, как очутиться еще в одном, сверх рунино-алигер-антокольского, «групповом сговоре космополитов»!.. Между прочим, я не сомневался, что Валерий Яковлевич Тарсис – нормальный южнорусский еврей. Оказалось, как уверили меня позже, – грек! (Уж не потомок ли гомеровского Терсита – хоть и дерзкого, но самого жалкого среди осаждавших Трои?) Кабы ведомо мне было, что это эллин вступит сейчас на трибуну, моего ознобчика и вовсе бы как не бывало! Да и вообще беспокойство было совершенно напрасным: иной порыв, чем мне подумалось, окрылял Тарсиса.

Едва открыл он рот, как пустилось вскачь театральное действие, какого режиссер-реалист не поставил бы: схватка благородных побуж-



дений рядового Терсита со скромностью сановного Агамемнона... Ну а если без словесного кривлянья все называть попросту, то Валерий Тарсис стал лизать задницу Анатолию Софронову, а тот стал просить не делать этого – по крайней мере, тем способом, какой избрал Тарсис.

Вся беда была в способе. Он не сразу раскрылся. И стартовые фразы эллина встретили благосклонное отношение председателя. Дословно я их, конечно, уже не воспроизведу, хотя удовольствие от них было необычайно. Однако они легко поддаются пародированию, потому что даже тогда прозвучали пародийно. Так и записались в моей «стенограмме души». Пародии, да еще в стенограммах души, это документы времени особого рода: пародируемые могут воспаляться негодованием, но не могут жаловаться: будет только хуже...

– ...Вы уж не обессудьте, Анатолий, – примерно так заговорил Валерий, – но я скажу, как фронтовик фронтовику: ваша поэма «Золотой берег», – не считите за грубость, – одно из лучших эпических полотен в послевоенной поэзии соцреализма! И если я не прав, пусть партийное собрание меня поправит... Каким же отъявленным врагом всего русского и советского надо быть, чтобы подвергнуть разгромной критике ваше творчество, как это позволил себе сделать...

– Обращайтесь, товарищ Тарсис, к собранию, а не ко мне! К товарищам по партии... – примерно так, назидательно и скромно, прервал его по первому разу Софронов.

– Правильное указание!.. Я и говорю, каким же, говорю, надо быть врагом, чтобы разгромной критике подвергать поэта Софронова, как это позволил себе...

– Ближе к теме! Не во мне дело, товарищ Тарсис! – еще скромнее, однако уже с нервом вставил Софронов.

– Как это не в вас?! Очень даже в вас! Нет уж, вы разрешите партийному собранию защитить вас от происков агента...

Кажется, в этом месте Софронов встал с досадой, и весь его облик залоснился упитанной скромностью:

– Да не во мне дело, товарищ Тарсис! Ставьте вопрос по-крупному, как нас учил товарищ Жданов А-А!

И больше он уже не садился. Стоял до окончания сцены с непонятливым Тарсисом. Зорко следил, чтобы вопрос ставился по-крупному. А Тарсис все норовил по-мелкому, прикинув, что по-мелкому оно и будет по-крупному для его цели. А цель эта была житейская: заслужить покровительство сильного!

Дела его шли плохо. Он писал нечитабельные романы. Однажды принес мне домой тысячестраничную рукопись в двух папках и повелел «во имя фронтового братства» отнести ее в редакцию «Знамени» да еще с рекомендательным отзывом. И тут же, как бы расплачиваясь заранее, стал нахваливать мои статьи, особенно ту – «против Софроно-

ва-графомана»!.. Мама моя; открывавшая ему дверь, потом сказала: «Этот человек болен – не знаю, чем, но серьезно...» Может, поэтому, полистав его укачивающий текст, я плел ему по телефону что-то ласково-критическое, дабы не обидеть. Он же в ответ на высокой ноте потребовал, чтобы я доставил ему на дом злополучные папки, раз уж не хочу отнести их в «Знамя». Я вспыхнул и наговорил всякой ненужной всячины. Помню, как сострил, что если на войне мне посчастливилось тащить на себе его самого, то из этого не следует, что в мирное время я буду получать наслаждение от перетаскивания на себе его неподъемных рукописей...

Было это года за полтора до космополитических радений 49-го. Еще молодой, я ценил такое острословие дороже, чем оно стоило. Теперь-то я чувствую, что в моем отношении к Тарсису светилося маловато великодушия. Даже тогда, когда в октябре 41-го под Вязьмой мне пришлось просто физически выручить его из бедственного положения.

...Действительно, я тащил его на закорках через осенний лес – ночной и нескончаемый. Приостанавливался только для роздыха. Четвертые или пятые сутки мы уходили на восток – опасно и скрытно. Понимали, что отступаем, но не знали, что выходим из окружения. К счастью, у нас не было никакой ноши: все пропало в разбомбленной редакционной полуторке. С последним проворством мы успели повыскакивать из нее под бомбежкой на опушке роши у Семлёва. С этого и начался ранним утром 6 октября наш исход. А с той разнесчастной полуторки только и началось мое знакомство с офицерами-газетчиками из 32-й армии, и среди них – с Тарсисом.

Всего лишь накануне, в воскресенье 5-го, я добрался пехом до армейской редакции, переведенный туда из ополченской дивизии на вакантную должность художника. И в новой – несолдатской – роли еще не сделал ничего художественного, кроме как волшебным пережил в бесприютных октябрьских сумерках нечаянную встречу с Владимиром Николаевичем Яхонтовым. Он приехал концерттировать перед ополченцами в наименее удачный для этого день. И немислимо было поверить в его мирный шалевоый воротник, равно как и в само его появление у нас из другого мира жизни. И я, расспрашивая кого-то, где типография армейской газеты, все не отводил от этого видения неверящие глаза. Он сам окликнул меня, неузнаваемо заросшего, сказав, что узнал по голосу, пока я допытывался, куда мне идти... Он ожидал машины на передовую, но получил распоряжение немедленно – тем же воскресным вечером – возвращаться с оказией в Москву. И это сразу открыло мне тщательно скрываемое: дела нашей армии плохи!

Однако – вот молодость! – не желая верить всерьез ни во что дурное, я отправился в избу-типографию – «поиграть в газету», и отложил

на потом даже явку к редактору (в результате так никогда и не увидел его в лицо и ни на час не ощутил себя его подчиненным). Мне повезло: я замертво уснул в той избе, не ища другого пристанища на ночь. А иначе мог бы оказаться пропавшим без вести или того хуже, если может быть хуже. От порога типографии и рванулась на рассвете в панический рейс наша полуторка, до отказа набитая редакционными политработниками в чинах – со шпалами и кубиками в петлицах. У меня же не было и треугольников: я прибыл на офицерскую должность девственным ополченцем. Возможно, поэтому-то политрук Валерий Тарсис уже в кузове той полуторки стал говорить мне «ты», как бы приняв под свое покровительство. И по неписаному психологическому закону тотчас получилось, что я, более молодой и сильный, тоже как бы обязался опекать его. Разумеется, единственным доступным солдату способом – мускульно-услужаяще. Оттого-то, когда уже в пешем нашем отходе на восток он стер ноги до кровавистых волдырей и в сапогах передвигаться был на время не способен, а один из его редакционных приятелей сочувственно сказал: «Придется тебе, старик, не спеша выбираться в одиночку», и мы, остальные, единодушно выматерили того приятеля, мне, солдату, осталось только присесть и взвалить Тарсиса на спину – с надеждой дотащить до возможного ночлега в ближайшей деревне, если не окажется она уже взятой немцами...

Упрекать мне себя было не в чем: должное я сделал. Но как-то не совсем так, как следовало бы. Осело в памяти плеч и рук, как томительно выполнять долг без искренних чувств... И спустя семь с половиной лет в дубовом зале писательского клуба, с изумлением вслушиваясь в произносимое Тарсисом, я твердил себе злобно-насмешливо, без тени юмора: «А ведь надо было бросить его тогда в лесу под Селивановом!»

– ...Самим названием своей клеветнической статьи этот космополит поставил себя вне партии: издевательски переименовал название знаменитой работы Карла Маркса «Нищета философии» в «Нищету поэзии» Анатолия Софронова!.. – содрогался от политической грамотности Тарсис. И не понимал, что тем временем содрогался от его тактической безграмотности Софронов.

– Не в личностях дело! Где ваша партийность?!

Только услышав эту угрозу, сообразил недавний политрук, что неправильно лижет: софроновское разоблачение космополита раскрывается как вульгарная расправа за неугодную критику. А может, сообразил он еще и более простую свою оплошность: могло ли быть приятно упоенному собою начальству настойчивое напоминание, что его обзывали нищенским дерьмом?! Словом, Тарсис лишь тут повел разговор, наконец, по-крупному. И довел его до Пастернака. Повод ле-

жал на поверхности: статья моя начиналась безымянною строкою о «пустозвонстве во все века вертевшихся лыстцов». Тарсис авторство Пастернака «разоблачил». И я имел честь быть объявленным «протаскивателем поэта-врага». Врага чего? – будущий первый диссидент-эмигрант этого не уточнил.

...Он уже слыл диссидентом, но еще не стал эмигрантом, когда я все это рассказывал Серафиме Густавовне. Молча выслушав всю историю, она спросила: «Сколько же вы его тащили?» – «Думаю, километра три...» – попробовал я измерить воспоминание. «Три!» – повторила она удовлетворенно. Но как-то не вполне. Слышалось: «Пять было бы лучше, а уж десять – совсем хорошо». Возрастала степень неблагодарности «этого человека» – километраж предательства. Ей так хотелось, чтобы и в моем случае Тарсис был поближе к вершине подонства.

...Какая эволюция преобразила его из задолза в общественного строптивца? Возможно, верным было мимоно наблюдение: «Этот человек болен... серьезно». Но в 49-м смущало одно: коли был он всамделишным психом, то отчего – свою пользу не забываячи? Отчего все ради расположения руководства? Пастернака бы полелеять, а Софронова посрамить... Это было бы попсиховатей, не так ли? А в 60-х, может, он и впрямь материализовал социологические мечты и медицинские надежды начальства на психопатическое происхождение диссидентства?

Тогда он – уникам, достойный не мемориальной иронии, а сочувственного изучения.

## 9

...Кто следующий? Войдите!

Из моего нечаянного десятка остались трое: Борис Ефимов, Лазарь Лагин, Борис Соловьев. Их сюжеты кое в чем превосходят эллинский, а кое в чем до него не дотягивают.

В самом деле, поступок Бориса Ефимова, скажем, был всего лишь смешным. Буквально: карикатура в «Крокодиле». И вероятно, резонно было бы рассказать о ней вкупе с крокодильской историей Сергея Васильева. Но бескорыстная память поступила иначе – может, у нее свой замысел?

Карикатура появилась 10 марта 49-го. Дата запомнилась естественно: это был мой день рождения. Мы были мимолетно знакомы с довоенных времен – через Андрея Гончарова и Андрея Бурова, но я допускаю, что он, Борис Ефимов, совершенно забыл о знакомстве со студентом-физиком. Тем удивительней, что он захотел сделать мне изоподарок к 35-летию. Однако если уж захотел, то мог послать сотворенное в одном экземпляре по почте. А ему зачем-то понадобилось

сделать меня на полдня злобно-весело-известным миллионам соотечественников – любителей печатного юмора...

... Черный ворон, – не крылато-вороной, а фрачно-черный, – с обрезом у плеча хищно целится во флаг над сельсоветом... Так называлась поэма молодого Алеши Недогонова. Тут интересно, что она была подвергнута мною вовсе не обстрелу, а хвале! Из этого прямо следовало, что ни карикатуристом, ни редактором писания мои подвергнуты чтению не были! Однако такие пустяки значения не имели. Значение имело другое.

Художнику и редакции за какой-то нуждой потребовалось снабдить террориста-вбродна клювом такой неевклидовой кривизны, что ее крючковатости хватило бы всему племени киевских Фридландов, к одаренной части которого принадлежал Борис Ефимов, вместе со старшим братом своим – знаменитым Михаилом Кольцовым. Тот был уже убиенным, но еще не реабилитированным... Вот и весь ответ на мнимонедоуменное – за какую нуждой понадобилось?

Ординарнейшая историйка того времени! Наш политический карикатурист, не менее знаменитый, чем его брат, жил с непрерывным ощущением социальной ненадежности самого анкетного фундамента своего славного бытия. И моя оскорбленность 10 марта была скорее уязвленностью: как он смел, зная мою морду в лицо, – а коли запоминать, так трудно ли было подсмотреть на одном из наших собраний тех дней? – как он смел презрительно изображать меня без единой черты хотя бы условного сходства?! И притом еще так ненужно глумливо... Словом, я согласился бы на карикатуру при условии ее зримой лестности: пусть бы, скажем, белокурая бестия-ариец вел под моим именем требуемый огонь из кулацкого обреза, а так... – жалкое зрелище. Оно не тускнеет с годами. Неужели это юное тщеславие не желает смиряться? А я полагал себя уже сдавшимися старости...

## 10

Лагинский сюжет тоже был смешным. Но не буквально. Старик Хоттабыч, – впрочем, ему тогда только сорок пять исполнилось, – держал на партсобрании писателей речь против квантовой механики. Не верится, правда? В согласии с украинской пословицей – кабы не мой дурень, так и я б смеялась! Но тут дурнем оказывался я. И это несколько замораживало веселость...

Думаю, первопричиной всего была нерасчетливость жизни, безалаберно понудившей его сперва учиться на технаря, а потом не знаю на кого – в институте Красной профессуры. И это – вместо консерватории! Он обладал поразительной музыкальной памятью. Среди знакомых мне литераторов был сравним в этой одаренности только с Ирак-

лием Андрониковым. Но бесцензурному вольномыслию музыки почему-то предпочел подцензурное единомыслие нашей философии.

Как всю тогдашнюю мнимо-высоколубую квазиинтеллигенцию, его с утра до вечера беспокоил «основной вопрос философии» – что первично, а что вторично: материя или дух? Трудность состояла в том, что первичность входила у нас в само определение материи, а вторичность – в само определение духа, и потому вопроса в действительности не существовало. Меж тем отвечать на него надо было по множеству поводов, да еще всякий раз большевистски боевито. В том и фокус состоял, что вовсе не истинность, а боевитость была у нас в цене. И Лагин брал слово на всех собраниях. Он показывал, что дорогого стоит! Воздержание от идеологического самопоказывания было бы для него то же, что абстиненция для наркомана.

Воссоздаю разговор в четверть голоса с Казакевичем на одном томительно бросовом собрании:

– Слава Богу, скоро по домам...

– Да ты что: Лагин еще не выступал!

– Сегодня пронесет: он напрочь голос потерял...

И в этот момент – предсмертно-хриплое из глубины зала: «Прошу слова!» Мы хохотнули и не могли затихнуть, пока он пробирался к трибуне, осуждающе поглядывая на нас. Ах, у него всегда были такие озабоченные, добрые, бабушкины глаза!

– Пора ударить по рукам молодых коммунистов, хоть и фронтовиков, но недооценивающих... – начал он свою речь.

А в 49-м ему со мною неслыханно повезло. Собрание было отнюдь не из бросовых. Его голосовые связки пребывали в полном порядке. Я же прорезался как носитель физического идеализма! Это был подарок его духовности. ...То ли в угоду международной реакции, то ли по ее прямому заданию, понимаете ли, товарищи, он, то есть я, упорно подменял первичное вторичным! А он, то есть Лагин, считал своим долгом привлечь внимание писателей-коммунистов к тому, что для вражеской вылазки с подменой вторичного первичным, и наоборот, этот космополит использовал любые лазейки, вплоть до потерявшего принципиальность журнала «Вопросы философии», и делал это свое дело по-большому... ничтоже сумняшеся... несмотря на ... идя на поводу... и катясь недалеко от яблони, которая давно уже льет на мельницу...

Как славно, что есть еще живая охота посмеиваться для веселия души над незабвенным идиотизмом нашей зловещей одухотворенности тех отжитых десятилетий! Однако мало кому из литераторов помнится одно происшествие в сфере этого идиотизма, которое мне помнится поневоле – как соучастнику и попутной жертве.

...Поздняя весна 47-го. Очередной номер «Литгазеты» – очередная

гадость, погромная статья – «Об одном философском кентавре». Громящий автор – философ Максимов. Громимый кентавр – физик Марков. А виновница всего – буржуазная квантовая механика микромира. А виновник всего – продавшийся американским империалистам датчанин Нильс Бор.

Однако демонстративный сволочизм литгазетской публикации так очевиден, а негодование во влиятельных кругах физиков так весомо, что приходится устроить в писательском клубе дискуссионное изничтожение писательского органа неписательскими силами. И я, естественно, на стороне изничтожителей, как довоенный студент-естественник и еще достаточно молодой фронтовой, чтобы заносчиво ввязываться в драку, коли уж она – на твоей улице. А квантовая физика – по неутоленной довоенной любви – еще мнилась мне моей улицей...

Я наслаждался многоголосым криком в каминной комнате № 8, пресловутой гостиной на втором этаже нашего клубного особняка, когда теплым вечером – при распахнутых окнах – наглядно терпели поражение «ермиловские ребята», вместе со своим шефом – тогдашним редактором «Литгазеты». Они доверились авторитету ученых званий членкора Максимова и академика Митина, возглавлявшего в «Литературке» науку, а тех без всякой вежливости изобличали просто в невежестве. Неужели не было известно заранее, что таким философам нельзя доверяться: свои высокие степени они получили не за любомудрие, а за десятилетия цитатолюбия – отвратительнейшей формы канонизации лжи. Иначе: не за ученые заслуги, а за научные услуги. Удивительней всего, что дал себя обмануть и сам Владимир Владимирович Ермилов – опытейший циник. Да-да, тот недоброй памяти Владимир Владимирович, которого зря обессмертил в своем предсмертном письме другой – трагически кончивший – Владим-Владимыч («Ермилову скажите, что... надо бы доругаться. В. М.»). Но, черт возьми, мне кажется, Ермилов вовсе не был обманутым. Он переобманул самого себя!

Позднее, в начале 49-го, когда «Литгазета» из номера в номер опускала в помойные ямы травимых критиков-космополитов, перевыполняя планы по ассенизации, Ермилов подписывал в типографии полосы с неизменной присказкой: «Маразм крепчал!» Так и в 47-м он наверняка сознавал, что профессор физики Марков – не философский кентавр, и квантовая механика – не служанка империализма, и ее принципы – не... и Нильс Бор – не... а философ Максимов – как раз «да» и философ Митин – тоже «да»... Но он по привычке полагал, что будет чистый выигрыш от идейной диверсии против физиков-заумников, как уже повелось у нас получать чистый выигрыш от травли биологов-генетиков. А меж тем наши заумники были еще и атомники! В секретной тиши крепло их государственное значение. А с ним вместе их обще-

ственное самосознание. И все наивней становился расчет, что их, как и прежде, можно будет подстреливать на лету для пополнения своих охотничьих сумок крупной дичью... Но было бы, конечно, верхом прозорливости, когда бы Ермилов со своими философами хоть на минуту допустил в 47-м году возможность такого поворота дел. Ошибся! Политикан переобманул свой цинизм!

...Вижу себя в тот вечер вскочившим на подоконник распахнутого окна и оттуда орущим апоплексически пунцовому Ермилову, что он обязан опубликовать ответную статью – против Максимова! «Уж не от вас ли ждать ее?!» – с иронией рычит Ермилов. И абсолютно неожиданно для себя я ору в азарте:

– Да, а что! Я физик. И вы это знаете...

А снизу, с тротуара Поварской, раздается: «Не свались, малый, у вас там что – свадьба?» А я соскакиваю с прохладного подоконника на паркет – в духоту разноголосицы – и спешу к Бонифатию Михайловичу Кедрову, поманившему меня рукой. «Напишите для нас...» – говорит он. И это было во сто крат соблазнительней, чем для «Литгазеты»! Это означало – для «Вопросов философии». Я переспрашиваю Бонифатия Михайловича – серьезно ли его предложение? А он вместо ответа назначает «срок сдачи и объем заказанной работы». Мне давался целый лист!

...И на месяц с лишним я снова делаюсь физиком. Но не догадываюсь, что это мне послан судьбою случай внести вступительный взнос в собственное литературное будущее – в послекосмополитический, отрядный для меня переход к научно-художественной прозе! И знать не знаю, что мне выпадет даже дьявольское везение – поработать в Копенгагене и Москве над жизнеописанием «того самого» датчанина Бора. Снова – вечное! – «если бы знать...». Тогда, возможно, в моем сочинении против литгазетского негодяйства проявилось бы больше живого чувства, чем язвящей логики. Но, возможно, тогда моя статья не подошла бы научному журналу.

«Вопросы философии» напечатали ее в начале 1948 года – в дискуссионном разделе. Втайне я очень гордился ею. Оттого втайне, что никто из литературных приятелей, равно как и неприятелей, не мог обратиться на нее никакого внимания. Хотя... Лазарь Лагин тоже не мог, но обратил! Впрочем, весьма вероятно, что им руководил и похвальный мотив: верность ученика учителю, ибо Александр Александрович Максимов учил его философии в институте Красной профессуры. Давным-давно. Когда я еще не учил физики в университете. Так или иначе, но через год – в 49-м – мне все это отпелось.

Однако отпелось не только то сочинение «в защиту физического идеализма», а еще и наши случайные разговоры-споры за пьяноватыми клубными посиделками... Там-то, как уяснялось из лагинской ра-



зоблачающей речи, я, уж не скрываясь, лил воду на разные мельницы. И – по стенограмме души – все время был уличаем в «некритическом отношении»: то к Эйнштейну с Махом, то к Бору с Авенариусом, то к Маяковскому с Фейербахом, то, наконец, к Пастернаку со всем немецким философским отребьем. Уяснилось также, что среди всевозможных яблонь, от которых я катился недалеко, не было как раз мичуринской!

Это сейчас необременительно фельетонить, когда все ушло. А на самом деле было совсем не до улыбок, когда интеллигентный человек на трибуне спускал с цепи вдогонку за тобой именно свою интеллигентность, или – ограниченной – умственную осведомленность. Право, не до смеху было, когда такой озабоченноглазый и партийноприлежный Лагин присоединял к моим грехам «антипартийные высказывания» о замечательной васхниловской сессии – в те дни совсем недавней, августовской, 48-го года. То звучало уже как огнеопасный донос... Почему его небрежно пропустили мимо ушей Грибачев с Софроновым – не возьму в толк. Может, притомились? Было от чего...

...Та квантовая история с физиками и лириками жестоко отпелась в 49-м году и самому Бонифатию Михайловичу Кедрову: свергнутый с редакторского трона в «Вопросах философии», он был вдобавок без малейших генетических оснований объявлен безродным космополитом. Академик Марк Борисович Митин, роковыми генетическими недостатками обладавший сполна, всласть натанцевался на лежащем Бонифатии. Для этого каннибальского танца завмаразмом Ермилов щедро предоставил пространство четырех подвалов в «Литгазете». Легкое па академик Митин посвятил и мне:

*«Необходимо отметить, что с рьяной защитой статьи М. Маркова на страницах журнала «Вопросы философии» выступил разоблаченный как отъявленный космополит и антипатриот литературный критик Д. Данин. Так смыкались космополиты в философии с космополитами в литературной критике».*

А мне необходимо отметить, что, к чести писателя Лагина, он самостоятельно обнаружил все это раньше философа Митина: для последнего я был уже разоблаченным, а для первого – еще только разоблачаемым! Различие приоритетное... И ни за какую чечевичную похлебку не уступлю я жалкому философу духовного первородства моего почти-приятеля, музыкального, до сих пор читаемого детьми, известного писателя Л. Л.

Взрослый, я не читаю его с 49-го года.

Тут наступает, наконец, заключительный пункт в моей неправдоподобной проскрипции: Борис Соловьев.

Нет-нет, простите – не Борис, а Борис Иванович. Ни тени панибратства не было в нашем общении. Не знаю, как я выглядел в его глазах. Мне же он виделся бесцветным в своих литературных ипостасях критика, прозаика, поэта. Однако, должен сознаться, я плохо его читал. Вина лежала на нем: страницу за страницей глаза отбывали ровную интеллигентность текста и не оживали в предвкушении выразительных строк. Он и внешне был такой – четко чиновный, всегда аккуратно стриженный, слегка лощеный, сравнимый с оглаженными бархоткой начищенными ботинками из неважной кожи. И всегда ощущалось в нем что-то скрытно-недоброе... Это не мстительное описание, а посылно точное.

Блекло-надежный его успех критика основывался на выверенной приемлемости оценок и суждений. Они звучали как всехние и ничьи. Общественно-надобные. Точнее: общественно-как-бы-надобные. Еще точнее: надобные-как-бы-общественно. Так, удовлетворяя кем-то высказанную наверху потребность, он обругал некрасовскую повесть «В окопах Сталинграда» за окопную правду и ремарковщину. Мне же, удовлетворяя личную потребность, – и даже не столько любовь к этой книге, редактировавшейся в нашем доме, сколько любовь к ее автору, – удалось в какой-то статье о поэзии походя лягнуть Бориса Соловьева за тот выпад... Поэтому в 49-м у него было заслуженное право на меня напасть.

Он это и сделал. Но не дуэльно, как издревле повелось в добропорядочной литературной борьбе, а когда у меня уже были связаны руки-ноги и кляп сидел во рту. Бывалый литературный волк, начинавший еще в 20-е годы, Борис Иванович все это превосходно понимал. И потому поступил нехорошо...

Статья его – «Эстетствующий злопахатель» – появилась в феврале. Дня за три-четыре до моего исключения. Оно было уже предreshено. И, конечно, без помощи Бориса Иваныча, да и не мог бы прозвучать на собрании его беспартийный голос. Однако тактически разумно было дать слово беспартийному большевику загодя: в некотором роде – «вокс попули». Он мог профессионально прикрасить софрону-грибачевские грубости и тем как бы поддержать за локоток будущих голосующих интеллигентов...

Однако... от этой догадки папахивает самолюбованием, словно на мою персону надо было еще тратить какие-то тактические тонкости! Никого не надо было поддерживать за локоток. Единодушие наших голосований как раз и показывало, что голосований-то не происходило. Происходило поднятие рук. Как при сдаче вооруженному противнику! Оно, это рукоподняtie, в теоретическом обеспечении не нужда-

лось. И Борис Соловьев в своей подвальной статье лишь одной деталью превысил обязательную норму.

Своего «Злопахательского эстета», – нет, простите, «Эстетствующего злопахателя», – Борис Иванович закончил так:

*«...Среди своих единомышленников Данин слыл человеком, понимающим поэзию, – однако любая его статья опровергает это заблуждение.*

*Надо сказать, что созданию дутого авторитета Данина способствовала и редакция «Литературной газеты», предоставляя ему место для «откликов» на значительные явления современной поэзии...*

*Давно пора развеять созданный самими же формалистами миф о том, что в вопросах эстетики они якобы являются «авторитетами»...*

*Вся деятельность Данина сводилась к тому, чтобы травля наших читателей ядом эстетства и снобизма, заставить писателей пойти на выучку к декадентам, к буржуазным эстетам... лишить их того места, которое они по праву занимают в первых рядах борцов за коммунизм. Вся «деятельность» Данина является вредоносной...*

*Одну из своих многочисленных статей Данин самоуверенно назвал «Разговор с продолжением»...*

*Кровные интересы нашего народа требуют, чтобы антипатриотической деятельности безродных космополитов был положен конец.*

*Продолжения не будет!»*

Эти глаголы в прошедшем времени – «слыл», «был», «именовал» – в сочетании с повелительным «продолжения не будет!» отдавали уже не духотой писательского клуба, а безнадежной прохладой тюремного коридора. Многие приятели тех дней потом признавались, что приняли заключительный всплеск соловьевского красноречия – его римское «продолжения не будет!» – за свидетельство уже состоявшегося «где надо» решения. И думали, что со дня на день меня посадят.

Но такие признания – потом, задним числом, когда уже явно пронесло... А в тот февральский день – отважные телефонные звонки друзей и родни. Эзоповские пробы сообщить утешающе-беззаботными голосами, что так, мол, и так – включили утром радио, а там алябьевского со л о в ь я передавали, да сукин сын певец мелодию перевирал, а то еще, знаешь, перечитал сегодня блоковский С о л о в ь и н ы й сад и прямо восхитился, как там здорово об ослином крике, или нечто туманное про со л о в ь я -разбойника... И поздно-поздно вечером, откуда-то из-за города, – в разлад с этим бедственным весельем москви-

чей, – орущий голос бывшего фронтового товарища по артдивизии, уже четыре года не раздававшийся, полублатный голос:

– Ну што, капитан, будем бить эту твою сволочь, Соловьева!

И первый мой притворный ответ-вопрос: «Ты о чем?» И сейчас – через столько лет – первое чувство, порожденное этим воспоминанием: СТЫД! И вслед за тем – уместней уместного забегающая в этот текст полустрока из раннего Пастернака:

О стыд, ты в тягость мне!..

Ей легко было, этой полустроке, забежать сюда на редкость вовремя. Потому легко, что на любой странице это было бы вовремя. Стыд, – тот, что в тягость душе, – и явный, и скрытый спутник всего этого повествования... Один почтенный историк, рассказала Наташа Мостовенко, прослушав в Музее Герцена начальные страницы этой книги, когда я впервые решился читать их вслух (то было в 1986-м), полюбоствовал, а какова будет концепция целого?

А вот, если угодно, концепция целого, но не историософская, а зауряд-человеческая: «О стыд, ты в тягость мне!»

Стыд исторический и автобиографический. Всехний и собственный. И потому – хорошо бы оказалась хоть отчасти утешительной последняя –

**«...НО БЫТЬ  
ЖИВЫМ,  
ЖИВЫМ  
И ТОЛЬКО,  
ЖИВЫМ  
И ТОЛЬКО –  
ДО КОНЦА»**

1

**В**озникнет ли утешение – не знаю... Но пока хоть отрад-но, что после неутешитель-

ного парада стольких низостей забежала сюда пастернаковская полу-строка из молодости жизни. Она из цикла-поэмы «Разрыв».

Это – о непереносимости разрыва между любящими, когда беда – одна на двоих. И стыд – один на двоих. А вина у каждого своя. «О ангел залгавшийся...» – это про ее вину. «...Прости!» – это просит он. Но сильнее вины и стыда – надежда: все можно еще поправить. Потому – можно, что не где-то на свете, а в нас самих есть прислушивающееся к нам устройство – спорящее с нами начало: совесть! В крайние минуты существования можно к ней воззвать:

...О совесть, в этом раннем  
Разрыве столько грез, настойчивых еще!

Когда бы не эти романсовые «грезы», музыка сожалений одинокой души была бы тут неотразима. Неотразима тут и готовность принести повинную в поисках преодоления разрыва:

Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею  
Налечь на борт и локоть завести  
За край тоски, за этот перешеек  
Сквозь столько верст прорытого прости.

Тянет телесно проверить нарисованное переживание – так оно захватывает точностью... А что, если и вправду освободить сейчас стол от машинки, от лампы, от книг, дабы можно было налечь всей грудью и локоть завести так далеко, как это сделалось бы во всамделишном

отчаянии, и подождать в немоте – не подкатит ли к горлу самонаведенная тоска сожаленья о каком-то былом разрыве... И что же! Стоило только замыслить этот эксперимент, как почувствовалось: подкатывает комок... Хоть объявляй Пастернака экстрасенсом! Заговорило в душе сожаление обо всех разрывах, не сумевших усмириться до обыкновенных расставаний.

Таким сожаленьем пронизан и весь пастернаковский «Разрыв».

Прорытое сквозь столько верст пурги и рождественских заносов, нелегкое его «прости» – это ведь не только признание своей половины вины за случившееся, но последняя попытка преодолеть беду.

В 18-м, когда писался «Разрыв», он не мог еще знать цветаевские строки 16-го года, напечатанные впервые только в 22-м: «Целую вас через сотни разъединяющих верст» (к слову, адресованные двадцатипятилетнему Осипу Манделъштаму). Удивительно: противоположные по настроению, – у Пастернака про разлад, а у нее про дружбу, – их разъединяющие версты оказались созвучными, будто они из одного опуса. А это потому, что они и впрямь из одного – из музыки преодоления человеческих одиночеств. Цветаева сумела к концу своего послания мастерски превратить пространство во время:

Целую вас через сотни  
Разъединяющих лет!

И этой заменой верст годами создала, возможно – нечаянно, образ поправимости разлук: «через сотни» все-таки не «через никогда»... А у Пастернака метания любящей, но оскорбленной души разрыва не преодолели:

Я не держу. Иди, благовтори.  
Ступай к другим...

И он только уведомил «залгавшегося ангела», что не будет искать исхода в самоубийстве: «Уже написан Вертер!»

Вот так – не будет повторения судьбы юного бедняги.

Но драмы разрывов разыгрываются на сцене истории, а потому рассказывают и о ней...

Гетевскому Вертеру пистолеты вручила через слугу сама Лотта. С дурными предчувствиями и, в сущности, даже против своей воли, но – как греческий Рок – вручила все-таки сама. И что бы ни говорилось на сей счет комментаторами, История с большой буквы в той смерти не участвовала. Такой уж она была, вялая германская история 70-х годов XVIII века... А почему в пастернаковской драме отказ от самоубийства? Некому было бы пистолет вручить?.. Нет, вся штука в том, что не восемнадцатый век стоял на дворе, а восемнадцатый год! И незачем было лишать себя жизни, когда в любую минуту это могло сделать с

тобою само время – синоним не просто Истории с большой буквы, а всесокрушающей Революции.

А в наши дни и воздух пахнет смертью:  
Открыть окно – что жилы отворить.

Биографы Пастернака еще расскажут, сколько в подоплеке «Разрыва» было от бед любви и сколько от бедствий времени. Но и без дознания – просто по стихам – видно, как много происходило с ним такого, что заставляло его, двадцативосьмилетнего, балансировать на грани последнего срыва. И всего откровенней это высказалось, когда год 18-й остался позади.

Стихотворение «Январь 1919 года» начиналось строками:

Тот год! Как часто у окна  
Нашептывал мне, старый: «Выкинсья».

А сверх того:

... дарил стрихнич  
И падал в пузырек с цианистым.

И прозвучало еще в том году – как бы от имени Алеко:

Яд? Но по кодексу гневных  
Самоубийство не в счет!

Был ли он о ту пору гневным, или сработало что-то иное, но Пастернак уцелел. Как и в дни «Разрыва», когда осенила мысль об уже написанном Вертере. Можно бы заметить, что это было предсказуемо: разговаривающие о самоубийстве с собою не кончают... Однако тотчас – а Маяковский?!

Все чаще думаю –  
не поставить ли лучше  
точку пули в своем конце.

И даже рисовал себя застрелившимся у порога любимой. И показывал себя – дважды! – в готовности над Невой. И спрашивал в поэме яд у аптекаря. Словом – разговаривал. И доразговаривался!.. Но, конечно, вспоминать Маяковского для опровержения статистики недобросовестно: он по всем параметрам был далеко за краем ее усреднений. Так ведь и Пастернак был далеко за краем!

## 2

...Мрачный «Разрыв» и все состояние души 18-го года были ближайшими наследниками или отголосками душевных состояний и сти-

хов года 17-го. А в нем родилась «Сестра моя – жизнь»! Мыслимо ли открыть тут преемственность?! Представьте, мыслимо. Та летняя и жизнелюбивейшая из поэтических книг, – доподлинная сестра самой жизни! – содержала в заключительном стихотворении признание, опенное восклицательным знаком: «Мне смерть как приелось жить!»

Невообразимая для такой книги строка. И что за невзрачный глаголишка – «приелось»?! Непереводимый в поэтичные синонимы. Житейски-съедобный глаголишка с привкусом пустяковости переживания. Допустимо ли было соотнести его с громадой глагола «жить»?

Допустимо, допустимо... И вообще: если кто-нибудь произносит с великолепным укором: «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает мадонну Рафаэля!», ему, возвышенному укорителю, надо медленно напоминать, что то слова Сальери, а не Моцарта... В поэзии все можно, когда душевно нужно. При единственном условии, что душа – не пуста! Так вот и позднее, когда понадобилось Пастернаку вслух изумиться каждодневной новизне непомерного моря, ему снова пригодилась эта оглаженная пустяковость:

Придается всё.  
Лишь тебе не дано примелькаться.

Это помогает понять появление в финале «Сестры...» недопустимой строки. Увереньем «приелось жить!» ему понадобилось опустяковать самоё жизнь, дабы не очень страшила смерть. Она, смерть, всего лишь избавленье от чего-то примелькавшегося...

Пожалуй, никому еще не удавалось такое легкое отчуждение от ужаса перед ней. В те годы, когда и воздух пахнул смертью, он стал говорить о ней несоразмерно ее сути. Ну, как мы говариваем: «умираю, спать!» или «смерть, как неохота...». Но всего привлекательней, что он разрешил умиранию быть многократным актом! Он лишил его окончательности – непоправимости. За полторы страницы до недопустимой фразы о приевшейся жизни поместилась в «Сестре...» одна из тех пастернаковских строф, какие музыкой своей сразу выдают его авторство независимо от контекста (и недаром она уже вспоминалась раньше):

Так пел я, пел и умирал.  
И умирал и возвращался  
К ее рукам, как бумеранг,  
И – сколько помнится – прощался.

Так могла ли для него существовать дилемма: быть или не быть?! Хватануть стрихнина или не трогать? Выбирать между жизнью и нежизнью было бы поперек всей его натуры.

...Однако признаюсь: лишь только что – в минуту написания этой вот страницы – мне впервые вдруг случилось подумать – а когда буме-



ранг возвращается? Это метательный снаряд. И поразивши цель, он вернуться не может. Он возвращается при промахе. Он возвращается, когда не убил!.. Замечательно, согласитесь... И очень серьезные стихи могли бы начинаться строкой: «Нет, не возвращаются мои бумеранги!» (Возможно, кто-нибудь из австралийских бардов уже набрел на такой зачин.)

Отчего-то прежде никогда не думалось в этом ключе, а думалось лишь о том, что пославший бумеранг может получить его вновь в свое обладанье. Или – в свое сердце. Хорошо, что Пастернак не обдумывал метафору с бумерангом логически: пленительнейшая из его строф 17-го года могла бы и не появиться на бумаге. Она не выдержала бы слишком уточняющей нагрузки. Но искусство и не рождается для этого.

Пастернаковский бумеранг не был в его воображении оружием. Он был мирной игрушкой московских ребят его детства. И пел да умирал Пастернак без пения и умирания. И прощался лишь «сколько помнится». Метафорически.

Метафорой было все. Включая жизнь, увиденную Сестрою!

Метафоричность – сила: благодаря ей переживаемое в слове может становиться для нашей души действительной действительностью. Оно способно даже превышать реальность реальности мощью выраженности глубинных смыслов и чувств. Оттого-то можно было в час разрыва отвести мысль о самоубийстве одним только напоминанием, что Вертер «уже написан»!

И одним только мысленным напоминанием, что уже написан пастернаковский «Разрыв», мне случилось отводить невзгоды, казалось, гибельных расставаний. (То истории целиком мои. Потому и громоздить их тут незачем.) Но однажды в 49-м... На исходе февраля... Глубокой ночью... Впрочем, что жилы-то тянуть – просто запротоколирую.

...Шел уже третий час утра, когда из прихожей в нашей квартирке на Дмитровском донесся тяжелый стук ногою в дверь. Донесся и повторился. Туся уставилась на меня пустыми глазами. Я окаменело двинулся – открывать, сказав с безнадежной надеждой:

– Но не слышно было машин... Сегодня не подъезжали...

– Счастливая душа! – сказала Туся.

Однако вру: она хоть и сказала это, но не в ту минуту. Способность говорить вернулась к ней, когда я уже отворил входную дверь, втащил через порог человека в шинели с голубыми петлицами МВД, с силой прижал его к стене и проорал, забыв о соседях и позднем часе: «Ты что – спятил!!!»

Он был безысходно пьян, военно-патриотический писатель в капитанском чине, влюбленный в Разумовскую знаменский автор – Лев Линьков... Жил он в Лосинках, на все электрички опоздал, денег на

такси не сберег. Но к нам завернул вовсе не корыстно. В ответ на Тусино негодование, – как можно... в наше время... без звонка... поздней ночью... к неблагодарному приятелю! – охолодавший на улице Лева с пьяными слезами твердил:

– Р-ребята, дело все хуже. Я не смогу купить вашу библиотеку, чтоб у в-вас там деньжата хоть были...

Утром мы опохмелились вдвоем. Потом он пошел проводить Тусю в редакцию. Я остался во мраке: ...голубые петлицы... пьяное сочувствие... репетиция другого – неотвратимого – визита... эхо недавнего – «продолжения не будет!».

Было чувство разрыва. Но не с женщиной. И уже написанный Вертер ни от чего не спасал. А уже написанный «Разрыв»?..

...Днем мне удалось дозвониться до старой приятельницы – кандидатессы химических наук. Прямодушная Зарэ М. не удивилась моей телефонной просьбе: добыть в лаборатории две пробирки и наполнить одну из них кристаллами роданистого железа. Эту соль используют фотографы, а я тогда часто бывал в фотозапоях. Ни в чем дурном не заподозренный, я стал через дня два обладателем требуемого. Пустую пробирку наполнил уксусом. И вместе с красивой – роданистой – поставил в глиняном стаканчике на книжную полку. Моя прикидка бывшего студента-химика была, возможно, наивна: опрокинув в стаканчик содержимое обеих пробирок, я мог теперь в критический момент мгновенно получить «последний дар Изоры». Одновременно с появлением в дверях настоящих ночных визитеров.

Верна ли была та цианистая прикидка – так я и не узнал. Визитеры не приходили. Плоский стаканчик с двумя наклоненными пробирками, как двухтрубный пароходик, пришвартовался в тихом заливчике у книжного берега. И никому не мешал, за исключением тех дней, когда тряпка и пылесос прохаживались по стеллажу:

– Господи, зачем тебе эта ерунда?

– Для фото...

– Но это прибежище пыли! Убери его в ящик.

– Скоро уберу.

И все не убирал. До января 62-го – до самого нашего переезда на Аэропортовскую. Тринадцать лет он все плыл, по счастью, не трогаясь с места, этот кораблик-в-никуда. Когда взгляд останавливался на нем, сознание слегка прознабливало весельем, но не трагизмом! Даю слово! И никогда не рассказывал я ни маме, ни жене, прибежищем какой пыли мог оказаться тот глиняный кораблик.

Но отчего же все-таки рука не подымалась – взять да и выбросить его к чертям? Может, из суеверья? Или оттого, что никогда не уходили из памяти финальные строки «Разрыва»:

А в наши дни и воздух пахнет смертью:  
Открыть окно что жилы отворить.

### 3

Сколько ни говори теперь о 49-м годе, а уже ничем не заглушить пастернаковскую полустроку – «о стыд, ты в тягость мне!». На самом деле, вовсе не из его поэзии забежала она сюда, а из прозы нашей жизни. В этом вся печаль.

Есть немало разновидностей стыда, и русский язык мог бы расщедриться на множественное число для этого состояния ума и сердца. «Стыды» были бы так же выстраданы, а потому законны, как боли и беды. А уж «стыдобы» и по звучанию удовлетворили бы даже взыскательный слух... Стыды 49-го угнетали тем тягостнее, что корни их не таились ни в каких глубинах, а торчали наружу, как у старых стволов на речных обрывах. И были всем видны. Стыдное и бесстыдное в поведении гонимых, равно как бесстыдное и стыдное в поведении гонителей, определялись одним и тем же: над всеми властвовал непреодолимый страх! Застарелый. Всепроникающий.

Убежден: неистощимым источником этого страха был Страх, одолевший самого Хозяина. Сталин не мог не жить в круглосуточном страхе перед всем, что его окружало – на любом расстоянии, и перед всеми, кто его окружал – тоже на любом расстоянии. В пространстве и во времени. Да-да, и во времени! Это-то и было, вероятно, самым страшным в его страхах: внутренний – неогласимый – трепет перед прошлым, настоящим и будущим. Они поочередно и вместе грозили возмездием.

Легко психологически вычислить: он равно должен был страшиться и собственного всевластия, и собственного страха. Всевластие расширяло круг затаившихся врагов. Страх расширял круг притаившихся опасностей. И ему не оставалось ничего другого, кроме как возбуждать в каждом из ближних и дальних, – обязательно в каждом! – все новые приступы парализующего страха, дабы даже помыслить что-нибудь не то и не так не осмелился бы никто!

У самого распоследнего – различтожнейшего – из нас всегда бывал собственный счет покоя и воли, заменяющих счастье. Знал, конечно, и он такой счет: разве не был он вертикальным животным?! Но по счету покоя, без коего даже условное пушкинское счастье невообразимо, делался он с годами все более и более обделенным существом, наш Всемогущий. И стал самым обделенным на свете в тот час, когда, – как рассказывала его челядь, – повелел создать для него на кунцевской даче три неразлично одинаковые спальни: никогда никому не сообщалось, какую из трех он предпочтет наступающей ночью! Произно-

сильно, даже только мысленно, «о стыд, ты в тягость мне!» он, разумеется, не умел. Переоценочно по своей природе, психическое явление стыда как могло завестись в гималайски самообольщенной величием душе?! Но он мог бы десятилетиями все неизменно твердить: «О страх, ты в тягость мне!»

Он понудил страхом страховаться всех. Кому было больше терять, у того и страховка была мучительней. Но никто не мог утратить больше, чем он. Так удивительно ли, что страховкой полиса страха был у него тоже несоизмерим с нашими жалкими – человечески обыкновенными?!

...Ей-богу, еще минута таких жалостливых размышлений – и я разрываюсь от сочувствия к этому запуганному бедолаге. Остановите меня, люди, и дайте большой носовой платок!

Слышу голос: что за ёрничество!.. Да, представьте, ёрничество. А что дурного? Не ощущаете ли вы, как это сладостно, когда внутренняя освобожденность от всякого идолопоклонства позволяет разговаривать об идолах во всем спектре интонаций: от гневно-трагических до эстрадно-глумливых. Хотя, возможно, от ёрничества в его-то случае все-таки лучше бы воздержаться: никогда он не будет достаточно отмщен! А с другой стороны, даже в этой свободе шутовства одно из отмщений ему...

Да, так о чем это я? Ах, вот, – об его предположительном чувствовании: «О страх, ты в тягость мне!» Просто по-детски интересно – будущие Шекспир, Пушкин, Шоу сочтут ли клинически допустимым наделять его натуру натуральными чертами в натуральном масштабе?

Ахматова написала про Годунова: «...Бориса дикий страх». А всего-то и было, что призрак расплаты за одного несправедливо убиенного младенца-царевича. Одного – на всю карьеру!

Помнится читанное про «ночные страхи» консула Бонапарта. А всего-то и было, что призрак возмездия за одного погубленного герцога Энгийенского. Одного – на все консульство!

Ну а если по строгому учету и у Бориса, и у Наполеона убиенных да погубленных было заметно побольше «одного», то сколько бы их ни было, по нашим-то меркам, где тут поводы для особых страхов – «диких» или «ночных»?! Наполеон виделся просто утешителем после страхахолдства Конвента. А после страхахолдства Грозного, что был пушкинский Годунов со своей «усталой совестью»? Мальчишки кровавые в глазах являлись ему, между прочим, безоружными...

Ни на каких подмостках будущего не удостоится наш Сталин такой утонченной психологической лести. И пусть не рассчитывает даже в снах сталинистов ни на что более человеческое, чем эта, все-таки слишком льстящая ему тревожной духовностью, формула: «О страх, ты в тягость мне!»

...Много супернегодяев владычествовали в истории. Но, кажется, никто из них в разгар своей деятельности не удостаивался столь авторитетного психиатрического обследования, как Сталин в 1927 году. Академик Владимир Михайлович Бехтерев произнес тогда свой диагноз: паранойя. И в тот же день или на следующий поплатился за это жизнью. Одна из версий его внезапной смерти гласила, что он получил от Сталина – в знак благодарности – отравленный торт. Юрий Герман, друживший со столькими медиками Ленинграда, полагал эту версию достоверной, а пересказывая ее в очередной раз, обязательно добавлял – как бы в развитие бехтеревского диагноза – очередную рвотно-отвратительную черту к психическому портрету Хозяина. Еще задолго до 5 марта 53-го однажды мы поспорили – требует ли паранойя заключения больного в сумасшедший дом? Обоим страстно желалось, чтобы требовала. Юрина Таня разочаровала нас как врач: «нормальных параноиков» не изолируют. Славное это было определение – «нормальный псих»! А вспомнился тот спор из-за его финала: мы вслух читали статью БСЭ об этой болезни... До сих пор не проходит тогдашнее ошеломление: было ощущение, что энциклопедия предложила читателям не ученую дефиницию, а краткий психологический этюдик на тему «Сталин». Впрочем, судите сами:

***Паранойя** – стойкое психическое расстройство, проявляющееся систематизированным бредом (без галлюцинаций), который отличается сложностью содержания, последовательностью доказательств и внешним правдоподобием (идеи преследования, ревности, высокого происхождения, ...особой миссии социального преобразования и т. д.). Все факты, противоречащие бреду, отменяются; каждый, кто не разделяет убеждения больного, квалифицируется им как враждебная личность... Борьба за утверждение, реализацию бредовых идей непреклонна и активна. Явных признаков интеллектуального снижения нет, профессиональные навыки обычно сохраняются долго...*

– Ах, так: значит, был он душевнобольным, а потому суду и критике не подлежит?! Ты понимаешь, какой это подарок всему сталинскому отребью?! – слышу я возмущенный голос отсидевшего свои семнадцать лет Льва Разгона.

А мне нравится бехтеревский диагноз: он дает право умозаключить, что сталинщина была вовсе не обязательна. Нет исторической неизбежности там, где вмешивается в историю психиатрический случай!.. Но друзья-приятели говорят:

– А Мао? А Ким Ир Сен? А Пол Пот? А Ракоши? А Готвальд? А Чаушеску? А Берут? А все вообще послевоенные царицы, цари и царьки в Европе, Азии, Америке, Африке? А все вообще квази-народно-де-

мократические самодержцы и самодуры второй половины нашего века? Это что же – всё клинические параноики? Не логичней ли увидеть тут «системную болезнь» – не психиатрическую, а историческую закономерность?

Возражать трудно. Но можно. А главное – нужно! Нужно затем, чтобы людям отрадней думалось и жилось в предчувствии будущего.

#### 4

Но как же все-таки разлучиться с мыслью о былой неизбежности появления в каждой псевдонародной демократии своего Сталина – огромного, как Мао, или крошечного, как Энвер Ходжа? Конечно, эпидемией паранойи этого не объяснить. То была эпидемия рабского повторения исходного образца – первого в мире будто бы социалистического государства под водительством... и так далее. Сталин дал этот образец устойчивой единоличной тирании. И нельзя было уклониться от его примера. Эпигонство было принудительным – только оно выражало покорность мировому вождю. Его параноией хватало на весь социалистический лагерь. Собственной не требовалось для выживания.

Тито, сам хороший сатрап, попробовал чуть-чуть не разделить «убеждений больного» и был вышвырнут из лагеря. Не сам ли Сталин мудро придумал назвать наше социалистическое содружество лагерем?

Так что возражение – «а Мао? а другие?» – не проходит. Исторической неизбежности сталинизма как раз без бехтеревского диагноза – не получается!

А разгоновская печаль, что уйдет наш Премудрый, как параноик, от Божьего и людского суда – совершенно неосновательна. Больные этой болезнью сохраняют вменяемость – часто до гробовой доски. И потому несут полную ответственность за свои поступки. А радости и огорчения сталинистов – что нам до них?!

Гениальное он сделал открытие в 30-х годах (а возможно, и раньше): увидел, что психическое состояние страха уравнивает его с народом! Или лучше так: душевно недомогающий на троне манией величия и манией преследования одновременно (это совершенно согласуется с диагнозом 1927 года), он увидел, что глубинно связан с народом силовым полем всеобщего страха. Его собственный мог только возрастать. И для крепости единения с подданными надо было, чтобы и в народе страх возрастал. Как часто бывает, гениальность открытия заключалась в его простоте.

Но тут было особое открытие: оно требовало немедленного сокрытия. И притом – ото всех. Больше не работало пастернаковское о Ленине, тоже справедливое не до конца:

Он управлял теченьем мыслей  
И только потому – страной.

«Течение мыслей» сменилось «течением страха». Этим управлял Хозяин. Этим обеспечивалась прочность социалистического государства. И это должно было пребывать непроизносимым. А для того – переименованным в нечто возвышенное. Появился небывалый в истории феномен: морально-политическое единство общества!

Мановением короткопалой руки построилось нечто нетленное – Спас-на-Страхе (как Спас-на-Крови). И этому бесплотному храму лже-единства предписано было неустанно строиться-расти. В согласии с исходным свойством силового поля страха. Расти, и только расти! И мановением уже других – подобострастных – рук, вооруженных перьями, выгодное одному объявлялось счастливым достоянием всех. И с легкостью: заведомо нереальное – реально сущим.

...Меня ждал удар, когда я перелистывал «Литературку» за 49-й год: обнаружилось позабытое. Анатолий Софронов разгромно процитировал мою новмирскую статью о драматизме в поэзии.

Злостной была моя ненаблюдательность: я не заметил, что у нас к 48-му году уже был окончательно построен социализм. И вот тут-то, в выдержке из моего сочинения, вдруг увидел я стандартно-рабскую фразу о «непрерывно растущем морально-политическом...»!

Стал я твердить себе: «Неужели это мой текст, неужели мой?» Оставался один способ убежать от стыда: припомнить – а не была ли та казенная фраза вставлена в мой текст кем-то из новмирцев «порядка ради»?

Примеры тому знал каждый автор. И такого сорта политическую – молитвенную – вставку вычеркнуть своей рукой было уже недопустимо. Всплывал необсуждаемый вопросик: «Но, собственно, что вам тут не нравится?»

...Так и спросил меня однажды добряк выпивоха, славный человек, – приятель Твардовского, – Сергей Иванович Вашенцев, когда мне случилось глупо взбелениться при чтении знаменской верстки в редакции. Я увидел приделанный к концу моей статьи закавыченный абзац из ждановского доклада. Всю свою недолгую жизнь критика я успешно держался зарок – не цитировать речи вождей и официальные документы. Это была не фига в кармане, а нормальная гордыня желающего разговаривать своими голосовыми связками профессионала. Словом, я замахнулся над версткой цветным карандашом. Сергей Иванович мягко перехватил мою руку:

– Те-те-те-те... а что вам, собственно, не нравится?

– Стилистически нехорошо! – беспартийно ответил я.

– Зато как хорошо политически! – подмигнул он и в одну седьмую голоса объяснил, что «дорогой вы мой, есть указание (глаза к потолку)

почаще цитировать тексты (снова – глаза к потолку)...)» и уже в одну четырнадцатую голоса – «сталинские, ждановские, этцэтэра, только это антр-ну!».

И еще я услышал такое же оправдание похожего казуса в редакции «Пограничника», где беззастенчиво подрабатывал критическими обзорами. Тоже милый выпивоха, но не добряк, тоже интеллигентный, но не до иронических высот «этцэтэра» и «антр-ну», недавно вспоминавшийся Лева Линьков однажды пьяновато-виновато сказал, что «не мог не вставить про Зошенку»:

– Пойми ты, старик, есть указание... (и тоже глаза к потолку – всё к тому же, надо всеми нависшему потолку).

А вставил он мне расхоже-гадкую фразу, по счастью – не цитату, и это позволяло ему побойться, что после визы начальства он ее снимет. Начальство же как раз за ту вставку особо его похвалило. И ясно, что снять ее он не мог...

Но обе стыдобы хоть и приземлились в моих текстах, однако не мне принадлежали. А в новомирскую статью 48-го года, каковую обширно процитировал Софронов, никто мне ничего не вписывал. Во всяком случае, память молчит. И слова о «непрерывно растущем...» я вставил себе сам. Могу легко сообразить – зачем? Статья называлась «Страсть, борьба, действие!». Имела подзаголовок – «О драматическом начале...».

Короче – сочинение было рискованным и напористым. Надобно было что-нибудь опорно-демагогическое в самом тексте.

Потешу свое тщеславие. (Тем более редко кто тешит его со стороны.) Тридцать с лишним лет спустя, в 1980 году, Евгений Евтушенко прислал мне книгу своих статей «Талант есть чудо неслучайное» с ретроспективной дарственной:

*«Дорогому Д. Д., имевшему гражданское мужество в мрачные времена сталинизма говорить о поэзии, как о страсти, борьбе, действию, а не как о приложении к якобы нравственным схемам торжествующей безнравственности».*

Все-таки цельная он душа, словно бы изломанный Женя Евтушенко. (Позволяю себе фамильярное «Женя», потому что в пору нашего первого знакомства было ему шестнадцать, а мне тридцать пять.) Он даже надпись на книге делает, не расшнуровывая боксерских перчаток! Это покоряет.

Но, Бог ты мой, очевидно, за минувшие десятилетия я потерял себя, – или, напротив, нашел? – потому что нынче мне вовсе не жадется отыскивать в поэзии действие-страсть-борьбу. Теперь дошла до души когда-то смутившая мысль Рильке, что поэзия – вовсе не чувство, а опыт жизни. Однако евтушенковская надпись греет, как вариант ветеранского «были когда-то и мы рысаками».



...Ну, вот – потешил тщеславие, а та фраза из нашей безличной стилистики все-таки не дает покоя. Можно подумать, чего уж так покаянно хлопотать из-за столь общего места? Но беда, что даже НИЧТО от бесцетного повторения превращается в НЕЧТО. (Это так испокон веков в молитвах и радениях.) И вовсе не было невинным наше повторение прописей и общих мест. День ото дня вершилась грандиозная фальсификация эпохи. При каждом повороте гаечного ключа или отвертки сообщалось от имени винтиков, – самими винтиками другим винтикам, – что они, винтики, отныне будут пребывать в еще более целом единстве с гайками и отверткой, чем когда бы то ни было прежде! А обществу будет становиться все счастливее и счастливее – прямо пропорционально этой все возрастающей гаечности своего духовного единства!

Наша правоверная литература, лукавая и пряча истинную – «страховую» – природу монолитного единства вождя и народа, порою дозревала до верноподданнического девиза тертуллиановой пробы: «О страх, ты в радость мне!»

А правда ведь – нисколько не беднее смыслами, чем «верую, потому что это абсурдно» и «несомненно, потому что это невозможно!».

А то и сразу уж – на всю глубину оскудения души:

О стыд, ты в сладость мне!

Преувеличение? Игра красноречия? Нисколько.

## 5

Мы никогда не были так близки к этому пределу нравственного оскудения, как в 49-м. Почти как в довоенном 37-м. Мое поколение еще помнит, на скольких «пирушках во время чумы» весело горланилась тогда – «Кипучая, могучая, никем не победимая»:

Погляди! Поет и пляшет  
Вся Советская страна...  
Нет тебя светлей и краше,  
Наша красная весна!

...Так хочется охранять сносное мнение о человеческой природе, что мерещится спасительная догадка о Лебедеве-не-Кумаче-а-Эзопе. Бесшабашность не скрывала ли поддельности сплошного веселья? А «красная весна» не маскировала ли «кровавую весну»? Что, если именно так следовало понимать те строки, а?.. Увы! Не угадывалось в его стихотворчестве ничего сверх «чего изволите?». И не высвечивалось ничего иного до самого конца. А конец наступил в феврале 49-го! Последний набор его вокальных куплетов был опубликован «Литературкой» уже посмертно в одном из мартовских погромных номеров. Отдавало неро-

новским изыском жутковатое соседство на одной полосе палачества и припляса:

И недаром говорится,  
И не зря молва идет,  
Что за песнями в столицу  
Приезжает весь народ!

Смешила, конечно, фантастическая глупистика поездок всего народа в столичный град за развеселыми песнями. Но еще и потрясала кукольная автоматика самоукачивания на смертном одре заласканного властью барда-льстеца. Словно заготовливал он впрок эпитафию-приговор своему песенному ликованию: «О стыд, ты в сладость мне!»

Эпитафия-приговор?.. – а что: недурное словосочетание для той поры, пригодное не для одного Кумача. И даже не столько для Кумача... Тут тянет на красноречие, с каким мотивируют приговоры. Да, в ту зиму 49-го суду Истории стало все ясно: кругом смерти (ближних и дальних), кругом ложь (очевидная и торжествующая), кругом обездоленность (чужих и своих), а от имени русской литературы, – некогда едва ли не самой совестливой в мире, – лоснящийся довольством национал-коммунист бросает в притихший зал:

*– Мы чувствуем, как распрямилась грудь, как расправлены крылья для полета, какое появилось у писателей желание работать!*

Это – Анатолий Софронов на трехдневном общемосковском собрании драматургов и критиков. Вот оно, невыдуманное, – «о стыд, ты в сладость мне!» 1949 года издания.

Слышу недоуменное: «А что особенного? Костолом на костях современников поднялся до уровня неприкасаемости. Распрямлял грудь. Расправлял крылья. Испытывал охоту поработать еще. При чем тут какой-то жалкий стыд? Все было естественно».

Возразить нечего. Но о том и речь, что в совестнейшей из литератур естественной стала не то чтобы утрата стыда, а вакханалия самонаслаждающегося бесстыдства!.. Гонителей и гонимых.

## 6

Неожиданные проступали краски. Можно бы их назвать заспектральными – психологически не вычислимыми.

...Шло собрание под председательством Фадеева. Стало быть, происходило оно до решающих дней разгрома космополитов – до февраля 49-го, когда Фадеев в Париже боролся за мир.

Он тогда боролся за мир и весной – в Америке. С этим связалась в моей жизни важная отметина. Весной, исключенный, я устроивался в

геологическую экспедицию коллектором. Засветилась алмазная – на Ангаре. Но требовалось преодолеть препону секретности. Само слово «алмаз» было вслух не произносимо... Улыбки ради расскажу, как в мае, когда мы прилетели на Илим, там сразу узнали, что именно мы собираемся разведывать. В очереди киноплакатов на стене нижеилимского клуба висела реклама асановского фильма «Алмазы». Замнач экспедиции в ужасе поспешил ее снять. Местные тотчас это приметили. И уже вечером мальчишки на деревянных тротуарах ставили нас в тупик: «За алмазами, что ли, приехали из Москвы-то?...» «А чо спрашивать? Дело ясно!» Меж тем месяцем раньше, в Москве, я не мог бы и помыслить о включении в ту экспедицию без письма Союза писателей с достаточно громкой подписью. Алексей Сурков, которого я дважды имел неосторожность приложить в забывшихся статьях, насмешливо мне отказал: «Вам не на Ангару, а в Николай-Матвеевичев колхоз «Большевик» на годик поехать бы надо – там сподручней поизучать народную жизнь!» Варианты высоких писем, как детские шарики, вырывались из рук и улетали. И вот тут-то, в сияющий апрельский полдень у метро «Маяковская», был я, обезнадженный, но везучий, окликнут знакомым голосом с присказкой «знышит»:

– Ну, что, знышит, тут с вами сделали без меня? Рассказывай-те, рассказывайте...

В светлом костюме цвета его седины, приветливый и словно бы действительно не знающий «что здесь делали без него», Александр Александрович явился мне, как ангел, из-за океана. Рекомендательное письмо геологическому начальству с максимально благоприятным для меня текстом было им подписано в тот же день.

Скаламбурю: исключенный, я не был исключением. Всякий раз, когда мог, Фадеев делал доброе дело. Малыши порциями как бы отмаливал у собственной совести большие грехи. Среди больших был грех попустительства еще в 48-м разнузданным борцам с придуманным низкопоклонством. Результатом того попустительства было и превращение Анатолия Софронова в коменданта Союза писателей. Не знаю, было ли преднамеренным фадеевское не-участие в февральско-мартовских публичных неприличиях 49-го. В конце концов, у него хватило бы власти отложить политические экзекуции до своего возвращения из Парижа или Америки. Но, видимо, он и хотел, чтобы решающее извержение помоев свершилось именно без него!

А вспомнившееся собрание под его председательством было еще предпогромным, хотя уже и грозным. Оно шло в том самом зале «дома Ростовых», где когда-то читал Пастернак «Второе рождение» и висела рукотворная птица Татлина. С кем-то я перешептывался об этом, когда кричащий голос заставил взглянуть на трибуну. Не сразу мы поняли, что возмущенный оратор кричит на самого себя. За маленькой

кафедрой адвокатски выписывал рукою спиральные кривые уже сидящий Дайреджиев – литературный деятель из надежных «активистов».

– Нет, вы только представьте, товарищи, – кричал он, – на днях стал перечитывать свои статьи и нашел в них ну совершенно меньшевистские формулировочки!

Зал вздыбился смехом, потому что у самого оратора с бородкой клинышком и очками в жестикулирующей руке был «ну совершенно меньшевистский» вид – в разоблачительном стиле наших кинолент. Закатился смехом и Фадеев. Очевидно, приняв это за поощрение, Дайреджиев совсем сошел с рельсов:

– А? Что? Смотрю – откуда у меня это?! Как я мог? Это же позор, товарищи! Вылезло меньшевистское нутро! У меня... Откуда? Я понял – со мною надо бороться, товарищи!..

Разумеется, это не дословная реконструкция, но и не пародийная: это живой отпечаток давней удрученности. Дайреджиев не был мечен негодным пунктом номер пять, а когда-тошнее участие в группе Литфронт давно перестало быть крамоллой. Острили, что с перепугу он сам напросился в космополиты, а единственной его непоправимой виной было имя-отчество: Борис Леонидович!.. Угрозило!

...Пожалуй, столь же неожиданную краску, хотя и с противоположного конца нормального спектра, внес в вакханалию бесстыдства Лев Субоцкий, ныне уже забытый литературный вождь.

Предшественник Софронова на посту оргсекретаря Союза писателей, был он правой (или – левой) рукой Фадеева. Он всегда пребывал на посту. Была в нем черта, которую можно бы без всяких двусмыслиц определить как мужскую женственность. Тем непредвиденней бывала его властность. Невысокий, красивый, благоухающий, вежливый, безотказный, он вершил всеми делами писательского департамента. А еще печатал изредка критические статьи. Бесцветные – партийно выверенные до последней точки.

Только незаурядное мастерство демагогической фальсификации могло справиться с нерешаемой задачей – превратить в беспачпортного бродягу и агента заокеанского Джойнта этого номенклатурного кителеносца – заседателя трибуналов гражданской войны – фронтowego прокурора времен войны Отечественной – партийно-элитарного хозяина медального сенбернара... Кажется, нас исключали на одном (но двухдневном) собрании в Дубовом зале. Мой черед был раньше. Я признал за собою ошибки аполитичного эстетизма, дабы повиниться по правилам игры хоть в чем-нибудь. И жалел потом, что дал Николаю Грибачеву повод мстительно ухмыльнуться: «А король-то голый!» Но воистину уличенным в малодушии я почувствовал себя, только когда с

той же трибуны слово самозащиты произносил Лев Субоцкий, знавший более сложные правила политической игры.

Он отводил все обвинения: никакой вины перед партией!

И грубейшие реплики из президиума не могли его сбить. Он прокурорствовал! Оскорбленно и надменно. И все бы хорошо, – все бы просто замечательно! – не впади он к концу в яковинско-чекистскую гордыню.

– Я заявляю! – обвел он нас всех зачеркивающим жестом маленькой волевой руки. – И прошу занести это в протокол! Трибуналы революции... трибуналы войны... Я отправил на расстрел больше нечисти, чем сидит вас сейчас в этом зале! Понятно?!

Погребальным холодком повеяло от его карательской риторики. И была в ней надежда на великодушие обязанного восхититься партийного собрания... Да-да, обязанного! Вот потому это и про него: о стыд, ты в сладость мне!

И все мы отлично понимали-чувствовали: не окажись ключевая позиция оргсекретаря Союза писателей жадно-надобной Анатолию Софронову, исправнейший Лев Матвеевич мог бы уцелеть, даже несмотря на свое рязанское еврейство. И больше того – сам явил бы образец беспощадного палачества от имени и по поручению...

## 7

Как беспощадны бывали от имени и по поручению те, кому на самом деле это глубоко претило!.. А что делать нашей памяти, если мы знаем все про беспощадность и лишь кое-что про то, как претило? С годами накапливается в душе снисходительность. Может быть, оттого, что забываются ранящие подробности? И еще оттого, что хочется и самому быть судимым со снисходительностью? В общем, многое искажает былое переживание. Чувствую это тем острее, что заговорить мне нужно о Константине Симонове, а я не раз оказывался в зависимости от его власти или влияния, и почти всегда – с добрым исходом. Каково же слуху моему, настроенному нынче на волну 49-го, оглушаться выпиской со старой газетной полосы:

*«...Книга В. Шкловского под названием «Гамбургский счет». ...Это была воинствующая буржуазная реакционная программа... «Чемпионом» объявлялся Хлебников, самый оголтелый представитель буржуазного декаданса, дошедшего в его лице до полного распада личности...»*

Я уж опущу из того текста «гнилые пьесы Сартра», «нигилистические постановки буржуазного выроodka Мейерхольда», «крокодиловы слезы», «готтентотские пляски»...

Опущу, как «космополит лакейски гнет колени», «злбно разде-

лывается» и «развязно пытается», а в свободное от этого время еще и «иезуитски протаскивает»...

Опущу, опущу! Даже не бессмысленные смыслы, а сама отталкивающая голызна этих слов доводит до физической тошноты. Да-да, – до памятной тяги ухватиться обеими руками за вертикальные поручни над фаянсовой раковиной «Фюр Зэекранке» в кафельном сортире пражского или венского ресторана, где волшебным и нищим летом 45-го года оккупанту-победителю или победителю-освободителю до смерти надо было извергнуть из своей воспаленной утробы трофейно-спиртяжные радости тех немыслимых дней. Неспроста оно тут возникло, это не слишком возвышенное офицерское зрелище, которое счастливо повторялось и повторялось на тех европейских широтах в лето нашей победы...

Однажды повторилось оно в день ностальгической встречи с Костей Симоновым, но уже ранней осенью 45-го, когда репетировалась в пражском театре его поспешная пьеса «Под каштанами Праги». Он не помянул ее лихом в том докладе 49-го, хотя это требовало оглянуться назад всего на четыре года и, право же, было бы совершенно уместно. Но дал себе более тяжкий труд оглянуться назад на два десятилетия с лишним, чтобы совершенно неуместно опорочить книгу Виктора Шкловского и осквернить имя Велемира Хлебникова... Ах, гуманные вертикальные поручни над фаянсовой рвотницей в пражском ресторане!

Он тогда приехал в Прагу весь хемингуэевски подлинный и честно знаменитый. Весь в полковничьих погонах и заслуженных наградах. Узнав из газеты об его приезде, я выпросил у дивизионного начальства «виллис» до следующего дня, примчался к театру под вечер, когда открыт был еще только служебный вход, ринулся по коридору на отдаленные голоса и увидел его в углу служебного зальца. Мы обнялись и даже расцеловались – в первый, если не единственный раз в жизни, потому что наше приятельство, хоть и давнее, было вторичным: нас связывала не столько дружба, сколько общность друзей. И я, заштатный газетчик дивизионного масштаба в капитанском чине, спешил услышать от него, столичного генерал-писателя необъятной осведомленности, что-нибудь наверняка достоверное о многих волновавших меня судьбах и событиях. И ожидание оправдалось. В его рассказе надежно воскресли одни и безнадежно исчезли другие. Среди воскресших без кривотолков был Ярослав Смеляков. Среди исчезнувших без сплетен – Марина Цветаева. Костя все знал о Павле Антокольском и ничего о Борисе Пастернаке...

Помню свое смущенье, когда он удивился температуре моих распросов о БЛ: «А я не знал, что ты близок с Пастернаком!» Среди дурных своих черт я все-таки никогда не замечал склонности к развяз-

ному панибратству. А Костя словно бы уличил меня в этом. И я принялся оправдывать свое любопытство поездкой БЛ по следам 3-й армии после взятия Орла. И снова сплеховал: получалось, будто я сопровождал его в той поездке, а меня к тому времени уже выставили из армейской газеты в дивизионную. И странное дело: не шло с языка только наипростейшее «оправдание» – что я люблю это человеко-явление, и не надо мне искать никаких причин для сочувственно-молекулярных расспросов о нем!

Однако почему запомнилась та психологическая канитель? Думаю, потому, что втайне Константин Симонов уже воспринимался как некое литературное начальство, хотя еще и без должностей. Все в нем излучало правомочную руководительность и масштабность будущего – неизбежного! – должностного полета. Это создавало дистанцию и понуждало к излишне мотивированному обговариванию простых вещей... К слову, мы тогда, пожалуй, в последний раз разговаривали на «ты». Потом, всегда называя друг друга по именам, перешли почему-то на «вы».

В тот предвечерний, полный сумеречной зазывности и греховных вожделений отрадный час меня ждал у пражского театра в нашем «виллисе» дивизионный приятель, стороживший изрядный запас бренди и сливовицы. Мы рассчитывали на многолюдный загул во главе с «самим Симоновым». Однако жалок был сразу изложенный мною соблазн для почти всамделишного Хэма: «До-огуша, чехи уже постаались!...» На подступах к нам, разговаривавшим у огромного окна, очастливленно замирая в двух-трех шагах поодаль, зримо накапливались чешские актрисы и чешские военные в суперчинах. Настала рубежная минута, в отсчете от которой я все нагляднее становился обременительно лишним. И, наконец, попросался с Костей, сказав на всякий случай, что еду с приятелем и нашим бутылочным добром в известную ресторацию «У Лоха». А он неожиданно скороговоркой ответил, что заедет туда, если чехи не предпримут чего-нибудь уж слишком обязывающего...

Мы не ждали его всерьез, но играли в ожидание знаменитости, охраняя пустые места за нашим столом. А тем временем все пили и пили – не под отсутствующую закуску, а под налившуюся запивку – марганцово-сиреневую водицу, от одного вида которой можно было отрезветь. Однако мы не трезвели. Напротив. И теперь память колеблется: заехал ли он уже за полночь к Лоху один или со свитой? И была ли у Лоха милосердная раковина с вертикальными поручнями? Но другое, тоже памятное для целомудренного русско-советского глаза, наверняка было именно «У Лоха»: эротическая стенопись в бледно-бесплотном духе полу-Карьера, полу-Пюви-де-Шаванна. И моя милая пражская подружка Ирэна Кодичкова, легко изъясняющаяся на

пяти языках, весело рассказывала нам, как той помпейской стенописью годами оплачивал Лоху свой алкогольный долг спившийся художник – завсегдатай ресторации. А я ревниво следил, как жадно поглядывал на Ирэну наш московский гость...

Однако зачем это лезет сюда? Мало ли что пито-видено-слышано-делано было в летне-осенне-зимней Праге 45-го года нами, тридцатилетними квазигусарами?! А затем это лезет, что те призрачные настенные соблазны разительно не вязались с загорело-плотоядной, военно-полевой, ненасытно-победительной силой, воплощенной в тогдашнем Константине Симонове как бы единым мазком, единым ударом резца, единым аккордом за все наше воевавшее поколение литературных роственников.

А то, что с ним не вязалось, то не вязалось и с нами! Мирное время стояло в Европе. И мы сознавали, что не без нашего – пусть хоть малого – участия оно завоевано. И нами ощущалось особое право на что-то эдакое в наступившей мирной жизни: право на глубокое чувство исторического достоинства – заслуженное, ребята, чувство исторического достоинства! Его можно было выразить одной фразой, которую, правда, неловко вслух произнести – так она глупа и безадресна:

– Черта-с-два, теперь уж нас голыми руками никогда не возьмешь!

Не след уточнять – в каком же это смысле «не возьмешь» и чьими это «голыми руками»? Любыми руками и в любом смысле. Не возьмешь – и все! Да к тому же – никогда! И плевали мы на вечное предупреждение французов – никогда не говорить «никогда»!.. И разве что Владимир Высоцкий, о ту пору еще малолетка, сумел бы впоследствии с размахистым трагизмом хриплой печали верно выразить наше – морепокоренное! – умонастроение.

Ни на минуту не могло помыслиться, – ни под бренди, ни под сливовицу, ни у Лоха или не-Лоха, ни в отвоеванной Праге или завоеванной Вене, ни летом или осенью того единственного в жизни 1945-го, – ни на минуту не могло померещиться, что и года не пройдет, как в августе 46-го нас запросто возьмут совершенно голыми руками в истории с Ахматовой и Зощенко, а еще через два года – в 48-м – так же запросто и теми же голыми руками возьмут в историях с музыкой, с генетикой, с еврейской культурой, а еще через считанные месяцы – в 49-м – так же запросто и теми же босыми руками возьмут за то же недоперерезанное горло в истории с театром, литературой, философией, да и вообще со всем многонациональным искусством и почти всей безнациональной наукой!

И будет наше поколение тридцатилетних победителей, как народ в «Борисе Годунове», выпятив грудь, безмолвствовать.

Или будет по двухтысячелетнему следу Евангелий обмануто кричать: «Распи его!»



Или будет в лице своих лидерствующих – самых отважных и самых законопослушных – демонстрировать с трибун некогда реченное Маяковским:

...Видели,  
как собака бьющую руку лижет?

И сам Константин Симонов – не сгорая, горевший в огне войны – будет публично лизать эту бьющую руку. И еще благодарить за то, что она протянута для лизания! И назовет «самым оголтелым» тишайшего Хлебникова. И к удовольствию всей нашей сытой сволочи тех (и нынешних) времен, решится объявить нищего, неизменно цельного в своем мечтательном бескорыстии Председателя Земного Шара воплощением «полного распада личности». И произнесет с аристократическим грассированием прописные мерзости про лакейски гнущих спину космополитов... И прочее, и прочее... В сущности, невозможное «и прочее», ибо не абсурд ли это: испытания мирного времени окажутся для нас то я щ и х мужчин пострашнее военных?!

...Так разве напрасно прочерчиваются в памяти человеколюбиво придуманные вертикальные поручни, присобаченные к сортирной стене, дабы мог держаться, не падая, над раковинной для проблёва окосевший капитан, – не то замордованный победитель, не то оккупированный оккупант, – в час, когда его тошнит от Истории?!

А знаете ли вы, КАК может тошнить от Истории? Нет, вы не знаете, как может тошнить от истории, если случай избавил вас от этого вечно повторяющегося зрелища – лобызания хозяйской руки. Оно давно повелось в человечестве – с тех пор, как бьющая рука обзавелась всевластьем. И не Сталин это придумал (он сам, недоумок, вообще ничего не придумал!).

К огорчению неомонархистика, неоцерковника, неославянофильчика, полагающих, что вся человеческая порча пришла на Русь от двух революций 17-го года, а прежде в ее духовной жизни наблюдался (говоря по недостойно заграничному) о'кей, приведу-ка я сейчас – вроде ни к селу, ни к городу – залежавшуюся у меня без дела выписку из «Трудов IV Русского водопроводного съезда в Одессе – 1899 г.». Сделал я эту выписку в марте 1983-го, читая рукопись о Николае Егоровиче Жуковском – гениальном участнике той водопроводной ассамблеи. Выписанное – строгий документ. И придется просто поверить, что вертикальные поручни никогда не висели без дела:

*4 апреля. ...Был исполнен народный гимн «Славься», после чего по единодушному желанию всех присутствующих г. Председателем Съезда П. А. Зеленым была отправлена Его Императорскому Величеству Государю*

*Императору в С.-Петербург телеграмма следующего содержания:*

*«Собравшиеся со всех концов России члены Четвертого Всероссийского Водопроводного Съезда, отслушав благодарственное молебствие о здравии и долголетии Вашего Величества и всей Августейшей семьи, осмеливаются повергнуть перед Вашим Величеством глубокие чувства верноподданнейшей любви и искреннейшей беспредельной преданности».*

*5 апреля. ...П. Зеленый, открыв заседание, сообщил, что в ответ на посланную им Его Императорскому Величеству Государю Императору телеграмму с выражением от членов Съезда верноподданнических чувств, он имел счастье получить следующий ответ через г. Министра Внутренних Дел: «Его Императорское Величество, по прочтении вашей депеши, Всемилостивейше повелеть соизволил благодарить участников Водопроводного Съезда за выраженные ими верноподданнические чувства».*

*Сообщение это было выслушано присутствующими стоя и встречено восторженными криками «ура!».*

Бедный Николай Егорыч... Независимый и мужественный... Едва ли он ощущал «единодушное желание», но хоть шевелением губ, да изображал «ура»... Никому, наверное, не понять русских водопроводчиков прошлого века лучше, чем русским гуманитариям века нынешнего. И так хотелось бы для симметрии воскликнуть, скажем: бедный Константин Михалыч!.. Но не получается. Потому не получается, что лизал он бьющую руку не просто рутинно-ритуально, как от века повелось на Руси и в прочих единодержавиях, а зализывал недавнюю рану, нанесенную ему любимой рукой, когда она, волосатая, с привычным коварством шлепнула его, наиверноподданнейшего, за излишне честные страницы «Дыма отечества» (повести, может быть, ныне напрасно забытой). И другие корысти тут были... Словом, симметрии с великим водопроводчиком не возникает. Что делать!

## 8

Нет, ставить точку рано. По совести говоря, мне жаль, что Константин Симонов очутился на этих страницах в гадком контексте 49-го года. Искренне жаль! – и тут нет притворства: по общему балансу жизни его роль в драме наших литературных мытарств была на протяжении десятилетий чаще светла, чем темна. В согласии с метафорой

Юрия Олеси, «список благодеев» был у него существенно длиннее «списка преступлений».

Из всех наших литературных вождей был он, пожалуй, самым доброносным (как бывает нечто «плодоносным» или «судьбоносным»). Мне, как и многим, его оргзаступничество всегда бывало до крайности важным. Так уж ведется в иерархическом обществе. Но сверх того еще жила в нем охота к добрым начинаниям по глубинным мотивам, вождем обычно не свойственным. Сюжеты? Сколь угодно. Три из последних особенно памяты: патронирование литературного наследия Булгакова, патронирование выставки Татлина, патронирование Алексея Германа в трудные дни его киносудьбы... А в 49-м он дал одному своему другу – «разоблаченному космополиту» – такую сумму, что тот сумел пережить непогоду, работая над романом. Естественно, о поступке Симонина никто не должен был знать: материализованное великодушие не демонстрировалось.

А со мною однажды было так... Во время первомайской демонстрации 50-го года, когда писательская колонна весело паслась у Никитских ворот, он подошел и с нарочитым громогласием объявил (не буду подражать его изысканному произношению – он ведь стал Константином, ибо подлинное свое имя Кирилл выговаривал только как «Киин»): «Дорогуша, не пора ли вам начать печататься снова, а?» И тут же, тоже громогласно, предложил мне полуподвал в «Литгазете», редактором которой он становился той весной: «Для начала полуподвал, хорошо, а? Только не о Пастернаке – это вам еще рано! – хохотнул он дружески. – О ком-нибудь молодом. Поищите...» А я пребывал в недовосстановленных штрафниках, и немало знакомых на той демонстрации кивали мне без готовности к рукопожатию.

И я действительно заселил те обещанные полподвала заметкой о молодом поэте Ф. Все устроилось самым неожиданным образом – весьма замечательным для тех дней.

...В разгар лета внезапный звонок из «Нового мира» срочно вытребовал меня в редакцию. Давно уже праздный домашний переплетчик, я принял за розыгрыш четкую фразу:

– Вас ждут Александр Трифонович, Самуил Яковлевич и Михал Васильич! Бросайте все и бегите!

На мгновение мелькнуло в голове, что для розыгрыша достаточно было бы кого-нибудь одного из такого триумвирата. Так что, может, и вправду «ждут»? И голос благоволившей мне Евгении Кацевой, – а память настаивает, что звонила именно она, – вызывал доверие. Погода стояла прекрасная, пути мне было пять минут, любопытство – недолимым, свобода – полной. И вот я уже входил в огромный кабинет с придуманным по дороге ответным розыгрышем на всякий случай.

Могучий триумвират сидел рядом по одну сторону длиннющего

стола, как экзаменационная комиссия. Мне предложили торец... Все трое, повернувшись в трау-кар, как на памятных медалях, осматривали меня ласкательно, точно я вернулся из госпиталя. (Хотя Твардовский с еще докосмополитических дней не прощал мне одной фразы в статье об его стихах «Из записной книжки». Восторженная моя статья в «Литературке» называлась – с его одобрения – пастернаковской строкой «Черты естественности той». А надолго рассердившая его фраза звучала так: «В отличие от других больших поэтов нашего века... Твардовский шел к простоте не от сложности, а от простоватости». И все-таки оглядывал он меня за тем новомирским столом как бы отечески.) На лицах всего триумвирата было то же человеческое сочувствие, что в глазах Кости Симонова 1 Мая.

– Послушайте и прислушайтесь... – сказал Твардовский.

– Не ошибаемся же мы втроем?... – одышливо усмехнулся Маршак, а Исаковский согласно кивнул.

Передавая друг другу тоненькую книжицу, они стали поочередно читать вслух довольно симпатичные стихи – чаще не целиком, а строфами. Даже бедственно-близорукий Михаил Васильевич прочел несколько строк, прижав книжку к носу... Не ощущалось поэтической новизны, но была свежесть переживаний. И трое признанных мэтров радовались ей, зная об авторе только то, что он – «парень из Белгорода». А я, по правде говоря, слушал вполуха, взбудораженный их вниманием к моей собственной неблагополучной персоне...

В том-то и была вся штука, что никто из самостоятельно думающих людей культуры ни в какой вредоносный космополитизм и антипатриотизм не верил! И довольно было появления безопасной лазейки для порядочности, как она просилась взять ее в игру – дать ей поручение... Человечность боязлива, но бессмертна. Террор бесшабашен, но смертен. Это равносильно убежденности, что этика человеколюбия записана эволюцией в наших генах и потому может быть подавлена только на время. (Долгое или короткое – это как случится.)

Слух о готовности «Литгазеты» напечатать разоблаченного как бы снимал политзапрет на акт солидарности с влипшим в историю ближним. Возникла версия вмешательства сверху. А могло ли быть у духовных рабов иначе?! «Это неспроста, – доходило до меня, – Симонов что-то узнал там!» И, слушая стихи начинающего белгородца в исполнении наших классиков, я старался угадать – было ли происходящее эхом симоновского предложения или Твардовский в свой черед «что-то знал...»? Мне и нынче это неизвестно. И уже неинтересно.

Нет-нет – вру! Сегодня еще более интересно, чем тогда, в 50-м. Но только не воспаленно-сиюминутно, а историко-психологически. И – благодарственно! Тогда очень хотелось, чтобы Костя и Александр Три-

фович действительно «узнали т а м!». Сегодня же, напротив, очень хочется, чтобы те акции были их собственным почином!

...Так или иначе, через час я легко сбегал по парадной лестнице «Нового мира» с чувством легальности своего пребывания в нашей мордуемой литературе. И вечером того же дня меня мастерски выматерил за податливость и доверчивость диаспоро-европейский и столичный-иронический друг мой Эмик Казакевич.

А потом – поздним летом – был день в Комарове под Ленинградом, когда по желтой тропе бежал, задыхаясь, через зеленый сад «дядя Женья» – Евгений Львович Шварц. В его паркинсоновой руке дрожала газета, и он кричал:

– Напечатали! Напечатали!

И вся наша сердечно дружившая компания ленинградцев и москвичей, населявшая многопалубную путаницу террас и комнат старинной дачи Дома творчества, поспешила вниз – так вдохновляюще звучало то обыкновеннейшее: «На-пе-ча-та-ли!»

О Господи или черт возьми, – в который раз повторяю я на полюбившийся мне лад, – подумать только: ту жалкую новость, как символическую весть издалика, патетически провозглашал полный чувства юмора и чувства трагизма, истинный гений сказки Евгений Шварц, а навстречу ему спешили, дабы самолично и тоже патетически убедиться в маленьком чуде, уже столько повидавшие на свете и в литературе Борис Михайлович Эйхенбаум с дочерью Ольгой, Анатолий Мариенгоф с Нюшей Некритиной, Коля Атаров с Магдалиной Дальцевой, Михаил Эммануилович Козаков с Зоей Александровной Никитиной, Иван Антонович Ефремов, Александр Смирнов, чета Слонимских и чета Адмони и, наконец, наша чета, то есть я с Тусей Разумовской... Кое-кого память, наверное, перенесла в ту мизансцену из соседних дней или даже соседнего комаровского лета, а кое-кого склеротически упустила... Но шестерых близких друзей – Юру Германа с Таней, Селика Меттера с Ксаной, Ольгу Берггольц и Юру Макогоненко – память приберегла на вечер того дня, когда они появились с копчеными незабываемыми предпоследними ленинградскими сигами в авоське... Это стало продолжением еще днем начавшихся вроде-именин, ибо сразу вслед за шварцевским «напечатали!» сделалось ясно, что надо обзавестись в пристанционной забегаловке «у Вали» всем, чем обзаводятся люди для именин. И за мною увязались в ту увлекательную экспедицию двое мальчишек – живший с родителями пятнадцатилетний Миша и гостивший у Шварцев двенадцатилетний Леша.

Обоим, как всем каникулярным лоботрясам, хотелось поучаствовать во взрослом деле, а заодно расспросить – отчего заслуживает ликования такая ерундовина, как крошечная статейка в газете, если их отцы, равно как и все дяди-тети вокруг (включая и «дядю Даню»),

умеют печатать сочинения покрупнее и при этом вовсе не целуются-обнимаются, будто гол забили... Да ведь оттого припоминаю я тут тех каникулярных мальчиков, что были они нашими будущими кино-театр-знаменитостями, каждый – со своей судьбой, у обоих – не всегда сладкой, а у младшего – притчево-драматической, в середине 80-х привлекая к нему внимание коллег во всем мире. Это Михаил Козаков и Алексей Герман пустились тогда на станцию, чтобы помочь «кажется, прощенному» космополиту, и спорили, кому нести кошелку, и оба, несмотря на вопиющую неозабоченность ничем серьезным, честно говоря, совсем не нуждались в моем просветительстве: не мог я прибавить хоть что-нибудь к тому, чего они уже вдоволь наслушались дома, да и неозабоченность их была уже, возможно, только мнимой! Недаром же оба во взрослой жизни не стали своим искусством лстить и прислуживать времени...

В тот день и вечер, когда пили-гуляли на чьей-то террасе, – а под конец на голубой дачке Евгения Шварца, – в застольном шуме не раз повторялось: «А все-таки Константин Симонов – человек!» И это «а все-таки» и это «человек» делало его в свой черед «кажется, прощенным» гонителем космополитов. В общем, мне действительно жаль, что он очутился на этих страницах в стыдном контексте 49-го года.

## 9

Право же, этого, возможно, не случилось бы, не взбреди мне в голову (а почему взбрело – об этом чуть ниже) опасное желание – сызнова полистать номера «Литературки» той поры. На полосе со статьей «Эстетствующий злопахатель» я быстро пробежал соловьевский текст и сразу же принялся весело читать его вслух – нарочно, дабы пропусками скрыть от мамы самое грубое. Однако мамы легко разгадывают такие обманы.

– Не щади меня, это глупо... – подавленно сказала она. – Я переживала худшее. Дай-ка газету и принеси мои очки.

А потом я застал ее в слезах над газетным листом. «Продолжения не будет... не будет...» – тихо повторяла она самой себе. Глаза ее были закрыты. Очков она не сняла. Слезы текли из-под оправы. Первый раз в жизни, и – надеюсь – в последний, видел я слезы из-под оправы. Они говорили: у меня нет сил снять очки... нет сил открыть глаза... у меня больше нет сил ни на что на свете...

Это была одна из худших минут той зимы. И я говорю коллеге-литератору:

– Когда ты решишь, даже праведно, принести в жертву идее или страсти своего коллегу-современника, осведомись сначала, жива ли его мать?

– Не щади меня. Я переживала худшее.

Еще бы! Из своих восьмидесяти девяти она прожила шестьдесят девять в XX веке. Впрочем, к той космополитической зиме – еще только сорок девять. Но и этого было довольно. Три революции. Четыре войны. Могла считать счастливым свое материнство: не видела смерти ни одного из своих сыновей – когда умирала, все трое сумели проститься с ней, а она – с ними. И живы были все прямые внуки и внучки. Но все равно – ее семейного мартиролога в другом веке хватило бы на века...

Были у нее две сестры и три брата. Младший умер от сыпняка в гражданскую. Старшие братья уехали до первой мировой на Запад. След одного потерялся в Европе. След другого – в Африке. Всю жизнь она шепотом пыталась проведать о них хоть что-нибудь, но надежно узнала только, что африканский брат погиб в Бельгийском Конго, а европейский – сгинул без вести. Судьбы сестер, напротив, были ей известны досконально. Однако знание это с годами становилось все горше.

Одна из сестер – благополучная и даже богатая – подверглась на рубеже 30-х высылке в алтайскую глухомань вместе с раскулаченным мужем-нэпманом, двумя дочерьми и сыном. Москвы она вновь не увидела. Муж остался в усть-каменогорской земле. Сын мучительно умер от таежного энцефалита. Старшая дочь стала на заводе инвалидом без пальцев на руке. Внучка школьницей утонула в озере... При каждой новой беде в доме сестры мама негромко спрашивала у потолка: «За что им все это?»

Другая сестра, вышедшая замуж за брата моего отца, в 20-х уехала к мужу в Берлин, где он пребывал в долгосрочной командировке. Когда отозванный по «шахтинскому делу» домой, – помните? – он повесился в тюрьме, не дожидаясь процесса, она перебралась с семьей – тоже двумя девочками и сыном – в края своего детства, в Латвию. Там и настиг ее роковой день 40-го года, когда нацисты загружали в душегубки латышских евреев. Ее удушили и сожгли вместе с сыном и младшей дочерью – одаренными музыкантами. К счастью, не было с нею старшей девочки Тани: та застряла на французской земле и участвовала в Сопротивлении. Моя дважды кузина, по матери и отцу, она лишь однажды в военные годы сумела дать знать о себе что-то донельзя краткое. Но мама боялась переписываться с нею из-за нас – своих сыновей: это прибавило бы каждому в анкету совершенно излишнюю «родственницу за границей».

И были у мамы еще трое очень близких – любимые «кузены Нахимсоны». Один – тезка моего отца Сеня – дал в революционном Петрограде имя целому проспекту, как мученик комиссар. Я еще хаживал семнадцатилетним по тому проспекту Нахимсона, хвастаясь другу, что

гибель моего дядьки описал Алексей Толстой в «Хождении по мукам». А двух его братьев – гигантов баскетбольного роста – Федора и Григория – государственных деятелей добюрократической породы – загубили свои. Федор был крупным юристом. Григорий – нашим директором интернационального Шпицбергена. Этого хватило для расправы с обоими. Вот только не мог я дознаться у мамы решительно ничего про их гибели. «Зачем тебе?» – спрашивала она, что-то зная. И замолкала. Снова – не хотела прибавлять мне и братьям в анкету излишнюю репрессированную родню.

Пропущу другое – разное – в ее нескончаемом мартирологе. Но не пропустить мне главного: поминального слова о моем отце – единственном в ее жизни человеке, с которым еще в отрочестве связала она навсегда свою женскую судьбу. Двадцатилетними студентами они нашли друг друга в Париже на Всемирной выставке 1900 года, потому что отец всюду писал на плакатах: «Хьенушка, я здесь» – и указывал свой адрес. Она была богата, он был беден, и они заранее не знали, сможет ли он купить билет до Парижа!.. Она лишилась его пятидесяти восьми лет – в 1938-м. А еще через исторические семнадцать лет, семидесятипятилетней, не смогла, как я уже рассказывал, его реабилитировать. Он скончался в челябинской тюрьме без предъявленного обвинения и заведенного дела. Некого было реабилитировать – не было репрессированного!.. Ошеломляет эта история: человек исчез без вины и возмездия – точно и не было его на свете!

Необсуждаемо ясно, почему я – совсем не злопамятный – не могу простить ни соловьевской тени, ни самому сорок девятому году той маминной фразы:

– Не щади меня. Я переживала худшее...

...Так вот – в том же номере «Литературки», где прекращалось мое будущее, обнаружилась половина антикосмополитического доклада Константина Симонова. Видит Бог – я не искал с намерением «материальчика на Костю»! И хлебниковский «полный распад личности», вместе со всем прочим, попался мне под руку нечаянно.

(Не понимаю только – перед кем я оправдываюсь? Но ведь оправдываюсь! Может быть, перед нашей общей молодостью?)

## 10

Теперь пора объяснить – а зачем я вообще полез просматривать комплект «Литературки» того злосчастливого года? Странно сказать, но до крайности плохо помнились эпизоды травли Пастернака в контексте погрома критиков-космополитов.

Меж тем не могли его не травить! Прекрасный бегущий олень! Или – лань, как у него в «Разрыве». Только не ради любви, а ради ненависти –



«голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Калидоне»... Дырявая стала голова: ничего не припоминалось, кроме попутных фразочек у Грибачева, Тарсиса, Шагинян... С надеждой возместить склеротические потери я и полез на страницы «Литературки».

Что же открылось? Нечто обескураживающее: имени Пастернака почти не встречалось! Получалось, что я помнил больше, чем на те страницы попало. Можно было дважды обрадоваться: во-первых, энтропия памяти, стало быть, не так уж возросла, а во-вторых, Борис Леонидович, стало быть, меньше мерзостей про себя узнал, чем слышалось сочувствующему через толщу лет. Правда, тут же вспомнилось, как БЛ легко признавался, – дважды я слышал это собственными ушами, – что газет он вообще не читает! Но все равно – дурное умеют «доставить до сведения» добрейшие друзья...

Должен сознаться: меня даже огорчило открывшееся «благополучие с Пастернаком», на тех газетных полосах.

Я надеялся, что отыщу в тогдашних репортерских отчетах сюжетную подоплеку одной необъяснимой фразы Пастернака, навсегда запавшей в истерзанное сознание:

– ...Да-да-да, я знаю, вам здорово попало из-за меня!..

И вот – на протяжении всех горячих недель 49-го в старательной «Литературке» ни намек на событие, которое подсказало бы это: «я знаю... из-за меня». Ни намек!

Далеко-далеко – в самом начале сего повествования – та пастернаковская фраза уже промелькнула. Воспроизведу контекст:

*...БЛ в минуту случайной встречи шумно, хоть и опрометчиво, посочувствовал мне: «Да-да, я знаю!..» То восклицание дорогого стоило, и я не хочу расставаться с ним прежде времени. Не буду забегать вперед..*

А теперь, кажется, добежал. И время как раз пришло. И нет уже нужды объяснять, сколь дорого стоило его сочувствие на том срезе жизни. Следует лишь расшифровать, отчего оно было опрометчивым. Да очень просто. Он сказал – «я знаю», а на самом деле решительно ничего не ведал, кроме того, что «попало». И ошибочно вычислил – раз уж «попало», то, очевидно, из-за него. А я к тому времени еще не написал о нем ни одного критического опуса – не успел, не сумел, не отважился. Но нынче...

Нынче всплыл в душе глубинный вопрос – а может, вовсе не было ошибочным то его вычисление и не было опрометчивым то его сочувствие? Может, знал он больше, чем плоско выводилось из одних только слов и поступков? Может, его «я знаю», предметно не соотносимое с мельтешнею статей и собраний, речей и резолюций, было достоверней суетной осведомленности в нашей литературной возне?! Есть о чем поразмыслить...

Откуда взялось его убежденное – «из-за меня»? Очень даже вероятно, что за тем восклицанием скрывалось лишь улыбочное желание чуть утешить младшего, как бы взяв на себя часть вины за его неприятности. Или что-нибудь в этом роде. Допускаю. Однако так часто прорисовывается в памяти зимний консерваторский вечер, когда раздалась эта фраза, что хочется от нее большего, чем мимолетной пустяковости. Тот вечер в марте 49-го надолго и с лихвою вознаграждал сознание за все застеночные вечера в писательском клубе. Это ведь было дьявольски лестно – услышать от самого Пастернака, что мне, критику, досталось из-за него! Дьявольски лестно – никак не скромнее. Уж поверьте! – хотя все мы еще слишком современники, чтобы по достоинству это оценить.

...А Большой зал консерватории, когда мы с Ирой Архангельской лавировали в партере, пробираясь к своим местам, органно гудел от сверхмноголюдья. (Тогда, как и нынче, каждый рихтеровский концерт бывал музыкальным событием.)

...А места у нас выдались сверххорошие – в правильно-отдаленном ряду – контрамарочной заботой самого Святослава Р.: с ним приятельствовал тогда Нёма Мельников, чьей женой была моя тихо-красивая спутница Ира. (Редкостно спокойные глаза – в противовес общей встревоженности нашей среды.)

...А сердечно-близкий друг мой Нёма, – писатель честнейший и, как нарочно, еще сверхнезучий, – пребывал уже с лета 48-го в гонимых очернителях советских людей на войне, ибо являлся автором гниловатой повести «Редакция», и ему самому было бы кстати утешиться на людях хорошей музыкой. (Да к тому же бесплатной, что при наших надолго опустевших карманах тоже имело утешающее значение.) Но мне повезло, и стал я заместительным спутником Иры по причине Нёминой сверхнеприятности к «светской жизни». (Она чудилась его экстремизму в радениях меломанов вокруг Рихтера.)

...А пастернаковский билет-контрамарка, тоже несомненно рихтеровского происхождения, сверхсчастливо для меня свел нас в одном ряду. (Был ли он один или со спутницей – не отметилось вниманием.)

Словом, так вот случилось, что, когда мы с Ирой процеживались из прохода на наши места, я вдруг очутился лицом к лицу с Борисом Леонидовичем и услышал громогласное: «Здр-рав-ствуйте, мой милый...» Услышал раньше, чем увидел БЛ. И неравнодушная восклицательность его обращения осчастливила в тот момент даже больше, чем последовавшее сочувствие – «да-да-да, я знаю...»!

Был короткий диалог. Его вопросы – мои ответы. Но что сказало – не восстановить. Чем-то заслонило. Тревожит этот феномен странноватого беспамятства. Странноватого... – потому что не могу не помянуть своего смущенья от его громогласья.

Ни в ком другом не случилось мне наблюдать такой произвольной открытости в самых непригодных для открытости обстоятельствах. То была одна из черт его единственности.

Произвольность – непреднамеренность – неостановимость. У многих это бывает спяну. У него бывало от искренности натуры. Говорили, что БЛ не чужд был актерства – стремления «произвести впечатление». Но в его громогласии прослушивалось нечто противоположное: полная необеспокоенность выгодами или невыгодами возможных толкований его порывов. При редкости встреч с ним даже мне случалось не раз бывать пораженным, иногда невольно встревоженным, свидетелем этого.

...Снова на памяти встреча в 47-м у Дома Герцена на Тверском бульваре, когда он говорил о «свинстве неподсудности» Суркова и прочем. Не соразмеряя своего возбужденного голоса с расстоянием до мимоидущей – и отнюдь не сплошь добродетельной! – череды литинститутских студентов, он шумно отвергал идею высказать в печати свое несогласие с англичанином Шиманским. Помните:

– ...Это прочиталось бы так, будто я со всем согласен у нас, а я согласен не со всем, и даже совсем не согласен!

И до такой степени не думал он о посторонних ушах, что еще на разные лады громко варьировал этот ответ, радуясь формульной свежести находчивого отказа.

...А четыремя годами раньше нечто похожее происходило в верхней каминной писательского клуба на Поварской. Да, это было скорее всего на исходе 42-го. Маленькая статья Пастернака о новых его переводах появилась в «Огоньке» как раз тогда. А именно о той своей публикации с веселой горячностью говорил он за обеденным столом в пресловутой «комнате № 8».

Кратенькая командировка с Брянского фронта привела меня тогда дня на три в Москву. Можно было пообедать в клубе – без аттестата! Я отправился туда. И вот там-то, как шесть лет спустя в консерватории, тоже услышал БЛ прежде, чем увидел. Из распахнутых дверей каминной несло гудящее: «...шла моя заметка в «Огоньке»...» Он прервал себя, продолжив еще громче: «Идите, идите сюда!» И лишь тут я увидел его, машущего кому-то, появившемуся на пороге.

Невольно оглянувшись, я удивился: никого на пороге не было. И вдруг понял, обомлев, что это мне он машет, приглашая к своему столику. Там было свободное место. И сказать не могу, как хотелось усестись ошую (или одесную) Пастернака! Но напротив него сидел розовый военный, и я тотчас узнал Лебедева-Кумача, а одесную (или ошую) пожилой штатский – и тоже тотчас узнал я переводчика-неу-

дачника Н. Оба терпеть меня не могли. По праву. И совершенно взаимно. Я подошел лишь затем, чтобы, досадуя и запинаясь, соврать БЛ, будто у меня за другим столиком условлена встреча... Но в любой точке восьмой комнаты прекрасно был слышен его за сто верст узнаваемый голос, продолжавший рассказ о заметке в журнале. Воспроизведу главное с точностью политического доноса, о возможности какого-то подумал, наверное, не я один из присутствовавших:

—...Представьте! — прерывая самого себя захлебывающимся смехом, точно говорили разом два человека, рассказывал он. — Там кто-то вписал мне, что немцы — зарвавшиеся людоеды! Да-да-да — зарвавшиеся! Так что же, спросил я, они людей уже больше не едят?! Дурость пропагандистской старательности!..

И многое в этом роде, что запросто могло под зловредным пером превратиться в «адвокатскую защиту нацистов».

...А как неосмотрительно во всеуслышание изъяснялся он из телефонного закутка под лестницей в переделкинском Доме творчества, куда приходил звонить в 50-х (поскольку дачного аппарата удостоен не был)! Так, было слышно однажды на площадке второго этажа, как он кому-то втолковывал по телефону нечто антисоюзписательское, переходя с русского на французский. Шел октябрь 58-го, когда из-за «Доктора Живаго» его превращали в персону нон-грата. Я поспешил вниз, чтобы успеть сказать хотя бы два человеческих слова, как только он выйдет из закутка. Успел. Поздравил с европейским успехом романа. Тихо. Волнуясь. Искренне. Но как-то опасно. Он смотрел на меня отчужденно, будто не понимая. Казалось, продолжал телефонный разговор. И вдруг стал громко благодарить «за хорошие чувства» и передавать приветы Софье Дмитриевне — «уверенный в ее доброте». А я мельком оглядывал вестибюль, оценивая доброкачественность свидетелей этого обмена простыми словами. (Вот так мы жили!)

Среди надежных свидетелей был Лев Копелев. Уже громоздкий, но еще не бородатый патриархально, и еще не известный в качестве Рубина из солженицынского «В круге первом», и еще не преследуемый диссидент. С лестницы он смотрел вниз — влюбленно на Пастернака и с завистью на меня... БЛ спросил, не провожу ли я его до ворот — «не дальше, сегодня сыро...». Он шел в брезентовом плаще с откинутым капюшоном. Брюки у него были закатаны поверх заляпанных осенью бот или сапог. Последнее, что могло прийти в голову, — будто это идет нобелевский лауреат. Он шел молча, и непонятно было, зачем ему понадобился спутник на сто шагов. У ворот, остановившись, спросил: «Вы устали?» Я не знал, что ответить. Зримо усталым был он.

Когда я вернулся, Лева Копелев решительно сказал, что я должен познакомить его с Пастернаком — «в следующий раз!». А через считанные дни мы, московские литераторы, исключили себя из творче-

ского союза с Пастернаком, оставшись вместе с ним только в Литфонде. И «следующего раза» в Доме творчества мы не дождалась. Говорили, что БЛ перестал тогда появляться в телефонном закутке... Ну, стало быть, там уже никто не должен был опасаться его неосмотрительно громких проявлений дружелюбия.

...А в 49-м, в шумном его консерваторском восклицании «вам попало из-за меня!» прочитать что-нибудь криво было, разумеется, трудно. Да и чем могло осложнить судьбу уже разоблаченного космополита доносное сообщенье какого-нибудь доброхота про «публичное сочувствие Пастернака»? Отчего же и на сей раз громогласие порыва БЛ смутило? Какой еще выверт нашей социальной психологии тут сказался? Простейший и, пожалуй, худший выверт: запрет на великодушие!

Громогласное сочувствие этот запрет, имевший возраст самой революции, непозволительно нарушало. Допустим, бывал на крайний случай соболезнующий шепоток с глазу на глаз – без осуждения партийной политики. («Партия не ошибается!») А тут вдруг – сочувственный голос, слышный всем! Как же было не смутиться тренированному сознанию?!

...Пробираясь вслед за Ирой к своему месту, я застрял в середине ряда возле его кресла. Торчал в узком проходе, всем мешая, но не умея отойти от БЛ. Наконец оклик Иры прервал мой столбняк... А не позвонить ли сейчас по уже испытанной методе в телефонную даль бывшего, да и спросить без предисловий: «Ирочка, а помните в 49-м, в марте?...» Но, собственно, что же должна она помнить мне в угоду? Все, что я могу, это в шамански пастернаковском умонастроении минуты заговорить с нею, как с тогдашней спутницей на «ты» его стихами:

...помнишь, помнишь давешних  
Колоколов предпраздничных гуденье?

А произнесутся эти строки только ради обольстительного слова «давешних». Оно оживляет омертвевшее время. Мило-домашнее, оно сведет в телефонном разговоре на нет прошедшие десятилетия, и покажется, будто мы и впрямь заговорим буквально о вчерашнем... как Рихтер играл... да что сказал Пастернак... да как мы возвращались с концерта на Сивцев Вражек... да при чем же тут колоколов предпраздничных гуденье...

Позвоню! Ради шаманского умонастроения и позвоню! Да вот только номер-то сразу хочется набрать не нынешний, а давешний. Тот, что с предвоенных лет был одним из московских позывных дружбы, вольномыслия, сопереживания. Таким же позывным-парольным оставался тот номер и в годы войны. И в послевоенные годы. Долго оставал-

ся – пока не опустел прекрасно-трушобный домик на углу Сивцева Вражка...

Там, в бельэтажной квартире, начинавшейся, как в условном театре, прямо на тротуаре первой ступенькой ветхой лестницы, за невзрачной дверью издавна обитала староарбатская, в двадцатых годах соблазненная нэпом, доверчиво-предприимчивая и одураченная временем, жизнелюбивая чета: уютно-сердечная Елена Васильевна и взрывчато-мудрый Димитрий Исаич – основатели целого клана московских Мельманов.

Как пустел, а потом и вовсе исчез, тот незабвенный домик, видевший нескончаемую череду литературных счастливиц, впрочем, – не только литературных и не только счастливиц, – это ветвистая повесть о смене времен и поколений. Сродни другой ненаписанной повести – о белкинском тополе в Конюшках. И хотя, в отличие от того тополя, поминаний о домике на углу Сивцева Вражка у Пастернака нет, все равно его строками, как эпиграфом, обзаводится ностальгия и тут:

Мне хочется домой – в огромность  
Квартиры, наводящей грусть...

## 12 .

Мельманы-старшие давно и навечно переселились из той квартиры в их фамильную – и уже перенаселенную! – под стенами Донского монастыря. Но в памяти стольких ближних и дальних – точно не умирали! Невесть по какому праву, друзья-приятели дома всех возрастов называли Елену Васильевну – Леля, а Димитрия Исаича – Митя. Ее – в глаза, его – чаще за глаза.

Они были для всех раскрытой книгой: она – жалоб, он – предложений. В ответ от нее узнавались повеления матерински опытной души. От него – оценки уязвленного несправедливостями деятельного ума. Неизменно дежурило его насмешливое – «копейка – цена!». Это могло относиться к чему угодно – от расклада карт до политики негуса. И чем ближе касалась оценка нашей каннибальской литературной жизни, тем бесспорней звучало это Митино – «копейка – цена!». Интеллигентам не по образванности, а по натуре, Мельманам-старшим были понятны треволнения их детей, и среди прочих – литературные: двое из пятерых сыновей-дочерей покатались по ухабистой этой колее. Так что портретно похожий на Франклина Рузвельта и столь же достойно президентствовавший на Сивцевом Вражке, Митя знал из первых рук, каково бывает нам, шелкоперам и бумагомарателям.

Литературные Мельманы, – ставшая благополучной переводчицей

нашей разноязыкой прозы Анна Дмитриева (между прочим, вводившая в русскую словесность Айтматова) и ставший злополучным прозаиком Наум Мельников (между прочим, удостоившийся гневного постановления ЦК в паре с Казакевичем), – оба они, сестра и брат, были младшими в семье. А это значит – последними, кто наполняет родительский дом своей оравой приятелей и своими ссорами с жизнью. А потом – последними уходят из отчего дома.

Нёма был самым младшим и потому – самым последним. В 49-м, уже два года женатый, он жил еще у родителей. И вечно встревоженные неустроенностью его литературных дел, Леля и Митя тайком выспрашивали у нас, Нёминых друзей, что может еще приключиться с их чадом? А мы сострадали ему, немножко как булгаковскому Лариосику, да не были, к сожалению, начальниками, и наш патронаж, честно говоря, достоин был Митиной оценки.

Однако обладали мы кое-чем существенно более ценным, чем копейки и власти. И этим – единым на всех – одаривали друг друга безоглядно. Та мельмановская обитель в двух шагах от Гоголевского бульвара не случайно выныривала из зимних сумерек на праздном пути космополита, шатавшегося по Москве, от забегаловочки к забегаловочке, от условленной встречи к нечаянной. Конечно, и на Сивцевом Вражке ждал забегаловочный эффект, но там он бывал лишь побочным. (А уж богемно-окупантски-вокзально-там вообще никогда не пили. Это случалось в других местах.) Та обитель притягивала соблазном более редкостным – нескрытой ТЕПЛОТОЙ ОБЩЕНИЯ.

Там эта теплота излучалась самую повадкой семьи. А мы на равных включались в эту семью уже с того мгновенья, как в ответ на звонок у дверного наличника дробная осыпь шагов по лестнице заканчивалась скрипом распахиваемой на улицу двери. И с этого мгновенья мы сами становились излучателями того же тепла, не сознавая этого. Так, белый кафель высокой голландки наверху – в бельэтаже – не догадывался, неодушевленный, что способен лечебно согреть прислоненную спину гостя, радикулитную с ополченских времен. А мы, одушевленные, догадывались, как легко отогревается там наша откровенность, делаясь совершенно расторможенной.

Как же окрестить то одно-единое на всех, что держало нас вместе на ненадежных волнах времени? Четыре хорошо пригнанных слова сходятся для этого в точную формулу: СТРОПТИВОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ИСТОРИИ В СКЛАДЧИНУ!

...Мы понимали друг друга без слов. Тем не менее «чаша бытия» с выпуклым мениском переполнялась словами. Это всегда у нас бывало в особо скверные времена: немногословие на миру и ненасытное говорение в своих берлогах. Может, зря тут подвернулась «берлога»: это про медведей (и врагов). А тогда уж рядом – охота (и тюрьма). Недаром

же в 49-м Ольга Берггольц острила: «Знаешь, мне кажется, я помолодела на 12 лет!» Не я один слышал это от нее под рюмочный аккомпанемент. И все смеялись, в уме вычитая двенадцать из сорока девяти, но смеялись укороченно: слишком точной была Олина острога. Меж тем смеяться государство могло не волноваться: в тех интеллигентских берлогах только то и происходило, что вышеозначенное «переживание истории». Виноват, что опустил красящие суть определения, которыми горжусь: «строптивное» и «в складчину». Они-то вроде бы и могли чуть тревожить госбезопасность, но тоже – зря! Задним числом уверяю – зря... Так, наш феномен строптивного переживания истории всегда был чисто акустический – «слова, слова, слова».

Вся доблесть сводилась к нестадности душ. Но не так уж это мало! Тем более что духовное наше непослушание иногда умело заразить отвращением к стадности и другие души...

Однако что-то зачастил я со словами «мы» и «наше», вопреки обещанию осторожно сослаться на поколение. Ну, да ведь строптивности, как любви, все возраста были покорны... Для верности вытаскил сейчас из ящика старую телефонную книжку. Взглянул на черные рамочки – окаймленья ушедших. Сердце заохлоло: скоро нам «соленой пеной по губам»... Как часто радовало чувство, что почти все интеллигентное вокруг одним миром было мазано!.. Замечу лишь еще раз: какой стойкой порядочностью отличалась наша среда, коли все мы тогда – на исходе 40-х – уцелели!

Но я сейчас не обо всех. Только о двоих. О тех друзьях моих, что оказались самыми первыми жертвами борьбы с космополитизмом: 11 января 49-го, еще за две недели до сигнального удара по театральным критикам, прозаики Эммануил Казакевич и Наум Мельман были должным образом разоблачены! Я присоединился к ним, оцененный по достоинству, лишь в феврале. И клянусь – алчнее, чем нынешние алкаши в подворотнях, скидывались мы той зимою строптивостью на троих!.. Но почему подумалось обо всем этом в контексте консерваторской встречи с БЛ? А все потому, что длится в памяти тот д а в е ш н и й мартовский вечер 49-го.

В нем высвечивается, какую верной подворотней служил нам мельмановский бельэтаж на Сивцевом Вражке, где запойно обсуждалось все происходившее с каждым из нас. После концерта я, естественно, доставил Нёмину Иру домой. Поднялся наверх – позвонить маме, что все в порядке. Время было такое – следовало предупреждать волнения... Митя помогал своему сыну и Эмику приканчивать флягу польской водки. Мне досталось сменить его на этом посту. И немедленно запрывгал по бездорожью ночного разговора спор об ошибке Пастернака, будто мне попало из-за него...

Память – услужливая подсказчица желанного – уверяет: один из



нас настаивал, что вовсе Пастернак не ошибался, сказав «я знаю...»! Если память уверяет, стоит ли ей возражать? А эта подсказка желанна: она укрепляет из недр бывшего мою сегодняшнюю догадку, что по глубинному пониманию жизни он правильно почувал сцепленными свою поэзию и беды молодого критика.

Хочу, однако, свидетельских подтверждений. Звоню в былое. Мой мемориальный вопрос звучит, как обычно: «А помнишь?...» Это – к Нёме, скоро семидесятилетнему. Ответ его тоже звучит обычно: «Не помню...» Но голос тут же утешает: «Все похоже – так, наверное, и было!..» Потом сама Ира, давняя моя спутница, уверенно подтверждает: «Очень похоже!» Да ведь это-то я и сам чувствую, что «похоже», а хочется – «удостоверю с приложением печати». И тут врываются в память лунатические строки покойной Тани Макаровой, так ценившей стихи Живаго:

...Мне говорят: – Печать, печать поставьте!  
А слышу я: – Печаль, печаль оставьте!  
Печаль оставьте, правда, навсегда...

Оставляю. Наверное, не навсегда, но оставляю!

## 13

...В мартовское былое 49-го я звонил из Матвеевской – из замечательного Дома ветеранов кино, где был кратковременным постояльцем и настукивал в своем номере эти страницы. А в соседнем номере жил и работал тоже кратковременный постоялец – Бруно Понтекорво. И однажды я решил спросить его, как старого доброго знакомого, помнит ли он май 60-го года на алиханьяновской станции космических лучей у вершины Арагаца? Но он опередил меня на считанные секунды: почему-то в ту же минуту и ему пришел в голову точно такой же вопрос ко мне как к старому доброму знакомому. И вот мы оба, старых и добрых, почти хором сказали друг другу, что отлично помним тот май на Арагаце. Через столько лет это было опрометчиво. И с моей стороны, и с его стороны. Сначала это разоблачилось с моей стороны.

– Вы не помните, о чем мы долго спорили на горе в разговоре о Ферми? – спросил Бруно, чтобы восстановить предмет «того обсуждения».

Но я не только не помнил «обсуждения», а и допустить не мог, будто позволил себе спорить с ним именно об Энрико Ферми – великом его учителе! Я спросил Бруно, не спутал ли он меня с кем-нибудь. Оказалось, не спутал. Это было ясно. Но и только это... А затем наступил его черед пожимать плечами. И мой черед настаивать на деталях.

– А вы помните, как тогда на горе мы услышали сообщение Би-би-си о смерти Пастернака? – спросил я, жадно заглядывая Бруно в глаза.

Но они ничего не обещали. И, не ожидая, пока он произнесет свое «не помню», я стал провоцировать его память напоминанием всего, что хранилось в моей душе... Рассказывал, как в ночь с 30-го на 31-е, там, на высоте три тысячи двести пятьдесят метров, кто-то из космиков настраивал рацию, и внезапно все затихли: спокойный голос сообщал по-английски о смерти лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака... после продолжительной болезни... на даче... Все слушали подавленно. Я попытался даже перечислить тех, кто был в ту ночь на горе: Артемий Алиханян, Аркадий Мигдал, Владимир Грибов, Лев Окунь, Игорь Дятлов, Иосиф Гольдман, Карен Тер-Мартirosян и другие, чьи имена запамятовал. И, наконец, напомнил Бруно, как он услышал то же сообщение по-итальянски, когда крутили рукоятку настройки – в надежде поймать русское сообщение из Москвы...

Меня, единственного в тот час москвича-литератора в арагацком поднебесье, расспрашивали о позорных подробностях «нобелевской истории» с Пастернаком. И я выкладывал то, что знал. И об его болезни расспрашивали. Но достоверно мне было известно слишком мало. Правда, одну – немножко странную – историю, связанную с болезнью БЛ, только от меня они и могли услышать тогда. Она случилась за две недели до той ночи на горе – 15 мая, в воскресенье...

Днем меня пришли навестить накануне моего отлета в Армению трое близких друзей: Лев Разгон и Николай Дубов, весьма почтенные литераторы, и совсем еще молоденький физик-теоретик Юрий Каган (нынешний академик). Все трое учили меня, как вести себя на трехкилометровой высоте, когда раздался телефонный звонок, погасивший наше острословие... Звонил Лев Копелев: «У Пастернака тяжелый инфаркт!» Нужна срочная помощь. Кремлевка. Лучшая профессура. Он назвал имена (кажется, Поповой и Петрова). Нужно связаться с Четвертым управлением. А сегодня – воскресенье! Могу ли я позвонить Степану Щипачеву, чтобы тот, возглавлявший московских писателей, сделал все необходимое. Конечно, я мог: у нас были хорошие отношения. Но его не оказалось ни в городе, ни на даче. Стали пробовать другие варианты. Никого! Воскресенье!.. Мы перезванивались с Левой каждые пять минут, точно наши усилия действительно были нужны и от нас в самом деле что-то зависело... И вдруг осенило: надо позвонить Николаю Грибачеву! Ошарашенный невероятностью именно моего звонка, он – ради последующей благой молвы о его помощи в спасении Пастернака – сделает все! И с благословения Дубова – Кагана – Разгона я набрал грибачевский номер... Все трое смотрели на аппарат с азартом гончих. Расчет оправдался! Николай Матвеевич с отчетливо слышной искренностью готов был сделать все, что мог. Но выяснилось, что он

мало мог: воскресные звонки высокому начальству были и ему заказаны. А мы-то, простодушные, думали, что он, обласканный, всесилен! Он «брал на себя» главврача 1-й Градской, а это было «не то». «Спасибо!» – сказал я через одиннадцать лет после 49-го. И его желанье хоть как-то отметить добротой к Пастернаку не забывается... А пока шли те переговоры и перезвоны, обнаружилось, что были они не нужны. Воскресный порыв Льва Копелева был порывом любви и отчаяния доброй души. Но Пастернак пребывал в надежных руках его близких, а несчастье состояло в том, что болезнь его была безнадежной...

В те часы на Арагаце глубины последней майской ночи полнились радиоголосами на разных языках. И отовсюду приходила скорбная весть, что выдающегося землянина больше нет на свете. А Москва молчала. И не сразу сообразилось, что то молчание было совершенно закономерным: в день кончины у Бориса Пастернака не было достаточных иерархических кондиций для отечественного радиосообщения об его уходе из жизни.

...С тем чтобы уж совсем лишить Бруно Максимовича права сказать – «я ничего не помню», мне оставалось досказать, как в конце недели, когда вся наша группа москвичей, включая его самого, спустилась с Арагаца в Ереван, там уже продавалась римская «Унита» со статьей о смерти Пастернака, и он, Бруно, вслух переводил ее нам. И действительно, впервые он не сказал, что ничего не помнит, но, правда, и обратного не сказал!.. И только с огорченностью обязательного человека проговорил:

– Я часто убеждаюсь: об одном и том же разные люди помнят разное. Все поглощены разным. На Арагаце в мае шестидесятого у меня Ферми сидел в голове, у вас – Пастернак...

Вероятно, Понтекорво был прав: так можно объяснить избирательность нашей забывчивости. И вместе, разумеется, избирательность нашей памятьвости. Конечно, правду о нас рассказывает то, что мы помним о жизни и людях. Но, думаю, не меньше – и тоже правду! – рассказывает все забывшееся или зачем-то забываемое нами.

Уметь бы вызывать, хоть на короткое свидание, то важное, что исчезло из нас! Я часто выходил на такие свидания, да только исчезнувшее редко выходило навстречу. Вот и сейчас, под конец, томит ощущение, что чего-то важнейшего о тогдашней нашей дружеской складчине я не договорил. Не дооткрыл закрывшееся с годами. А теперь...

А теперь мне нужен шрифт прописной, ибо дооткрылось:

**В СКЛАДЧИНЕ СТРОПТИВОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ НАШЕЙ ИСТОРИИ ВСЕГДА УЧАСТВОВАЛ СВОИМ ВКЛАДОМ БОРИС ПАСТЕРНАК.**

Мы, неэвклидовы в поколении ровесников революции, благодарно его вклад ощущали. Разным он бывал по размеру и кривизне, но без этого, обычно – странного, вклада не получалось скинуться всерьез для хмельного обладания временем! И потому, когда памятно раздалось – «да-да-да, я знаю, вам здорово попало из-за меня!», ошибки в его восклицании на самом деле не было. Не играло роли, что я к той поре еще не решился ничего о нем написать. Он видел, что когда-нибудь все равно напишу. И тогда мне здорово попадет...

Вот – написал. Но пока писал, ни минуты не думая о публикации рукописи, переламывалось время. Верю – вижу – переломилось! И теперь уж, право слово, вовсе и не попадет, а?

Лето 80-го г. – весна 87-го г.

### Постскрипtum

Так заканчивалась рукопись в 1987 году. Чуть шутливо. И удивительно: не чувствовал я тогда, что в притворно детском «не попадет» жило еще непритворно взрослое рабство души! Попадет – не попадет. Одобрят – не одобрят. Издадут – не издадут. Существенно, конечно! Но одна есть настоящая альтернатива: выразился или не выразился с желанной честностью и полнотой? Разумеется, еще не выразился. Может быть, поэтому все не хочется расставаться с Борисом Леонидовичем. И я завершу эту книгу девятью стихотворениями доктора Живаго, которые душа моя всегда носит с собой

Лето 95-го г.  
Москва  
Д. Данин

### 1. ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.  
Прислонясь к дверному косяку,  
Я ловлю в далеком отголоске,  
Что случится на моем веку.

и

На меня наставлен сумрак ночи  
Тысячью биноклей на оси.  
Если только можно, Авва Отче,  
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый  
И играть согласен эту роль.  
Но сейчас идет другая драма,  
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,  
И неотвратим конец пути.  
Я один, все тонет в фарисействе.  
Жизнь прожить – не поле перейти.

## 8. ВЕТЕР

Я кончился, а ты жива.  
И ветер, жалуясь и плача,  
Раскачивает лес и дачу.  
Не каждую сосну отдельно,  
А полностью все дерева  
Со всею далью беспредельной,  
Как парусников кузова  
На глади бухты корабельной.  
И это не из удалства  
Или из ярости бесцельной,  
А чтоб в тоске найти слова  
Тебе для песни колыбельной.

## 9. ХМЕЛЬ

Под ракитой, обвитой плющом,  
От ненастья мы ищем защиты.  
Наши плечи покрыты плащом,  
Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чащ  
Не плющом перевиты, а хмелем.  
Ну так лучше давай этот плащ  
В ширину под собою расстелем.

## 14. АВГУСТ

Как обещало, не обманывая,  
Проникло солнце утром рано  
Косою полосой шафрановою  
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою  
Соседний лес, дома поселка,  
Мою постель, подушку мокрую  
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу  
Слегка увлажнена подушка.  
Мне снилось, что ко мне на проводы  
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,  
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня  
Шестое августа по-старому,  
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени  
Исходит в этот день с Фавора,  
И осень, ясная как знаменье,  
К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,  
Нагой, трепещущий ольшаник  
В имбирно-красный лес кладбищенский,  
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами  
Соседствовало небо важно,  
И голосами петушиными  
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею  
Стояла смерть среди погоста,  
Смотря в лицо мое умершее,  
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ошутим физически  
Спокойный голос чей-то рядом.

То прежний голос мой провидческий  
Звучал, нетронутый распадом:

"Прощай, лазурь преображенная  
И золото второго Спаса,  
Смягчи последней лаской женскою  
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины!  
Простимся, бездне унижений  
Бросающая вызов женщина!  
Я – поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,  
Полета вольное упорство,  
И образ мира, в слове явленный,  
И творчество, и чудотворство".

## 15. ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле  
Во все пределы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

Как летом роем мошкара  
Летит на пламя,  
Слетались хлопья со двора  
К оконной раме.

Метель лепила на стекле  
Кружки и стрелы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

На озаренный потолок  
Ложились тени,  
Скрещенья рук, скрещенья ног,  
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка  
Со стуком на пол.  
И воск слезами с ночника  
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,  
Седой и белой.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,  
И жар соблазна  
Вздыхал, как ангел, два крыла  
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,  
И то и дело  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

## 16. РАЗЛУКА

С порога смотрит человек,  
Не узнавая дома.  
Ее отъезд был как побег,  
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнатах хаос.  
Он меры разоренья  
Не замечает из-за слез  
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.  
Он в памяти иль грезит?  
И почему ему на ум  
Все мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне  
Не видно света Божья,  
Безвыходность тоски вдвойне  
С пустыней моря схожа.



Она была так дорога  
Ему чертой любовью,  
Как морю близки берега  
Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши  
Волнение после шторма,  
Ушли на дно его души  
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена  
Немыслимого быта  
Она волной судьбы со дна  
Была к нему пририта.

Среди препятствий без числа,  
Опасности минуя,  
Волна несла ее, несла  
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,  
Насильственный, быть может.  
Разлука их обоих съест,  
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:  
Она в момент ухода  
Все выворотила вверх дном  
Из ящичков комода.

Он бродит, и до темноты  
Укладывает в ящик  
Раскиданные лоскуты  
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье  
С невынутой иглой,  
Внезапно видит всю ее  
И плачет втихомолку.

## 17. СВИДАНИЕ

Засыпет снег дороги,  
Завалит скаты крыш.  
Пойду размять я ноги:  
За дверью ты стоишь.

Одна в пальто осеннем,  
Без шляпы, без калош,  
Ты борешься с волнением  
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды  
Уходят вдаль, во мглу.  
Одна среди снегопада  
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки  
За рукава в обшлаг,  
И каплями росинки  
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой  
Озарены: лицо,  
Косынка и фигура  
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,  
В твоих глазах тоска,  
И весь твой облик сложен  
Из одного куска.

Как будто бы железом,  
Обмокнутым в сурьму,  
Тебя вели нарезом  
По сердцу моему.

И в нем навек засело  
Смиренье этих черт,  
И оттого нет дела,  
Что свет жестокосерд.

И оттого двойтся  
Вся эта ночь в снегу,

И провести границы  
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?

## 18. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.  
Дул ветер из степи.  
И холодно было младенцу в вертепе  
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.  
Домашние звери  
Стояли в пещере,  
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи  
И зернышек проса,  
Смотрели с утеса  
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,  
Ограды, надгробья,  
Оглобля в сугробе,  
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,  
Застенчивей плошки  
В оконце сторожки  
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне  
От неба и Бога,  
Как отблеск поджога,  
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой  
Соломы и сена

Средь целой вселенной,  
Встревоженной этой новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней  
И значило что-то,  
И три звездочета  
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.  
И ослики в сбруе, один малорослей  
Другого, шажками спустились с горы.

И странным виденьем грядущей поры  
Вставало вдали все пришедшее после.  
Все мысли веков, все мечты, все миры,  
Все будущее галерей и музеев,  
Все шалости фей, все дела чародеев,  
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,  
Все великолепье цветной мишуры...  
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...  
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,  
Но часть было видно отлично отсюда  
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.  
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,  
Могли хорошо разглядеть пастухи.  
– Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, –  
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.  
По яркой поляне листьями слюды  
Вели за хибарку босые следы.  
На эти следы, как на пламя огарка,  
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,  
И кто-то с навьюженной снежной гряды  
Все время незримо входил в их ряды.  
Собаки брели, озираясь с опаской,  
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность  
Шло несколько ангелов в гуще толпы.  
Незримиыми делала их бестелесность,  
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.  
Светало. Означились кедров стволы.  
– А кто вы такие? – спросила Мария.  
– Мы племя пастушье и неба послы,  
Пришли вознести вам обоим хвалы.  
– Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы  
Топтались погонщики и овцеводы,  
Ругались со всадниками пешеходы,  
У выдолбленной водопойной колоды  
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,  
Последние звезды сметал с небосвода.  
И только волхвов из несметного сброда  
Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,  
Как месяца луч в углубленье дупла.  
Ему заменяли овчинную шубу  
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлеба,  
Шептались, едва подбирая слова.  
Вдруг кто-то в потемках, немного налево  
От яслей рукой отодвинул волхва,  
И тот оглянулся: с порога на деву,  
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

## 24. МАГДАЛИНА

### II

У людей пред праздником уборка.  
В стороне от этой толчеи  
Обмываю миром из ведерка  
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий.  
Ничего не вижу из-за слез.  
На глаза мне пеленой упали  
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,  
Их слезами облила, Исус,  
Ниткой бус их обмотала с горла,  
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,  
Словно ты его остановил.  
Я сейчас предсказывать способна  
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,  
Мы в кружок собьемся в стороне,  
И земля качнется под ногами,  
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,  
И начнется всадников разезд.  
Словно в бурю смерч, над головою  
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятья,  
Обомру и закушу уста.  
Слишком многим руки для объятья  
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,  
Столько муки и такая мощь?  
Есть ли столько душ и жизней в мире?  
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток  
И столкнут в такую пустоту,  
Что за этот страшный промежуток  
Я до Воскресенья дорасту.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Возможное вступление</i> . . . . .	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ. «Начало было так далеко, так робок первый интерес» . . . . .	8
ГЛАВА ВТОРАЯ. «Ты вся – как горла перехват...» . . . . .	66
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «Что в том, что на вселенной – маска?» . . . . .	69
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «Я на земле, где вы живете...» . . . . .	139
ГЛАВА ПЯТАЯ. «Можно ль вернуть эту жизнь, эту быть?» . . . . .	159
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «Я молил тебя: членораздельно повтори творящие слова» . . . . .	205
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. «...Духу человека негде жить, когда не в мире, созданном вторично» . . . . .	232
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. «...Стучатся опавшие годы, как листья, в садовую изгородь календарей» . . . . .	249
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. «История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом» . . . . .	298
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. «...Но быть живым, живым и только, живым и только – до конца» . . . . .	334

Даниил Семенович Данин

## ВРЕМЯ СТЫДА

*Книга без жанра.*

Редактор *А. Никуленков*  
Художественный редактор *А. Данилин*  
Технический редактор *Е. Молодова*  
Корректор *М. Лобанова*

Сдано в набор 27.07.94  
Бумага офсетная № 2.  
Усл.печ.л. 22,32  
Тираж 3000 экз. Заказ **263**

Лицензия № 010184 от 05.02.92 г.  
Подписано к печати 01.11.95.  
Гарнитура "Таймс".  
Усл.кр.-отг. 22,78

Формат 60x84<sup>1</sup>/16.  
Печать офсетная.  
Уч.-изд.л. 23,81.

Издательство "Московский рабочий". 101854, ГСП, Москва, Центр,  
Чистопрудный бульвар, 8.

Московская типография № 9  
Комитета Российской Федерации по печати  
109033, Москва, Волочаевская, 40

Милый

Дарья Семёновна!

Получаю вас со счастьем.  
Его счастье. У меня  
но она не могла  
но

как ты любила обид и робость и  
все кепное сражающихся. Я при этом  
для откровенно обращаюсь с тобой  
Сидела как "напр", ариды и  
иногда, и никогда не могла прован-  
сидела сидела, даже когда он не был  
но ты была огромно озабочена.  
Все вывешивал, журнал, что и  
но своим миром и миром погуб-

Вот и все (даже с Сидоровым и  
сталию то и то не было и  
но и в газете заслуживало уважен-  
но и в газете заслуживало уважен-  
но и в газете заслуживало уважен-  
но и в газете заслуживало уважен-  
но и в газете заслуживало уважен-  
но и в газете заслуживало уважен-  
но и в газете заслуживало уважен-  
но и в газете заслуживало уважен-

макроинва  
гласили, ма  
но сии сохрани  
Пурелюму де  
желкине  
стараку  
востану  
ские, фам  
востане, и  
и вообще  
назвы, спра  
сильнее, с  
тине тине  
ленчели. Со  
закане и  
Еще раз  
меня  
мура  
или не  
но

Blank rectangular piece of paper or label.



